ISSN 0130–6545

9. 1982

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

Чан Динь Тхо. Бамбук

Цветные иллюстрации номера —
лаковая живопись вьетнамских художников

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ
ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЖУРНАЛ

■

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

■

ИЗДАЕТСЯ С 1955 ГОДА
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ИЗВЕСТИЯ». МОСКВА

9 сентябрь 1982

Содержание

ИВАН СКАЛА — В эту минуту *(Поэма. Перевод с чешского Маргариты Алигер)* 3

Рассказы венгерских писателей

КАРОЙ САКОНИ. ДЮЛА ЧАК *(Перевод с венгерского С. Солодовник, Ю. Гусева, Т. Воронкиной)* 8

ТРУМЭН КАПОТЕ — Самодельные гробики *(Документальный рассказ об одном американском преступлении. Перевод с английского Г. Ерофеевой)* 40

ЖОРЖИ АМАДУ — Военный китель, академический мундир, ночная рубашка *(Роман. Окончание. Перевод с португальского Юрия Калугина)* 77

ДЖЕЙМС ДЖОНС — Только позови *(Роман. Окончание. Перевод с английского Г. Злобина. Послесловие Михаила Дудина)* 125

Критика

Анкета «Иностранной литературы»

Ответственность таланта. Слово — писателям мира *(Алекс Ла Гума, Иван Скала, Август Кюн, Нгуен Динь Тхи, Хосе Мигель Варас, Тадеуш Голуй)* 187

Н. АНАСТАСЬЕВ — Как стать кумиром *(Массовая беллетристика в США)* 192

Возвращаясь к напечатанному

ИРИНА РАКША — Триединство времени 200

Культура и современность

С. Фадеев — Детектив: «за» и «против» 205

Публицистика

НИКОЛАЙ ФЕДОРЕНКО — Токийские размышления *(Литераторы Японии в антиядерном движении)* 207

Чем жив писатель. Французские зарисовки: интервью нашего специального корреспондента ЕВГЕНИИ СТОЯНОВСКОЙ *(Эрве Базен, Грэм Грин, Андре Стиль. Продолжение)* 223

Среди книг

Издано в СССР

И. Лапин — Песнь великой ярости ✦ Р. Каралашвили — Знакомство с homo austriacus 240

Издано за рубежом

И. Левидова — Историческая трагедия и трагический фарс ✦ Сергей Белов — Сказка-ложь 244

Из месяца в месяц 249

На 1-й и 4-й стран
ков ТО НГОК ВАН

© «Иностранная литература», 1982.

ИВАН СКАЛА

В эту минуту

ПОЭМА

Перевод с чешского **МАРГАРИТЫ АЛИГЕР**

Весеннее наступление детских колясок
по набережной,
среди взрывов сирени,
шаг за шагом захватывает новые территории,
новый лазоревый континент.
А следом за ними, в прорыв, с разлета,
врывается радость,
как атакующая пехота.

А я до рассвета забыться не мог,
ресницы мои опалила бессонница,
и лишь на рассвете
я в сон провалился, как будто в пылающий стог.

Когда бы в случайном пожаре сгорел этот город,
глядела б в пустые глазницы окон пустота,
канючили б дети спросонок,
на торопливых узлах,
где кое-как связаны вместе чьи-то одежды и чьи-то надежды,
все это, наверное, можно бы сделать стихами,
в стихах проклиная судьбу, у которой нет имени.

Но в эту минуту
огонь, который так просто представить,
готов охватить континенты
и некто, имеющий имя,
предъявляет тебе обугленный призрак детей,

ИВАН СКАЛА — IVAN SKÁLA (род. в 1922 г.).

Чешский поэт, заслуженный писатель Чехословакии, лауреат Государственной премии ЧССР и Государственной премии имени Клемента Готвальда. Автор многих поэтических сборников: «Огниво» («Křesadlo», 1946), «Утренний поезд надежды» («Ranní vlak naděje», 1958), «Приветствую вас, окна» («Zdravím vás, okna», 1962), «Голубой календарь» («Blankytný kalendář», 1963), «Гонец приходит пешком» («Posel přichází pěšky», 1968), «Что возьму с собой в дорогу» («Co si beru na cestu», 1975) и др.

На русском языке вышел сборник «Утренний поезд надежды»; подборки стихов Ивана Скалы много раз печатала «Иностранная литература», его стихи вошли во многие антологии и др. издания.

Поэма «В эту минуту» была напечатана в еженедельнике «Кмен» («Kmen») — литературном приложении к газете «Творба», 1982, № 1.

впечатанных в стены, как те хиросимские тени;
как нечто, когда-то живое и теплое,
глаза открывавшее каждое утро навстречу медвяному счастью;
как верблюжий помет у порога жилища берберов,
который сметают в костры;
как седьмая печать Апокалипсиса,
как неотвратимое Нечто и даже, точнее, Ничто.

Какую судьбу проклинать?
У нее даже имени нет!
И как это сделать стихами?!

Идет наступленье весны, наступление детских колясок
по набережной континента лазурного полдня.
Но в эту минуту
всадник с Дикого Запада, в самой напыщенной роли,
мчится наперерез дилижансу истории,
в тело нашей планеты готовый вонзить кровавые шпоры,
чтобы встала она на дыбы.

Всадник с Дикого Запада,
как топор, образован,
как топор, человечен
и красноречив, как топор,
дерзко рубит секвойи, которым по тысяче лет,—
как их Дарвин любил! —
и остатки могучего древа
демократии.

Его посадил Джефферсон.

В этот миг
Прометей наизнанку
вот-вот и добудет огонь,
не затем, чтоб людей обогреть, а затем, чтобы их уничтожить.

Так кого проклинать
и как это сделать стихами?!

Весеннее наступление детских колясок
по набережной,
и в эту минуту
из чистой реки Марка Твена выползает злая гиена в потоках
мазута.
Клондайк Джека Лондона, твоей золотой лихорадкой
лихорадит страну, по которой ступал Уолт Уитмен,
миллионы несчастий, идущих на экспорт,
прессуя в тяжелые кирпичи.

В эту минуту, днем ли, в ночи,
двери родильных домов осаждают нейтронные скорпионы,
и в наших шторах зловещий шорох.
Летучие мыши? Нетопыри?
Нет, это крылатые ракеты
считают, сколько у нас детей.
А в эту минуту Прометей наизнанку
готовит горящую жертву своим кровожадным богам.

Но, как предсказывали этруски,
первая молния над его головой
вспыхнула грозным предостереженьем.

В нюрнбергских подвалах
пылью еще не покрыли года
народную память.
В нюрнбергских подвалах еще трубят
неумолимые трубы суда.
Но и доныне
детские трупы вздувают колодцы Вьетнама,
но и доныне
холодные руки «из состраданья» берут смертоносные шприцы,
и безымянная смерть, от которой нам некуда деться,
переписывает свои задачки и не находит ответа,
на сей раз в Технологическом институте Массачусетса.
Но и доныне,
как фараоновы плиты,
Африку устилает голод, голод, голод...
и оружье — повсюду оружие Америки.
Но и доныне
Америка Латина вздернута, словно на дыбу,
между вулканами Сальвадора и стужею Патагонии,
и земля разноцветных народов, пестрых джунглей и ярких колибри
неистово сопротивляется,
зная один лишь цвет — крови.
Доныне
взрываются, как вулканы, массовые могилы Кампучии,
а сейсмографы Лондона, Бонна, Нью-Йорка молчат.
Доныне
вся планета дрожит, словно шкура волов под укусами мух и бичей.
И по-прежнему рук много меньше, чем ран,
и спешит и спешит подрасти подорожник,—
на какую из ран ему раньше ложиться?!
В нюрнбергских подвалах трубят еще трубы суда.

Кто напалмом спешит, как ошибку в тетрадке, стереть все
различья земли?
Кто с деревьев срывает листву, как фату с новобрачной?
Кто в воскресные дни вышивает одежды для бога,
а по будням копается во внутренностях человечьих,
в рыжем фартуке мясника?
Кто, незваный, приносит в чужие дома на своих башмаках
комья кладбищенской грязи?
Кто вассалам небрежно сует фальшивые векселя,
предъявителям коих положена только лишь гибель?
Посылающий смерть всех сильней перед смертью дрожит.
Сеет сын твой, Америка, мрак на планете Земля,
ты ж боишься затмения американского солнца.

Новый Свет, как недавно и молод ты был и велик,
а сегодня ты высунул людям свой синий язык,
грациозность твоих чемпионов по теннису,
легкодумность твоих генералов,
два земных полушария взвешивающих на ладонях,
худосочье морали, задумчивость пищеваренья,
огневые табло твоих счетных машин,
миллионы твоих челюстей, безучастно жующих мясо.
А отсюда в какой-нибудь тысяче миль
мать жует пересохшую землю, чтобы выжать из тонких грудей
хоть несколько капель младенцу.
Нет, я знаю, я слышу, как с камня на камень прыгает горный ручей
где-нибудь в штате Юта, как и в Татрах.

Я знаю, как фермер техасский при проблеске первых лучей
торопится в хлев покормить скотину, как и чешский хозяин.
Я знаю, штамповщик у Форда, как и штамповщики «Шкоды»,
дни свои ставят на полку надежды, словно банки янтарного меда.
И так же от запаха сосен расширяются радостно ноздри,
и красивые, сильные, добрые люди радуются друг другу.
Но не разрешайте, не разрешайте руки скрутить за спиной,
не допускайте, чтоб гнали вас в атомные Майданеки
или к дубовым скамьям Нюрнберга.

Ведь как предсказывали этруски,
страшная молния, вторая молния перечеркивает небо,
и ей решительно наплевать, над чьей головою вспыхнуть.

Отцеубийц зашивали когда-то в мешок со змеей и собакой
и бросали с утеса в реку.

Что же теперь делать с убийцами отцов, сыновей и внуков?
А с убийцами матерей и дочерей?
Что делать с герольдами ограниченной войны,
войны, ограниченной сотнями миллионов погибших?
Люди, остановитесь!
На карту поставлено все, и времени нет на раздумья.

Одна только кнопка,
один только палец безумный —
и огненным росчерком
человеческий род уничтожен.
Люди, над вами взмывает небо пяти континентов,
небо пяти континентов лежит на ваших плечах,
держите же крепче его в могучем весеннем походе.

Каждый, в ком есть еще человечность, кто дышит еще горячо,
хочет знать, наконец, кому из земных своих братьев
можно довериться, и, доверяя,
руку свою положить на плечо,
и по-братски отрезать ломоть от дружеского каравая,
и сливками радости из кринок своих поделиться.

Радость? Откуда она? И что это значит?
Ветвь свободы, она для кого и кому приносит плоды?
Для кого зацветет она вновь через год, через век?
Какова корневая система, то нежнейшее переплетенье,
состоянье коры и лыка и состав их вскормившей среды,
не одна только ветка, а вся великолепная крона?
Потому и слежу я за молнией столь упоенно,
твердо зная: все вместе и каждый из нас
может предотвратить ту третью этрусскую вспышку,
последнюю, неотвратимую, гибельную.

Дворцовая площадь. Зимний дворец.
Сколько раз мы обнажали тут голову.
Сколько раз восхищенно постукивали по железной обшивке
«Авроры».
Сколько раз возвращались мы к сердцу Москвы,
где уснул навсегда командир революции,
где, ему присягая, в скрипучей коже ремней
уходили солдаты на фронт ужасающе близкий.

Уходили с одним лишь сознанием: за нами Москва.
Мы стоим на последнем ее рубеже, и мы никуда не отступим.

О, страна, чей завтрашний день становится тотчас вчерашним,
сколько раз мы надеялись на тебя,
и ты приближалась, на каждом шагу оставляя
кровь своих павших.
И сегодня мы, их потомки, живем, сознавая:
вся планета — за нами,
мы стоим на последнем ее рубеже, и мы никуда не отступим.

Не хотим, чтобы наших детей кто-то метил крестом,
окунув для этого палец в золу Хиросимы.
Не хотим жить на свете, где даже скульптурам бывает невыносимо,
и хочется выколоть им глаза, чтоб они не сошли с ума.

Весеннее наступление детских колясок по набережной.
Осветительные ракеты ребячьих глаз обозначают проходы
по минным полям, на которых сегодня живут народы,
и радость рвется в прорыв с разлета,
как атакующая пехота.

Камни в реке переживут не одно поколенье,
тысячелетние тисы перерастут не одно поколенье.
Еще не скоро остынет солнце и хлынет на землю тьма,
мы можем еще обогреть нашу землю
теплом человеческого ума,
чтоб стала она матерински родной для всех детей
всех человеческих матерей.

Уже светает. Туман уже тает. Им этого не разглядеть.
Сквозь стекло, закопченное ненавистью, наблюдают они
затмение своего американского солнца.
А мы уже делаем шаг в иные новые дни.
Мы уже подставляем лицо чистому новому ветру.

АЛИГЕР МАРГАРИТА ИОСИФОВНА.

Советский поэт, переводчик, публицист. Начала печататься в тридцатые годы. Первая книга стихов «Год рождения» вышла в 1938 г. Выпустила более двадцати книг. Последние издания: «Синий час» (1970), «Стихи и проза» (в 2-х томах, 1975), «Тропинка во ржи. Книга воспоминаний и статей» (1980), «Четверть века. Книга лирики» (1981). Переводила стихи Десанки Максимович, Елисаветы Багряны, Валерия Петрова, Арагона, Пабло Неруды, Эдны Сент-Винсент Миллей, Филипа Ларкина и др.

С венгерского

КАРОЙ САКОНИ

Потом пришли четверо

— Рождество,— сказал Ф.,— что ж, было время, когда я верил в рождество, как и во многое другое: в праздники, путешествия, лето, длинные белые зимы. Верил теплу комнат, верил ароматам фруктов. Давно это было — в детстве. Да и то только в раннем, по правде сказать. Случалось то одно, то другое — теперь уж не разберешь под ворохом воспоминаний, что и когда; чему раньше верилось больше всего — уходило, красивое сливалось с уродливым, хорошее с дурным, праздничные дни с заполненными томительным ожиданием буднями. Шли годы, и мне все реже удавалось порадоваться, а того, что не доставляло радости, становилось все больше и больше. Наверное, все через это проходят. Я еще долго оберегал веру в рождество, очень уж хотелось верить его чарам: в моей памяти хранилось несколько чудесных рождественских праздников с запахом смолы и свечей, с поскрипывающим снегом, но уже очень давних, а может, это был просто самообман, вроде тех придуманных воспоминаний, которыми человек тешит себя, а на самом деле никогда он ничего подобного не испытал, и я тоже лелеял память об этих праздниках, когда все были добры друг с другом и каждый старался угодить всем остальным. В тот рождественский сочельник о котором я хочу рассказать,— продолжал Ф.,— мне как раз без воспоминаний было не обойтись, ведь уже шла война и нашей семье даже собраться целиком не удалось. Сидя за покрытым белой скатертью столом, мы все делали вид, будто сейчас самый что

© Szakonyi Károly, 1980.

КАРОЙ САКОНИ — SZAKONYI KÁROLY (род. в 1931 г.) Венгерский писатель — прозаик и драматург, лауреат премии имени Аттилы Йожефа. Начал печататься в 1958 г. Автор сборников рассказов «Среди облаков» («Középütt vannak a felhök», 1961), «За городом» («Túl a varoson» 1964), «Мужчины» («Ferfiak», 1967), пьес «Жизнь моя Жока» («Életem Zsóka» 1963), «Французская ферма» («Francia tanya», 1969) «Телевизионные помехи» («Adáshiba», 1970), «Гонконгский парик» («Hongkongi paróka» 1973). Публикуемые рассказы взяты из сборника «Человек, отзовись!» («Emberi üdvözlet», Budapest, Magvetö és Szépirodalmi könyvkiadó, 1980). Они войдут в книгу рассказов и повестей, которую готовит к печати издательство «Радуга».

ни на есть мирный вечер; мы радовались, что отец еще дома, что о военных действиях мы знаем лишь по сообщениям из газет, радиопередачам да кинохронике. Радовались, что мама опять приготовила винный суп, зажарила карпа и подала фиолетовый свекольный салат в старинной, стянутой проволокой глиняной миске.— Вот только Йожи,— сказала мама,— только Йожи нет с нами.— Что ж поделаешь,— отозвался отец,— хорошо хоть, его еще не отправили.— Этому мы тоже порадовались, потому что мой старший брат, которого уже призвали, пока проходил подготовку как новобранец и не был с нами в тот вечер только из-за того, что не получил увольнительной. Мама отложила два кусочка жареного карпа на случай, если вдруг его отпустят после сочельника. Залила их уксусным соусом с луком — Йожи так любил. На улице было холодно, но даже снег не хранил верности рождеству, снега не было, только дождь моросил после обеда, а к вечеру дороги подмерзли и стало скользко. Мне тогда шел двенадцатый год, и я еще с нетерпением ждал, когда на елке зажгутся свечи, заискрятся бенгальские огни, ждал подарков; и когда наконец разрешили войти в комнату, я еще смог порадоваться, отдаться чудному ощущению праздника, и мне кажется, отец с матерью тоже не остались безучастными, и бабушка получила в подарок какую-то теплую одежду; мы перецеловались, и все было замечательно — и то, что все сели за стол в праздничном настроении, и то, что в печке потрескивали дрова, наполняя комнату сладковатым теплом, и винный суп был замечательный, и рыба — блюда, которые мама никогда не готовила в другие дни, так уж у нас было заведено, что эта еда подавалась только на рождество. После ужина мама поставила на стол яблоки, орехи и сладости, отец наполнил стаканы. После первого тоста он закурил сигару. Сигары он тоже курил только на рождество, больше никогда, он от них кашлял, но и это вошло в ритуал праздника. Мы пристали к отцу, чтобы он что-нибудь рассказал, он любил рассказывать; мы требовали историй, уже сотни раз слышанных: о том, как ему однажды в детстве купили перед престольным праздником шляпу или как в девятьсот шестнадцатом его прямо с гауптвахты взяли на фронт. Он посмеивался, попыхивал сигарой, откинувшись на стуле, и старался рассказывать уже знакомые всем истории как можно красочнее и обстоятельнее. Он сам получал от этого огромное удовольствие, вспоминал все новые подробности, а мы слушали, кололи орехи и прихлебывали вино, ведь на рождество не обязательно рано ложиться сиди хоть всю ночь. Потом, слегка захмелев, мы начали петь, негромко, сначала какую-то рождественскую песню, а после все по очереди свою любимую. Мы смеялись, стараясь угадать, какая же песня будет любимой у мамы, а какая у бабушки, и все было замечательно.

— Время близилось к полуночи,— продолжал Ф.,— как вдруг в дверь постучали. Мы переглянулись, кто бы это? Мама, недоумевая, поднялась, стряхнула с передника ореховую шелуху, но отец, вынув изо рта почти докуренную сигару, озадаченно и как-то странно проговорил: — Я сам... Но кто же это — в сочельник? — Он вышел на кухню, мы за ним — подглядывать, он медленно открыл дверь и сразу же отпрянул, из темноты на слабый свет вынырнул штык и тускло поблескивающая каска. Но тут каска приподнялась, и мы увидели смеющееся, румяное от мороза лицо Йожи. Все от радости вскрикнули, а Йожи сказал, выпуская изо рта клубы пара: — С праздником вас! — Ну и ну, Йожи! — воскликнул отец.— Глядите-ка, Йожи!..— Не помня себя от восторга, мы бросились к нему. Но Йожи пришел не один; чинно, немного смущаясь своего неподобающего сочельнику вида, из темноты выступили еще трое вооруженных, как и он, солдат. Отец быстро закрыл за ними дверь.— Так ты... так вы?.. Как вы здесь оказались... и вот так? — спросил он Йожи.— Да вот хотим посидеть,— отвечал брат, а сам уже поставил винтовку в угол у раковины и снимал каску.— Если вам можно,— сказал отец,— ну конечно,

если можно, входите, пожалуйста. Я только потому спрашиваю, что вы ведь в наряде, да? — В наряде,— подтвердил Йожи,— но мы все уладили. Раздевайтесь,— поторопил он товарищей. Они тотчас повиновались, составили винтовки в то же место у раковины, звякнули каски, ударившись о каменный пол; гости расстегнули ремни и вылезли из непривычно пахнущих шинелей. Я сразу принялся разглядывать винтовки, мне никогда не доводилось видеть их так близко, осторожно прикоснулся к одной, но Йожи прикрикнул: — Не трогай, заряжено! — Я испуганно отдернул руку, а солдаты засмеялись.— Мы в патруле,— объяснял Йожи, когда, тяжело ступая солдатскими башмаками, они входили в комнату,— да вот решили, что провести вечер около рождественской елки приятней, чем бродить по улицам.— Ну конечно,— согласился отец,— только не будет ли у вас из-за этого неприятностей? — Неприятностей? — рассмеялся брат.— Какие же могут быть неприятности? Патруль — самое милое дело, тем более в сочельник, кто проверит? — Ну тогда садитесь к столу,— распорядилась мама,— я подогрею ужин.— Мы уже ели, — сказал один солдат, высокий, рыжеволосый, веснушчатый парень; другой тоже начал отказываться: — Спасибо, не беспокойтесь, нам бы только посидеть, а больше ничего не нужно.— Второй солдат был коренастый, с простым крестьянским лицом, черные волосы напомажены, от него пахло бриллиантином и дубленой кожей.— Ладно, ладно,— сказал отец,— всем хватит.— Мы, право, не хотели вас затруднять,— вступил и третий, голубоглазый, с нежным девичьим лицом, он был тихий и немного грустный. Но тут вмешался Йожи: — Я ж вам говорил, у нас гостей любят, не тратьте вы слов попусту.— Все засмеялись, правда, третий солдат и смеялся сдержанно. Как вскоре выяснилось, все трое были из провинции и страшно обрадовались, что в праздничный вечер смогут провести несколько часов в кругу семьи.— Вот переведут нас в маршевую роту,— говорили они,— кто знает, что нас там ждет!..— Да хватит вам,— отмахнулся Йожи,— нечего сейчас об этом. Пока что мы дома, понимаете, дома? — Мама, конечно, сразу заплакала, но отец быстренько разлил вино, тогда и она сказала: — Мы оставили немножко рыбы, сыночек, как ты любишь, в уксусном соусе.— Брат поцеловал маме руку и начал объяснять товарищам, почему он так любит рыбу в уксусе, и обязательно с луком, потом приналег на еду. После еды мы еще раз зажгли на елке свечи и несколько бенгальских огней, чтобы солдаты тоже насладились праздником во всей его красе. Полюбовались мерцающим, искрящимся сиянием, потом снова включили свет, и отец наполнил стаканы, но гости пили умеренно, наряд-то у них был до утра. Они расстегнули кители, закурили, рассказывали о своих семьях — всех их, конечно, ждали дома; тот, что походил на девушку, извинившись, попросил разрешения спеть «Пастухов». Может, и нам захочется подтянуть, дома-то они всегда поют эту песню в сочельник. Голос у него был неважный, он начал тихо и немного фальшиво, но отец подхватил, за ним мама, и под конец получилось очень красиво. Потом Йожи и рыжеволосый рассказывали о жизни в казарме, всякие смешные, забавные случаи, отец все расспрашивал, как теперь в армии, то да се; время летело незаметно.

— Я уже начинал дремать,— продолжал свой рассказ Ф.,— когда отец сказал: — Надо же, Йожи, как вам повезло с патрулем...— Да,— отвечал брат,— я уже совсем расстроился, что не удастся выбраться.— Все благодаря тому дезертиру,— сказал веснушчатый.— Дезертиру? — переспросил отец.— Ну да,— подтвердил солдат с напомаженными волосами и пояснил: — Из казармы сбежал один новичок, вот мы его и ищем.— Да не сбежал он вовсе,— сказал веснушчатый,— просто он еще позавчера получил увольнительную и до сих пор не вернулся.— Э, черт,— посерьезнел отец, ведь он, как бывший солдат, знал, чем это может кончиться.— Дело-то нешуточное! — Какие уж

тут шутки,— сказал Йожи,— да только не будем же мы в рождественскую ночь ловить дезертира, лучше домой завернуть. Потом доложим, что не нашли.— Дурень он,— отозвался напомаженный,— к невесте подался, в город. Та наверняка в слезы, а он и раскис...— Глупо, конечно,— сказал веснушчатый. Все немного помолчали, я сразу же забыл о сне — так меня все это заинтересовало. Голубоглазый солдат до сих пор не произнес ни слова, но тут отодвинул стакан и проговорил словно про себя: — Такое с каждым может случиться.— Да хватит вам,— сказал вдруг Йожи,— давайте-ка лучше попробуем эти замечательные пирожные.— Ешьте, ешьте,— принялась угощать и мама,— не стесняйтесь, у меня на кухне еще есть, сейчас маковый рулет нарежу.— Это вино,— спросил напомаженный,— случайно не толнайское? — А как же,— ответил отец,— толнайское, из Сексарда. Сексардское красное.— Моя родина,— солдат поднял стакан и, глядя на свет, залюбовался рубиновым напитком.— Но как же он не вернулся? — неожиданно спросил я.— Кто? — взглянул на меня Йожи.— Да тот, о ком вы говорили.— Ах, этот,— сказал брат,— да поначалу он еще мог возвратиться, а потом его объявили дезертиром и назначили розыск.— Мы ему зла не желаем,— произнес веснушчатый и обнял Йожи за плечи,— правда не желаем, зачем нам портить ему рождественскую ночь.— Праздник любви,— сказал голубоглазый; он не пил, не ел, только сидел у стола, уронив на колени руки.— Сексардское красное,— повторил тот, что был родом из Толны,— эх, развесели-ка своего земляка! — и он залпом выпил.— Смотри не наберись,— предостерег Йожи.— По мне не заметят.— Оно, конечно,— сказал отец,— но все же поосторожнее, как бы не было беды.— А если его поймают,— спросил я,— что с ним сделают? — Брат пожал плечами, потом тихо проговорил: — Расстреляют.— Расстреляют?! — ужаснулся я.— А то что ж, война ведь! — Но если он только хотел провести дома праздники? — Все равно,— сказал Йожи,— это никого не интересует. Дезертир, и точка.— Вот так просто возьмут и расстреляют? — никак не мог я поверить.— Да нет, не просто,— ответил брат,— отдадут под трибунал, но там особенно не церемонятся.— Выведут взвод на казарменный двор,— вступил веснушчатый,— построят в каре, барабанная дробь, потом пли!..— Но он же никому не сделал ничего плохого! — настаивал я.— И не враг, а свой! — Сказали, что он подлец,— горько усмехнулся тихий солдат,— я его не знал, так что не могу судить, знаю одно — такое с каждым из нас может случиться.— Ну нет,— предостерегающе сказал отец,— ты уж, Йожи, да и вы, ребята, будьте осторожны, не попадите в беду из-за какой-нибудь глупости...— Ну а если ему не хотелось возвращаться? — упорствовал я. Йожи и солдаты посмотрели на меня: — Иногда и нам не хочется, да нужно.— Приказы нужно выполнять,— грустно сказал отец,— вы уж, ребята, поосторожней.

— Стало тихо,— продолжал Ф.,— говорить ни о чем не хотелось. У всех как-то испортилось настроение.— А хорошо все-таки,— тихо произнесла наконец мама,— как хорошо, что мы собрались сегодня вот так, все вместе. Правда, отец? — Но папа сидел понурившись и ничего не отвечал.— Было рождество, мы сидели в натопленной комнате, на улице скользко, морозно, а у нас на белой скатерти пирожные, красное вино в стаканах, полно яблок, орехов, и пахнет елкой, и все невольно придвинулись друг к другу, хотелось чувствовать локоть близкого человека. А у меня никак не шел из головы тот дезертир.— А если вы его поймаете,— спросил я,— вы поведете его в часть, чтобы его расстреляли? — Мы поведем не для того, чтобы его расстреляли,— обиженно ответил вместо Йожи веснушчатый,— а потому, что такой приказ.— Да не поймаем мы,— сказал брат.— Хорошо бы как-нибудь сообщить ему, чтоб он спрятался! — продолжал я, чувствуя, что нужно же как-то ему помочь.— Не говори глупостей,— Йожи снисходительно улыбнулся,— куда он может спрятаться? — Ну,

куда-нибудь, где он будет в безопасности.— Никуда он не денется, его везде найдут,— сказал напомаженный и выпил.— Везде-везде? — не унимался я. — Ну конечно, везде, — недовольно ответил отец, он знал армейские порядки.— Днем раньше, днем позже, но найдут,— подтвердил брат,— нет такого места, где бы он мог укрыться.— Так, значит, ему уже не спастись, его наверняка расстреляют? — испуганно спросил я.— Довольно об этом, хватит,— взмолился Йожи,— рождество все-таки.

— И впрямь было рождество,— продолжал Ф., заканчивая свой рассказ,— никогда не забуду, это было рождество. Только рождественская елка стала вдруг просто деревом, маленькой, плохонькой елочкой в тускло освещенном углу. И печка начала остывать, комната наполнилась чадом, а белая скатерть помялась. В ее складках скопилась ореховая шелуха, потемневшие яблочные огрызки. Остальные еще беседовали, еще находили темы для разговора, чокались, иногда смеялись. А я боялся. Я знал, что когда-нибудь стану взрослым. Светало, впереди было еще два дня праздника. Но я думал только об одном — о том, что когда-нибудь, пусть не скоро, может случиться, что я тоже не подчинюсь. Невольно или потому, что не смогу подчиниться. Как же тогда — мне тоже будет некуда деться?

Перевод С. СОЛОДОВНИК

Inter arma[1]

Вот она какова, армейская жизнь, наша служба: вскакиваешь среди ночи, торопливо натягиваешь сапоги, непослушными со сна пальцами застегиваешь шинель, металлические пуговицы не хотят подчиняться, одна вообще висит, только б не отлетела, не хватает еще, чтобы ты стоял перед ротой в расхристанном виде — это наш Старик так говорит, не только рядовым, но и своим офицерам, если заметит небрежность в одежде, он у нас испытанный, старый солдат, сам подтянут и к другим строг, по утрам первым появляется в гарнизоне, а уходит последним, когда ты, покончив с дневными обязанностями, уже бежишь по тропе вдоль ограды домой, к Рите — Рита, Рита, все мысли только о Рите, бежишь, заглушая укоры совести, дела ведь еще бы нашлись, что-то проверить, заполнить журнал, понаблюдать, как солдаты проводят свободное время, да где там, для тебя и теперь, на четвертом году женитьбы, Рита самое главное, волосы Риты, руки Риты — на двуспальной кровати, справа, волосы Риты рассыпались по подушке, закрывают лицо, укрывают ее от тебя, водопад черных густых волос, словно непреодолимая преграда, ты не можешь, не смеешь протянуть руку, убрать с ее лица эти волосы, твои пальцы на миг замирают на пуговице шинели, в пальцах дрожь, черный водопад — он уже преграда, тебе сквозь него *уже не пробиться*, ладони твоей не коснуться шелковистой кожи, тебе не увидеть больше мягких ее, словно припухших губ, на которых сон, подлинный или притворный, оседает чуть заметной испариной, пахнущей телом Риты, ее объятиями, от одной только мысли о которых ты испытываешь резкую боль, будто от удара ножом в желудок, нет, невозможно поверить, что на веранде ждет посыльный, плащ-палатка шуршит у него на плечах, подковки на сапогах негромко стучат по каменным плиткам пола (должно быть, он ходит взад и вперед меж горшков с растениями, питомцами Риты: аспарагусом, циперусом, плющом, лимоном, кактусом под названием «обезьяний хвост»), невозможно поверить, сейчас три часа пополуночи, за окном непроглядная темь, и дождь шелестит, холодный ноябрьский дождь, под которым гниют опавшие листья, и на дорогах стоит безнадежная слякоть, невозможно пове-

[1] Здесь: под ружьем *(лат.)*.

рить, что волосы Риты принадлежат теперь *только Рите,* как и руки ее, кожа, ноги, лоно, стан, нежная, сильная линия бедер, белизна груди, не тронутой солнцем, это все теперь *только ее,* она все у тебя отняла, замкнула себя в себе, не шевельнется, лежит неподвижно, а тебя ждет посыльный, ребята в казарме уже несутся по коридорам, к стойкам с оружием, эй, поправь-ка мне хлястик на шинели, люди, фляжку мою не видели, где моя фляжка, плац у казармы, на плацу строятся взводы — равняйсь! — шаги посыльного на веранде, надо поторопиться, Старик шутить не любит, где младший лейтенант Алекса? десять минут, как послали за ним, отвечает дневальный, надо спешить, тревога, тревога, черт бы ее побрал, слякотная, зыбкая ночь, а тут еще эта чертова пуговица, упрячем ее под ремень, хорошо еще, что как раз на поясе, не хватает явиться без пуговицы, Рите бы надо было пришить ее, кобура, холодная кожа, ременная петелька, надо только вытащить петельку из металлического гнезда, массивная, шершавая рукоятка пистолета, предохранитель, семь патронов, где седьмой, в стволе, в стволе нету, вытащат магазин, ствол посмотрят на свет, понюхают, впрочем, это уже ни к чему, и так видно, из этого пистолета стреляли, посыльный дрожит от испуга, так точно, выстрел слышал, но не посмел войти в комнату, там жена товарища младшего лейтенанта спала, я думал, просто так, в воздух, выкладывайте, Алекса, что это вам ударило в голову, что с вами, что с вами — нет, нет, пусть это трусость, но на такое ты не способен, так поступали мужчины когда-то, в прошлом веке, да и в этом, в начале, а сейчас разве что только в Сицилии, ну еще, пожалуй, в Париже, на окраинных улицах, но не здесь, не у нас, и не офицер Народной армии, ну да, но мужчина-то остается мужчиной, а женщина женщиной, и никакой разницы, здесь или там, если ты не можешь уже коснуться волос Риты, стремительно-плавной линии ее бедра — ты же сам так говорил ей когда-то, еще в самом начале, Рита радовалась, как красиво, удивлялась она тогда, такой вот я вижу себя, какой ты меня описал, даром что солдат, я и не подозревала, что солдат может быть таким нежным — словом, это ты научил ее видеть себя, открыл ей ее женскую суть, ты-то верил, что для себя делаешь это, гарнизон даст нам квартиру, купим мебель, станешь солдатской женой, я буду спешить к тебе каждый день, запыленный, грязный, замерзший, буду спешить, а ты будешь ждать меня дома, там вокруг красота, горы, ты научишься ходить на лыжах, это все ты хотел для себя, потому и говорил ей про это. тебе нравились ее руки, ее запах, дневной аромат волос ее, шеи и аромат ночных объятий, ты об этом тоже сказал ей, нет другой такой женщины, как ты, Рита, это ты разбудил в ней женщину, надо бы сейчас растолкать ее, не спи, видишь — я ухожу, еще совсем темно, на дворе моросит, целых два дня меня не будет, тридцать шесть километров, Старик так и сказал, нет, невозможно именно сегодня уйти, бросить ее здесь на произвол судьбы, но, может, она этому-то и рада, потому притворяется спящей, или, еще хуже, в самом деле способна спать, после того как тебе в руки попало то письмо и ты все узнал, что за пакостный тип, господи, что за гнусные, омерзительные слова, мерзость, вороненый ствол пистолета, все б закончилось в один миг, лишь нажать курок, она вскинется, широко откроет глаза, может, вскрикнет или издаст краткий стон, все это известно по кинокартинам, чаще всего и крови-то нет почти, раньше так поступали мужчины с неверными женами, даже суд на такое смотрел снисходительно, убийство из ревности, что-то вроде самообороны или казни предателя, ну хоть бы еще не оправдывалась, сказала бы, мол, да, это подло с моей стороны, а она лишь молчала или начисто отрицала все, это, видите ли, недоразумение, да еще твоя больная фантазия, подумаешь, что тут такого, старый знакомый, с которым приятно поболтать иногда, бедный парень, ему так одиноко, конечно, одинокому плохо, одиноких надо жалеть, но ведь узы супружества, обет

верности, справедливость, чего ты только не говорил ей, часа два или три всего минуло с тех пор, как вы оба выдохлись и бросили без толку мучить друг друга, еще стоит в воздухе кислый запах выкуренных сигарет, в легких у тебя бог знает что, а впереди тридцать шесть километров, черт бы их побрал, и надо идти отдавать приказы, выполнять боевые задания, и где только Рита откопала такую сволочь, неужели он ей нравится, неужели она влюблена в него, а может, просто дурь, обычные женские бредни — мол, жизнь твоя проходит, а *они* (понимай: мужчины) развлекаются вовсю, у них в каждом городе, в каждой деревушке по бабе — видно, и Рита этим заразилась, а может, ей и вправду нужен другой, что-то не так, не сошлось, нет, ничего невозможно понять, невозможно постичь, сапоги вестового стучат на веранде, три часа четыре минуты, Старик уже смотрит на свой хронометр, где младший лейтенант Алекса? черный водопад на подушке не шелохнется, какое спокойствие, ненавижу, эта издевательская неподвижность, кобура с пистолетом оттягивает пояс — точно на ладонь от пряжки ремня, это ты твердо усвоил еще в офицерском училище, мы не ковбои, чтобы кольт колотился о задницу, черт, где же перчатки? три часа пять минут, плащ-палатка в прихожей на вешалке, Рита не шевельнется, с утренним автобусом, конечно, покатит в город, в то паршивое эспрессо «Три кошки», паршивый бордель, под столиком их колени вплотную друг к другу, ту сволочь тоже бы надо к ногтю, когда-то с такими разговор был коротким, убивали, как тараканов, никакой пощады, наверняка Рита летом подцепила его, когда ты был в лагерях, женщине скучно, мало ли что скучно, а что будет, если *война* и тебе уезжать на фронт, ведь про это тоже сколько угодно мерзких историй, нет, ты не станешь будить Риту, сообщать, что уходишь, нельзя унижаться, лишь бы вырвать у нее «до свидания» или обет больше не видеться с *тем* (вчера тебе это не удалось), три часа шесть минут, минуты врезаются, бороздят тебя, словно плуг, кажется, потолок вот-вот рухнет на голову, хочется выть, круг света от лампы напоминает про разговор вчера вечером, в пепельнице куча окурков, тебя мутит, это признак беспомощности, линия ноги Риты от колена к бедру — лишь об этом сейчас ты способен думать, отупев от бессилия, это самое худшее, о чем можно думать сейчас, в желудке спазмы, только б не вырвало, в глотке мерзко, нет, лампу гасить не надо, пусть горит,

пошли, товарищ младший лейтенант? — в полосе света от фонарика поблескивают капли дождя, посыльный шагает чуть сзади, так оно и лучше, сейчас у тебя нет никакого желания разговаривать, струйки дождя затекают под воротник плащ-палатки, под шинель, десять шагов — и сапоги в грязи, тебе это сейчас неприятно, *особенно сегодня*, от запачканной обуви появляется ощущение, будто ты в грязи с головы до ног, раздражение и досада словно ползут вверх от щиколоток, черт побрал бы этот фонарик, сзади шлепает по лужам посыльный, тебе кажется, он насквозь тебя видит и все знает про Риту, хуже нет сочувствия со стороны другого мужчины, презрительного сочувствия, тут, конечно, любой первым делом чувствует презрение, эх, недотепа, мол, не сумел жену уберечь, ты на всякий случай рявкаешь на посыльного, что вы там плететесь, идите рядом, бедняга не понимает, в чем дело, но ускоряет послушно шаг, тебе становится стыдно, откуда знать ему про твои несчастья, в самом деле, воображаешь бог знает что, с этих пор, значит, так и пойдет, подозрения, грубость, на душе тошно от грязи — от грязи ли? ты бормочешь проклятья сквозь зубы, солдат, видно, думает, будто ты из-за ночной тревоги зол на весь мир, в этом он вполне понимает тебя, зеленый парнишка лет девятнадцати, и кому это нужно, верно ведь, товарищ младший лейтенант, пробует он завести разговор, но тут он просчитался, ты сурово выговариваешь ему, что приказы не обсуждаются, отношения между вами вконец испорчены, но как раз в тот

момент, когда воцарилось неприязненное молчание, в тебе вдруг проснулась жажда услышать доброе слово, и что вдруг тебе пришло в голову — ты светишь в лицо солдатику, он жмурится и отводит взгляд, вы, я вижу, тоже не бриты, говоришь ты самым дружелюбным тоном, на какой способен в эту минуту, но того уже не обманешь, он оправдывается, ночь, не успел, извините, да понятно, понятно, говоришь ты, я вон тоже не брился, попадет нам за щетину обоим, и с неловким смехом направляешь свет на себя, парень, однако, помалкивает, не желая попасть впросак, боится ловушки, дернуло же тебя нести такой бред, теперь не видать тебе ни уважения, ни приязни, хотя тебе это так нужно сейчас, лучше буду молчать, решаешь ты, чувствуя, что еще одна фраза, одно ненужное движение, и уверенность окончательно улетучится, ты станешь смешным, хотя боишься этого больше всего, надо взять себя в руки, собраться, туго затянутый пояс, фуражка, шинель — и еще плащ-палатка — это твоя камера-одиночка, ты обязан замкнуть себя в ней, а Рита, наверно, проснулась, рядом горит лампа, она устраивается поудобней, до утра далеко, можно выспаться без помех, сорочка сползла у нее с плеч, ты часто ей говорил, у тебя плечи красивые, и *та сволочь* тоже поди — у тебя плечи красивые, ах, черт! что это за крик, это ты, выходит, вскрикнул, солдат вскидывает голову, нет-нет, ничего, говоришь ты, чувствуя, что краснеешь, поскользнулся немного, а сам испуганно вслушиваешься в тишину, пытаясь понять, не говорил ли ты вслух, как будто слова (если ты в самом деле вслух разговаривал с Ритой) все еще парят где-то рядом, в предутренней тьме, первым делом проверю снаряжение, твердо говоришь ты себе и сжимаешь зубы, может, так удастся и мысли свои обуздать, вот ограда казармы, фонари, прожектора, рокот моторов, часовой у ворот отдает честь, ладно, ладно, я младший лейтенант Алекса, часовой здоровается, грязь, грязь кругом, сапоги все в грязи, грязь по колено, грязь по горло, Рита даже не думала умолять о прощении, что за идиотское упорство, откуда оно берется, видно, у женщин это главное оружие самозащиты, о, эти женщины, когда они вместе, эти их смешки и ухмылки, эти секретные разговоры про мужей, для чего все это, ведь они унижают и самих себя, и нас, разве нельзя как-то иначе, без предательства, без унижений, не надо бы им разрешать быть вместе, наверняка какая-нибудь подружка научила этому Риту, какая-нибудь ненасытная стерва, ну, ну, возьми себя в руки, навстречу идет ефрейтор Раби с двумя солдатами, они ходили за боеприпасами, плащ-палатки их развеваются в свете прожекторов, взводы уже строятся, посыльный просит разрешения вернуться в казарму, да-да, ступайте, ты на минуту остаешься один, стоишь на плацу позади трехтонного «чепеля», мотор грузовика уже работает, дребезжит капот, пыхтит выхлопная труба, едкий запах бензина бьет в ноздри, ничего, пускай бьет, на плацу раздаются команды, ну вот, младший лейтенант Алекса, ты в своем гарнизоне, ты в броне из фуражки, шинели, салют, теперь твердо, еще тверже шагай по земле, блестящей от сырости, Рита, никакой Риты, вдохнуть глубоко, вот так, вот так, выдохнуть, судорога в желудке отпускает, вперед, ровней шаг (левой, правой) — надо бы проследить за своей походкой, но тогда сразу собьешься с темпа, мы умеем ходить, лишь не думая о том, как идем,

из подвала выходят ребята, получили патроны, подтяни-ка ремень, здесь, сзади, черт возьми, осторожнее с пулеметом, Винце здесь? Винце, встать, встать, под дождем плывет запах отсыревших шинелей, ремней, вонь ружейного масла, портянки у всех в порядке, ребята? чтоб никто у меня не хныкал на марше, прямей, Капуш, не качаться, выспитесь после демобилизации, чья это фляжка валяется, поднимите, а то, если я подыму — слова вырываются сами собой, ты слышишь собственный голос, он октавой выше, чем нужно, это плохо, счастье еще, что вокруг такой шум, сорочка спустилась с пле-

ча, ты скрипишь зубами, а, ладно, дождь идет, дождь, не растаете, Майер, солдат не должен бояться дождя, ну-ка, подтянуться,

шум стихает, тихо, секунда, две секунды, тихий шелест дождя на касках, на плащ-палатках, три секунды, как тихо, шеренги застыли, никто не шевелится с момента, как прозвучала команда, резкий голос Старика, твердый, уверенный, *смирна!* протяжное *сми* как гул урагана, многократное *ррр,* тугое, весомое *н* и *а,* будто спущенная тетива, все движение замерло, четыре секунды, шеренги, правильные и на флангах, и во фронте, и даже по диагонали, ряд, ряды, боевой строй, впереди офицеры, у Старика по стеклам очков стекают капли дождя, блестят мокрые каски в лучах света, даже плащ-палатка у Старика на плечах выглядит так, словно на заказ шита у лучшего портного, подогнана по размеру, он, застыв, стоит в своей безупречной форме, вслушивается в тишину, вот это тебе нравится в нем больше всего, непоколебимое уважение к форме, к законам военной профессии, ты и сам вытягиваешься в струнку, ищешь глазами его взгляд, тебе бы на миг за него уцепиться, Старик на полголовы ниже тебя, шрам на левой щеке, след пули, лишь сейчас, в ярком свете прожекторов, отбрасывающих глубокие черные тени, ты по-настоящему разглядел этот шрам, на нем борода не растет, пуля, видно, и кость задела, а что, если б эта немецкая пуля там, в горах Словакии, летела на несколько сантиметров выше? — вот о чем ты думаешь в эти секунды, да и кроме того случая сколько раз он, должно быть, смотрел в лицо смерти, ты стоишь перед своей ротой, стараясь поймать его взгляд, взгляд человека, которого коснулось уже дыхание черной пропасти небытия, но который умеет сейчас стоять так недвижно и терпеливо перед своим гарнизоном, с сознанием ответственности за доверенных ему людей, за все, наслаждаясь тишиной, воцарившейся после команды «смирно», наслаждаясь дисциплиной, плодом его воли, ты смотришь не отрываясь на седого этого офицера, твоего командира, почти подвижника или монаха по своему образу жизни, и в торжественном молчании этих секунд силишься угадать, откуда он черпает силу, неутомимость и вдохновенную волю — ведь ты тоже мечтаешь, *тоже мечтал* стать таким офицером, мечтал со времен действительной службы, с офицерского училища, и когда, в первый день прибытия в гарнизон ты увидел его, в том, как он пожал тебе руку, как пригласил сесть, в каждом его движении, голосе, строгом взгляде, сдержанной и все же располагающей к себе улыбке, в манере держать себя ты узнал тот образ, что до тех пор нечетко, туманно жил в тебе как твой собственный будущий облик, и, хотя подражать другим ты всегда избегал, теперь ты порой замечаешь, что с солдатами говоришь его голосом, день проводишь с его строгим к себе отношением, монотонный армейский труд выносишь с подсмотренным у него упорством, но Рита, Рита, она вечно старалась хоть чуть-чуть расшатать каркас, который ты столь заботливо возводил, чтоб на нем изваять свою жизнь, свой характер, она подбиралась то с одной, то с другой стороны, а ты позволял ей играть с собой, как ребенку, отдавал ей игрушкой себя и свое будущее, почему-то уверенный, что сломать она все равно ничего не сломает, ты старался не обращать внимания на ее капризы, ты не мог решить, что важнее: служить сладкой ее тирании или строить тот образ, что был *единственной твоей целью* в жизни с тех пор, как ты в первый раз надел форму, и, пока ты малодушно уклонялся от ответа на этот вопрос, Рита отлично разобралась, что важнее всего для нее, она не имеет и никогда не имела понятия, как сильно ты рисковал, когда доверился ей, когда она заставляла тебя выполнять ее прихоти, но ты не подозревал об этом, откуда? — не понимаем мы женщин, старина, женщины — это совсем непохожие на нас существа, особенно если у них нет настоящего дела, которое удовлетворяло бы их как людей, и это самое скверное, самое опасное состояние, ты теперь и сам понимаешь, Рита не способна

быть помощницей в твоей жизни военного, она не поддержит тебя, а потянет вниз, она не понимает по-настоящему, что это такое — мужское призвание, ей в тебе нужен только мужчина, а все *остальное* для нее пустой звук, мужчин же много, мужчин тысячи, тех мужчин, которые нужны Рите или любой другой женщине тут ничего не попишешь, Рита не увидела того, что в тебе основное, в этом ты, должно быть, и сам виноват, надо было как-нибудь определеннее объяснить ей, в чем тот путь, который ты выбрал и который должен пройти, пока станешь таким, как Старик, ты, может быть, стеснялся или не умел объяснить ей это, а может, и объяснять-то не стоило, женщина это должна чувствовать, только с той можно жизнь прожить, которая без объяснений почувствует и поймет, в чем ее долг, долг, может, и беспокойный, и утомительный, и не столь уж почетный, но без него, без чего-то такого человек не почувствует себя человеком, в конце концов ведь и женщина человек, черт возьми, и твоя служба, конечно, не сахар, но чего бы ты стоил без такой вот *службы*, служения, чего бы стоил Старик, вся его жизнь, если б он где-то когда-то отступил, испугался, позволил себе ослабеть, оробеть, шесть секунд — это пик тишины, ее взламывает рев моторов, «чепели» снова заведены, двинулись противотанковые 75-миллиметровые орудия, они катятся, брызгая грязью, Рита, Рита, Рита, что же делать, эта секунда — последняя, как отсюда сбежать, нельзя же оставить ее *там*, и *будь что будет*, снова судорога в желудке, может, упасть в обморок или еще что, но тогда попадешь к полковому врачу, ерунда, не думай об этом, тогда уж наверняка не оберешься позора, один за другим ревут «чепели», взбираясь к шоссе, на откос, семь секунд, сейчас прозвучит команда выступать, Рита, что же делать, побежать домой, схватить ее за плечи и трясти, трясти, Рита, что же будет с нами, ты видишь, мне уходить, а в тебе все застыло, черт бы побрал это твое упрямство, грузовики воют, орудия кренятся набок на повороте, ты стоишь в свете прожекторов, земля горит у тебя под ногами, как жарко, хоть бы двинулись уже, что ли, идти маршем по грязной дороге, потом через лес, отметка 456, направление северо-восток, неприятель окопался у населенного пункта Ж., а Рита нервно смеется, отталкивает твою руку, как ты не понимаешь, ну как ты не понимаешь, повторяет она, я ни в чем перед тобой не виновна, это самое страшное, самое непостижимое, эту женщину невозможно понять, она, если надо, отчаянно защищается, шипит, словно загнанный в угол дикий зверек, она выдумала себе что-то, якобы это ее право, и защищает свою выдумку всеми силами, протестует, кривит душой, лжет — и даже не прикрывает своего тела, надо было бы запереть ее на замок, смешно, просто смешно, паршивая, идиотская ситуация, интересно, что бы сделал Старик на моем месте, *у него-то как оно было*, он никогда ни единым словом не обмолвится про свою жену, вообще не любит разговоры про женщин, офицеры в клубе в его присутствии как-то стали рассказывать разные случаи, он тогда поднял сухую, строгую свою руку, смею надеяться, вы не станете обсуждать во всеуслышание, как работают ваши желудки, вы же еще не маразматики, сказал он, сказал вежливо, без оскорбительной интонации, выводы, мол, извольте сделать сами, вот что ты вспоминаешь сейчас, на восьмой секунде, когда последний «чепель» выезжает за ворота и Старик подает команду, ты цепляешься за его голос, раз уж взгляд его так и не удалось поймать, а как он нужен тебе сейчас, его взгляд, ты ловишь голос, что летит над шеренгами, летит над тобой, он пронизывает тебя до подошв, словно молния, пойманная громоотводом, разряд наполняет тебя, сжигая и очищая, ты выбрасываешь вперед левую ногу и трогаешь с места роту, за мной шаго-о-ом! арш! ритмично позванивает оружие, лужа в ямке, крайняя правая шеренга вся ступает точно в нее, это только начало, половина четвертого, сырой холод, темень, отметка 456, на оружии мокрые блики прожекторов, ворота

распахнуты настежь, левой, правой, левой, правой, левой, правой, ты бросаешь руку к фуражке, два километра по шоссе, затем поворот направо, *та самая* тропа среди мокрой осенней листвы, кустарник, торчащие ветки, сапоги то и дело оскальзываются, но ребята еще не устали, ломятся через лес, как медведи, не отставать, отделениям держаться вместе, тебя догоняет Капуш, ты наклоняешь голову, проходя под сухой веткой, на затылке дыхание Капуша, запах мокрой шинели, запах опавшей листвы, камень, кто-то споткнулся, за ним еще кто-то, под ноги смотреть — спасибо этому камню, вот этот твердый голос — он уже твой, привычный солдатам, командирский безличный голос, рабочий голос, в нем нет ни Риты, ни растерявшегося младшего лейтенанта Алексы, правда, голос этот еще не такой, как у Старика, у того приказы совсем не нейтральны, они выражают его личность, ты и этому должен еще научиться, чтобы твоя работа была не просто исполнением долга, но делом жизни, ты опять представляешь себе Старика, которого в темноте не видно, представляешь его планшет, хронометр со светящимся циферблатом, руки с сухой кожей, широкий, спокойный шаг — и сам расправляешь плечи, заглядываешь в лица солдат, это пока только роль, но сейчас эта роль необходима тебе, постель Риты, ее обнаженные плечи, водопад волос постепенно отступают туда, за деревья, рассеиваются, тают, ты ощущаешь в ногах ритм марша, напряжение икр на подъеме, ты чувствуешь свое тело, мышцы, впереди и позади тебя молчаливые шеренги солдат, молчаливо взбирающихся по склону с полной выкладкой, ты слышишь затрудненное их дыхание, ты чувствуешь роту, словно единое тело, часть которого — ты сам, рота движется по намеченному маршруту к намеченной цели, скоро утро, ноябрьское утро, лес скрывает солдат, капли сыплются с поредевших крон, ты ведь любишь лес, у тебя в детстве был заповедник под Х., на поляне с пятью дубами — нежилая избушка, убежище для лесника и для лесорубов, с земляным полом, внутри слегка пахнет мочой, и все же в избушке уютно, на двери массивный засов, по краю поляны дорога, дядя Янош с телегой, сало на прутике над костром, рыжая лисица среди зарослей папоротника, штабеля бревен на вырубках, бук, вяз, дуб, дикая груша, граб, следы лани, охотничья засада, лесорубы плюют на ладони, трехминутный привал, можно перекурить, от сигареты горечь на языке, дым дерет грудь, ты закашлялся, ну еще бы, сколько выкурил с вечера, солдаты собираются в кучки, в темноте тлеют рои угольков, дождь стал вроде потише, может, перестанет совсем, даже, может, солнце выглянет днем, отметка 456, вышка будет уже видна на фоне серого неба, солнце взойдет в 6.48, до этого еще больше двух часов, к тому времени рота будет уже возле Ж., первый штурм, артподготовка, атака под прикрытием танков, затем, прочесав деревню, преследовать неприятеля, ориентир — усадьба хутора Т., Старик стоит на пригорке, освещает фонариком карту, свет скользит по блестящему целлулоиду, зеленые, коричневые пятна, черные, красные линии, есть вопросы? господи, он словно и не чувствует дождя, есть вопросы? как бы вы поступили, товарищ майор, вот что хочется тебе у него спросить, вы бы что сделали, если бы ваша жена, вы ведь знаете Риту, вы бы что сделали, светящийся циферблат на хронометре, Старик словно и не был под дождем, он стоит на пригорке, солдаты вокруг приглушают голоса, ну, тогда вперед, говорит он офицерам, вы бы как поступили, молча спрашиваешь ты, когда Старик поднимает глаза, он ловит твой потерянный взгляд, случилось что-нибудь, Алекса? — вот так когда-то учитель истории обнял тебя за плечи в коридоре школы после смерти отца, в солнечное июньское утро, у высоких, до потолка, окон, но тогда ты был совсем юным, тебе так нужна была поддержка этой сильной, пахнущей табаком руки, напоминающей руку отца, тогда ты мог еще не стесняться своего страха, растерянности, ты еще боялся того, что ждет тебя в жизни, и мог быть благодарен учителю, ощутив на плечах его руку, и бесче-

ловечное равнодушие январского сверкающего снега тебе не казалось уже воплощением безнадежного одиночества, но теперь ты взрослый мужчина, офицер, на тебе ответственность за себя, за своих солдат, за свое призвание, и теперь ты не можешь так же легко принимать постороннюю помощь, если хочешь добиться в жизни чего-то, если хочешь стать таким, как Старик, случилось что-нибудь, Алекса? как хотелось бы все рассказать, сбросить с себя это напряжение, но кто знает, может, именно оно-то и нужно тебе, это мучительное напряжение, может, и Старику нужно было в свое время что-то подобное, чтобы стать таким вот решительным, твердым, чтоб излучать силу, огромные светлые окна в коридоре школы, рука историка, пахнущая табаком, подростку нужна была эта рука, чтоб направить его на тропу, которой идут сильные люди, но теперь ты уже не имеешь права ждать помощи от кого бы то ни было, и никогда больше не будешь иметь этого права, до конца своей жизни, прошло время, когда ты мог ее ждать, случилось что-нибудь, Алекса? нет, ничего, товарищ майор, я обдумываю задание, это ложь, конечно, но и правда тоже, а значит, удачная ложь, разум твой все острее с приближением рассвета, Старик изучающе смотрит тебе в лицо, может, он видит тебя насквозь, неужели он и на это способен? — наверняка способен, ты спешишь повернуться кругом, энергично и четко, чтобы он не заметил смущения, торопливости, не заметил, что ты просто хочешь сбежать, ты уже рад, сделав два-три шага, раствориться в предутренней темноте, хоть язык удержал за зубами, думаешь ты, уже кое-что, ты боялся совсем не того, что мучительная твоя, такая унизительная для мужчины тайна откроется всем, Старик не таков, как другие, в его взгляде бы не мелькнуло насмешки, ты просто рад, что выдержал испытание, хоть это оказалось и нелегко, ты и перед солдатами теперь ощущаешь себя увереннее и, чувствуя некоторое уважение к себе, даешь команду выступать, Сабо, возьмите у Нидерманна пулемет да глядите под ноги, черт побери, а то нос расквасите, корни всюду торчат —

впрочем, это звучит скорей дружески, как-никак мы мужчины, лес полон мужчин, они тащат оружие, пробираются через заросли, спускаются по склону с горы, это тоже не фунт изюма — в полной выкладке, напрягая мышцы плеч и спины, оскальзываясь на мокрой листве, идти вниз, балансируя и отклоняясь назад, это куда трудней, чем взбираться вверх, глубина манит к себе, тянет, не давая остановиться, десять минут — и уже дрожат ноги, напрягаются икры, все мышцы на пределе, а ведь это только начало, возле Ж. предстоит атака, к полудню надо быть у хутора Т., а вечером в горном селении Г., там отдых, три с половиной часа, в девять утра — новое наступление, Нидерманн судорожно вцепился в пулемет, он портье, говорит по-немецки и по-французски, манеры у него безупречные, портье он, наверно, отличный, Сабо учится на композитора, Капуш — трамвайный кондуктор, но сейчас все это не имеет значения, все они, как один, солдаты и спускаются вниз по склону, дождь утих, слава богу, задул предрассветный ветер, подхватил терпкий запах умирающих крон и гниющей листвы, аромат лесной земли, может, ветер разгонит тучи, тогда высохнут шинели, сапоги, мы здесь все мужчины, думаешь ты, мы должны идти через мокрый лес, хрустят сучья, ветки хлещут в лицо, слышна беззлобная ругань, подтянуться, подтянуться, не отставать, кто там бренчит оружием, вы не в цирке —

первые домики, маленькая деревня на опушке леса, в одном окошке горит свет, чья-то тень на занавеске, забор с почтовым ящиком, на натянутой проволоке звякает цепь, эй, оставьте собаку в покое, подтянуться, подтянуться, две вереницы солдат вдоль проселка, по левой обочине и по правой, сапоги шуршат по траве, пока пройдено всего шесть километров, направление северо-северо-восток, впереди еще тридцать, вереницы теней в брезжущем сером рассвете,

на небосводе у горизонта прорезается щель, из нее рвется красный свет, тучи там уже разошлись, проселок упирается в шоссе, дорожный знак, первые просыпающиеся птицы, светает, по обочинам бесконечные цепи солдат, шаг держать не надо, цепи выгибаются, обходя кучки щебня, цепи тянутся, тянутся, тянутся, камушки хрустят под ногами, это твои шаги, их ты должен будешь помнить всегда, помнить пройденные километры, марш-броски, боевые задания, *успешно выполненные задания,* как всегда будет помнить Нидерманн свою стойку в отеле, Сабо — сочиненную музыку, Капуш — трамваи, ребята уйдут, кончат службу, но каждый из них будет где-то делать то же, что делаешь ты, это у всех тут общее, выполнять задачи, делать свое дело хорошо, точно, красиво, и это единственное, о чем ты обязан заботиться в первую очередь, чтобы после было о чем вспомнить, без Риты ли, с Ритой, суть одна,

глубокое низкое буханье — это орудийные залпы, артиллерия бьет по позициям условного противника, светает, пелена туч сдвинута к западу, на востоке чистое небо, уже видны лица солдат, со стороны Ж. мчится командирский вездеход, старшина Танцош бежит с докладом к майору, Старик говорит что-то старшему лейтенанту Бенедеку и садится в машину, залпы, началось, вдоль дороги стоит кукуруза, закрывая деревню, на высоких стеблях, на месте собранных початков пучки разлохмаченных волокон, земля черна от дождя, на верхушках деревьев бледные пока лучи солнца, колокольня, белые стены домов, заборы, сельская лавка, пожилая крестьянка у калитки смотрит на череду солдат, смотрит на тебя, куда, сынки, туда, вперед, машешь ты, ее взгляд провожает тебя, вездеход стоит на площади перед церковью, Старик на подножке, здесь встречаются роты, во дворе школы походные кухни, сначала первый взвод, его ведет ефрейтор Раби, солдаты протягивают котелки, проголодались после такой дороги, восходит солнце, час дается на отдых, старший лейтенант Бенедек угощает тебя сигаретой, ты берешь, дым приятен уже, ты прислоняешься к стене школы, желтый свет, желтые кроны деревьев на площади, деревянный мост, руки, ноги ноют слегка, в бедре временами боль, плохо ты готовился к этому маршу, что говорить, ну ничего, выдержишь, не помрешь, заходите с женой как-нибудь к нам — Бенедек обращается к тебе, ты испуганно вскидываешь глаза, нет, нет, он ничего не знает, тон не тот, давно у нас не были, Ката любит играть в карты, да вдвоем скучно, сам понимаешь — конечно, говоришь ты, и думаешь, поскорей бы сигнал к выступлению, что ты скажешь *им всем,* как объяснишь, может, сделать вид, что Рита поехала навестить мать, все равно рано или поздно спросят, почему ее нет, до чего прав Старик, не выставляя напоказ свою личную жизнь, вот и этому нужно у него поучиться, Бенедек ждет ответа, до чего неприятно делать вид, будто пропустил мимо ушей! прости, говоришь ты, надо сбегать *в одно место,* и улыбаешься даже, мол, о чем речь, все как надо, оставляешь его одного и неприкаянно слоняешься по двору, тебе кажется, все вокруг следят за тобой, как ты валяешь дурака, для убедительности ты даже заходишь в уборную, топчешься там в густой вони, потом слышишь, как солдаты начинают собираться, все готовы? марш — этот голос возвращает тебе уверенность, а ну-ка, не тянуть время, строиться на ходу,

запевай, левой, правой, левой, правой, раз-два-три-четыре, неуверенные голоса наконец сливаются в обретенной мелодии, жители деревни высыпали к калиткам, ты идешь впереди своей роты, левой, правой, левой, правой, ритм, ритм приводит тебя в чувство, редеют дома по сторонам улицы, дальше одни тополя, кладбище, еще домик, пашни, отставить песню, и потом — только звук шагов, четверть часа, полчаса, по деревне с песней, меж деревнями только шаг, раз-два-три-четыре, еще час ходьбы, потом напрямик по пересеченной местности, с дороги свернуть налево, через луг к подножию горы,

на лугу вода хлюпает под сапогами, колодец с журавлем, с полусгнившей колодой, деревья, лес, осенний, пронизанный солнцем, желтый лес, голые, черные ветки, двенадцать часов, ребята расстегивают верхние пуговицы шинелей, пот течет из-под касок, у кого вода есть, попить дайте, у меня кончилась, ты сердишься, говорил же, чтоб с водой экономней, по условию все колодцы отравлены, дисциплина, дисциплина, сколько раз повторять, солдаты отстают, еле волочат ноги, бурчат, Шебештен, возьмите ящик с боеприпасами, да не отставайте, ты спешишь вперед, начинается новый подъем, снова боль в бедре, что за черт, солнце достигло зенита, Рита, конечно, уже в городе, зашла в этот, как его, о дьявол, хуже нет, чем потеть под холодным ноябрьским солнцем, рубаха прилипла к спине, ты спешишь вперед, давай, давай, ребята, а ребята словно не слышат, еще бы, у тебя снаряжение раза в четыре легче, чем у них, да и ты уже еле ноги волочишь, во рту горечь, губы пересохли, потрескались, нажми, ребята, куда, к черту, провалился этот паршивый хутор, ты останавливаешься под деревом, смотришь на карту, прислонясь спиной к шершавой коре, ждешь, пока бредущий мимо солдат пройдет дальше, устало расправляешь плечи, Рита сидит в том поганом эспрессо, наверняка добралась уже, встретилась с *этой сволочью,* Рита смеется, как умеет смеяться только она, пожалуй, чуть-чуть слишком уж громко, они сидят за столиком, злость кипит в тебе, шевелись, вопишь ты солдату, он как раз взобрался сюда, к твоему дереву, солдат вздрагивает, ты с яростью глядишь ему в спину, ладно, пусть сидят, пусть сидят, плевать, ты снова смотришь на карту, ищешь ориентиры, ручей уже миновали, значит, еще два километра, на улице или на шоссе два километра — пустяк, но в гору, потом с горы, это страшно много, ты опускаешь планшет, вот когда сказались вчерашние сигареты, усталость, еще два километра, кто-то поравнялся с тобой, это последний, другие карабкаются среди кустов выше по склону, солдат, подойдя к дереву, падает на сырую траву, рядом тяжело шлепается о землю зеленый ящик с патронами, рядовой Шебештен, кто разрешил отдыхать, встать, нога, стонет Шебештен, сдергивая с ноги сапог, поправьте портянку, сколько раз говорить, чтоб портянки тщательнее наматывали, Шебештен со стоном стягивает сапог, грязная, пропотевшая портянка падает на землю, на пятке у парня уже лопнула водяная мозоль, рана растерта до живого мяса, ну, возьмите себя в руки, нельзя отставать, говоришь ты решительно, хотя больше всего тебе хочется сесть рядом с ним, еще два километра — и все, черт бы их побрал, эти два километра, сквозь зубы клянет все Шебештен, сдвинув со лба каску, светлые волосы мокрыми прядями прилипли ко лбу, прекратите, Шебештен, и вперед, да поскорее, сидеть только хуже, смотрите, как мы отстали, не пойду, и все, хоть стреляйте, ты уже в ярости, а ты-то вот, думаешь, ты-то идешь, из-за них только и идешь, что, хотите, чтоб я отправил вас к командиру, ты поднимаешь глаза к небу, потому что поднявшаяся из желудка горечь опять жжет глотку, рота, рассыпавшись, карабкается по склону, многие тащатся еле-еле, младшие офицеры торопят солдат, ну, пошли, Шебештен, скоро привал, потерпите немного, ты говоришь это и для себя самого, потом смотришь, как солдат, проклиная все на свете, наматывает портянку на стертую ногу, натягивает сапог, ты помогаешь ему подняться, идешь рядом с ним, Шебештен хромает, каждый шаг вызывает у него на лице гримасу боли, два километра, два километра в таком состоянии, никто не поверит, что это возможно, но что делать, не нести же его на себе, ты чувствуешь, как судорога сводит икры ног, как разит из-под нижней рубахи горячим потом, надо говорить что-то, чтобы поддержать дух в себе и в солдате, нажмем, Шебештен, от этого не помрете, будьте мужчиной, а сам ощущаешь рану у него на ноге как свою, хуже нет такой пытки, сапог в таких случаях жжет раскаленным железом, к твоей усталости словно бы добавляются

страдания Шебештена, заражая тебя исступлением, не помрете от этого, ну-ка, дайте сюда ящик, Шебештен опешил, упирается, есть, значит, совесть у парня, это главное, только духом упал с непривычки, но совесть у него есть, давайте, давайте сюда, чего там —

и тяжел же он, чертов ящик, его и пустым-то непросто нести, металлическая коробка, узкий ремешок режет пальцы, Шебештен немного приободрился, ковыляет рядом, смотреть больно, как он волочит по траве стертую ногу, но что поделаешь, нельзя об этом думать сейчас, надо добраться до хутора, там бедолага отдохнет, пока что от того дерева прошли всего метров сто, крутой подъем, ямы, торчащие корни, приходится обходить коряги, давай, давай, солдат, он уже дышит с хрипом, останавливается, видно, совсем выдохся, хватается за какой-то сук, сук трещит и ломается, Шебештен падает на траву, ну-ну, встать, солдат, не могу, не могу, эх, так вашу, твоя ладонь мокра от пота, ты поднимаешь его, вперед, вперед, мышцы напряжены до предела, подъем все круче, ты совсем пригнулся к земле, возле самых глаз пучки желтой травы, черные сучья, земля, земля, вперед, Шебештен, давайте руку, парень чуть не плачет, видно, что старается искренне, без обмана, ты закрываешь глаза, надо найти силы, говоришь ты про себя солдату и открываешь глаза, еще немного продвинулись, небольшой участок ровной земли, ну, теперь поднажмем, Шебештен силится сдвинуть ногу, вперед, вперед, нога словно чугунная, наконец сделал шаг, свистящий хрип из груди, еще шаг, секунда, три секунды, ты отдаешь команды лишь взглядом, тело уже обессилено, тут только воля поможет, твоя воля, которой должно хватить и на тебя, и на солдата, волочащего больную ногу, инстинкт велит быть спокойным, а мышцы каждый миг отказываются подчиняться, воля приказывает ногам нести тебя дальше, вновь и вновь приводит в движение мускулы, деревья, запах земли, запах пота, борьба за метры, растянуться на влажной траве, сомкнуть веки, ни о чем не тревожиться, но нельзя, невозможно, если ты сейчас сдашься, если вы сдадитесь сейчас с Шебештеном, значит, все, конец, и это уже навсегда, нет, надо добраться до хутора, привести туда своего солдата, Рита пускай едет к матери, Старик наверняка тут же повернулся бы и ушел, а ты умолял о чем-то, допытывался, у тебя одна задача — преодолеть себя, победить, земля тянет властно, неодолимо, собраться, собраться, нажмем, Шебештен, еще нажмем, деревья редеют, сквозь стебли выгоревшего, пожелтевшего вереска уж видны серые крыши хутора, тебе не хватает воздуха, ящик с боеприпасами с каждым метром все тяжелее, еще шаг, Шебештен, еще шаг, ты обхватываешь его за плечи, и вы, опираясь друг на друга, приближаетесь к поляне — это единственная возможность, воля — единственная возможность преодолевать себя еще целых восемнадцать часов, еще много-много часов подряд, еще шаг, хрипишь ты, еще шаг, Шебештен, рано или поздно, но мы все-таки доберемся

Перевод Ю. ГУСЕВА

ДЮЛА ЧАК

Баллада о жаждущих хлеба и зрелищ

Памяти Элека Саллдобади

Пятьдесят косарей собрались с зарею на рыночной площади знойным летом года 1932-го от рождества Христова

и ожидают прибытия господ, дабы по их повелению занять свои места вдоль колосящегося поля

и пожать плоды Жизни, львиная доля которых пойдет в господские амбары, а малая толика перепадет голодным семьям косарей — в согласии с общепринятым и издревле установленным законом дележа.

Но ранее господ появляются жандармы и, заняв позицию в двадцати пяти шагах друг от друга, цепью охватывают косарей

и, подобно безмолвным, но устрашающим символам власти, вперяют взор в пространство,

лишь бы, хоть ненароком, не глянуть в лица крестьян —

ведь по уставу толпа безлика,

но она обладает силой и направлением удара, коим должно противопоставить свою силу и свое направление удара, обеспечивая власти первенство и главенство: так точно! будет исполнено!

А вот препожаловали и господа в колясках и даже кое-кто из дам — любопытство подняло их в столь ранний час из мягких постелей:

слух разошелся, будто Ишти замыслил что-то,

а Ишти такой душка, он так богат и так остроумен,

и выходки его, изощренные и пикантные, заставляют трепетать женские сердца.

Любопытство господ тоже возбуждено, однако в отличие от дамского к нему примешиваются страх и тревога:

на жандармов положиться можно, однако несколько десятков косарей, собравшихся вместе,— не шутка.

© Csák Gyula, 1974

ДЮЛА ЧАК — CSÁK GYULA (род. в 1930 г.). Венгерский писатель, драматург, публицист. Начинал литературную деятельность как журналист. В 1963 г. появилась его первая социографическая повесть «Глубинное течение» («Mélytengeri áramlás»). Затем вышли романы и повести «От рождества до рождества» («Ket karácsony között», 1967), «Человек на камне» («Ember a kövön», 1969), «Вечнозеленый» («Örökzöld», 1975), социографические очерки «Тяжкий вздох солончаков» («A szikföld sóhaja», 1977), несколько пьес, повести «Глемба» («Glemba», 1981), «В самой гуще» («Legnagyobb sürüség közepe», 1981).

Публикуемые рассказы взяты из сборника «Вор и судьи» («A tolvaj és a birák», Budapest, Szépirodalmi könyvkiadó, 1974). Они войдут в книгу повестей и рассказов, которая готовится к печати в издательстве «Радуга».

В особенности же те из господ, кто постарше и опытом умудрен, те знают, что, собранные вместе, косари эти — сила. Пусть отощавшие, сломленные, с собачьей покорностью в глазах,

но храбрость, силу и дерзость их во сто крат приумножит отчаянье: пошла вторая неделя жатвы,

а им все еще не довелось взмахнуть косой, колосья срезая, не было случая подставить пустой мешок под меру свежего зерна, чтоб вместо каши и болтушки из затхлой кукурузной муки отведать свежевыпеченного хлеба.

Работы нет.

И господа постарше и опытом умудреннее знают: ее и не будет. В косарях нужда невелика: господский урожай снимают машины, а своих посевов у крестьян нет.

Но вот он идет, сам Ишти! В белой рубашке выходит он из казино, оторвавшись от карт и абсента, в окружении

других господ, тоже только что поднявшихся из-за игорных столов; господа останавливаются за жандармским кордоном и — поначалу осоловело, а затем протрезвев от рассветной свежести — с растущим напряжением смотрят вслед Ишти.

А тот шагает вдоль выстроившихся шеренгами крестьян, шагает молча и торжественно, будто делает смотр войскам.

Он высок и красив собою: сильные плечи, волевой подбородок, удлиненный разрез карих глаз, а лоб, как диадемой, отмечен печатью одаренности.

Ишти идет не поднимая головы, шаги его ритмичны, гулки и отдаются эхом на мощенной камнем площади;

но вдруг, внезапно остановившись, он велит подойти старшему.

Колыхнулась ранее недвижно застывшая масса, вперед проталкивается невысокий, ладно сбитый человек и называет себя:

— Элек Саллдобади,—

и покорно ждет барского повеления, с какого конца поля приниматься им за работу.

Ишти указывает на мощеную площадь у себя под ногами:

— Здесь.

— Здесь?

— Здесь!

Не понимает крестьянин и вопрошающе косится на своих товарищей, но тем тоже невдомек, что затеял барин.

Добродушно усмехается Ишти: ему понятно, отчего крестьяне его не понимают. Как им понять, если они начисто лишены воображения!

Он терпеливо объясняет: мол, постарайтесь представить, что это не рыночная площадь, а жирная, черная земля и на ней колышется пшеница.

Как будто они в поле, как будто...

И пусть немедля принимаются за работу, становятся в ряд с края площади и начинают махать косами, вроде бы косят пшеницу;

плату свою они получат, как если бы в самом деле косили пшеницу.

Советуются промеж собой крестьянские вожаки и соглашаются выполнить желание Ишти: скосят они эту несуществующую пшеницу, ежели потом им заплатят взаправдашней.

Вздохнул Саллдобади, поднял косу — и осторожно подсек ею воздух,

а за ним и остальные — поначалу неуверенно, неловко, а после втягиваясь; все исправнее и резвей ходят косы, как ходят из лета в лето, когда на жатву подряжается артель.

Ну и зрелище — залюбуешься:

пять десятков косарей косят на голом месте.

А Ишти подстегивает их воображение:

велит им время от времени отбивать косы, как то положено при косьбе,

велит им песни петь, как поют косари, когда работа в поле спорится.

И затягивает старик крестьянин дребезжащим голосом:

«Над заросшим прудом утица летела, а в широком поле пшеница поспела...» Однако Ишти напев кажется слишком уж тягучим, он велит петь другую песню: «Ах ты дом, моя хибара, вспыхнула-заполыхала...»

Любо-дорого смотреть!

Жандармы поуспокоились, стоят ухмыляются.

Господа улыбаются в усы.

Дамы смеются и хлопают в ладоши.

Встает солнце и с удивлением взирает на площадь.

Встает город, заслыша новость, собираются горожане, тысячами обступают площадь и хохочут.

Рыночная площадь превращается в арену.

Но вот какая-то девчушка-подросток вдруг восклицает: а вязальщицы снопов где же?!

Ишти подзывает ее к себе, целует в лоб: у малышки есть фантазия — и отдает распоряжение, чтоб

каждому косарю определить вязальщицу. Подряжаются исполу девушки, женщины, склоняются за рядом сверкающих на солнце кос; только булыжники на площади раскалились, вот босые вязальщицы и прыгают с камня на камень,

и это дает новую пищу веселью.

Вся площадь залита морем веселья. Блажен и радостен день сей. Блажен господь, день сей ниспославший. А Ишти — герой этого дня.

Теперь уж и господа забыли свои страхи, хохочут вовсю, слезы от смеха утирают.

Со свистом ходит коса старого Саллдобади, падают слезы его на камни, и видит он: каждая капля распускается цветком,

и вот уже вся широкая площадь — что луг необъятный, и господа стоят там бок о бок, точно пшеничные колосья,

а пятьдесят косарей их косят рядами, и каждый цветок на лугу уже рдеет от крови,

и каждый взрыв хохота глохнет в предсмертном хрипе.

Такие картины рисует в уме старый Саллдобади, потому как воображением и его бог не обидел.

Наследство

Большой зал, где трудились семнадцать бухгалтеров, полнился привычным рабочим гулом. Монотонный ритм его вдруг прорезал визгливый женский голос:

— Коллега Коллар! Вас к телефону!

В дальнем углу из-за стола поднялся пожилой человек и нерешительно посмотрел на окликнувшую его женщину; та подняла над своей неимоверно пышной прической телефонную трубку и размахивала ею, точно кнутовищем.

Коллару редко звонили, и оттого он пересек зал в некоторой растерянности. Взволнованный и плохо различимый женский голос сообщил, что умер господин Хрушка.

— Как умер? — воскликнул Коллар и, чуть отстранив от себя телефонную трубку, недоверчиво взглянул на нее.

Женщина на другом конце провода повторила горестную весть и плаксивым тоном добавила:

— Приходите, пожалуйста, а то я прямо не знаю, что делать.

— Когда это случилось? — спросил Коллар.

— Полчаса назад,— ответила женщина.— Я занималась уборкой в соседней комнате, и радио было включено на полную громкость,— торопливо продолжала она.— Перед этим, когда я ему завтрак подавала, он еще шутил со мной, а потом вот вдруг...

— Ладно, сейчас приеду,— прервал ее Коллар и положил трубку.

Он постоял с минуту, глядя прямо перед собой печальными глазами, под которыми резко выделялись отечные мешки. Затем начал было стаскивать серые нарукавники, но тотчас же спохватился, а вдруг его не отпустят с работы, поправил нарукавники и повернулся к женщине с пышной прической:

— Если меня будут спрашивать, я у начальства. Очевидно, мне придется уйти,— торжественно добавил он и даже выпрямился.

Осторожно постучав, Коллар вошел в кабинет начальника и выжидательно остановился, так как начальник, по обыкновению, заставлял своих подчиненных ждать. Наконец он оторвался от бумаг и, озабоченно нахмурив лоб, поднял глаза на старика.

— Слушаю вас.

Коллар, вытянувшись, ловко, даже немного по-военному, щелкнул каблуками.

— Прошу разрешить мне отлучиться на несколько часов. Сейчас сообщили, что мой старый друг... скончался. Он был холостяком, так что некому теперь... позаботиться о нем.

Начальник благоволил к Коллару — тот был старательным работником, и, кроме того, ему импонировала несколько старомодная чиновничья почтительность, которая сквозила в каждом жесте пожилого бухгалтера. Озабоченные складки на лбу разгладились, и начальник кивнул:

— Конечно, идите. Выражаю вам соболезнование.

Начальник снова уткнулся в бумаги. Старик стал в позицию «вольно», однако не двинулся с места.

— Возможно, вы его помните, это коллега Хрушка... Всего полгода назад он работал у нас как пенсионер. Может... учреждение возьмет на себя расходы, связанные с похоронами?

Начальственный лоб снова пошел морщинами.

— Похороны за счет учреждения?.. Не думаю, чтобы в данном случае для этого имелись основания. Вот разве что венок... Поговорите с Лантошем, можете сослаться на меня.

— Слушаюсь!

— И... разрешаю вам сегодня не возвращаться на работу. Еще раз примите мои соболезнования.

Квартира покойного Хрушки была просторная, но неуютная. Во всех комнатах царил полумрак, не считая гостиной, выходящей окнами на Большое кольцо и поэтому невыносимо шумной.

На звонок Коллара дверь отворила старая, сгорбленная экономка и ударилась было в слезы, но Коллар тотчас удержал ее вопросом:

— Врач уже был?

— Да, конечно!.. И его преподобие тоже прийти изволили, да только уж поздно было... Страдалец мой, так в одночасье взял да преставился...

То, как она сказала «страдалец мой», кольнуло Коллара, и ему вдруг сделалось жаль старуху. «Конечно, для нее это катастрофа... Шутка сказать, не один десяток лет прожили бок о бок. Куда ей теперь податься на старости лет?» Коллар почувствовал угрызения совести, оттого что в последнее время мало внимания уделял другу. Впрочем, ведь было ясно, что его не спасти. Врач так прямо и сказал еще год назад.

Он положил руку на плечо старухи, вздохнул:

— Надо смириться, такова воля божья...

Потом Коллар одернул пиджак и спросил:

— Где он?

Старуха, не переставая всхлипывать, провела его в спальню, окно которой, наглухо занавешенное, выходило во двор многоквартирного дома. Голова умершего покоилась на высокой подушке, по обе стороны изголовья теплились две полуобгоревшие свечи. Коллар, подойдя вплотную к постели, ошеломленно уставился на покрытый жидкими седыми волосами невероятно маленький усохший череп покойного: он смотрел на желтое при свете свечей лицо, которое в прежние времена лучилось таким неудержимым весельем... К глазам Коллара подступили слезы, он ласково сжал скрещенные, исхудалые до костей холодные руки Хрушки.

— Прощай, дорогой друг,— вырвалось у него со вздохом.

В этот момент из соседней комнаты донесся чей-то голос.

— Это господин Томка, он был здесь еще до вашего прихода,— ответила старуха на вопрошающий взгляд Коллара.

Коллар прижал платок к повлажневшим глазам, затем вслед за старухой прошел в гостиную. Томка, завидя Коллара, положил телефонную трубку и поспешил ему навстречу.

— Вот ведь при каких печальных обстоятельствах довелось свидеться,— проговорил он.

Они пожали друг другу руки, после чего Томка закурил.

— Чаю не желаете? — со скорбным видом спросила старуха.

Томка, кивнув, опустился в кресло.

— Значит, ушел...— промолвил он.

— Да, редеют наши ряды,— мрачно подтвердил Коллар.

Они разговорились о былом: наперебой и с восторгом вспоминали добрые старые времена, когда были молоды, сильны и уверены в себе. Но больше всего они, конечно, вспоминали о покойном; друзья отзывались о нем с симпатией, уважением и почтением перед его памятью, делая его героем каждого из упомянутых ими событий.

— Никогда не думал, что он окажется первым,— признался господин Томка.— Ведь ему жилось легче, чем кому-либо из нас.

— Это как сказать,— задумчиво протянул Коллар, размешивая ароматный чай, щедро сдобренный ромом.— Если всерьез подумать, я не знаю, так ли уж хорошо сложилась его жизнь. Пока он был молод и состоятелен, то, конечно, наслаждался независимостью. А потом, с годами, независимость обернулась одиночеством. Это жалкое существо,— он сделал жест в сторону двери,— вряд ли могло заменить ему семейный круг, необходимый каждому человеку. Бог, отчизна, семья! — возвысил он голос.— Бога у нас нет, отчизне мы не очень нужны, так что же нам остается, кроме тепла и уюта домашнего очага?

— Ну... у него были свои принципы,— уклончиво заметил господин Томка.

Коллар плеснул себе в чашку новую порцию рома.

— Очень помогли ему эти его принципы! — патетически воскликнул он и шумно прихлебнул из чашки.

Томка тоже поднес чашку к губам и вдруг ухмыльнулся.

— А может, дело здесь вовсе не в принципах, а скорее... в определенных фактах. Вспомни, как он всегда терялся в обществе женщин. По всей вероятности, у него были серьезные основания уклоняться от женитьбы.

— Что ж, возможно,— Коллар удивленно взглянул на друга. Во взгляде его вдруг вспыхнуло озорное любопытство.— Ты думаешь, он был... неспособный?

Томка пожал плечами.

— Я говорю только о фактах... Вот как сейчас помню одну историю — она на многое проливает свет. Тогда мы оба служили на почте, и как-то раз...

Коллар с интересом выслушал эту вполне убедительную историю, а потом и ему самому припомнилось нечто весьма пикантное. Приятели увлеклись, но их вольную — почти фривольную — беседу прервала старуха:

— Я приготовила бутерброды, пожалуйте отведать...

Экономка успела сменить свое домашнее платье на строгое, черное, и это вернуло так некстати развеселившимся мужчинам траурное настроение.

— Скажите, любезная,— обратился Коллар к старухе, которая повернулась было, чтобы уйти.— Что, господин Хрушка не оставил завещания? Как теперь быть с... квартирой? А что будет с вами? Не заходило ли у вас разговора об этом? Да, к сожалению, приходится думать и о практической стороне дела. Собственно говоря, мы затем и пришли, чтобы помочь вам.

Старуха удивилась, а потом удивление ее перешло в испуг.

— Нет,— пробормотала она.— Ни о чем таком у нас и речи не заходило. А со мной... как-нибудь уладится. Перееду к младшей сестре. Они с мужем безбедно живут... Небось и для меня там место найдется...

— Полно,— перебил ее Коллар.— Отсюда вас выселить никто не имеет права. Нету такого закона! Если, конечно, ваш хозяин не оставил другого распоряжения на этот счет. Хотя... с какой бы стати ему это делать? Ведь вы, насколько мне известно, жили с ним душа в душу.

— Да,— прошептала старуха.— Хозяин был очень добр ко мне.

Она не смогла сдержать слезы и торопливо вышла из комнаты.

Томка встал и обошел вокруг заставленную старой, обшарпанной мебелью комнату.

— Насколько я могу судить, тут нечего и передавать по наследству.

— Пенсия у него была небольшая, с нее особо не разживешься,— заметил Коллар и тоже встал, чтобы приглядеться к обстановке.— Если не ошибаюсь, у него сестра в Дебрецене. Надо скорее известить ее.

— Может, дать некролог в газету? — предложил Коллар.— И вообще, как видно, придется нам с тобой заняться его похоронами.

Приятели снова сели рядом и принялись составлять перечень дел и план действий.

В скором времени опять появилась старуха, держа в руках какой-то мятый конверт.

— Не зря вы меня о завещании спрашивали,— начала она.— Я и вспомнила, хозяин еще несколько месяцев назад передал мне этот конверт, да, помнится, и адресован он вам, господам Коллару и Томке. Я-то сама плохо вижу...

Коллар выхватил у нее конверт и взглянул на надпись. Действительно, письмо было адресовано им обоим, но с такой оговоркой: «Вскрыть после моей смерти».

— Э-э, вот что... принесите-ка нам еще чая. Гм, любопытно,— промычал Коллар, когда старуха послушно удалилась на кухню. Он задумчиво вертел конверт в руках. На мгновение у него мелькнула мысль: быть может, покойный сообщает им о каком-то своем утаенном имуществе? Коллару приятно было потешить себя этой мыслью.

— Давай вскроем,— нетерпеливо сказал Томка.

— Читай ты,— Коллар протянул ему конверт.

Томка нацепил на нос очки, вскрыл конверт и принялся читать:

— «Дорогие мои друзья! Вы были самыми близкими мне людьми в моей непутевой жизни и потому примите мое последнее и искреннее признание. Мне не будет покоя в могиле, если вы не простите мне грех, содеянный против вас...»

— Грех? — переспросил Коллар.

Томка тоже удивленно пожал плечами, но, заинтригованный, тотчас принялся читать дальше:

— «...Желая мне добра, вы уговаривали меня расстаться с холостяцкой жизнью и обзавестись семьей, я же неизменно отклонял ваши предложения. На то была у меня веская причина. Я думаю, вас удивит мое сообщение о том, что я, храня от всех это в тайне, был женат, причем одновременно у меня были две жены...»

— Чушь какая-то! — опять перебил Коллар.

— Мертвые не лгут,— тихо возразил ему Томка и снова вернулся к письму: — «Однако, как ни дороги были мне эти женщины, после десятилетней связи наши интимные отношения прервались, поскольку обе стали для меня невыносимы. Дело в том, что обе были замужем и обе склоняли меня к тому, чтобы я законным порядком отторг их от опостылевших мужей и разделил с ними не только ложе, но и свой кров. Однако сделать этот шаг было невозможно — и не только потому, что это противоречило бы моему решению не связывать себя семейными узами, но и потому, что мужья этих дам являлись самыми близкими моими друзьями. А дружбой с вами я всегда дорожил больше всего на свете! Да, я слишком дорожил дружбой, чтобы принести ее в жертву женским прихотям...»

Коллар вскочил и быстрыми шагами заходил по комнате. Не в силах произнести ни слова, он метался из угла в угол и фыркал, как разъяренный кабан. Томка же не мог пошевельнуться.

— Есть там еще что-нибудь? — наконец прохрипел Коллар.

— Тебе этого мало? — прошептал Томка, не сводя глаз с листа, дрожавшего в его пальцах.— Дальше нет ничего существенного. Так, дружеские приветы...

Коллар подскочил, выхватил у него письмо и перечел его. Потом швырнул письмо на стол, подошел к окну и, заложив руки за спину, уставился на шумный проспект внизу. Мысли в голове проносились с такой быстротой, что он невольно схватился за виски. Коллару вспомнилась его дряхлая, немощная жена, которая теперь едва добирается от кресла до кровати, но в былые времена славилась своей красотой. И этот ее невинный, исполненный преданности взгляд — о, коварная бестия! Когда-то ее буквально приходилось упрашивать, чтобы она была поприветливее с господином Хрушкой, ведь он, бедняга — как они считали,— невероятно застенчив и очень нуждается в женском участии...

Коллар резко повернулся, распахнул дверь в соседнюю комнату и, подскочив к покойнику, стал со злобой всматриваться в маленькое пожелтевшее лицо.

— Свинья ты, больше никто! — прошипел он.

Подошел Томка и встал рядом с ним; губы его кривились от сдерживаемых слез.

— Моя жена умерла, как тебе известно. Несколько лет назад...

Коллар вскинул на него ненавидящий взгляд.

— Умерла?.. Ну, а дети чьи? Твои или... его?!

— Не понимаю, о чем ты,— пробормотал Томка.

— Вот о чем! — заорал Коллар и ткнул в листок, который его приятель держал в руках.— Вот об этом дружеском послании с того света!

Томка развернул письмо и поднес его к свече. Он держал его над огнем, пока пламя не охватило весь листок.

— Не понимаю, о чем ты говоришь,— тихо повторил он.

— Где же вы запропастились? — из соседней комнаты окликнула их старуха.— Пожалуйте чай пить...

Талисман

Три недели не было дождей. Саманные ямы на краю села высохли до самого дна, земля на полях пошла трещинами. Колосья

ссохлись, листья кукурузы свернулись в трубочку. Придорожные деревья и траву густым слоем запорошила пыль.

Только сорнякам засуха была нипочем. Кукурузные поля заполонили сиреневато-белые цветы паслена; огромными яркими пятнами пестрели во ржи маки; зелеными островками издали бросался в глаза пырей; на арбузных бахчах, на картофельных полях пышным цветом цвели белена, цикорий, овсюг и всякая другая сорная трава. А среди густых зарослей бурьяна полное раздолье было жукам, червякам, букашкам и разной другой мелкой живности.

И нигде ни следа человека: все попрятались по укромным местам от полуденного зноя.

Проселок, ведущий от Гладкой степи до Задольной пустоши, окаймляют ивы да высокие тополя, сухие или расщепленные молнией. Проселок называли также старой дорогой, потому что существовал он с давних времен, еще до земельного раздела, в ту пору, когда вся округа представляла собой болотистую низину, и это была единственная торная тропа. В придорожной канаве и дальше, в полях овса и люцерны, до сих пор прорастают осока, тростник и камыш, давая приют лысухам, чибисам, фазанам и перепелкам.

В тени ивы — ствол у нее был необычный, раздвоенный от основания до верха,— спал старик. Пиджачишко он подложил под голову, шляпой, за давностью лет утратившей цвет и форму, прикрыл лицо, а морщинистые руки скрестил на животе. Старик сладко всхрапывал. В нескольких шагах от него собачонка-пули со свалявшейся шерстью вытянулась, точно неживая, и только задняя лапа ее время от времени дергалась во сне. Пес потихоньку поскуливал и вдруг коротко тявкнул.

— А? Что? — вскинулся старик, ловя скатившуюся с головы шляпу. — Иль увидела кого?

Он приподнялся, поглядел по сторонам, затем, ворча что-то себе под нос, снова лег на землю.

— Никого ты не углядела, знать, во сне чего померещилось.

Из-за пазухи линялой рубахи он вытащил трубку и принялся набивать ее. Собачонка тоже встрепенулась, подняла голову, внимательно посмотрела на хозяина, щелкнула зубами, пытаясь поймать пеструю бабочку, порхавшую перед носом, потом опустила голову и снова застыла в ленивой позе.

Старик обстоятельно, не спеша набивал трубку. Время от времени хлопал себя то по морщинистой красной шее, то по бледным, сухим, в густых синих прожилках икрам, над которыми были вздернуты штанины: комары, налетавшие из камышей, кусали нещадно. Старик недвижно глядел, как ползет по стоптанному его башмаку крохотная гусеница в лохматых багряных ворсинках.

— Эй, ты! — окликнул он собачонку и запустил в нее шляпой. — Гусеница! Ату ее!

Пули подскочила и кинулась было к дороге, но резкий окрик хозяина вернул ее. Ластясь, она прижалась своим влажным холодным носом к его заросшему щетиной подбородку, потом вдруг заметила невозмутимо ползущую гусеницу и сердито залаяла на нее. Старика забавляли собачьи проделки, он смеялся от души. Рот его широко растянулся в ухмылке, и над ним задиристо топорщилась вверх щеточка коротко подстриженных желтоватых усов.

Вдруг собака с лаем выскочила на проселок. Старик забеспокоился. Перевалившись на живот, он вскарабкался на обочину и всмотрелся вдаль, затем, не мешкая, собрал одежонку и тоже вышел на дорогу. Навстречу по густой пыли мягко катила легкая двухколесная тележка.

В тележке сидели двое мужчин. Один из них, полный, гладко

выбритый, с черными усами и в кепке — похоже, из городских; правил другой — жилистый и невзрачный, глядевший исподлобья.

— Тпру! — остановил он лошадь, когда тележка поравнялась со стариком. Правой рукой с зажатым в ней кнутом он коснулся полей шляпы и со вздохом проговорил: — Я смотрю, отец, у вас тут тоже погодка на славу!

Старик кивнул головой. Провисшая складками кожа на шее напряглась.

— Что верно, то верно,— кивнул он, переводя взгляд с одного седока на другого. — Не скажешь, что мороз крепчает!

— Вот так завернул, старина! — ухмыльнулся толстяк. — Жарища под сорок градусов, а он мороз поминает.

Старик в ответ тоже ухмыльнулся, но только из вежливости к незнакомцу, сам он то и дело искоса поглядывал на жилистого. Тот с застывшей миной уставился прямо перед собой, но вот, должно быть, почувствовав вопрошающий взгляд старика, жилистый посмотрел на него и кивнул в сторону сидящего рядом толстяка:

— Это наш новый бухгалтер.

Чуть расставив кривоватые ноги, старик неуклюже топтался в пыли. Свою палку он забыл на краю придорожной канавы и сейчас чувствовал себя неловко — будто голый среди одетых людей. Когда жилистый представил толстяка, он приподнял шляпу и громко сказал:

— Добро пожаловать!

Бухгалтер тоже был несколько растерян: ему оставалось только гадать, с кем его свел случай. Он нерешительно протянул было старику свою пухлую, поросшую волосками руку с обручальным кольцом, но, видя, что старик не понял его намерения, вскинул руку вверх — в результате получился жест, каким священник осеняет головы коленопреклоненной паствы.

— Туда, что ли, путь держите, товарищ председатель? — озабоченно поинтересовался старик у неприветливого худощавого седока.

— Заодно и туда заглянем,— ответил тот; кожа на лице у него была обветренная и туго обтягивала скулы.

— По тому самому делу?

— Да не без дела.

— В этакую-то жарищу?..

— Только сейчас удалось выкроить время,— буркнул председатель и, ругнувшись, дернул вожжи. Лошадь, измученная мухами, возбужденно всхрапнула и затанцевала на дороге. Двуколка заходила взад-вперед. Толстяк в кепке испуганно вскинул голову и облизал яркие пухлые губы. Правой рукой он судорожно вцепился в металлический поручень сиденья.

— Но-но,— успокаивающе проговорил старик и, подойдя к лошади, поправил у нее на спине сбившийся хомут. Он похлопал рукой по мокрому от пота крупу и огладил ноги вздрагивающей лошади.

Председатель туже натянул зажатые в кулаке поводья и повелительно спросил:

— Какой дорогой ближе?

Старик судорожно, захлебнулся словами, начал что-то бормотать, заикаясь, его с трудом можно было понять.

— Да токмо сюда... Все прямо... а после свернуть на Желтую гать и ехать по ней, покуда хутор не завиднеется. Колодезь-журавль у них там да три тополя пообочь хутора...

Старик не отходил от лошади, в задумчивости теребя сбрую. Председатель чувствовал, что тому хочется еще что-то добавить, но дед слишком долго собирался с мыслями, и он рванул поводья. Тележка тронулась и покатила, вздымая облако пыли.

— Только чур я вам ничего не говорил! — завопил вслед старик визгливым, пронзительным голосом.

Руки его взметнулись кверху, точно он хотел остановить двуколку или собирался принести какую-нибудь тяжкую клятву. Он снова раскрыл было рот, но голос у него сорвался на первом же выкрике, теперь вылетали лишь обрывки слов, да и те — жалкой фистулой.

Судорожно вздохнув, старик махнул вслед удалявшейся повозке, сплюнул и с отвращением пробурчал:

— Как есть дерьмо — вся людская порода.

Он сдвинул на затылок свою замусоленную шляпу, свистнул собаке, припустившейся было за тележкой, и побрел назад, к расщепленному надвое дереву, искать свою палку.

— Что это за дедок? — спросил бухгалтер.

— Сторожем он у нас,— сказал председатель. Губы его тронула чуть заметная горьковатая усмешка. — Это он углядел, как Сиксаи прятал телегу под кукурузными початками. Теперь вот боится, как бы мы не проговорились.

Толстяк поерзал, удобнее устраиваясь на сиденье. Подстилку на облучок бросили небрежно, один угол у нее загнулся, сидеть было неудобно.

— Неужели это такой уж большой грех, чтобы стоило ради этого самолично туда тащиться? — допытывался толстяк у председателя.

— Телегу-то он должен был сдать в общее хозяйство. А вместо этого спрятал ее да еще сказал, будто она сломана. — Председатель досадливо сплюнул. — Дурень, каких свет не родил. Теперь вот посмотрим, что он нам в глаза запоет.

Лошадь со спорой рыси перешла на шаг. Она долго отфыркивалась, и, когда бока ее опали, под упруго натянутой кожей проступили ребра.

Бухгалтеру до сих пор доводилось видеть лошадей только сбоку, и сейчас, поглядывая на лошадь сверху, он не переставал удивляться: поступь ее была неуклюжей, брюхо — круглое, бочкообразное — смешно колыхалось с боку на бок. Забавным казалось и то, как лошадь неуверенно переставляет задние ноги, словно боится, что они отстанут от передних. Иной раз копыта глухо стукались о выбоины, и тогда бухгалтер думал, что лошадь того и гляди завалится.

— Должно быть, устал гнедой? — сочувственным тоном спросил он у неразговорчивого председателя.

— Дурака он валяет,— буркнул тот. — Отдыхал слишком долго, оттого теперь и пугливый...

Словно в подтверждение его слов, лошадь фыркнула и, запрокинув голову, вдруг резко осадила назад. Тут перепугался и бухгалтер, потому что неожиданно из придорожных кустов вспорхнула и с резким шумом, хлопая крыльями, пронеслась над повозкой большая стая перепелок.

— Но-но, не балуй у меня,— успокаивал лошадь председатель.

Когда ему удалось перевести лошадь на спокойный шаг, его узкие губы растянулись в чуть заметной улыбке, и он покосился на смущенного бухгалтера.

— Вообще-то это не гнедой,— тихо заметил он. — Сивый — вот как он называется. — Бухгалтеру показалось, будто в глазах его мелькнул ребячий задор.

— Тогда почему же вы его называете Гнедко?

Округлившиеся глаза бухгалтера смотрели удивленно. На душе у него сделалось приятно и легко: вот уже две недели как он приехал сюда, в сельхозкооператив, а еще ни разу не видел председателя улыбающимся.

— Гм...— Губы председателя расползлись еще шире.— Потому как это его кличка. А сивым называют потому только, что он серой масти.— Взглянув на потную, раскрасневшуюся физиономию бухгалтера, на которой читалось явное недоверие к его словам, он заразительно рассмеялся: — Ну что, нелегко дается наша крестьянская наука?

— Ничего,— пожал плечами бухгалтер,— как-нибудь освою.

А про себя подумал: «Но до того, как освою, постараюсь смыться». Он пренебрежительно оттопырил пухлую нижнюю губу, а красная, как вареный рак, физиономия надулась пуще прежнего.

Все вокруг казалось ему запутанным, ненадежным, совсем другим, чем рисовалось в Пеште! Крестьянский мир, когда он вплотную с ним соприкоснулся, предстал в таком же нелепом виде, как лошадь, если смотреть на нее сверху.

Он извлек из кармана носовой платок и обтер им толстую шею. Едкий пот щипал кожу, особенно там, где были жирные складки. Неимоверно раздражало его, что из-под сиденья, как ее ни заталкивай, то и дело сползала к ногам торба с овсом. Над головой щебетала какая-то птаха; перепархивая с дерева на дерево, она долго еще провожала двуколку.

«Пальнуть бы сейчас по ней! — мелькнула мысль, и бухгалтер тяжело вздохнул.— Чушь какая,— подумал он.— Ни ружья, ни времени для охоты, ни условий подходящих».

Однажды ему довелось побывать на охоте — его пригласил управляющий банком. И свое переселение в провинцию он представлял себе примерно так же, как ту любительскую охоту, а вот что из этого получилось...

Он с досадой оглядел свои бриджи и сапоги с высокими голенищами. Что за глупость была напяливать на себя этот опереточный костюм! И выглядишь шутом, и от жары не знаешь куда деться.

Двуколка вдруг подскочила и встала. Бухгалтер чуть не вылетел ласточкой на дорогу. Узкая дренажная канава пересекала проселок, в ней-то и застряли колеса.

— Подержите-ка минуту,— председатель сунул ему кнут и поводья, а сам слез, и, прихрамывая, проковылял к бровке канавы. Он походил взад-вперед вдоль обочины, а затем, неодобрительно качая головой и ругаясь, вернулся к повозке.

— Ах, черт бы их побрал! — ворчал он, садясь в тележку.— Утащили без зазрения совести. Я велел завезти сюда три бетонных кольца и кирпичи, чтобы сделать сток как положено, и нате вам — ни кирпичей, ни бетона. Спрашивается, кому они понадобились? Ну ладно, я не я буду, ежели все до последнего кирпича на место не верну! — уже грозно добавил он и, взяв поводья, хлестнул серка под брюхо.

— Это, видите ли, наша общая социальная болезнь! — возопил бухгалтер чуть ли не радостно: наконец-то нашлась подходящая тема. Что-что, а пофилософствовать он любил.— Во Франции в семнадцатом веке карали смертью всего лишь за кражу хлеба, но воровство и тогда не прекращалось. И как думаете, почему? Да потому, что боролись против самого факта воровства, а не против причин, его порождавших.

Он бросил взгляд на председателя, но на того рассуждения бухгалтера явно не произвели впечатления. Угрюмо, молча трясся он на козлах. В его сильной, короткопалой руке податливо изгибалось кнутовище, а ремень кнута, извиваясь, непрестанно плясал по спине и крупу лошади. «До чего интересно! — подумал вдруг бухгалтер.— Нам твердят, будто труд превратил животное в человека, но вот вам и обратный пример: у этих крестьян не руки, а какие-то культи нескладные. Тонкие и гибкие пальцы скорее встретишь у человека, который не занимается физическим трудом...»

Скосив глаза на собственные мягкие, пухлые пальцы, он слегка пошевелил ими и уже собирался высказать вслух свои соображения по этому поводу, но вовремя спохватился: председатель наверняка обиделся бы. Ведь этот худющий мужик — тоже крестьянин, хотя и поумней других. Вряд ли эти сложные рассуждения были бы ему понятны.

Двуколка свернула на Желтую гать. Так назывался берег канавы, малохоженый, глинистый и довольно ровный. Правда, со времени последних дождей телеги не успели накатать колею, и сейчас двуколку безбожно трясло и качало на больших комьях засохшей грязи. Отыскав подходящий спуск, председатель направил лошадь понизу, и теперь они ехали рядом с насыпью. Дорога и здесь была не намного удобнее: пахотные земли кончились, потянулось без конца и края выжженное солончаковое пастбище, которое тут, у насыпи, сплошь было взрыто скотиной, оставившей глубоко вдавленные, засохшие следы,— но другой дороги им не попалось. Жара здесь, казалось, стала еще нестерпимей.

— Скоро мы доберемся? — не выдержал бухгалтер.

— Нам вон на тот хутор.— Председатель указал кнутом на группку деревьев, неясно вырисовывавшуюся на горизонте; определить расстояние до них было трудно.

Толстяк бухгалтер вспомнил о цели их поездки, и какой-то смутный, необъяснимый страх мурашками пробежал у него по спине. С испугом и неприязнью покосился он на своего угрюмого спутника, острый ум и решительность которого не раз приводили его в изумление, но вместе с тем он казался ему антипатичным, вернее, абсолютно чужим. И столь же чужим было ему и все вокруг. Что у него общего с этой жизнью? Что ему за дело до того, как «запоет им в глаза» этот человек, который живет на хуторе и которого он ни разу в жизни не видел? Пусть разбираются сами, как хотят, пусть хоть поубивают друг дружку!

Он в сердцах пнул опять сползшую к его ногам торбу.

Теперь он очень раскаивался, что уехал из Пешта. Его, видите ли, послали выполнить благородную миссию. Господи боже мой, да эти крестьяне во всем разбираются не хуже его! Заговоришь с членами правления о банковских перечислениях или других сложных финансовых операциях, и поначалу можно подумать, будто они не смыслят ни в чем ни бельмеса. Мнут в своих черных узловатых пальцах официальные документы, шуршат ими, как обезьяна бумажным кульком, а потом вдруг, словно на них какое озарение находит, запросто решают вопросы, к которым, даже будучи вооружен профессиональными знаниями, и то не знаешь, как подступиться. Абсолютно бессмысленно пытаться нащупать пружины, движущие крестьянской жизнью. Но он лично и не собирается этого делать. Пускай докапываются те, кто с такой помпой снаряжал его сюда! Единственный смысл его деревенской «миссии» виделся ему сейчас в напутствии шурина: «Старина, года за два ты настолько оперишься, что сможешь купить участок в Будайских горах. Ты и понятия не имеешь, сколько денег у крестьян!»

Толстяк несколько успокоился и даже не сдержал улыбки, вспомнив шутливый совет шурина: «Воспринимай назначение в провинцию как приключение. Представь, что ты, к примеру, едешь охотиться на львов. Тогда и все неудобства тамошней жизни будет легче сносить».

— Значит, этот человек припрятал телегу? — почти весело обратился он к председателю.

Мысли председателя были далеко, и в первый момент он не понял вопроса.

— Зачем она ему, эта телега? — продолжал допытываться бухгалтер.

— Ах вон вы о чем,— дошло наконец до председателя.— Телега-то для него талисман. Вроде как крест для католика. Вдруг, думает, да еще пригодится. Живет с оглядкой назад и в этом черпает силы...

Председатель досадливо, язвительно рассмеялся. Сунув под себя кнутовище, он намотал на руку вожжи и достал портсигар. Оба закурили. Бухгалтер, повеселев, пускал дым в небо. Сейчас у него и впрямь было ощущение, что он исследователь в дебрях Африки.

С интересом присматривался он к хутору, который теперь уже можно было разглядеть как следует.

На окраине хутора стояли не три, как говорил сторож, а только два тополя. Да и колодец-журавль находился не «пообочь», а на довольно порядочном расстоянии, возле высохшей саманной ямы. Колодец этот был одним из самых старых степных колодцев, зато саманная яма и возникший при ней хутор появились в ту пору, когда северный участок пастбища был отведен под пашню.

Собственно говоря, это был даже и не хутор, а скорее летняя постройка, крытая соломой хибара, которая состояла из двух частей: большая служила хлевом, а та, что поменьше, предназначалась для людского жилья. Тонкая перегородка из стеблей подсолнухов, кое-как скрепленных глиной, разделяла помещения. По соломенной крыше извивались сухие тыквенные плети. Хозяин каждый год заменял их свежими, чтобы предохранить крышу от ливней. Позади постройки отбрасывали слабую тень несколько чахлых слив, а под ними разместился примитивно сложенный открытый очаг. Чуть поодаль виднелся свинарник, сколоченный из прогнивших, обшарпанных досок и утопавший в луже, а за ним — около десятка стогов разной величины: сено, солома, мякина, кукурузные початки. Часть стогов принадлежала хозяину хутора, остальные являлись собственностью кооператива; перевезены они были сюда совсем недавно. А позади стогов с кормами тянулись уходящие вдаль поднятые два десятка лет назад пахотные земли, по большей части солончаки.

Поблизости от колодца кооператив построил временный загон, и сюда поместили пока выбракованных коров, которых обихаживал Антал Сиксаи, довольствуясь той малой помощью, которую могла ему оказать дочь, девочка-подросток.

Вообще-то Сиксаи считался зажиточным хозяином. В селе у него был хороший дом, и здесь, посреди степи, Сиксаи тоже собирался отстроить хутор по всем правилам, но это его намерение было перечеркнуто широкой волной коллективизации, захлестнувшей и его самого.

Сиксаи издали заметил двуколку и поджидал незваных гостей у хибары. Росту в нем было, должно быть, метра два, вздумай он выпрямиться, но такое с ним случалось нечасто: изнурительно тяжкий труд пригнул его, изменил осанку, но, несмотря на это, угадывалась в нем недюжинная сила. Руки он держал чуть согнутыми в локтях и слегка приподнятыми, что делало его похожим на медведя, стоящего на задних лапах. А глубоко посаженные круглые глаза придавали ему сходство с филином. Не шелохнувшись, смотрел он вдаль и лишь по временам смежал веки, будто боролся со сном. Его густые рыжеватые брови двумя ровными дугами венчали чуть выступающие надбровья. Овал лица широкий; крупный, костистый нос резко выделялся на лице — не нос, а клюв степного орла. Облачен был хозяин в залатанную, выцветшую рубаху и грубые холщовые штаны, перехваченные у пояса веревкой. Штанины доходили только до середины икр, обнажая босые ноги того же цвета, что и земля под ними.

— Никак подмога подоспела! — приветствовал он гостей.— Будет кому воду качать.

Бухгалтер сразу почувствовал: издевка относится в первую очередь к нему. Он уже привык к тому, что его неловкие ухватки не-

изменно вызывают насмешки у крестьян, и хотя они не могли тягаться с ним по уму и образованности, но этим людям ничего не стоило вмиг выбить у него почву из-под ног. Иногда он пытался дать им отпор, но каждый раз получалось, что он только предоставлял всем новый повод выставить его на посмешище. Поэтому теперь он решил, что благоразумнее будет смолчать.

Председатель направил повозку к сливовым деревьям; туда же подоспел и Сиксаи и помог распрячь лошадь. Бухгалтер осторожно выбрался из двуколки, вдохнул полной грудью и сладко потянулся. Приятное покалывание во всем теле настроило его на шутливый лад.

— Выходит, воду качать — тоже работа? — бросил он хозяину слегка задиристым тоном, усвоенным им у крестьян, и зевнул так, что даже челюсть свело.

— А неужто не работа? — сердито воззрился на бухгалтера здоровенный детина.— Господам легко говорить.— Он вытянул вперед огромные потрескавшиеся ладони.— Эвона, руки как натрудишь, шутка сказать: сорок ведер за день! Послушал бы я, что запели бы на моем месте некоторые, кто в конторе прохлаждаться привыкли!

Председатель поджал губы: такого рода подковырки всегда выводили его из себя.

— Может, пройдем в помещение? — сказал он тихо и заковылял первым. Он старался сдержаться, но не утерпел.— А то мы полдня на самом пекле прохлаждались,— бросил он через плечо хозяину.

— Небось от одной прогулки солнечный удар не хватит,— негромко огрызнулся хозяин.

Вежливо пропустив бухгалтера, он пошел следом.

Едва гости переступили порог хибары, большая рыжая курица с отчаянным кудахтаньем проскочила рядом с ними. Другая квохтала под яслями.

— Кудах-тах-тах, знать, яйцо снесла в кустах! — дурачась, подхватил бухгалтер.

Дочка хозяина — войдя в темную хибару после яркого света, они не сразу заметили ее — поливала пол из дырявой кружки. Девочка была не по годам развита, рослая и крупная в отца, с таким же широкоскулым, как у него, лицом. Она на мгновение перестала выписывать восьмерки на пыльном полу, согнутой в локте рукой обтерла лоб и ответила на шутку бухгалтера такой же бурной вспышкой веселья:

— Оно бы славно было! Да только петух их топтать перестал, как прознал, что все яйца в кооператив идут!

Отец негромким смехом поддержал грубоватую шутку дочери, поискал, куда бы усадить гостей. Председатель сунул в рот сигарету, чиркнул спичкой и, почти не разжимая губ, ответил:

— Куры — они и без того несутся! Чай не девки, чтоб их обхаживать.

На этот раз засмеялся бухгалтер и даже одобрительно похлопал председателя по худому плечу.

Гости разместились на низких табуретках, а хозяин присел на корточки на пороге между хлевом и жилой половиной хибары, опершись спиной о притолоку. Девочка побежала к колодцу.

Наступила пауза. Председатель глубоко затягивался сигаретой, мрачно уставясь в пол. На мгновение он почувствовал горечь во рту. С чего, спрашивается, произвел его в господа этот болван? Всю свою жизнь он прожил в бедности, да и теперь добра не нажил. Все, что он нажил — врагу не пожелаешь! Морока с такими вот бестолочами. Им бы обеими руками креститься, что такой председатель попался...

Поверх сигаретного дыма он смотрел на Сиксаи. Тот притулился у порога. Молча, выжидательно. Положил на костлявые колени свои огромные ручищи и мнет пальцами соломинку.

Дух в помещении был кисловатый и спертый, поэтому даже прохлада не казалась приятной. Впрочем, это была не прохлада, а скорее сырость. Потолка в хижине не было. Тот, кто ее строил, набросал вдоль и поперек кривых сучьев акации, а сверху покрыл соломой. Посередине положил суковатый древесный ствол, он и служил несущей балкой. Ласточки свили на ней три гнезда. Уродливые желторотые птенцы непрестанно вытягивали вперед голые шеи и пищали препротивными голосами, призывая мать. Но когда птенцы замолкли, тишина и вовсе стала невыносимой. Бухгалтер услышал даже, как где-то точит дерево жучок-короед. Из-под прелой, почерневшей соломы свисала вниз паутина.

Толстяка начало нервировать это молчание. Не без иронии в свой адрес он подумал, что походит сейчас на белого человека, привязанного к дереву, вокруг которого туземцы готовятся к какому-то празднеству. А когда он отогнал эту ребяческую фантазию, его охватил всамделишный страх: ведь истинное положение казалось ничем не лучше воображаемого. Да, верно, они находятся в центре Европы, но в двадцати километрах от ближайшего человеческого жилья. Сгинешь тут ни за что ни про что, и следов твоих никто не сыщет...

Он боязливо косился на Голиафа с орлиным носом и сонно прижмуренными глазами. Опасная личность, вне всякого сомнения. Махнет раз-другой кулачищем — и тому и другому крышка. Присыплет землей в какой-нибудь яме, лошадь с упряжкой пустит на все четыре стороны, и дело с концом. У такого даже угрызений совести не будет: чем он лучше дикарей-каннибалов, для которых людоедство в порядке вещей?

Он почитал себя ярым демократом, поборником прогресса. За столиком в кафе частенько случалось ему разглагольствовать о сельской жизни, однако никогда еще с такой ясностью не обнажалась перед ним истина, что крестьянство необходимо вытащить из полудикого существования.

Вдоль стены прошмыгнул мышонок, и председатель ловко пристукнул его башмаком. Раздался слабый хруст. Бухгалтер в замешательстве повернул голову и увидел, как председатель раскачивает дохлого мышонка, держа за хвост двумя пальцами; голова у него закружилась, и к горлу подкатила тошнота. Он закрыл глаза, но перед его мысленным взором стояла все та же картина.

И снова его захлестнуло паническое чувство страха, как и раньше, по пути сюда. Видно, нервы совсем сдали. В Пеште надо будет сходить к врачу.

Открыв глаза, он немного пришел в себя, так как оба крестьянина спокойно сидели в тех же позах. Однако фантазия продолжала терзать его вопреки тому, что он видел воочию. Вспомнилась вдруг фраза председателя: «Как он нам в глаза посмотрит?» — и желудок свело спазмой страха. Эти двое сцепятся сейчас, как звери, тогда и ему не поздоровится... Он видел однажды, как крестьяне дрались у корчмы: грубые, разнузданные, прут напролом, валтузят один другого почем зря, покуда со стороны не вмешается какая-нибудь еще более грубая сила.

Он с ненавистью посмотрел на крестьян: сидят себе посиживают как ни в чем не бывало, хотя каждому ясно, что убить готовы друг друга. И всему виной спрятанная телега!.. Какое глубокое варварство! И эти идиотские символы: «талисман», «крест для католика», и какие-то распри по пустякам, буквально из-за ничего — угораздило же его влезть в эту междоусобицу!.. Хоть караул кричи!

Крестьяне сидели и по-прежнему играли в молчанку. Бухгалтеру казалось, что минула целая вечность, хотя в действительности они пробыли здесь считанные минуты. Председатель вытянул ноги, скрестил их.

— Ну как, Антал, ест скотина? — сдержанно поинтересовался он.

— Худо кормится,— как бы нехотя ответил великан-хуторянин.— Жара донимает. Говорил я, нет резона сюда перегонять. Ну да вам что говори, что нет — начальству сверху виднее.

В левом виске бухгалтера остро полоснуло болью. Господи, хватит с него приключений, больше его в эту Африку не заманишь!

— Может, поглядим на месте?

Председатель поднялся. За ним встал и Сиксаи; занемевшие от неудобной позы колени его хрустнули. Бухгалтер чуть ли не бегом выскочил вслед за ними.

Оказавшись на воле, он почувствовал себя лучше. Только сейчас он понял, что там, в хибаре, его бил озноб. Толстяк встревоженно нащупал пульс: вполне вероятно, что он перегрелся на солнце, и от этого поднялась температура.

Он не спеша брел за председателем и хуторянином, а те направились не к загону у колодца, а поначалу решили осмотреть корма. Дойдя до стогов, они останавливались у каждого, и председатель всякий раз по плечо залезал рукой в глубину стога; вытащив охапку сена, он долго разглядывал его, подносил к носу, чтобы определить, не плесневеет ли, не преет ли оно.

Когда и бухгалтер доплелся до стогов, поставленных чуть ли не вплотную один к другому, он потерял крестьян из виду. Должно быть, они проверяли корма где-то в конце ряда. Бухгалтер удостоверился, что пульс у него, слава богу, нормальный, и облегченно вздохнул.

Вдруг он услышал сдавленное ругательство, звук удара, после чего вроде бы кто-то упал на землю, потом все перекрыл нестерпимый захлебывающийся собачий вой. «Ну вот, они сейчас поубивают друг друга!» От ужаса у него перехватило горло, бухгалтер повернулся и опрометью кинулся бежать к хибаре. Но, едва одолев несколько метров, споткнулся и грохнулся оземь.

Большая белая овчарка выскочила из-за стогов. Понурив голову, поджав хвост и поскуливая на бегу, мчалась она через двор к овсяному полю. Следом за ней, размахивая здоровенной дубинкой и кляня собаку на чем свет стоит, гнался хозяин. Завидев дочь, он на бегу сердито крикнул ей, почему она не привязала собаку, ведь знает же, что та повадилась цыплят таскать.

Девчонка возвращалась от колодца. Оторопев, она застыла на миг, а потом выронила ведро и, прижав руку к губам, тихо вскрикнула. Отец запустил дубинкой вдогонку псу и остановился, сердито отдуваясь. Сперва он воззрился на остолбенело застывшую дочку, а потом увидел лежащего на земле бухгалтера.

Ухмыляясь, вынырнул из-за стогов и председатель. Он недоуменно уставился на застывших недвижно крестьянина и девочку, а потом заметил толстяка.

— Что такое стряслось? — чуя недоброе, спросил он и поспешно заковылял к горожанину.

Бухгалтер лежал на боку, но лицом вверх. Одна рука его, неестественно согнутая, была откинута в сторону, словно посторонний предмет. Пальцы на руке дрожали мелкой, частой дрожью, точно зажатая в тиски проволока, которую оттянули и потом отпустили. Земля возле плеча потемнела от крови. Рубашка чуть вздернулась, обнажив загорелый волосатый живот.

Председатель тотчас смекнул, что послужило причиной несчастья. Рядом стояла наполненная водой бетонная поилка для кур и уток; о край этого корыта и ударился головой бухгалтер. Одно оставалось непонятным: обо что он мог тут споткнуться?

Несколько секунд председатель в полной растерянности качал головой, потом присел на корточки и неуверенно окликнул:

— Товарищ Кравик... Эй!..

Бухгалтер не шевельнулся. Вообще-то его фамилия была Крава-

лик, да только ведь язык сломаешь, пока этакое выговоришь, и крестьяне по возможности старались не обращаться к бухгалтеру по фамилии.

Обрывки медицинских познаний времен войны всплыли вдруг в памяти, и председатель, поспешно расстегнув толстяку ворот рубахи, принялся осторожно массировать сердце. Округлое лицо бухгалтера было серым, голова упала набок. У затылка пристроились две крупные зеленые мухи.

Девочка прерывисто всхлипывала. Губы ее побелели, она дрожала всем телом.

— Ступай прочь отсюда! — прикрикнул на нее отец, который и сам испытывал нечто похожее на дурноту и страх.

— Постой! — поднялся председатель и спросил обоих сразу: — С лошадью управляешься? Есть телефон у смотрителя плотины?

Все трое бегом бросились к повозке. Мужчины второпях запрягли лошадь и усадили на козлы дрожащую всем телом девочку.

— Дуй прямиком к смотрителю плотины,— велел председатель.— Пусть немедленно вызывает «скорую». Да объясни толком, как сюда добраться. Лучше в объезд, по мощеной дороге, так ближе. И лошадь гони, не жалей, ясно?

Девочка не сводила с него широко раскрытых, испуганных глаз, всхлипывая и послушно кивая. Председатель хлопнул конягу по крупу, двуколка покатила.

— Езжай через поле Гергея! Так быстрей доберешься! — крикнул Сиксаи вслед удалявшейся тележке.

Мужчины вернулись к распростертому на земле телу бухгалтера и беспомощно топтались возле него. Они не заметили, что пострадавший слегка шевельнулся. Сознание постепенно возвращалось к нему, но все тело пока еще было сковано болью. Голоса доносились словно из дальней дали. Председатель опять присел на корточки, согнал мух.

— Может, прикрыть его? — неуверенно предложил хозяин, с трудом перебарывая в себе панический ужас при виде этого безжизненно-серого лица.

— Прикрывают покойников,— буркнул председатель,— а в нем еще душа держится... Вот что значит судьба-то! — Он удивленно развел руками.— Когда сюда ехали, он все у меня допытывался, зачем ты телегу припрятал. А теперь вот...

— Про телегу допытывался? — вздрогнул крестьянин.

— Ну да. Про ту, что под кукурузными початками спрятана,— равнодушно добавил председатель.

Сейчас ему это и в самом деле казалось совсем не важным. Должно быть, хозяину передались его мысли, потому что он тихо, таким же тоном спросил:

— Небось сторож выболтал? — Он чуть усмехнулся.— Вот старый хрыч!

Председатель, сощурясь, уперся взглядом в пыльную, покрытую птичьими перьями и пометом землю, будто искал чего. Обошел с той и другой стороны крупное тело бухгалтера, проковылял несколько шагов назад, к копнам, затем вернулся и с растерянным видом пробормотал:

— Одного в толк не возьму: обо что ж он споткнулся-то? Тут ведь ни лунки, ни бугорка никакого!

Хозяин тоже обвел взглядом ровную поверхность земли и недоуменно ответил:

— Ума не приложу.

Перевод Т. ВОРОНКИНОЙ

■

ТРУМЭН КАПОТЕ

Самодельные гробики

ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ РАССКАЗ ОБ ОДНОМ АМЕРИКАНСКОМ ПРЕСТУПЛЕНИИ

Перевод с английского Г. ЕРОФЕЕВОЙ

Март 1975 года.

Городок в небольшом западном штате. Вокруг — множество крупных ферм и скотоводческих ранчо; в городке, где проживает менее десяти тысяч человек,— двенадцать церквей и два ресторана. На главной улице все еще стоит унылый, безмолвный кинотеатр, хотя за последние десять лет в нем не показали ни одного фильма. Когда-то в городе была гостиница, но ее закрыли, и теперь приезжий может найти себе пристанище только в мотеле «Прерия».

Мотель чистенький, комнаты хорошо отапливаются — вот, пожалуй, и все, что можно о нем сказать. Человек по имени Джейк Пеппер живет там почти целых пять лет. Джейк — пятидесятивосьмилетний вдовец, отец четырех взрослых сыновей. Он среднего роста, сохраняет прекрасную форму и выглядит на пятнадцать лет моложе своего возраста. У него красивое, открытое лицо, барвинковые голубые глаза и подвижные тонкие губы, которые причудливо изгибаются иногда в улыбке, иногда — по иному поводу. Секрет юношеской моложавости Джейка — не в его худощавой подтянутой фигуре, не в тугих щеках цвета спелого яблока и не в шаловливой, слегка загадочной усмешке, а в волосах, которые могли бы принадлежать его младшему брату: коротко остриженные, торчащие в разные стороны русые вихры так непокорны, что он не в силах их причесать, а просто приглаживает, смачивая водой.

Джейк работает детективом в Бюро расследований штата. Мы познакомились через нашего общего приятеля, детектива из другого штата.

В 1972 году Джейк написал мне, что расследует убийство, которое, по его мнению, могло бы представить для меня интерес. Я позвонил ему, и мы проговорили по телефону три часа подряд. Меня очень заинтересовал его рассказ, но, когда я предложил ознакомиться с делом на месте, он испугался и объяснил, что это преждевременно и может повредить расследованию, однако обещал держать меня в курсе событий. Затем целых три года мы перезванивались с ним каждые два-три месяца. Работа Джейка продвигалась с большим скрипом, поскольку все следы были ловко запутаны, и, казалось, зашла в тупик. В конце концов Джейк позволил мне приехать и взглянуть на все своими глазами.

© 1975, 1977, 1979, 1980 by Truman Capote.

ТРУМЭН КАПОТЕ — TRUMAN CAPOTE (род. в 1924 г.).

Американский писатель. За свои ранние новеллы был удостоен премии О. Генри. Широкую известность принес ему первый роман «Другие голоса, другие комнаты» («Other Voices, Other Rooms», 1948), а также сборник рассказов «Древо ночи» («Tree of Night», 1949). Затем последовали повести «Голоса травы» («The Grass Harp», 1953), «Завтрак у Тиффани» («Breakfast at Tiffany's», 1958), знакомые советским читателям по русским переводам. В «Иностранной литературе» (1966, № 2—4) под названием «Обыкновенное убийство» был напечатан журнальный вариант его документальной повести «Совершенно хладнокровно» («In Cold Blood», 1965). Много рассказов и новелл Т. Капоте публиковалось в советской периодике.

«Самодельные гробики. Документальный рассказ об одном американском преступлении» («Handcarved Coffins. A Nonfiction Account of an American Crime») взят из его сборника рассказов и очерков «Музыка для хамелеонов» («Music for Chameleons», New York, Random House, 1980).

И вот в один по-зимнему холодный мартовский вечер мы сидели с Джейком Пеппером в его комнате в мотеле на продуваемой ветром окраине маленького западного городка. Комната показалась мне вполне уютной, особенно после долгого пути. Почти целых пять лет она служила Джейку домом; он соорудил здесь полки, на которых расставил фотографии своих близких — сыновей и внуков, а также множество книг, и в том числе немало томов о Гражданской войне. Подбор книг свидетельствовал об уме и вкусе владельца, который был явно неравнодушен к Диккенсу, Мелвиллу, Троллопу и Марку Твену.

Джейк сидел на полу, скрестив ноги по-турецки, подле него стоял стакан с виски. Перед ним была разложена шахматная доска, и он рассеянно передвигал по ней фигуры...

Т. К. Удивительно, что об этом деле, по-видимому, никто ничего не знает. Оно почти не получило огласки.

ДЖЕЙК. На то были свои причины.

Т. К. Мне так и не удалось представить себе все дело в полной последовательности. Оно похоже на составную картинку, в которой не хватает половины деталей.

ДЖЕЙК. С чего же начать?

Т. К. С самого начала.

ДЖЕЙК. Подойди к письменному столу и выдвинь нижний ящик. Видишь эту маленькую картонную коробку? Взгляни, что там внутри.

(В картонке я обнаружил миниатюрный гробик. Это была изящная вещица, искусно вырезанная из легкого бальзамника. Гробик не был никак отделан, а когда я приподнял крышку на петлях, то обнаружил в нем какой-то предмет. Это была фотография — самый обыкновенный снимок мужчины и женщины среднего возраста, которые переходили через улицу. С первого взгляда было ясно, что они не позировали и что снимок сделан без их ведома.)

Я считаю, что все началось именно с этого маленького гробика.

Т. К. А кто изображен на фотографии?

ДЖЕЙК. Джордж Робертс и его жена. Джордж и Амелия Робертс.

Т. К. Ага, понятно, мистер и миссис Робертс. Первые жертвы. Он был адвокатом.

ДЖЕЙК. Да, адвокатом, и однажды утром (а именно десятого августа тысяча девятьсот семидесятого года) он получил по почте подарок. Вот этот гробик. С фотографией внутри. Робертс был веселый, беспечный человек, он показал подарок коллегам в суде и представил его как шутку. Но месяц спустя Джорджа и Амелии не стало.

Т. К. Когда ты приехал расследовать дело?

ДЖЕЙК. Сразу же. Через час после того, как их нашли, я выехал сюда вместе с другими агентами Бюро. Когда мы прибыли, тела еще находились в машине. Змеи — тоже. Этого зрелища я никогда не забуду. Никогда.

Т. К. Расскажи, как все произошло.

ДЖЕЙК. У Робертсов не было детей. Врагов у них тоже не было. К ним все прекрасно относились. Амелия работала вместе с мужем, его секретарем. У них была одна машина, на ней они всегда ездили на работу. В то утро, когда это случилось, было очень душно. Стояла изнурительная жара. Наверное, они изрядно удивились, когда, подойдя к машине, увидели, что все стекла подняты. Тем не менее они сели в машину — каждый со своей стороны,— а как только сели — бац! На них молниеносно набросился клубок гремучих змей. Мы нашли в машине девять крупных гремучих змей... Им был впрыснут амфетамин, и, обезумев от него, они искусали Робертсов где только можно: шею, плечи, уши, щеки, руки. Несчастные люди! Их головы распухли и походили на огромные зеленые маски из тыквы, какие вырезают в канун Дня всех святых. Робертсы, очевидно, скончались мгновенно. Надеюсь, так оно и было,— это единственное, на что остается надеяться.

Т. К. Гремучие змеи не очень-то распространены в здешних местах. Во всяком случае, такого большого размера. Их, очевидно, привезли сюда.

ДЖЕЙК. Вот именно. Привезли со змеиной фермы из Ногалеса, в Техасе. Но я расскажу тебе позже, как узнал об этом.

(За окном на земле все еще лежал снежный покров. Весной даже не пахло, и сильные порывы ветра, бившие в оконные стекла, напоминали о том, что на

дворе зима. Но я почти не слышал шума ветра, в ушах не утихало страшное шипение клубка гремучих змей. В полумраке автомобиля, стоявшего под раскаленным солнцем, мне виделись извивающиеся змеи и головы двух людей — они разбухали от яда, приобретая зеленый оттенок. Я прислушивался к ветру, надеясь, что он унесет с собой навязчивое видение.)

ДЖЕЙК. Нам, правда, неизвестно, получили ли гробик Бакстеры. Но я уверен, что получили, иначе нарушился бы замысел преступника. Однако они об этом никому не сказали, а мы не обнаружили никаких следов гробика.

Т. К. Возможно, он сгорел во время пожара. Но с Бакстерами, кажется, была еще одна пара?

ДЖЕЙК. Хоганы из Талсы. Друзья Бакстеров, которые остановились у них проездом. Убийца не собирался их прикончить. Они попали случайно в эту историю.

Вот послушай, как это произошло: Бакстеры строили красивый новый дом, но готов был только подвал. В других частях дома еще шли строительные работы. Рой Бакстер был состоятельным человеком и вполне мог снять на время строительства весь этот мотель. Но предпочел жить у себя в подвальном помещении, куда ход был только через люк.

Это случилось в декабре, через три месяца после убийства Робертсов. Доподлинно известно лишь то, что Бакстеры пригласили чету друзей из Талсы провести с ними вечер в подвале. А перед самым рассветом там вспыхнул огромный пожар, и обе четы сгорели. Буквально дотла.

Т. К. Разве они не могли выбраться через люк?

ДЖЕЙК *(скривив губы и фыркнув)*. Нет, черт побери! Поджигатель, точнее убийца, завалил люк глыбами цемента. Сам Кинг Конг[1] не смог бы сдвинуть их с места.

Т. К. Но совершенно очевидно, что существовала некая связь между пожаром и клубком гремучих змей.

ДЖЕЙК. Теперь легко говорить об этом. Но будь я проклят, если тогда смог хоть как-то соединить оба дела. Мы впятером вели расследование и узнали о Джордже и Амелии Робертсах, о Бакстерах и Хоганах больше, чем они сами знали о себе. Держу пари, Джордж Робертс и не подозревал, что его жена в пятнадцать лет родила ребенка и отдала его на воспитание приемным родителям.

Конечно, в таком небольшом местечке почти все так или иначе знают друг друга хотя бы в лицо. Но мы не смогли обнаружить ничего, что связывало бы жертвы между собой. Никакого мотива преступления. Не существовало причины — во всяком случае мы не смогли ее найти,— объяснявшей, почему кому-то потребовалось убивать этих людей. *(Он посмотрел на шахматную доску, раскурил трубку и отхлебнул из стакана виски.)* Все эти люди были мне незнакомы. Я ничего не слышал о них, пока они не погибли. Но вот следующим оказался мой друг Клем Андерсон. Норвежец по происхождению, родители которого стали американскими гражданами. Он получил здесь в наследство от отца ранчо — весьма приличный кусок земли. Мы вместе учились в колледже, хотя он был еще на первом курсе, когда я заканчивал колледж. Он женился на моей давнишней подруге, замечательной девушке, единственной, у кого я видел глаза цвета настоящей лаванды. Словно из аметиста. Порой, когда на меня уже после женитьбы находила тоска, я принимался говорить об Эми и ее аметистовых глазах, и моей жене это не очень-то нравилось. Так или иначе, Клем и Эми поженились, обосновались здесь и завели семерых детей. Я был у них на обеде вечером накануне его убийства, и Эми сказала мне, что жалеет лишь об одном — что у нее не может быть больше детей.

Я частенько встречался с Клемом с тех пор, как приехал сюда расследовать это дело. Он отличался буйным нравом и крепко выпивал, но был умен и рассказал мне уйму всякой всячины об этом городишке.

Однажды вечером он позвонил мне в мотель. Голос его звучал как-то странно. Сказал, что ему необходимо срочно повидаться со мной. Я предложил ему тут же приехать. Думал, что он пьян, но он был не пьян, а испуган. И знаешь почему?

Т. К. Санта Клаус прислал ему подарок.

ДЖЕЙК. Ага. Но, видишь ли, он не понимал, в чем дело. Что это могло значить. Возможная связь между гробиком и убийством с помощью гремучих змей не

[1] Огромная обезьяна, персонаж американских фильмов ужасов. *(Здесь и далее — прим. перев.)*

разглашалась. Мы держали все в строгом секрете. И с Клемом я никогда об этом не говорил.

Но когда он вошел в эту самую комнату и показал мне гробик — точную копию того, который получили Робертсы,— я понял, что мой друг в большой опасности. Гробик был отправлен ему по почте в ящике, обернутом в грубую бумагу, имя и адрес написаны печатными буквами. Черными чернилами.

Т. К. А в нем была его фотография?

ДЖЕЙК. Да. И я расскажу тебе, что было на ней, поскольку снимок имеет прямое отношение к тому, как убили Клема. Я даже думаю, что убийца как бы хотел подшутить, намекнуть, что ли, каким образом погибнет Клем.

На фотографии Клем сидит в автомобиле, похожем на джип. Это — необычная машина, которую он сам смастерил. Без крыши и ветрового стекла — ничего, что прикрывало бы водителя. Просто мотор и четыре колеса. Клем сказал, что впервые видит эту фотографию и представить себе не может, кто и когда его снял.

Передо мной стояла трудная дилемма: открыть ли ему тайну и сказать, что семья Робертсов получила такой же гробик незадолго до смерти и что Бакстеры, возможно, тоже получили подобный подарок, или нет. С какой-то точки зрения было бы лучше ничего не говорить — установить за Клемом тщательное наблюдение, и тогда он, не сознавая опасности, мог бы легче навести нас на след убийцы.

Т. К. Но ты решил сказать ему.

ДЖЕЙК. Да, сказал. Так как, имея в руках второй гробик, был уверен, что убийства между собой связаны. И считал, что Клем должен знать, как именно. *Обязательно должен.*

Но когда я объяснил ему, что означал гробик, он совершенно сник. Мне даже пришлось ударить его по щеке, чтобы привести в чувство. Но и тогда он стал вести себя совсем как малое дитя — лег на кровать и заплакал, причитая: «Меня кто-то собирается убить. Но почему? Почему?» Я сказал ему: «Слушай, никто тебя не убьет. Я обещаю тебе. Но *подумай* хорошенько, Клем, что́ у тебя общего с людьми, которые недавно отправились на тот свет. Что-то должно же быть. Хотя бы сущие пустяки». Но на все мои расспросы он только повторял: «Не знаю. Не знаю». Я заставил его проглотить добрую порцию виски, он выпил и заснул. Ночь провел у меня и наутро встал спокойным. Но и тогда он не вспомнил, что могло связывать его с другими жертвами и почему он оказался замешан в одну с ними историю. Я просил его никому не рассказывать о полученном гробике, даже жене, и велел не беспокоиться, так как немедленно выпишу дополнительно двух агентов, которые будут за ним приглядывать.

Т. К. Сколько же времени прошло, прежде чем гробовщик исполнил свою угрозу?

ДЖЕЙК. О, я думаю, он вдоволь насладился выжиданием. Он дразнил свою жертву, как рыболов, который поймал форель и сунул ее в банку с водой. Бюро отозвало дополнительных агентов, и в конце концов даже сам Клем, видимо, забыл об угрозе. Прошло полгода. Однажды мне позвонила Эми и пригласила к ним на обед. Был теплый летний вечер. В воздухе порхало множество светлячков. Дети гонялись за ними, ловили и запихивали в кувшин.

Когда я уходил, Клем пошел проводить меня до машины. Вдоль дороги, на которой стояла машина, протекала узкая речушка. Клем сказал: «Да, так вот, по поводу связи, о которой ты говорил. Я на днях вдруг вспомнил. Это — река». Я спросил, какая река, и он ответил: та самая, что течет перед нами. «История довольно сложная и, пожалуй, глупая. Я расскажу тебе о ней в следующий раз, когда мы увидимся». Но я больше его не увидел. Во всяком случае, живым.

Т. К. Как будто бы тот подслушал вас.

ДЖЕЙК. Кто — тот?

Т. К. Санта Клаус. Разве не странно, что после стольких месяцев Клем Андерсон наконец вспоминает про реку и на следующий же день, не успев объяснить тебе почему, погибает от руки убийцы?

ДЖЕЙК. Ты достаточно вынослив?

Т. К. Вполне.

ДЖЕЙК. Я покажу тебе кое-какие фотографии. Но лучше налей-ка вначале хорошую порцию виски. Это тебе пригодится.

(Три черно-белых глянцевых фотографии были сделаны ночью с помощью вспышки. На первой из них на узкой дороге, проходящей через ранчо, был снят самодельный джип Клема Андерсона. Он лежал набоку с включенными фарами. На второй фотографии ту же дорогу перегораживал обезглавленный торс: мужчина без головы, в сапогах, джинсах и кожаной куртке. На третьей фотографии — голова жертвы. Сама гильотина или опытный хирург не смогли бы отделить ее от туловища так ровно. Она лежала среди листьев, словно ее забросил туда злой шутник. Глаза у Клема Андерсона были открыты, но вовсе не походили на глаза мертвеца, в них застыл спокойный взгляд, и, если бы не глубокий порез поперек лба, его лицо казалось бы таким же умиротворенным, таким же необезображенным насилием, как и голубые норвежские глаза, словно принадлежащие невинному младенцу. Пока я разглядывал фотографии, Джейк, опершись на мое плечо, тоже смотрел на них.)

ДЖЕЙК. Это произошло под вечер. Эми ждала Клема к ужину. Она послала одного из сыновей ему навстречу, на шоссе. Мальчик и нашел его.

Вначале он увидел опрокинутую машину. Потом, подальше, примерно в ста метрах от нее, обнаружил тело. Мальчик бросился бегом домой, и Эми позвонила мне. Я ругал себя последними словами. Когда мы приехали на место происшествия, один из моих агентов нашел голову. Она находилась довольно далеко от тела. Лежала почти на том месте, где Клем наткнулся на проволоку.

Т. К. Да, кстати о проволоке. Я так и не понял, отчего именно прово́лока. Это так...

ДЖЕЙК. Хитроумно?

Т. К. Нет, скорее нелепо.

ДЖЕЙК. Что же тут нелепого? Наш приятель придумал прекрасный способ обезглавить Клема Андерсона. Убить его без свидетелей.

Т. К. Я полагаю, в таком случае нужен точный математический расчет. А для меня все, что связано с математикой, непостижимо.

ДЖЕЙК. Да, джентльмен, содеявший это, обладает, конечно, математическим складом ума. Во всяком случае, ему пришлось все очень тщательно вымерить.

Т. К. Он натянул проволоку между двумя деревьями?

ДЖЕЙК. Между деревом и телеграфным столбом. Крепкую стальную проволоку, острую, как лезвие бритвы. Фактически невидимую даже при дневном свете. А в темноте, когда Клем свернул с шоссе и поехал на своей развалюхе по узкой дороге, он тем более не мог заметить ее. Проволока пришлась ему там, где должна была прийтись — точно под подбородком. И, сам видишь, срезала ему голову так же легко, как девушка обрывает лепестки у ромашки.

Т. К. Но замысел мог *не удаться.*

ДЖЕЙК. Что из того? Что значит для преступника неудачная попытка? Он предпринял бы еще одну и продолжал до тех пор, пока не добился бы своего.

Т. К. Вот уж действительно невероятно, что он всегда добивается своего.

ДЖЕЙК. Это и так и не так. Но мы вернемся к этому позднее.

(Джейк засунул фотографии в конверт. Он взял трубку, затянулся и прочесал пальцами непокорные вихры. Я молчал, так как понимал, что на душе у него скверно. В конце концов я спросил, не устал ли он и не лучше ли мне уйти. Он ответил, что нет — всего лишь девять часов, а спать он ложится не раньше полуночи.)

Т. К. Ты теперь здесь совсем один?

ДЖЕЙК. Слава богу, нет. Иначе сошел бы с ума. Работаю вместе с двумя другими агентами. Но до сих пор ответственность за расследование несу я. Да и сам этого хочу. Слишком много я уже вложил сил. И намерен поймать нашего приятеля, даже если это окажется моим последним делом. Должен же он совершить ошибку. Впрочем, кое в чем он уже просчитался. Но признаюсь откровенно, с доктором Парсонсом он разделался без промаха.

Т. К. С судебным врачом?

ДЖЕЙК. Да, с ним. С этим тощим горбуном-коротышкой.

Т. К. Подожди-ка. Ведь вначале ты думал, что это самоубийство.

ДЖЕЙК. Знай ты доктора Парсонса, ты бы тоже решил, что это самоубийство. У него было немало причин, чтобы покончить с собой. Или чтобы прикончили его.

У Парсонса жена красавица, он поймал ее на морфии и вынудил выйти замуж. Был одинок, как волк. Занимался абортами. И более десятка рехнувшихся старух оставили ему все свое состояние. Вот какой отъявленный негодяй этот доктор Парсонс!

Т. К. Значит, тебе он был не по нутру.

ДЖЕЙК. Да, его никто не любил. Но я, пожалуй, напрасно сказал, что у Парсонса было много причин, чтобы покончить с собой. На самом деле у него вовсе не было для этого причин. Судьба ему улыбалась, и небо над его головой круглые сутки было голубое. Единственное, что беспокоило его,— это язва. Он постоянно страдал от несварения желудка и вечно таскал с собой бутыли с минеральной водой. Выдувал пару бутылок в день.

Т. К. И однако, все были удивлены, когда узнали, что доктор Парсонс покончил с собой?

ДЖЕЙК. Да нет, никто не думал, что доктор Парсонс покончил с собой. Во всяком случае, сначале.

Т. К. Извини, Джейк. Но я снова сбит с толку.

(Трубка у Джейка потухла, он выбил из нее пепел и достал сигару, которую, однако, не зажег: он обычно не курил их, а грыз, как собака грызет кость.)

Поначалу скажи мне, сколько времени прошло между похоронами? Похоронами Клема Андерсона и доктора Парсонса?

ДЖЕЙК. Четыре месяца или около того.

Т. К. А Санта Клаус прислал доктору подарок?

ДЖЕЙК. Подожди, подожди. Не спеши. В тот день, когда умер Парсонс — мы ведь думали, что он умер, просто-напросто скончался,— работавшая с ним сестра нашла его на полу в кабинете. Другой врач, практикующий в городе, Альфред Скиннер, предположил, что у него был сердечный приступ, и сказал, что необходимо вскрытие, чтобы определить в точности.

В тот же вечер мне позвонила медсестра Парсонса и сказала, что со мной хочет поговорить миссис Парсонс. Я ответил, что сейчас же выеду к ней.

Миссис Парсонс приняла меня в своей спальне, где, как я думаю, она проводит почти все время, прикованная к постели радостями, доставляемыми ей морфием.

Она вовсе не выглядит больной в обычном понимании этого слова. Она хороша собой и кажется вполне здоровой. Щеки розовые, кожа гладкая и белая, почти молочной белизны. Но глаза ее блестели, и зрачки были расширены.

Она лежала в постели, опираясь на груду подушек в кружевных наволочках. Я обратил внимание на ее ногти — длинные, тщательно наманикюренные, и руки тоже были удивительно красивые. Однако в руках она держала вещь отнюдь не красивую.

Т. К. Подарок?

ДЖЕЙК. В точности такой же, как и у других.

Т. К. И что она тебе сказала?

ДЖЕЙК. «Я думаю, моего мужа убили». Но произнесла эти слова очень спокойно; она не выглядела ни расстроенной, ни взволнованной.

Т. К. Под воздействием морфия.

ДЖЕЙК. Нет, не только поэтому. Она производит впечатление человека, который уже свел счеты с жизнью и смотрит на все издалека, безо всякого сожаления.

Т. К. Понимала ли она, что означает гробик?

ДЖЕЙК. Нет, не понимала. Да и муж ее тоже. Как судебный врач округа, он должен был входить в число лиц, ведущих расследование, однако мы не доверяли ему. И он ничего не знал о гробиках.

Т. К. Тогда почему же она думала, что ее мужа убили?

ДЖЕЙК *(хмурясь и грызя сигару).* Из-за гробика. По ее словам, муж показал ей гробик несколько недель назад. Он не воспринял его всерьез. Решил, что гробик прислал кто-то из его врагов, вздумав таким образом выказать ему свою неприязнь. Миссис Парсонс же, по ее словам, как только увидела гробик и фотографию мужа в нем, поняла, что над ним нависла опасность. Как ни странно, но я думаю, что она любила его. Такая красивая женщина — такого противного урода-горбуна.

Когда мы с ней распростились, я взял гробик с собой, внушив ей, что она ни в коем случае не должна рассказывать кому-либо об этой истории. Ну, а затем оставалось ждать результатов вскрытия. Результаты же оказались таковы: смерть от отравления, возможно самоубийство.

Т. К. Но ты-то знал, что его убили.

ДЖЕЙК. Знал я, и знала миссис Парсонс. А все остальные считали, что это самоубийство. Большинство людей думает так и по сей день.

Т. К. Какой же яд выбрал наш приятель?

ДЖЕЙК. Жидкий никотин. Очень чистый, сильный и быстро действующий яд, без цвета и запаха. Мы не знаем точно, каким образом яд был введен, но я подозреваю, что его смешали с излюбленной минеральной водой доктора. Один приличный глоток — и вам конец.

Т. К. Жидкий никотин... Я никогда не слышал об этом яде.

ДЖЕЙК. Что же, он не имеет такой известности, как, скажем, мышьяк. К слову, о нашем приятеле: на днях я наткнулся у Марка Твена на высказывание, которое поразительно ему подходит. *(Порывшись на книжной полке, Джейк нашел нужный том и, шагая по комнате, начал читать вслух каким-то совершенно чужим, хрипловатым, сердитым голосом.)* «Из всех существ, которые были созданы, человек — самое отвратительное. Из всех живущих на земле ему одному свойственна злоба — самый низменный из всех инстинктов, страстей и пороков, самый мерзкий. Человек — единственное на свете существо, способное причинять боль просто так, без оснований, сознавая, что он ее причиняет. Среди всех созданий на земле он один обладает подлым умом». *(Джейк захлопнул книгу и швырнул ее на кровать.)* Отвратительный. Злобный. С подлым умом. Да, сэр, эти определения прекрасно подходят мистеру Куинну, хотя и не характеризуют его полностью. Мистер Куинн — человек разнообразных талантов.

Т. К. Ты никогда не упоминал этого имени раньше.

ДЖЕЙК. Я сам узнал его только полгода тому назад. Но это — точно он. Куинн.

(Джейк несколько раз ударил крепким кулаком по ладони. Он походил на обозленного, разуверившегося во всем заключенного, который долгое время провел в тюрьме. Он и в самом деле был много лет здесь заточен из-за этого дела, а настоящая злость настаивается так же долго, как настоящее виски.)

Роберт Хоули Куинн, эсквайр. Весьма уважаемый джентльмен.

Т. К. Но этот джентльмен совершает ошибки. Иначе ты не узнал бы, что он и есть наш приятель.

ДЖЕЙК *(молчит, он не слышит моих слов).*

Т. К. Не из-за змей ли? Ведь ты говорил, что они со змеиной фермы в Техасе. Раз ты узнал об этом, то тебе должно быть известно, кто купил их.

ДЖЕЙК *(успокоившись, зевая).* Что ты говоришь?

Т. К. Кстати, зачем змеям был впрыснут амфетамин?

ДЖЕЙК. А как ты сам думаешь, зачем? Конечно, для стимулирования, чтобы разозлить их. Это все равно что бросить зажженную спичку в бак с бензином.

Т. К. Не понимаю, право, не понимаю, как он умудрился сделать змеям инъекцию и подложить их в машину, и при этом они не искусали его самого.

ДЖЕЙК. Его научили, как это делается.

Т. К. Кто же?

ДЖЕЙК. Женщина, которая продала ему змей.

Т. К. *Женщина?*

ДЖЕЙК. Владелица змеиной фермы в Ногалесе. Тебе это кажется странным? Мой закадычный друг женился на девушке, которая работает в полицейском управлении в Майами, она специалист по глубоководному нырянию. Лучший механик по автомашинам из тех, кого я знаю,— женщина.

(Нас прервал телефонный звонок. Джейк взглянул на свои ручные часы и улыбнулся; его улыбка, спокойная, непринужденная, говорила о том, что он не только хорошо знает, кто ему звонит, но и с удовольствием услышит голос на другом конце провода.)

Хэлло, Адди. Да, он здесь. Говорит, что в Нью-Йорке уже весна, а я сказал, что ему следовало бы там и оставаться. Да ничего особенного. Пропустили вместе по паре стаканчиков и обсуждаем сама знаешь что. Завтра воскресенье? А я-то думал, что четверг. Может, я уже свихнулся. Ну, конечно, мы с удовольствием придем на обед. Об этом ты *не беспокойся,* Адди. Ему понравится все, что бы ты ни приготовила. Ты же самый потрясающий кулинар по обе стороны Скалистых гор — к востоку и к западу. Нечего устраивать из этого целую историю. Да. Хорошо, может

быть, испечешь свой знаменитый пирог с изюмом, покрытый сверху яблоками. Запри получше двери и спи спокойно. Я тоже. Ты знаешь об этом. Buenas noches [1].

(Он повесил трубку, но на лице его все еще светилась радостная улыбка. Потом он зажег сигару и с удовольствием затянулся. Указал на телефон и хмыкнул.)

Это и была та самая ошибка, которую совершил мистер Куинн, — Аделаида Мейсон. Она приглашает нас завтра на обед.

Т. К. Кто такая эта миссис Мейсон?

ДЖЕЙК. Не миссис, а мисс. Замечательный кулинар.

Т. К. А помимо этого?

ДЖЕЙК. Адди Мейсон принесла мне то, чего я ждал все это время. Она — моя большая удача.

Ты знаешь, у моей жены отец был методистским священником. Она очень придирчиво следила за тем, чтобы вся наша семья ходила в церковь. Я же старался там бывать как можно реже, а после ее смерти и вовсе туда не заглядывал. Полгода тому назад Бюро собиралось прикрыть это дело. Мы потратили на него массу времени и уйму денег. Восемь убийств и никакого ключа, который мог бы открыть связь между жертвами и помочь найти что-либо похожее на мотив преступления. Ничего, кроме этих трех самодельных гробиков.

И я сказал себе: «Нет, так дальше не пойдет. Здесь наверняка есть какой-то замысел и вполне объяснимая причина». И вот я стал ходить в церковь. Делать-то по воскресеньям здесь все равно нечего. Гольфа — и того нет. И я стал молиться: «Боже, не допусти, чтобы этот сукин сын вышел сухим из воды!»

На главной улице есть одно местечко под названием «О'кэй кафе». Всем известно, что меня можно найти там почти каждое утро между восемью и девятью часами. Я завтракаю за боковым столиком, а затем болтаюсь в кафе еще некоторое время, читаю газеты или разговариваю с разными людьми — в основном с местными дельцами, которые заглядывают туда выпить чашку кофе.

В ноябре, в День благодарения, я завтракал там как обычно. Я оказался почти в одиночестве, так как день был праздничный. Настроение у меня было премерзкое: Бюро решительно настаивало, чтобы я прекратил расследование и уехал из города. Видит бог, я и сам был не прочь распрощаться с этим проклятым городишком! Мне страшно хотелось уехать. Но мысль о том, что я брошу дело и оставлю убийцу — сущее дьявольское отродье — плясать на всех этих могилах, вызывала у меня глубокое отвращение. Однажды, когда я думал об этом, меня даже стошнило. Честное слово!

И тут в кафе неожиданно зашла Аделаида Мейсон. Она направилась прямо к моему столику. Я встречал ее не раз, но мы никогда не общались. Она учительница, преподает в начальных классах. Живет здесь со своей овдовевшей сестрой Мэрили. Адди Мейсон сказала мне: «Мистер Пеппер, вы, наверное, не собираетесь провести весь День благодарения в «О'кэй кафе»? Если у вас нет других планов, отчего бы вам не пообедать у нас дома с моей сестрой и со мной?» Адди женщина не из нервных, но, несмотря на приветливую улыбку, она казалась взволнованной. Я подумал тогда, что, быть может, она считает неудобным для незамужней женщины приглашать в дом малознакомого мужчину. Но прежде чем я успел ей ответить, она добавила: «Сказать по правде, мистер Пеппер, у меня к вам дело. Мне хотелось бы обсудить его вместе с вами. И если вы придете, мы сможем это сделать во время обеда. Вас устроит — ровно в полдень?»

Никогда в жизни я не пробовал лучшей еды: вместо обычной индейки они подали диких голубей с салатом и отличное шампанское. За обедом Адди поддерживала живой, увлекательный разговор. Она вовсе не выглядела нервной, чего нельзя было сказать о ее сестре.

После обеда мы сидели в гостиной и пили кофе с бренди. Адди извинилась, вышла из комнаты, и, когда она вернулась, в руках у нее был...

Т. К. Держу пари — гробик!

ДЖЕЙК. Она подала его мне и сказала: «Вот что я хотела бы обсудить вместе с вами».

---

[1] Спокойной ночи *(исп.)*.

(Джейк выпустил изо рта с тонко очерченными губами кольцо дыма, за ним еще одно. Наступило молчание, нарушаемое лишь завыванием ветра, пытавшегося проникнуть в окно. Затем Джейк вздохнул.)

Ты проделал сегодня немалый путь. Может, пора и на покой?

Т. К. Ты что же, хочешь бросить меня здесь одного?

ДЖЕЙК *(серьезно, но со своей загадочной лукавой усмешкой).* Только до завтра. Думаю, что тебе надо услышать рассказ Адди из ее собственных уст. Пошли, я провожу тебя в твою комнату.

(Странно, но я свалился в постель как подкошенный. Я и в самом деле проделал большой путь, меня беспокоил гайморит и одолевала усталость. И все же через несколько минут я проснулся, а скорее — очутился в странном состоянии полусна-полубодрствования; в голове моей, как в подвешенном хрустальном ромбе, все кружились по спирали одни и те же образы: голова человека среди листвы, окна машины, обрызганные ядом, змеиные глаза, сверкавшие во влажной духоте автомобиля, вырывающийся из-под земли огонь, обгоревшие кулаки, стучащие в дверь подвала, туго натянутая проволока, блестевшая в сумерках, голова среди листьев, огонь и снова огонь, бесконечно растекающийся, как река... река... река... И тут зазвонил телефон.)

МУЖСКОЙ ГОЛОС. Как ты там? Уж не собираешься ли проспать весь день?

Т. К. *(в темной комнате со спущенными шторами, не понимая, где он находится и что с ним).* Алло?

МУЖСКОЙ ГОЛОС. Это Джейк Пеппер. Помнишь такого подлюгу с подлыми голубыми глазами?

Т. К. А, Джейк! Сколько времени?

ДЖЕЙК. Начало двенадцатого. Адди Мейсон ждет нас у себя примерно через час. Отправляйся сейчас же под душ и одевайся потеплее. На улице идет снег.

(Шел густой снег. Его тяжелые хлопья не плыли по воздуху, а падали прямо на землю, покрывая ее пушистым покровом. Когда мы отъехали в машине Джейка от мотеля, он включил «дворники». Главная улица, уныло-серая, запорошенная снегом, была пуста, и ее безжизненность оживляли лишь мерцавшие огни одиноких светофоров. Все вокруг было закрыто, даже «О'кэй кафе». Нам невольно передалась тоскливая тишина снегопада — мы оба молчали. Но я чувствовал, что у Джейка прекрасное настроение, словно он ожидает чего-то очень приятного. Дышащее здоровьем лицо сияло, и от него исходил, пожалуй, слишком сильный аромат лосьона, употребляемого после бритья. Хотя волосы его были, как всегда, взлохмачены, одет он был тщательно, но совсем не так, как если бы собирался в церковь. Галстук красного цвета подходил бы к более парадному случаю. Не спешил ли он на свидание к любимой женщине? Такая мысль пришла мне в голову еще накануне вечером, когда я слышал, как он разговаривал с мисс Мейсон: его голос звучал по-особому, как-то очень интимно.

Но стоило мне увидеть Аделаиду Мейсон, и я выкинул эту мысль из головы. Как бы одинок ни был Джейк, как бы он ни скучал, женщина показалась мне слишком уж неинтересной. Таково, по крайней мере, было первое впечатление. Она выглядела немного моложе своей сестры Мэрили Коннор, которой было лет под пятьдесят; лицо у Адди, несмотря на его приветливость и любезность, было по-мужски тяжелое, и она поступала мудро, не пользуясь косметикой, которая лишь сильнее подчеркивала бы его мужеподобность. Больше всего привлекала в ней чистота: казалось, ее коротко остриженные каштановые волосы, ногти и кожа — все промыто свежим весенним дождем. Обе сестры родились в этом городе, где прожило четыре поколения их семьи, и Аделаида после окончания местного колледжа работала учительницей в школе; невольно напрашивался вопрос: почему она — при ее уме, характере и образованности — не попыталась найти более широкого поля для применения своих способностей, а остановилась на обучении шестилетних школьников. «Знаете, — сказала она мне,— я вполне счастлива. Я занимаюсь тем, что доставляет мне большое удовольствие. Обучать первоклассников, быть с детьми с самого начала школы — очень интересно. Ведь в первых классах мне приходится преподавать все предметы. В том числе учить детей хорошим манерам, а это так важно. Лишь немногие из моих учеников усваивают их дома».

Нескладный старый дом, который достался сестрам в наследство от родителей, своим теплым уютом, мягкими тонами красок и своеобразием обстановки явно отражал вкусы младшей сестры, так как миссис Коннор, будучи вполне приятной дамой, отнюдь не обладала взыскательным взглядом и воображением Аделаиды Мейсон.

Гостиная, выдержанная преимущественно в голубых и белых тонах, была полна цветущих комнатных растений; в ней стояла огромная викторианская клетка для птиц, в которой обитало с полдюжины певчих канареек. В столовой преобладало сочетание желтых, белых и зеленых тонов, светлый сосновый пол был натерт до зеркального блеска, в большом камине пылали поленья. Кулинарные способности мисс Мейсон даже превзошли хвалебные отзывы Джейка. Она накормила нас поразительно вкусным тушеным мясом, приготовленным по-ирландски, и превосходным пирогом с изюмом и яблоками; к обеду было подано также красное и белое сухое вино и шампанское. Муж миссис Коннор оставил ей приличное состояние.

За обедом мое первоначальное мнение о младшей из хозяек начало меняться. Да, безусловно, она и Джейк понимали друг друга с полуслова. И это выдавало интимность их отношений. Наблюдая за Адди пристальнее и оценивая ее глазами Джейка, я начал понимать причину его явного к ней влечения. Конечно, лицо ее ничего особенного собой не представляло, но плотно обтянутая серым трикотажным платьем фигура была действительно недурна, а держалась она так, будто была поразительно хорошо сложена и могла соперничать с самой соблазнительной кинозвездой. Покачивание бедер, плавные движения пышного бюста, грудной голос и изящные жесты рук — все было удивительно привлекательно, удивительно женственно, но женственно в меру. Она влекла к себе своей манерой держаться так, будто была неотразима. При взгляде на эту женщину казалось, что за ее плечами множество необычайных любовных приключений, даже если на самом деле ничего подобного не было.

Когда обед закончился, Джейк посмотрел на Адди таким взглядом, словно тут же хотел увести ее в спальню: их чувства были столь же остры, как та стальная проволока, что отрезала голову Клему Андерсону. Однако Джейк просто достал сигару, а мисс Мейсон подошла, чтобы зажечь ее. Я рассмеялся.)

ДЖЕЙК. Ты что?

Т. К. Ну точь-в-точь как в романе Эдит Уортон «Дом радости». Там женщины постоянно зажигают мужчинам сигары.

МИССИС КОННОР *(в защиту сестры).* Здесь это вполне принято. Наша мать всегда зажигала отцу сигары, несмотря на то, что не терпела их запаха. Правда, Адди?

АДДИ. Да, Мэрили. Джейк, налить тебе еще кофе?

ДЖЕЙК. Сядь и посиди спокойно, Адди. Мне ничего больше не надо. Обед был великолепный, и тебе пора передохнуть. Адди, а как ты относишься к запаху сигар?

АДДИ *(смущенно).* Мне очень нравится запах хороших сигар. Если бы я курила, то только сигары.

ДЖЕЙК. Давай-ка вспомним о прошедшем Дне благодарения, когда мы сидели здесь так же, как сейчас.

АДДИ. И когда я показала тебе гробик?

ДЖЕЙК. Я хочу, чтобы ты все рассказала моему другу, как тогда рассказала мне.

МИССИС КОННОР *(отодвигаясь вместе со стулом).* О, прошу вас! Неужели нужно постоянно говорить об одном и том же? У меня от этого по ночам кошмары.

АДДИ *(встав и обняв сестру за плечи).* Хорошо, Мэрили, мы не будем говорить об этом. Мы перейдем в гостиную, а ты поиграешь нам на рояле.

МИССИС КОННОР. Это все так *отвратительно. (Взглянув на меня.)* Я уверена, вы подумаете, что я порядочная нюня. Да, так оно и есть. К тому же я слишком много выпила за обедом.

АДДИ. Дружочек, тебе бы следовало прилечь отдохнуть.

МИССИС КОННОР. Отдохнуть? Сколько раз я тебе говорила, что мне снятся кошмары. *(Успокаиваясь.)* Ну да, конечно. Мне надо отдохнуть. Извините меня.

(После ухода сестры Адди налила себе в бокал красного вина, подняла его, и вино заискрилось пурпуром в отблесках пламени камина. Ее карие глаза в свете

полыхавшего в камине огня или свечей на столе меняли свою окраску, становясь по-кошачьи желтыми.

Чуть поодаль в клетке распевали канарейки, и снег, бивший в окна, как полощущаяся на ветру рваная кружевная занавеска, еще больше подчеркивал уют комнаты, тепло огня и красный цвет вина.)

АДДИ. Ну, так я расскажу о себе.

Мне сорок четыре года, но замужем я не была. Я дважды совершила кругосветное путешествие и часто во время летних каникул бываю в Европе. Но, сказать по правде, до этого года, точнее до прошедшего Дня благодарения, со мною не приключалось ничего особенного, если не считать того, что однажды разбушевавшийся пьяный матрос пытался изнасиловать меня на шведском грузовом судне.

У нас с сестрой на почте есть свой абонентский бокс — здесь это называют ящик,— не потому, что мы получаем уйму корреспонденции, а потому, что подписываемся на много журналов. Одним словом, возвращаясь из школы домой, я зашла на почту и обнаружила в нашем ящике довольно большой, но очень легкий пакет. Он был обернут в старую мятую бумагу, которую, видно, до этого уже использовали, и перевязан старым шпагатом. Судя по штемпелю, отправитель пакета был местный. На бумаге четкими печатными буквами было выведено мое имя. Еще до того, как открыть пакет, я подумала, что это, должно быть, какая-нибудь ерунда. Вам, конечно, уже известно о гробиках?

Т. К. Да, я видел один из них.

АДДИ. А я тогда о них ничего не знала. Да и никто не знал. Джейк и его агенты держали это в тайне.

(Она взглянула на Джейка и, запрокинув голову, выпила одним глотком вино из бокала,— она сделала это удивительно изящно, показав красивый изгиб шеи. Джейк бросил на нее ответный взгляд и пустил в ее сторону кольцо дыма; это плывущее по воздуху овальное кольцо, казалось, несло с собой любовное послание.)

Открыла я пакет только поздно вечером, так как, возвратясь домой, обнаружила сестру на полу около лестницы: она свалилась и растянула себе лодыжку. Я забыла о посылке и вспомнила о ней, только когда собралась лечь спать. Поначалу я решила, что она вполне может подождать до утра. Лучше бы я не изменила своего решения — по крайней мере, не провела бы бессонную ночь.

Потому что... Потому что я пережила потрясение. Однажды я получила поистине отвратительное анонимное письмо, оно особенно огорчило меня потому, что, между нами говоря, значительная часть того, о чем писал автор, была правдой. *(Смеясь, она снова наполнила свой бокал.)* На этот раз потрясение вызвал не сам гробик, а вложенная в него фотография. Снимок был сделан недавно: я стою на ступеньках у входа на почту. Это показалось мне гнусным вторжением в мою личную жизнь, похожим на кражу,— сфотографировать человека, когда он об этом даже не подозревает. Я вполне сочувствую тем африканцам, которые прячутся от фотоаппарата, опасаясь, что фотограф может выкрасть таким образом их душу. Я была потрясена, но не напугана. Испугалась моя сестра. Когда я показала полученный мной подарок, она спросила: «Ты не думаешь, что это имеет какое-то отношение к другим случаям?» Под «другими случаями» она подразумевала то, что произошло в городе за последние пять лет: убийства, несчастные случаи, самоубийства — как хотите, разные люди называли это по-разному.

Я старалась забыть о посылке, отнеся ее к категории анонимных писем, но чем больше я думала, тем чаще мне в голову приходила мысль о том, что догадка моей сестры, возможно, верна. Посылку явно прислала не ревнивая женщина, полная злобного недоброжелательства. Это было дело рук мужчины. Мужчина смастерил этот гробик. Твердая мужская рука вывела на посылке мое имя. И все в целом было задумано как угроза. Но в связи с чем? Я подумала, может быть, мистер Пеппер знает. И я пошла к мистеру Пеппперу. К Джейку. На самом-то деле я была увлечена им.

ДЖЕЙК. Продолжай-ка свой рассказ.

АДДИ. Хорошо. Я отправилась к нему с этой историей специально, чтобы вскружить ему голову.

ДЖЕЙК. Это же не так.

АДДИ *(печально, глухим голосом, разительно отличающимся от беспечного щебетания канареек).* Да, не так. Ибо к тому времени, когда я решилась поговорить с Джейком, я пришла к заключению, что кто-то в самом деле собирается убить меня, и уже довольно ясно представила себе, кто именно, несмотря на то что повод был невероятный. Я бы сказала — пустячный.

ДЖЕЙК. Он не кажется таким уж невероятным или пустячным. Особенно после того, как познакомишься с повадками этого чудовища.

АДДИ *(не слушая его, ни к кому не обращаясь, будто читая таблицу умножения своим ученикам).* Про жителей маленьких городков обычно говорят, что все они знают друг друга. Но я никогда не видела родителей некоторых моих учеников. Мимо меня по улицам ежедневно проходят люди, которых я совершенно не знаю. Я исповедую баптизм, и наш приход не слишком велик, но иных прихожан я вам не назову по имени, даже если приставите мне пистолет к виску.

Но я говорю об этом вот по какой причине: когда я стала вспоминать людей, которые скоропостижно скончались, то вдруг обнаружила, что знаю их всех. За исключением пары из Талсы, приезжавшей в гости к Эду Бакстеру и его жене.

ДЖЕЙК. Хоганы.

АДДИ. Да. Но они-то не имели никакого отношения к делу. Посторонние люди, случайно попавшие в преисподнюю. В буквальном смысле этого слова.

Это вовсе не означает, что кто-либо из остальных принадлежал к числу моих близких друзей — исключение, пожалуй, составляют только Клем и Эми Андерсоны. Все их дети учились у меня.

Однако я знала также и других: Джорджа и Амелию Робертсов, Бакстеров, доктора Парсонса. Знала довольно хорошо. В связи с одним делом... *(Она устремила взгляд в бокал с вином, рассматривая мерцание рубинового напитка, подобно цыганке, гадающей на магическом кристалле или на зеркале.)* В связи с рекой... *(Она подняла бокал к губам и снова с поразительным изяществом осушила его.)* Вы видели нашу реку? Еще нет? Да, конечно, сейчас для этого не лучшее время года. Но летом она хороша. Намного лучше всего остального, что здесь есть. Ее называют у нас Голубой рекой, и она действительно голубая. Это не голубизна Карибского моря, но тем не менее цвет очень чистый, а дно у реки песчаное, и есть тихие глубокие заводи для купания. Она берет начало в горах к северу от нас и течет по равнине мимо расположенных по берегам ранчо. Река здесь — основной источник орошения; у нее два притока, две речушки, которые называются — Большой и Малый Братцы.

Все неприятности начались именно из-за этих двух притоков. Многие владельцы ранчо, орошаемых водами этих притоков, считали, что русло Голубой реки надо немного отвести в сторону с тем, чтобы расширить притоки — Большого и Малого Братцев. Естественно, владельцы тех ранчо, земли которых орошаются водами Голубой реки, выступали против этого предложения. И резче всех возражал Боб Куинн, владелец ранчо Б. К., через которое протекает наиболее широкая и глубокая часть Голубой реки.

ДЖЕЙК *(плюнув в огонь).* Роберт Хоули Куинн, эсквайр.

АДДИ. Раздоры по поводу реки продолжались много лет. Все отлично понимали, что если даже расширение притоков нанесет ущерб Голубой реке — с точки зрения обилия ее вод и красоты пейзажа,— оно все равно будет справедливым и логичным. Но семье Куиннов и другим владельцам ранчо, расположенных по берегам Голубой реки, всегда удавалось различными способами помешать принятию каких-либо мер.

Однако особую остроту эта проблема приобрела после двух лет сильной засухи. Владельцы ранчо, дальнейшее существование которых целиком зависело от вод Большого и Малого Братцев, подняли невероятный гвалт. Засуха причинила им большой урон, они потеряли уйму скота и теперь во весь голос требовали свою долю вод Голубой реки.

В конце концов городской совет принял решение создать специальный комитет, чтобы тот разобрался в этом вопросе. Не знаю, по какому принципу выбирали членов комитета. У меня, во всяком случае, не было никаких особых оснований войти в него. Помню только, что мне позвонил старый судья Хэтфилд — он теперь в отставке и живет в Аризоне — и спросил, не соглашусь ли я поработать в комитете, вот и все. Первое заседание мы провели в январе семидесятого года в суде, в зале совещаний. Кроме меня в комитет вошли Клем Андерсон, Джордж и Амелия Робертс, доктор Парсонс, Бакстеры, Том Генри и Оливер Джейгер...

ДЖЕЙК *(мне).* Джейгер — начальник почты. Чокнутый малый.

АДДИ. Не такой уж чокнутый. Ты говоришь так, потому что...

ДЖЕЙК. Потому что он действительно чокнутый.

(Адди была явно смущена. Какое-то время она разглядывала свой бокал, потянулась за бутылкой, чтобы налить себе вина, но, обнаружив, что бутылка пуста, извлекла из небольшой сумочки, лежавшей у нее на коленях, изящную серебряную коробочку, наполненную голубыми таблетками валиума, и, проглотив одну из них, запила глотком воды. А Джейк еще убеждал меня, что Адди не из нервных!)

Т. К. А кто такой Том Генри?

ДЖЕЙК. Другой чудак. Пожалуй, еще чуднее, чем Оливер Джейгер. У него здесь заправочная станция.

АДДИ. Да, нас было девять человек. Мы заседали раз в неделю в течение двух месяцев. Обе стороны — те, кто был за, и те, кто был против проекта,— посылали в комитет представителей, чтобы изложить свои доводы. Многие владельцы ранчо приходили сами поговорить с нами и рассказать о своем положении.

Но среди них не было мистера Куинна. Нет, от Боба Куинна мы не услышали ни единого слова, хотя владелец ранчо Б. К. понес бы наибольший урон, если бы мы проголосовали за изменение русла «его» реки. Я объясняла это тем, что он занимает слишком высокое положение, слишком могуществен для того, чтобы возиться с нами — каким-то глупым, ничего не значащим комитетом. Боб Куинн ведет переговоры с самим губернатором, конгрессменами, сенаторами; он полагает, что все эти парни у него в кармане. И поэтому ему не важно, какое решение мы примем. Его высокопоставленные дружки все равно наложат на решение вето.

Однако дело обернулось иначе. Комитет проголосовал за то, чтобы отвести Голубую реку как раз в том месте, где она попадает во владения Куинна. Это, конечно, не означало, что он остался бы совсем без воды, нет, он просто перестал бы владеть той львиной ее долей, которая доставалась ему раньше.

Решение было бы принято единогласно, если бы Том Генри не выступил против. Ты прав, Джейк, Том Генри — чокнутый малый. Поэтому голоса разделились — восемь против одного. Наше решение получило широкую поддержку: оно никому не причиняло вреда, но было весьма полезно для многих, и политические дружки Куинна ничего не могли поделать — во всяком случае, если хотели остаться на своих постах.

Через несколько дней после того, как комитет принял решение, я столкнулась с Бобом Куинном на почте. Он с нарочитой любезностью приподнял шляпу и, улыбаясь, спросил меня о здоровье.

Я, разумеется, не думала, что он при встрече плюнет мне в лицо, но все же никогда раньше не видела с его стороны такой подчеркнутой вежливости. Нельзя было даже подумать, что он затаил злобу. Затаил злобу? Какое там — потерял рассудок!

Т. К. Как выглядит этот мистер Куинн?

ДЖЕЙК. *Не говори ему!*

АДДИ. Почему же?

ДЖЕЙК. Да так.

(Он подошел к камину и бросил остаток сигары в огонь. Повернувшись спиной к камину, он стоял, слегка расставив ноги и скрестив руки; я до сих пор не считал Джейка тщеславным, но тут он явно слегка позировал, стремясь выглядеть импозантнее, что ему вполне удалось. Я засмеялся.)

Ты что?

Т. К. А теперь ты как из романа Джейн Остин. В ее романах обольстительные мужчины всегда греют зады у камина.

АДДИ *(смеясь).* О, Джейк, это верно, верно!

ДЖЕЙК. Я не читаю дамской литературы. Никогда не читал и не буду читать.

АДДИ. Именно по этой причине я открою еще бутылку вина и выпью все сама.

(Джейк подошел к столу, сел рядом с Адди, взял ее руку в свою, их пальцы переплелись. Это произвело на нее чересчур явное действие: лицо ее вспыхнуло, по шее пошли красные пятна. Джейк же, казалось, не замечал ее, не замечал того, что делал. Он смотрел на меня так, словно в комнате, кроме нас, никого не было.)

ДЖЕЙК. Выслушав все это, ты, конечно, решил, что дело наконец распутано. Убийца — мистер Куинн.

Так думал и я. В прошлом году после того, как Адди рассказала мне то, что ты сейчас услышал, я вылетел из этой маленькой берлоги словно медведь, которого пчела укусила в задницу. Прямиком в столицу штата. Невзирая на День благодарения, мы созвали совещание Бюро в полном составе. Я изложил все как по нотам: вот вам мотив преступления, вот вам парень, совершивший его. Никто из собравшихся не возразил, за исключением начальника, который сказал: «Полегче, Пеппер. Человек, которого вы обвиняете, не какая-нибудь там букашка. Да и где у вас состав преступления? Все построено на голых рассуждениях. На догадках». Все тут же с ним согласились, заявив, что у меня нет никаких доказательств виновности Куинна.

Я так обозлился, что разорался на них: «Какого черта, вы думаете, я сюда явился? Нам надо объединить усилия и собрать необходимые доказательства. Я уверен, что это сделал Куинн». А шеф ответил: «Я был бы поосторожнее в выражениях, говоря об этом с другими. Бог мой, вы добьетесь того, что нас всех вышвырнут с работы».

АДДИ. На следующий день, когда Джейк вернулся сюда, надо было его сфотографировать. Мне приходилось в силу моей профессии наказывать изрядное количество мальчишек, но ни один из них не выглядел таким несчастным, каким был в тот день Джейк.

ДЖЕЙК. Что и говорить, мне действительно было не очень-то весело.

Бюро, правда, в конечном счете поддержало меня, и мы начали выверять все факты из жизни Роберта Хоули Куинна с самого появления его на свет. Но нам приходилось действовать крайне осторожно. Шеф нервничал, как преступник в камере смертников. Я хотел получить ордер на обыск ранчо Б. К., имеющихся там домов, всего владения в целом. Шеф не разрешил. Он даже не позволил мне допросить этого человека.

Т. К. Знал ли Куинн, что вы подозреваете его?

ДЖЕЙК *(фыркнув)*. Узнал тут же. Кто-то из канцелярии губернатора все ему выложил. Возможно, даже сам губернатор. Да и парни из нашего Бюро, наверное, тоже рассказали ему обо всем. Я никому не доверяю. Во всяком случае, тем, кто связан с этим делом.

АДДИ. Весь город узнал об этом с быстротой молнии...

ДЖЕЙК. Из-за Оливера Джейгера. И Тома Генри. Да и по моей вине. Поскольку оба они состояли в речном комитете, я полагал, что их следует ввести в курс дела, обсудить с ними действия Куинна и предупредить по поводу гробиков. Оба обещали мне, что будут держать все в секрете. Но, рассказав им о своих подозрениях, я мог бы с тем же успехом изложить их перед собранием городских жителей.

АДДИ. В школе один из учеников поднял руку и объявил: «Мой папа рассказывал маме, что кто-то послал вам гроб, какие бывают на кладбищах. Сказал, что это сделал мистер Куинн». Мне пришлось ответить ему: «Что ты, Бобби, твой папа просто шутит, рассказывает маме сказки».

ДЖЕЙК. Из тех, что распространял Оливер Джейгер! Этот негодяй оповестил буквально весь мир. И ты говоришь, что он не чокнутый?

АДДИ. Ты считаешь его чокнутым, потому что он именно так думает *о тебе.* Он и в самом деле полагает, что ты ошибаешься и преследуешь невинного человека. *(Глядя на Джейка, но обращаясь ко мне.)* Оливер никогда не вышел бы победителем в конкурсе на привлекательную внешность и сообразительность. Однако он вполне разумно мыслит — любит, правда, посплетничать, но человек добрый. Джейгер в родстве с семьей Куинна. Боб Куинн его троюродный брат. Вероятно, оттого-то он так рьяно и защищает Куинна. По мнению Оливера — а здесь это мнение разделяет большинство людей,— если даже и существует какая-то связь между решением комитета по поводу Голубой реки и случившимися в городе смертями, то почему указывать пальцем именно на Боба Куинна? Ведь он не единственный, у кого ранчо на берегу Голубой реки и кто мог бы затаить обиду. Почему не Уолтер Форбс? Или Джим Йоханссен. Или семья Троби. Наконец, Миллеры. Райли. Почему именно Боб Куинн? По какой причине подозревать именно его?

ДЖЕЙК. Это сделал он.

АДДИ. Да, он. Мы знаем это. Но ты даже не можешь доказать, что гремучих змей купил он. Да если бы и мог...

ДЖЕЙК. Я выпил бы охотно виски.

АДДИ. Сейчас, сэр. А вам тоже?

ДЖЕЙК *(после того, как Адди вышла выполнить его просьбу).* Она права. Мы не можем доказать, что змей купил он, несмотря на то, что нам это известно. Понимаешь, я с самого начала полагал, что змеи приобретены в одном из тех хозяйств, где их разводят ради яда, который продают в медицинские лаборатории. В основном этим занимаются во Флориде и Техасе, однако змеиные фермы разбросаны по всей стране. В последние годы мы разослали запросы большинству из них, но так и не получили ни одного ответа.

Однако в глубине души я чувствовал, что гремучие змеи из Техаса. Мое предположение было логично: к чему тащиться во Флориду, когда можно достать змей почти рядом? Как только Куинн оказался в центре расследования, я решил начать с дела о змеях, то есть именно с того дела, которому в свое время не придали должного значения, главным образом потому, что оно требовало дополнительных усилий и расходов на поездки. Когда же нашего шефа надо заставить выложить деньги — черт побери, легче разгрызть грецкий орех вставными зубами. Но я знаю одного парня — опытного следователя из Техасского бюро, которому я в свое время оказал кое-какие услуги. Я послал ему фотографии Куинна, те, что мне удалось раздобыть, а также фотографии гремучих змей — всех девяти, подвешенных на веревке после того, как мы прикончили их.

Т. К. Как же вы их убили?

ДЖЕЙК. Из дробовиков. Размозжили им головы.

Т. К. Я однажды убил гремучую змею. Садовой мотыгой.

ДЖЕЙК. Ну этих-то гадов ты не смог бы прикончить мотыгой. Даже всадить в них вилы. Наименьшая из них была длиной в семь футов.

Т. К. Змей было девять. Столько же, сколько членов комитета, решавшего проблему Голубой реки. Довольно странное совпадение.

ДЖЕЙК. Билл, мой приятель из Техаса,— парень решительный. Он исколесил весь Техас вдоль и поперек, потратив почти весь свой отпуск на посещение ферм, где разводят змей, и разговоры с теми, кто этим занимается. Примерно месяц тому назад он позвонил мне и сказал, что, кажется, разыскал того, кто мне нужен,— техасскую мексиканку, владелицу змеиной фермы в Ногалесе по имени миссис Гарсиа. Это приблизительно в десяти часах езды отсюда. Если ехать на машине со скоростью девяносто миль в час. Билл обещал встретить меня на месте.

Адди поехала со мной. Мы добрались туда за ночь и позавтракали утром вместе с Биллом в гостинице «Холидэй». После завтрака мы посетили миссис Гарсиа. Некоторые змеиные фермы служат приманкой для любознательных туристов, но ее ферма выглядит иначе. Она стоит в стороне от автострады и совсем небольшая. Однако змеи у миссис Гарсиа оказались весьма незаурядные. Пока мы находились у нее, она то и дело вытаскивала из клеток огромных гремучих змей, обворачивала их вокруг своей шеи или рук и при этом смеялась, показывая крепкие золотые зубы. Поначалу я принял ее за мужчину: у нее могучее телосложение Панчо Вильи, и она носит бриджи с молнией впереди.

На одном глазу у нее катаракта, да и другим глазом она видит неважно. Но тем не менее она без колебаний опознала фотографию Куинна. Сказала, что он был у нее на ферме не то в июне, не то в июле 1970 года (Робертсы погибли 5 сентября 1970 года) вместе с молодым мексиканцем. Они приезжали на небольшом грузовике с мексиканским номером. По ее словам, с Куинном она не беседовала, поскольку он не произнес ни слова, просто слушал, как с ней договаривается мексиканец. Сказала, что у нее нет привычки спрашивать покупателя, для каких целей он покупает ее товар, но мексиканец сам сообщил ей, что ему нужна дюжина больших гремучих змей для какого-то религиозного обряда. Это не вызвало у нее удивления — она привыкла к тому, что люди здесь часто покупают змей для ритуальных церемоний. При этом мексиканец спросил, может ли она гарантировать, что купленные им змеи сумеют напасть на быка весом в тысячу фунтов и убить его. Она ответила, что это вполне возможно в том случае, если змеям предварительно впрыснуть стимулирующее средство — амфетамин.

Она сама показала ему, как это делается, а Куинн стоял и наблюдал. Нам она тоже показала: взяла шест, примерно в два раза длиннее кнутовища — гибкий, как ивовый прут, с кожаной петлей на конце; поймала в петлю змею, подняла ее в воз-

дух и всадила в брюхо шприц. Потом дала мексиканцу потренироваться — у него все прекрасно получилось.

Т. К. Видела ли она этого мексиканца раньше?

ДЖЕЙК. Нет... Я попросил миссис Гарсиа описать его, но, по ее словам, он напоминал обычного молодого мексиканца от двадцати до тридцати лет из любого пограничного городка. Он расплатился с хозяйкой, она упаковала змей в отдельные контейнеры, и покупатели уехали.

Миссис Гарсиа была очень любезна, более того — услужлива. До тех пор, пока мы не спросили ее о самом главном: готова ли она дать нам письменное показание под присягой, что один из двух людей, купивших у нее змей летом тысяча девятьсот семидесятого года, был Роберт Хоули Куинн. Тут ее любезность как рукой сняло. Ответила, что ничего подобного она не подпишет.

Я объяснил ей, что эти змеи были использованы для убийства двух людей. Видели бы вы ее лицо! Она вошла в дом, заперла дверь на замок и опустила ставни на окнах.

Т. К. Ее письменные показания. Они не имели бы достаточного юридического веса.

ДЖЕЙК. Их все же можно было бы предъявить Куинну хотя бы для того, чтобы начать следствие. Скорее всего змей в машину Робертсов подложил мексиканец; Куинн, конечно, нанял его именно для этой цели. Но знаете? Держу пари, что мексиканца уже нет в живых. Похоронен где-нибудь в пустынной прерии. Не без участия мистера Куинна.

Т. К. Но в биографии Куинна обязательно должно быть что-нибудь, свидетельствующее о том, что он склонен к патологической жестокости!

ДЖЕЙК *(кивает утвердительно).* Этот джентльмен прекрасно знаком с убийством.

(Адди принесла виски. Он поблагодарил ее и поцеловал в щеку. Она села рядом с ним, и снова их руки встретились, пальцы переплелись.)

В здешних краях Куинны — одна из старейших семей. Боб Куинн — старший из трех братьев. Ранчо Б. К. принадлежит им всем, но подлинный хозяин — Боб.

АДДИ. Нет, владелица ранчо — его жена. Он женился на своей кузине Хуаните Куинн. Мать у нее была испанка, и у Хуаниты темперамент горячей кобылки. Их первый ребенок скончался при рождении, и она не пожелала больше иметь детей. Однако всем известно, что у Боба Куинна есть дети. От другой женщины, в другом городе.

ДЖЕЙК. Он отличился во время войны. Был полковником в морской пехоте. Люди утверждают — хотя сам Куинн никогда об этом не говорит,— что он собственноручно истребил больше японцев, чем атомная бомба, сброшенная на Хиросиму.

Но и вскоре после войны он прикончил кое-кого, хотя и не в столь патриотических целях. Однажды поздно вечером он вызвал на свое ранчо шерифа, чтобы тот забрал два трупа. Он утверждал, что поймал двух парней за кражей скота и застрелил на месте. Это была его версия, и никто не стал ее оспаривать, во всяком случае публично. Однако на самом деле эти парни были не конокрады, а картежники из Денвера. Они специально приехали к Куинну за обещанным долгом, но вместо денег получили заряд в спину.

Т. К. А ты его спрашивал об этом?

ДЖЕЙК. Кого?

Т. К. Куинна.

ДЖЕЙК. Не спрашивал. Строго говоря, я его прямо о деле никогда не спрашивал.

(Губы Джейка искривила циничная усмешка. Он позвенел льдом в стакане, отпил немного виски и хрипло откашлялся, словно горло ему забила мокрота.)

В последнее время я беседовал с ним подолгу. А в первые пять лет не встречался ни разу. Только видел его издали и знал, кто он такой.

АДДИ. Зато сейчас они неразлучны, как два закадычных приятеля.

ДЖЕЙК. Адди!

АДДИ. Что ты, Джейк. Я ведь только шучу.

ДЖЕЙК. Тут не до шуток. Для меня это настоящая пытка.

АДДИ *(сжав его руку).* Я знаю. Прости, пожалуйста.

(Джейк осушил стакан и со стуком опустил его на стол.)

ДЖЕЙК. Пытка — смотреть на него, слушать его, смеяться над его шутками. Я не терплю его. Он тоже не терпит меня. И мы оба это знаем.

АДДИ. Дай-ка я тебе налью еще немного виски.

ДЖЕЙК. Сиди спокойно.

АДДИ. Пожалуй, надо взглянуть, как там Мэрили. Все ли в порядке.

ДЖЕЙК. Сиди спокойно.

(Но Адди хотелось уйти из комнаты, ей было неловко от того, что Джейк злится и глухая злоба искажает его черты.)

АДДИ *(выглядывая из окна).* Снег больше не идет.

ДЖЕЙК. В «О'кэй кафе» по утрам в понедельник многолюдно. После выходных дней все заглядывают туда, чтобы узнать, нет ли каких-либо новостей. Владельцы ранчо, дельцы, шериф со своей бандой, служащие суда. Но в понедельник после того Дня благодарения там было особенно много народа. Сидели даже друг у друга на коленях и галдели как на базаре.

Легко догадаться, о чем они болтали. Еще бы: Том Генри и Оливер Джейгер потратили всю субботу и воскресенье, чтобы распустить слух о том, что Джейк Пеппер, парень из Бюро расследований, обвиняет Боба Куинна в убийстве. Я сидел за своим столиком и делал вид, будто ничего не замечаю. Но, конечно, заметил: когда вошел сам Боб Куинн, в кафе все замерли.

Он протиснулся к столику, где сидел шериф, шериф обхватил его за плечи, рассмеялся и выкрикнул ковбойское приветствие. Большинство из присутствующих громко вторило ему: «Эй, Боб! Привет, Боб!» Да, сэр, посетители, находившиеся в «О'кэй кафе», все как один были за Боба Куинна. И я тут же почувствовал, что, если даже сумею неопровержимо доказать, что этот человек совершил несколько убийств, толпа все равно линчует меня еще до того, как я арестую его.

АДДИ *(прижимая ладонь ко лбу, словно у нее болела голова).* Он прав. На стороне Боба Куинна весь город. Вот почему моя сестра не любит, когда мы говорим об этом. Она говорит, что Джейк ошибается и что мистер Куинн — прекрасный человек. По ее мнению, убийства совершал доктор Парсонс и по этой причине покончил с собой.

Т. К. Но доктора Парсонса давно не было в живых, когда вы получили свой гробик.

ДЖЕЙК. Мэрили — милая, но не очень сообразительная женщина.

(Адди сняла свою руку с руки Джейка, как бы осуждая его за сказанное, не слишком, правда, сурово. Джейк встал из-за стола и стал ходить по комнате. Звук его шагов по полированному сосновому полу гулко отдавался в тишине.)

Итак, вернемся к «О'кэй кафе». Когда я собрался уходить, шериф схватил меня за руку. Типичный самонадеянный болван из ирландцев. Мерзкий, как само дьявольское отродье. Говорит мне: «Эй, Джейк. Познакомься с Бобом Куинном. Боб, это — Джейк Пеппер из Бюро расследований». Я подал руку Куинну. Куинн сказал мне: «Я много о вас слышал и знаю, что вы играете в шахматы. А мне трудно найти себе партнера. Как насчет того, чтобы сыграть?» Я ответил, что не возражаю, и тогда он спросил: «Завтра подойдет? Приходите около пяти. Мы выпьем по стаканчику и сыграем пару партий».

Вот с этого и началось. На следующий день я отправился на ранчо Б. К. Мы проиграли часа два подряд. Куинн играет лучше меня, но мне все же удалось несколько раз выиграть, поэтому игра была довольно острой. Он большой любитель поболтать. Говорит о чем угодно — о политике, женщинах, сексе, ловле форелей, пищеварении, о своей поездке в Россию, о скоте и пшенице, о том, что лучше — джин или водка, о Джонни Карсоне, о сафари в Африке, о религии, Библии, Шекспире, о гениальности генерала Макартура, об охоте на медведей, о проститутках в Рено и Лас-Вегасе, о бирже, о венерических болезнях, о смертной казни (он — за нее), о футболе, бейсболе, баскетболе — словом, *обо всем* на свете. Обо всем, кроме причины, по которой я нахожусь в этом городе.

Т. К. То есть он не хочет говорить о расследуемом деле?

ДЖЕЙК *(перестав ходить по комнате).* Не то что не хочет, а просто ведет себя так, словно оно не существует. Я показал ему фотографии Клема Андерсона. Думал,

что прошибу его и он что-нибудь да скажет. Хоть как-то отреагирует. Но он тут же уткнулся в шахматную доску, сделал ход и отпустил какую-то мерзкую шутку.

Итак, мистер Куинн и я ведем эту двойную игру вот уже несколько месяцев. Сегодня попозже я тоже еду к нему. И ты *(указав пальцем на меня)* поедешь со мной.

Т. К. А примут меня там?

ДЖЕЙК. Я сказал ему о тебе сегодня утром по телефону. Он спросил только одно: играешь ли ты в шахматы?

Т. К. Играть-то играю, но предпочел бы поглядеть, как играете вы.

(В камине свалилось горящее полено, и, привлеченный его треском, я уставился на огонь, думая о том, отчего Джейк не дал Адди описать внешность Куинна, рассказать, как тот выглядит. Я старался представить его себе, но не получалось. На ум приходил отрывок из Марка Твена, что прочитал мне Джейк: «Из всех существ, которые были созданы, человек — самое отвратительное... ему одному свойственна злоба... из всех созданий на земле он один обладает подлым умом». Голос Адди вывел меня из тягостного раздумья.)

АДДИ. О боже, опять идет снег. Правда, совсем небольшой. Снежинки как будто плавают в воздухе. *(Затем, словно возобновление снегопада навело ее на мысли о смерти и быстротечности времени.)* Вы знаете, прошло уже почти пять месяцев. Слишком большой для него срок. Обычно он так долго не ждет.

ДЖЕЙК *(взволнованно)*. Адди, о чем ты?

АДДИ. Мой гробик. Вот уже почти пять месяцев, как я его получила. Я говорю, что он обычно так долго не ждет.

ДЖЕЙК. Адди, но я же здесь. С тобой ничего не случится.

АДДИ. Да, Джейк, конечно. Я думаю об Оливере Джейгере. Интересно, когда он получит свой гробик. Только представьте себе: Оливер — начальник почтамта. Начнет сортировать полученную почту и... *(Ее голос вдруг сильно задрожал; звучавшую в нем взволнованную грусть еще острее подчеркивало беспечно-веселое пение канареек.)* Но это произойдет не так скоро.

Т. К. Почему же?

АДДИ. Сначала Куинн заполнит мой гроб.

Мы уехали от Адди в шестом часу. Ветер стих, снег больше не шел, воздух был окрашен янтарным отблеском заката и бледным сиянием восходившей луны. Полная луна поднималась вверх по небу, точно круглое белое колесо или белая безликая маска, угрожающе заглядывающая к нам в стекла машины. В конце Главной улицы, там, где город переходит в прерию, Джейк указал мне на заправочную станцию: «Вот эта и принадлежит Тому Генри. Том Генри, Адди и Оливер Джейгер — их осталось только трое из всех членов речного комитета. Я говорил тебе, что Том Генри чудак, которому везет. Проголосовал против всех остальных. Его оставят в покое. Том Генри гробика не получит».

Т. К. «Гроб для Димитриоса»?

ДЖЕЙК. О чем ты?

Т. К. Это книга Эрика Эмблера. Увлекательный детективный роман.

ДЖЕЙК. Роман? *(Я утвердительно кивнул, и он состроил гримасу.)* И ты читаешь такую чушь?

Т. К. Грэм Грин был первоклассный писатель, пока не попал в сети Ватикана. После этого он уже не создал ничего равного своему *«Брайтонскому утесу»*. Мне нравится Агата Кристи, я люблю ее книги. И Рэймонд Чэндлер — отличный стилист, настоящий поэт. Даже если сюжеты у него никудышные.

ДЖЕЙК. Чушь. Все они пустые фантазеры, садятся за пишущую машинку и стучат, что бог на душу положит,— вот и все.

Т. К. Значит, Том Генри не получит гробика. А как насчет Оливера Джейгера?

ДЖЕЙК. Тот-то получит. Однажды утром, когда он будет сновать по почте, опорожняя мешки с поступившей почтой, он найдет в одном из них коричневую картонку с собственным именем. Неважно, что он приходится троюродным братом Бобу Куинну, неважно и то, что он поет ему осанну. Преподобный Боб не подумает пощадить Джейгера за то, что тот его славословит. Насколько я знаю преподобного Боба, от него этого не дождешься. Скорее всего он уже поработал своим острым ножичком, сделал знакомую маленькую безделицу и засунул туда снимок Оливера Джейгера...

(Голос Джейка дрогнул, он замолчал, а нога его непроизвольно нажала на тормоз; машину занесло, она дернулась в сторону, но выровнялась,— и мы поехали дальше. Я понял, в чем дело. Он, как и я, вспомнил патетическую фразу Адди: «...сначала Куинн заполнит мой гроб». Я попытался придержать язык, но он отказывался мне повиноваться.)

Т. К. Но это значит...

ДЖЕЙК. Включи-ка лучше фары.

Т. К. Это значит, что сначала умрет Адди.

ДЖЕЙК. Черт побери, нет! Я знал, что ты это скажешь! *(Он ударил ладонью по рулю.)* Я окружил ее плотной стеной. Дал ей тридцативосьмикалиберный револьвер, которым пользуются детективы, и научил стрелять. Ей ничего не стоит всадить пулю между глаз с расстояния в сто ярдов. Она обучилась каратэ и может расколоть доску ребром ладони. Адди умна, ее не очень-то проведешь. И к тому же здесь я. Я слежу за ней. Слежу и за Куинном. И другие агенты тоже.

(Сильные эмоции, как, например, страх, граничащий с ужасом, могут поколебать логику даже таких трезво мыслящих людей, как Джейк Пеппер, чьи меры предосторожности не спасли Клема Андерсона. Я не собирался спорить с ним по этому вопросу, по крайней мере теперь, когда им владело безрассудство, но почему он, считая, что Оливер Джейгер обречен, был так уверен, что Адди в безопасности и с ней ничего не случится? Ведь если Куинн останется верен своему плану, он непременно уберет со сцены Адди, отправит ее на тот свет, прежде чем приступит к выполнению заключительной части своего замысла — пошлет гробик начальнику местной почты, своему троюродному брату и стойкому защитнику.)

Т. К. Я слышал, что Адди совершила кругосветное путешествие. Думаю, что сейчас самое время снова его повторить.

ДЖЕЙК *(резко)*. Она не может уехать отсюда. Во всяком случае сейчас.

Т. К. Вот как? Но она вовсе не похожа на человека, желающего покончить с собой.

ДЖЕЙК. Ты понимаешь, во-первых, у нее школа, а занятия там кончаются только в июне.

Т. К. Бог мой, Джейк! Как ты можешь говорить *о занятиях?*

(Несмотря на спустившиеся сумерки, я различил смущение на его лице, но он тут же крепко сжал челюсти.)

ДЖЕЙК. Мы уже обсуждали этот вопрос. Говорили, что она могла бы отправиться вместе с Мэрили в морской круиз. Но она не хочет никуда ехать. Говорит: «Акуле нужна приманка. Акулу без приманки не поймаешь».

Т. К. Значит, Адди служит приманкой. Как овца, которая ждет, когда на нее набросится тигр.

ДЖЕЙК. Поосторожней. Мне не очень-то нравится твое сравнение.

Т. К. А как бы ты сам это назвал?

ДЖЕЙК *молчит.*

Т. К. *молчит.*

ДЖЕЙК. Куинн, конечно, не забыл об Адди. Он собирается исполнить свое обещание. И вот, когда он предпримет попытку, мы и пристукнем его. Поймаем прямо на сцене при свете прожекторов. Конечно, есть некоторый риск, но его не избежать. Ведь понимаешь, если сказать по правде, это — единственный шанс поймать его.

(Я прислонился головой к стеклу; в памяти возникла красивая шея Адди в то мгновенье, когда она, запрокинув голову, одним глотком выпила ослепительно игравшее в свете огня красное вино. Мне стало не по себе, и я почувствовал неприязнь к Джейку.)

Т. К. Мне нравится Адди. Она настоящий человек, одно только непонятно: отчего она так и не вышла замуж?

ДЖЕЙК. Можешь не волноваться по этому поводу. Адди выходит замуж за меня.

Т. К. *(по-прежнему уйдя в свои мысли, вспоминая, как Адди пила вино).* Когда?

ДЖЕЙК. Летом, когда получу отпуск. Мы никому об этом не говорили. Кроме Мэрили. Поэтому, понимаешь,— Адди в безопасности. Я не допущу, чтобы с ней что-нибудь случилось: я люблю ее и собираюсь на ней жениться.

(Летом... до лета — целая вечность. Белая полная луна плыла высоко в небе над покрытыми искрящимся снегом прериями. Выли койоты. В холодных заснеженных полях коровы в поисках тепла тесно жались друг к другу. Иногда животные держались парами. Я обратил внимание на двух пятнистых телят, стоявших бок о бок, словно каждый из них заботливо оберегал другого, как Джейк и Адди.)

Т. К. Ну что ж, поздравляю! Прекрасно. Я уверен, что вы будете счастливы.

Вскоре показалась высокая, обнесенная колючей проволокой ограда, похожая на ограду концентрационного лагеря. Она шла по обеим сторонам шоссе, а за ней лежало ранчо Б. К., простиравшееся примерно на десять тысяч акров. Я опустил стекло, и в машину ворвался ледяной ветер, остро пахнуло свежим снегом и старым слежавшимся сеном.

— Нам сюда,— сказал Джейк, когда мы, свернув с шоссе, въезжали в широко распахнутые деревянные ворота. У входа свет фар упал на красиво вычерченную надпись: *«Б. К. Владелец ранчо Р. Х. Куинн»*. Под именем владельца была изображена пара скрещенных томагавков — неясно, то ли эмблема ранчо, то ли семейный герб. В любом случае зловещая пара томагавков выглядела вполне подходяще.

Узкая дорога, по обеим сторонам которой стояли голые деревья, была не освещена; лишь изредка в темноте сверкали глаза животных. Мы переехали через деревянный мост, загромыхавший под тяжестью машины, и я услышал шум воды, глухое журчание потока и сообразил, что это и есть Голубая река, но я не видел ее: она была скрыта деревьями и снежными сугробами; мы ехали дальше, и нас сопровождал шум воды, так как река — то зловеще-безмолвная, то вдруг разрывавшая тишину грохотом водопада — протекала вдоль дороги.

Дорога стала шире. Теперь сквозь ветки деревьев проникали лучи электрического света. Красивый мальчик со светлыми развевающимися волосами, верхом на лошади без седла, помахал нам рукой. Мы проехали мимо небольших одноэтажных домишек, освещенных изнутри и гудящих разноголосицей телевизионных передач,— то были дома работников. Впереди, в отдалении, стоял особняк мистера Куинна. Это было большое, деревянное, белое двухэтажное здание, во всю длину которого тянулась застекленная веранда. Дом казался пустым, так как окна в нем были темные.

Джейк нажал на клаксон. И тотчас же в ответ, словно грянули приветственные фанфары, яркий поток света залил веранду и в окнах нижнего этажа засветились лампы. Парадная дверь открылась, из дома вышел человек и стал у входа в ожидании нас.

Джейк представил меня владельцу ранчо Б. К., и я так и не понял, отчего мой приятель не захотел, чтобы Адди описала мне Куинна. Хотя хозяин ранчо не принадлежал к числу тех, кого просто не замечают, во внешности его не было ничего особенного, и все же вид его поразил меня: *я знал мистера Куинна*. Я мог поклясться всеми святыми, что когда-то, безусловно очень давно, уже встречался с Робертом Хоули Куинном и мы вместе принимали участие в какой-то страшной истории, настолько неприятной, что судьбе было угодно вычеркнуть ее из моей памяти.

Он носил дорогие сапоги на довольно высоком каблуке, но даже и без них этот человек был ростом более шести футов, и если бы он держался прямо, не сутулясь и не пригибая плечи, то его высокая фигура казалась бы красивой. У него были длинные обезьяньи руки, спускавшиеся до колен, и длинные, гибкие, до странности аристократические пальцы. Я вспомнил, как когда-то был на концерте Рахманинова. Руки Куинна походили на руки Рахманинова. У Куинна было широкое, но исхудалое лицо со впалыми, загрубевшими от ветра щеками, оно напоминало лицо идущего за плугом средневекового земледельца, на плечи которого обрушились все беды мира. Только Куинн вовсе не выглядел тупым крестьянином, обремененным непосильным грузом забот. Он носил очки в тонкой металлической оправе, и эти профессорские очки и светящиеся за толстыми стеклами серые глаза выдавали его: глаза — подозрительные, умные, хитро-озорные — были начеку и говорили о самодовольной убежденности их владельца в превосходстве над другими людьми. Голос и смех его звучали приветливо, притворно-радушно. Но он не был притворщиком. Перед нами был человек, одержимый идеей, устремленный к достижению цели, человек, поставивший перед собой задачу, которая превратилась для него в крест, в религию, стала неотъемлемой частью его самого. Нет, это был не притворщик, а фанатик, и внезапно,

пока все мы еще стояли на веранде, в моей памяти всплыло, где и при каких обстоятельствах я видел раньше мистера Куинна.

Он протянул длинную руку Джейку, а другой провел по взлохмаченной, убеленной сединой гриве, которую носил на манер американских пионеров,— она была для него слишком длинной: подобные ему владельцы ранчо выглядят обычно так, словно они стригутся и моют голову у парикмахера каждую субботу. Из ноздрей и ушей у него торчали пучки седых волос. Я заметил пряжку на его ремне: на ней были изображены два скрещенных томагавка, покрытых позолотой и красной эмалью.

КУИНН. Привет, Джейк. А я уже сказал Хуаните: «Знаешь, милочка, этот негодяй, видно, перепугался снегопада и не приедет».

ДЖЕЙК. И это вы называете *снегопадом?*

КУИНН. Да я так, шучу, Джейк. *(Обращаясь ко мне.)* Видели бы вы, какой у нас иногда выпадает снег! В пятьдесят втором году я целую неделю выбирался из дома только через чердачное окно. Потерял семьсот голов скота. И все — из породы Санта Гертруда. Ха-ха. Вот это было времечко. Ну как, сэр, вы играете в шахматы?

Т. К. Примерно так же, как говорю по-французски. Un peu [1].

КУИНН *(похохатывая и хлопая себя по ляжкам с притворной радостью).* Знаем мы вас. Явился городской умник разделать нас, деревенских парней, под орех. Держу пари, вы можете обыграть и меня и Джейка одновременно, да еще вслепую.

(Мы прошли с ним по широкому коридору с высоким потолком в огромную комнату, напоминавшую собор, с громоздкой, тяжелой испанской мебелью — шкафы, стулья, столы и зеркала в стиле барокко своими размерами были под стать помещению. Пол был выложен мексиканской плиткой кирпичного цвета и устлан небольшими индейскими коврами. Одна из стен была сложена из необработанных гранитных блоков и напоминала стену пещеры; в стене находился камин таких огромных размеров, что в нем легко можно было зажарить пару быков, поэтому уютно потрескивающий в нем огонь казался таким же неприметным, как ветка в лесу.

Однако сидевшую у огня женщину нельзя было назвать неприметной. Куинн представил ее мне: «Моя жена Хуанита». Она кивнула, однако не оторвалась от экрана стоявшего перед ней телевизора, он работал с выключенным звуком, и она смотрела на дурацкое дерганье безмолвных фигур в какой-то шумной телевизионной викторине. Кресло, в котором она устроилась, в свое время смело могло украсить тронный зал какого-нибудь иберийского замка; на коленях у нее лежала желтая гитара, а рядом с хозяйкой — дрожащая крохотная собачонка мексиканской породы чигуагуа.

Джейк и хозяин дома уселись за столик с великолепным комплектом шахматных фигур из черного дерева и слоновой кости. Я последил за началом игры, прислушался к их легкой болтовне и поразился: Адди была права — они действительно походили на двух приятелей, двух закадычных друзей. Потом я снова отошел к камину, желая получше рассмотреть сидевшую там Хуаниту. Я присел возле нее на каменной плите у камина и стал мысленно подыскивать тему для разговора. Поговорить о гитаре? Или о дрожащей собачонке, ревниво лающей на меня?)

ХУАНИТА КУИНН. Пепе! Глупая букашка!

Т. К. Не беспокойтесь, я люблю собак.

(Она взглянула на меня. Ее прямые, неестественно черные волосы, разделенные прибором посередине, плотно прилегали к узкому черепу. У Хуаниты было маленькое, с кулачок, лицо с мелкими, близко посаженными чертами. И все же голова выглядела чрезмерно крупной по сравнению с туловищем. Она не была полной женщиной, но имевшийся у нее лишний вес отложился в одном месте — в области желудка. У Хуаниты были красивые, стройные ноги, обутые в индейские мокасины, искусно расшитые бисером. Букашка снова залаяла, но на этот раз хозяйка не обратила на нее никакого внимания. Она снова уткнулась в телевизор.)

Интересно, отчего вы смотрите передачу, выключив звук?

[1] Немного *(франц.).*

(Ее скучающие глаза, напоминавшие тусклый оникс, снова обратились ко мне. Я повторил вопрос.)

ХУАНИТА КУИНН. Вы любите текилью?

Т. К. Я знаю маленький кабачок в Палм-Спрингсе, где делают великолепный коктейль с текильей.

ХУАНИТА КУИНН. Настоящий мужчина пьет ее в чистом виде. Без лимонного сока. Без соли. Хотите выпить?

Т. К. С удовольствием.

ХУАНИТА КУИНН. Я тоже. Но у нас текильи нет. Мы ее не держим. Иначе я бы все время пила, совсем разрушила печень и...

(Она щелкнула пальцами, желая изобразить ожидавший ее конец. Затем взяла в руки желтую гитару, ударила по струнам и заиграла какую-то довольно сложную незнакомую мелодию, с явным удовольствием мурлыча ее себе под нос. Она кончила петь, и лицо ее снова сжалось в кулачок.)

Раньше я пила каждый вечер. Каждый вечер — по бутылке текильи перед сном и спала как младенец. И никогда не болела, прекрасно выглядела и отлично себя чувствовала. А теперь все иначе. Без конца простуды, головные боли, артрит, совсем пропал сон. И все из-за того, что доктор запретил пить текилью. Но не судите слишком поспешно. Я вовсе не пьяница. Можете преспокойно вылить все вина и виски мира в Большой каньон. Я люблю только текилью. И больше всего — темно-желтого цвета. *(Она указала на телевизор.)* Вы спрашиваете, отчего я выключила звук. Я включаю его только для того, чтобы послушать сообщение о погоде. А остальное — просто смотрю и стараюсь представить себе, о чем там говорят. Когда я слушаю, меня тут же клонит ко сну. А когда стараюсь догадаться, о чем идет речь, то спать не хочется. Мне нельзя засыпать, по крайней мере до полуночи. Иначе совсем не сомкну глаз. Где вы живете?

Т. К. В основном в Нью-Йорке.

ХУАНИТА КУИНН. Мы обычно ездили в Нью-Йорк каждый год или раз в два года. Останавливались в «Рейнбау рум» — там теперь обзорная площадка панорамы Нью-Йорка. Но поездки туда стали неинтересны, да и вообще меня ничто уже больше не привлекает. Муж говорит, что вы старый друг Джейка Пеппера.

Т. К. Да, знаком с ним вот уже десять лет.

ХУАНИТА КУИНН. Отчего он думает, что мой муж связан с той историей?

Т. К. С какой историей?

ХУАНИТА КУИНН *(с удивлением)*. Вы должны были слышать о ней. Так почему же Джейк Пеппер думает, что мой муж в ней замешан?

Т. К. *Разве* Джейк думает, что ваш муж замешан?

ХУАНИТА КУИНН. Так говорят. Мне сказала сестра...

Т. К. А что думаете вы сами?

ХУАНИТА КУИНН *(приподняв свою собачонку и прижав ее к груди)*. Мне жалко Джейка. Он, наверно, очень одинок. И, конечно, заблуждается, ничего здесь нет. Лучше бы забыть обо всем. А ему — уехать домой. *(Закрыв глаза, страшно усталым голосом.)* А вообще-то кто знает? Да и кто станет тревожиться? Во всяком случае не я. «Нет, не я, нет, не я»,— молвит кролику змея.

Позади нас за шахматным столиком возникло какое-то оживление. Куинн, празднуя свою победу над Джейком, громко похвалялся: — Этот сукин сын думал, что расставил мне здесь ловушку, но после хода ферзем великий Пеппер сам сел в галошу! — Его хриплый баритон раскатисто звучал под сводами комнаты, словно голос оперного певца.— Теперь ваша очередь, молодой человек,— позвал он меня.— Я хочу сыграть по-настоящему, как равный с равным. Старик Пеппер мне и в подметки не годится.— Я принялся отказываться, так как перспектива игры с Куинном отнюдь не вдохновляла меня, представляясь утомительно-скучной. Я, наверное, относился бы к ней иначе, если бы был уверен, что смогу выиграть — успешно разбить этот оплот самомнения. Однажды в подготовительной школе я вышел победителем на шахматном чемпионате, но с тех пор прошла целая вечность, и мои познания в шахматной игре давно перекочевали в запасники мозга. И все же, когда Джейк подозвал меня и уступил свое место, я не отказался и, оставив Хуаниту Куинн у безмолвно мерцавшего экрана, уселся напротив ее мужа. Джейк встал позади меня — его присутствие

действовало ободряюще. Однако Куинн, почувствовав неуверенность и нерешительность моих первых ходов, списал меня со счета как слабого противника и возобновил с Джейком ранее начатый разговор, судя по всему, о фотоаппаратах и фотографии.

КУИНН. Очень хороши «крауты». Я всегда работал с камерами «краут». «лейками», «роллефлексами». Но японцы утерли нос всем. Сейчас вот купил новый японский аппарат — размером с колоду карт, он делает до пятисот снимков на одной пленке.

Т. К. Я знаю этот аппарат. Мне приходилось иметь дело со многими фотографами, и я видел, как они работали с ним. Такой аппарат есть у Ричарда Аведона. По его словам, он ничего собой не представляет.

КУИНН. По правде говоря, я еще не испытал свой. Надеюсь, что ваш приятель ошибается. Я выложил за эту штуку столько денег, что мог бы вполне купить призового быка.

(Я вдруг почувствовал, как пальцы Джейка сжали мое плечо, и понял: он хочет, чтобы я продолжил разговор на эту тему.)

Т. К. Что, фотография — ваше хобби?

КУИНН. Да смотря по настроению. Все началось с того, что мне надоело платить так называемым профессиональным фотографам за снимки моего призового скота. Снимки эти мне нужны для того, чтобы рассылать их различным скотоводам и покупателям. Я решил, что могу их делать сам ничуть не хуже, чем фотографы, да еще и экономить на этом денежки.

(Пальцы Джейка понуждали меня продолжать разговор.)

Т. К. А портретов вы делали много?

КУИНН. Каких портретов?

Т. К. Портретов людей.

КУИНН *(с усмешкой)*. Я не назвал бы это портретами. Так, обычные снимки. Помимо скота я в основном фотографирую природу. Пейзажи. Грозы. Разные времена года здесь на ферме. Пшеницу, когда она зеленеет, и позже, когда колосья наливаются золотом. Мою реку — у меня есть роскошные снимки половодья на моей реке.

(Река. Я насторожился, услышав, как Джейк откашлялся, словно хотел заговорить, но вместо этого его пальцы еще настойчивее понукали меня продолжать. Я поиграл пешкой, мешкая с ходом.)

Т. К. В таком случае вы делаете много цветных фотографий?

КУИНН *(кивая)*. Да, и по этой причине сам проявляю. Если отсылаешь снимки в лабораторию, никогда не знаешь, что получишь обратно.

Т. К. Значит, у вас есть собственная фотолаборатория?

КУИНН. Если ее так можно назвать. Ничего особенного.

(Джейк снова откашлялся, на этот раз с явным намерением вступить в разговор.)

ДЖЕЙК. Боб! Вы помните те фотографии, о которых я вам рассказывал в связи с гробиками? Они были сняты аппаратом, делающим моментальные снимки.

КУИНН *молчит.*

ДЖЕЙК. «Лейкой».

КУИНН. Но только не моей. Моя старая «лейка» пропала в дебрях Африки. Ее спер какой-то черномазый. *(Глядит на шахматную доску, и на лице его появляется напускной испуг.)* Ну что за мерзавец! Черт бы его побрал!.. Посмотрите-ка, Джейк. Ваш приятель почти сделал мне мат. Почти...

Получилось так: из глубин подсознания всплыло былое умение, я двигал вперед свою армию из черного дерева с явной, хотя и непроизвольной уверенностью, и мне действительно удалось создать для короля Куинна угрожающее положение. С одной стороны, я сожалел о своем успехе, так как Куинн использовал его, чтобы избежать расспросов Джейка и перевести разговор с темы фотографии, приобретшей внезапную остроту, на шахматы. С другой стороны, у меня поднялось настроение: играя столь прилично, я вполне мог выиграть партию. Куинн почесывал подбородок, его серые глаза целиком сосредоточились на доске: спасение короля стало для него священным долгом. А у меня в глазах шахматная доска вдруг начала расплываться, принимая неясные очертания, мысли уходили в глубь напластований, мирно покоившихся на дне моей памяти примерно в течение полувека.

Стояло лето. Мне было пять лет, и я жил с родственниками в небольшом городке штата Алабама. Недалеко от города, как и здесь, протекала река, но грязная, заросшая, вызывавшая у меня отвращение из-за того, что в ней было полным-полно водяных щитомордников и усачей. Хотя я терпеть не мог их усатые морды, но любил их есть жареными, обмакивая в кетчуп. У нас была кухарка, которая часто готовила рыбу. Ее звали Люси Джой [1], но мне редко приходилось встречаться с такими невеселыми людьми, как она. Это была здоровенная негритянка, молчаливая и серьезная; казалось, она жила только в ожидании воскресенья — по воскресеньям она пела в хоре какой-то заброшенной церквушки. Но однажды с Люси произошла удивительная перемена. Мы были с ней вдвоем на кухне, когда она вдруг принялась рассказывать мне про некоего преподобного Бобби-Джо Сноу — Люси описывала его с таким восторгом, что ее рассказ воспламенил мое воображение. По словам кухарки, Сноу был известный евангелист, настоящий чудотворец, который должен скоро приехать в наш город, его ожидали здесь на следующей неделе, он будет произносить проповеди, крестить людей и спасать их души! Я умолял Люси взять меня с собой, чтобы поглядеть на него, и она, улыбаясь, обещала, что возьмет. На самом же деле ей было просто необходимо, чтобы я пошел вместе с ней. Этот преподобный Сноу был белый, на его проповеди черные не допускались, и Люси сообразила, что ее не прогонят лишь в том случае, если она приведет крестить белого мальчика. Вполне естественно, что Люси не обмолвилась об этом ни словом, и меня ожидал сюрприз. На следующей неделе по дороге на собрание, где выступал с проповедью преподобный, я представлял себе такую картину: я увижу собственными глазами, как спустившийся с небес святой будет исцелять слепых и хромых. Но как только я понял, что мы направляемся к реке, меня охватило беспокойство; когда же мы пришли туда и я увидел массу людей, всех этих жалких белых бедняков из глухих деревень, которые горланили и приплясывали, я не захотел идти дальше. Тут Люси рассвирепела и втолкнула меня в изнемогавшую от зноя толпу. Вокруг звенели колокольцы, дергались в пляске тела, но среди общего шума я ясно различал один голос — баритон; человек то пел, то что-то громко выкрикивал. Люси тоже пела, стонала и дергалась. Вдруг какой-то незнакомец неожиданно посадил меня к себе на плечо, и я увидел человека, голос которого выделялся среди всех других. Он стоял по пояс в воде, в белой одежде, у него были убеленные сединой волосы, спутанные и мокрые, а воздетые к небу длинные руки словно умоляли о чем-то полуденное солнце, висевшее во влажном воздухе. Я старался рассмотреть его лицо, так как понял, что это и есть преподобный Бобби-Джо Сноу, но, прежде чем я что-то увидел, мой благодетель сбросил меня на землю в мерзкое месиво из пляшущих в экстазе ног, ходящих ходуном рук и сотрясаемых тамбуринов. Я просил отвести меня домой, но Люси, опьяненная великолепием зрелища, цепко держала меня за руку. Нестерпимо жгло солнце, к горлу подкатывала тошнота. Меня не вырвало, но я принялся кричать, отбиваться кулаками и плакать. Люси подталкивала меня к реке, и толпа расступалась, освобождая нам дорогу. Я сопротивлялся изо всех сил, пока не очутился на самом берегу реки и не остановился там как вкопанный, пораженный тем, что увидел. Стоявший в реке человек в белой одежде держал на руках упиравшуюся девочку, он произнес что-то из священного писания, затем быстро погрузил ее в воду, а потом вытащил. Она кричала и плакала и, шатаясь, с трудом взобралась на берег. Тогда длинные руки преподобного потянулись ко мне. Я укусил Люси за руку, пытаясь вырваться, но какой-то парень с красной шеей схватил меня и потянул к воде. Я закрыл глаза, в нос ударил запах волос Иисуса, и тут я почувствовал, как руки преподобного опускают меня куда-то в черную глубину реки, а затем — спустя целую вечность — снова извлекают на свет божий. Мои глаза открылись, и я увидел серые глаза маньяка. Его широкое, но изможденное лицо приблизилось к моему, и он поцеловал меня в губы. Я услышал громкий смех и громоподобный крик: — Мат!

КУИНН. Мат!

ДЖЕЙК. Черт побери, Боб. Он дал вам выиграть просто из вежливости.

(Поцелуя как не бывало, и лицо преподобного исчезло, уступив место совершенно такому же лицу Куинна. Итак, пятьдесят лет тому назад в Алабаме я впервые увидел мистера Куинна. Или во всяком случае его двойника — евангелиста Бобби-Джо Сноу.)

[1] Радость, веселье *(англ.)*.

КУИНН. Ну как, Джейк? Согласны проиграть еще один доллар?

ДЖЕЙК. Только не сегодня. Мы завтра утром едем в Денвер. Мой друг должен попасть на самолет.

КУИНН *(обращаясь ко мне).* Черт побери! Да разве так гостят! Приезжайте сюда снова. Приезжайте-ка летом, и я возьму вас с собой на ловлю форели. Теперь, правда, уже не то, что прежде. Бывало, забросишь удочку и тут же вытащишь шестифунтовую рыбину. Так было, пока не испакостили мою реку.

(Мы ушли, не попрощавшись с Хуанитой Куинн, которая спала крепким сном и громко храпела. Куинн проводил нас до машины.— Будьте осторожны! — предупредил он, помахав нам рукой, и стоял на дороге, пока машина не исчезла из виду.)

ДЖЕЙК. Благодаря тебе я еще кое-что узнал. Теперь мне *ясно,* что фотографии проявлял он сам.

Т. К. Хорошо, но почему ты не позволил Адди рассказать мне, как он выглядит?

ДЖЕЙК. Это могло бы повлиять на твое первое впечатление. А мне хотелось, чтобы ты посмотрел на него свежим взглядом и сказал свое мнение.

Т. К. Передо мной был человек, которого я уже видел раньше.

ДЖЕЙК. Ты — *Куинна?*

Т. К. Нет, не Куинна. Но кое-кого, очень на него похожего. Его двойника.

ДЖЕЙК. Объясни по-человечески.

(Я рассказал ему о памятном летнем дне и моем крещении, мне самому было вполне понятно сходство между Куинном и преподобным Сноу и то, что связывало этих людей, но я говорил слишком взволнованно и запутанно и не сумел передать свои мысли — я почувствовал, что Джейк разочарован. Он ожидал от меня трезвой, непредвзятой оценки, глубокого проникновения в сущность Куинна, что помогло бы ему, Джейку, утвердиться в его представлении о характере этого человека и мотивах его действий.

Я замолчал, огорченный тем, что разочаровал Джейка. Но когда мы выехали на автостраду, ведущую к городу, Джейк сказал мне, что, хотя мои воспоминания о крещении довольно туманны и путанны, он все же понял, что я хотел сказать.)

Значит, Боб Куинн думает, что он сам господь бог.

Т. К. Не думает, а уверен в этом.

ДЖЕЙК. Есть у тебя сомнения в его виновности?

Т. К. Нет, никаких. Куинн — именно тот человек, который мастерит гробики.

ДЖЕЙК. И однажды он смастерит свой собственный гроб. Иначе мне не быть Джейком Пеппером.

В последующие месяцы я звонил Джейку примерно раз в неделю и, как правило, по воскресеньям, чтобы поболтать и с ним, и с Адди. Джейк обычно начинал разговор словами: — Извини, старина, ничего нового сообщить не могу.— Но в одно из воскресений Джейк сказал мне, что они с Адди назначили день свадьбы на десятое августа. А Адди добавила: — Мы надеемся, что вы приедете на свадьбу.— Я обещал приехать, хотя дата свадьбы совпадала с ранее намеченной трехнедельной поездкой в Европу,— ничего, я постараюсь уладить свои дела. Однако в конечном счете планы пришлось изменить не мне, а жениху и невесте, так как агент из Бюро расследований, который должен был заменить Джейка на время его поездки в свадебное путешествие («Мы собираемся в Гонолулу!»), заболел гепатитом, и свадьбу отложили до первого сентября.— Вот не везет,— сказал я Адди.— Но я к тому времени вернусь и буду у вас непременно.

В начале августа я вылетел на швейцарском самолете в Швейцарию и пролодырничал несколько недель в альпийской деревне, загорая на солнце среди вечных снегов. Я спал, ел и перечитал всего Пруста, погружаясь в его романы, как в прибрежную волну, когда не знаешь, куда она тебя вынесет. Но в своих мыслях я довольно часто возвращался к мистеру Куинну: иногда он являлся мне во сне, то в своем собственном обличии — и тогда серые глаза его блестели за очками в металлической оправе,— то в виде преподобного Сноу, облаченного в белые одежды.

Краткое пребывание в горах на альпийском воздухе действует бодряще, но длительный отдых может вызвать клаустрофобию и необъяснимую депрессию. И вот

однажды, когда на меня напала такая хандра, я заказал машину, перебрался через перевал Сен-Бернар в Италию и поехал в Венецию. Ну, а в Венеции — вечный праздник с костюмами и масками, там вы уже не вы и не отвечаете за свои поступки. Так было и со мной: некто вместо меня приехал в Венецию в пять часов вечера, а к полуночи уже сел в поезд, отправлявшийся в Стамбул. Все началось в баре «Гарри», где часто зарождаются шальные планы. Стоило мне заказать порцию мартини, как через вращающуюся дверь в бар ввалился — кто бы вы думали? — сам Джанни Паоли, весьма бойкий журналист, с которым я познакомился в Москве, где он работал корреспондентом одной из итальянских газет,— за бутылкой водки мы разгоняли с ним скуку московских ресторанов. Джанни находился в Венеции по пути в Стамбул, он собирался выехать Восточным экспрессом в полночь. После шести порций мартини он уговорил меня отправиться вместе с ним. Поездка длилась двое суток, поезд тащился по извилистым дорогам Югославии и Болгарии, но наше впечатление об этих странах свелось к тому, что мы увидели из окна купе спального вагона; мы покидали купе лишь для того, чтобы пополнить наши запасы вина и водки.

Комната кружилась. Останавливалась. Снова кружилась. Я выбрался из постели. У меня мучительно звенело в голове, точно она была набита осколками стекла. Но я мог стоять, мог идти и даже вспомнил, где я: в отеле «Хилтон» в Стамбуле. Неуверенной походкой я добрался до балкона, выходящего на Босфор. Там, греясь на солнце, завтракал Джанни Паоли и читал парижскую газету «Геральд трибюн». Щурясь от солнца, я взглянул на дату в газете. Первое сентября. Отчего эта дата так остро взволновала меня, вызвав тошноту, чувство вины и раскаяния? Боже ты мой, я пропустил свадьбу! Джанни не мог взять в толк, отчего я так расстроен (сами итальянцы вечно бывают расстроены, но не понимают, отчего расстраиваются другие); он налил водки в свой апельсиновый сок, протянул мне стакан и посоветовал: — Пей, напейся хорошенько, но сначала пошли им телеграмму.— Я в точности последовал его совету. Телеграмма гласила: «Задержан непредвиденными обстоятельствами, желаю вам всяческого счастья в этот радостный день». Позже, когда я пришел в себя, прекратил пить и руки мои перестали дрожать, я написал им коротенькое письмо: мне не хотелось лгать, я не стал объяснять, по каким непредвиденным обстоятельствам задержался, а просто сообщил, что вылетаю в Нью-Йорк в ближайшие дни и позвоню по телефону, как только они вернутся из свадебного путешествия. Я адресовал письмо мистеру и миссис Джейк Пеппер и, поручив портье отправить его по почте, почувствовал облегчение, точно с моих плеч свалилась гора; я думал о том, как выглядела Адди с цветком в волосах, о том, как они с Джейком прогуливаются в сумерках по пляжу Вайкики: где-то рядом шумит море, а над ними — звезды; я думал и о том, могут ли у Адди в ее возрасте быть дети.

Но вернулся домой я не скоро. Случилось так, что я встретил в Стамбуле старого приятеля — археолога, занимавшегося раскопками на Анатолийском побережье в Южной Турции, и он пригласил меня с собой, сказав, что мне там будет интересно, и оказался прав — мне действительно было интересно. Я ежедневно купался, обучился турецким народным танцам, пил «узо» и ночи напролет танцевал на открытом воздухе в местной таверне. Я провел на море две недели, затем отправился пароходом в Афины, а оттуда самолетом в Лондон, где мне предстояла примерка костюма у портного. Только в октябре, когда в Нью-Йорке уже почти наступила осенняя пора, я открыл дверь своей квартиры.

Приятель, заходивший поливать цветы, разложил полученную корреспонденцию аккуратными стопками на моем столе в кабинете. Там лежало несколько телеграмм, и я стал просматривать их, даже не сняв пальто. В одной оказалось приглашение на Хэллоуин [1]. Я распечатал вторую, там под текстом «Срочно позвони мне» стояла подпись *Джейк*. Телеграмма была отправлена шесть недель назад — двадцать девятого августа. Не позволяя себе думать о том, что упорно лезло в голову, я поспешно отыскал номер телефона Адди и набрал его. Никто не ответил. Тогда я заказал разговор с Джейком в мотеле «Прерия». Нет, мистер Пеппер в настоящее время здесь не проживает — телефонистка предложила мне установить с ним связь через Бюро расследований штата. Я позвонил туда; какой-то круглый идиот заявил, что детектив Пеппер находится в отпуске и мне не могут сообщить, где именно («это противоречит

[1] Хэллоуин — отмечаемый 31 октября канун Дня всех святых, когда по домам ходят ряженые. В этот день принято вырезать маски из тыкв и освещать их изнутри свечами.

существующим правилам»); я назвал свою фамилию и добавил, что звоню из Нью-Йорка, но тот никак не отреагировал; когда же я сказал: — Послушайте, это очень важно,— мерзавец повесил трубку.

Мне нестерпимо хотелось оправиться, пока я добирался домой из аэропорта Кеннеди, но я забыл об этом, как только увидел письма, лежавшие на столе в кабинете. Меня подсознательно потянуло к ним. Я перебрал пачки с профессиональной быстротой служащего, сортирующего почту, отыскивая конверт с почерком Джейка. И нашел его. На конверте — это был служебный конверт Бюро расследований — стоял штемпель с датой: десятое сентября; письмо было отправлено из главного города штата. За скупыми строчками письма, написанного твердым мужским почерком, скрывалась трагедия, пережитая его автором.

«Сегодня получил твое письмо из Стамбула. Я читал его на трезвую голову, чего сейчас сказать не могу. В августе в тот день, когда скончалась Адди, я послал тебе телеграмму с просьбой позвонить мне. Но, очевидно, ты находился тогда в Европе. Я хотел сообщить тебе следующее: Адди больше нет. До сих пор не верю этому и не поверю, пока не узнаю, что случилось на самом деле. За два дня до нашей свадьбы они с Мэрили купались в Голубой реке. Адди утонула, но Мэрили не видела, как это произошло. Мне трудно писать об этом. Я должен отсюда уехать. Иначе боюсь что-нибудь натворить. В любом случае Мэрили Коннор будет знать, где найти меня. Искренне твой...

МЭРИЛИ КОННОР. Алло! О, ну конечно, я сразу же узнала ваш голос.

Т. К. После обеда я звонил вам через каждые полчаса.

МЭРИЛИ. Откуда вы?

Т. К. Из Нью-Йорка.

МЭРИЛИ. Какая у вас там погода?

Т. К. Идет дождь.

МЭРИЛИ. Здесь тоже дождь, но он нам нужен. У нас было очень засушливое лето. Ходили в пыли с головы до ног. Вы говорите, что звонили мне?

Т. К. Вплоть до самого вечера.

МЭРИЛИ. А я была дома. Боюсь, что у меня неважно со слухом. Правда, я спускалась в подвал и поднималась на чердак, так как укладываю вещи. Теперь, когда я осталась одна, дом для меня слишком велик. У нас есть кузина — тоже вдова, как и я,— она купила во Флориде часть дома, и я собираюсь перебраться к ней. Как у вас дела? Вы говорили с Джейком?

(Я объяснил ей, что только вернулся из Европы и не могу отыскать Джейка; она сказала, что он у одного из своих сыновей в Орегоне, и дала номер телефона.)

Бедный Джейк. Он так тяжело перенес смерть Адди. И в какой-то мере винит себя. О? В самом деле, вы ничего *не знали?*

Т. К. Джейк написал мне письмо, но я получил его только сегодня. Не могу даже сказать, как я сожалею...

МЭРИЛИ *(ее голос звучит испытующе).* Вы ничего не знали об Адди?

Т. К. До сегодняшнего дня нет.

МЭРИЛИ *(подозрительно).* А что сообщил вам Джейк?

Т. К. Что она утонула.

МЭРИЛИ *(настойчиво, как если бы мы вели спор друг с другом).* Да, она утонула. И мне все равно, что думает Джейк. Боба Куинна там не было. Он не мог иметь никакого отношения к этому делу.

(Я слышал, как она глубоко вздохнула, затем последовала длительная пауза, словно она считала до десяти, пытаясь успокоиться.)

Если кто-то и виноват, так это я. Я предложила поехать купаться в Песчаную бухту. А Песчаная бухта даже не принадлежит Куинну. Она находится на ранчо Миллера. Мы с Адди всегда ездили туда поплавать. В бухте тень, и можно спрятаться от солнца. К тому же это самое безопасное место на Голубой реке — с тихой заводью, где мы научились плавать, когда были маленькие. В тот день мы оказались в Песчаной бухте одни, мы вошли в воду вместе, и Адди сказала, что через неделю она будет купаться в Тихом океане. Адди плавала хорошо, а я быстро устаю. Поэтому я слегка освежилась в воде и, расстелив полотенце под деревом, стала читать один из

журналов, что мы прихватили с собой. Адди осталась в воде. Она крикнула мне: «Я проплыву по излучине и посижу на камнях водопада». Река за Песчаной бухтой делает крутой изгиб, за которым ее пересекает каменистая гряда, образуя небольшой водопад — высотой не более двух футов. В детстве мы очень любили сидеть на этой гряде и наблюдать, как из-под наших ног устремляется вниз вода.

Я увлеклась чтением и не заметила, как пролетело время. Очнулась только, когда стала замерзать и увидела, что солнце садится за горы. Я не беспокоилась об Адди, так как думала, что она еще сидит у водопада. Но все же через некоторое время я спустилась к воде и стала звать: «Адди! Адди!» Я решила, что ей вздумалось подразнить меня. Тогда я взобралась по откосу на высокий берег Песчаной бухты, откуда виден водопад и вся река к северу. Но там никого не оказалось. Адди не было видно. И тут под водопадом я заметила что-то белое, вроде лилии, покачивающейся на поверхности. И вдруг я поняла, что это вовсе не лилия, а рука, на которой поблескивает бриллиант — кольцо с маленьким бриллиантом,— Джейк подарил его Адди по случаю помолвки. Я сбежала вниз, вошла в реку и стала пробираться вдоль каменистой гряды. Вода была очень чистая и место не слишком глубокое. Мне было ясно видно под водой лицо Адди и ее волосы, запутавшиеся в ветвях затонувшего дерева. Я схватила Адди за руку и потянула изо всех сил, но напрасно — мне не удалось сдвинуть Адди с места. Почему-то — и нам никогда не удастся узнать почему — она свалилась с камней, и ее волосы запутались в ветвях дерева, не позволяя подняться на поверхность. «Случайная смерть в результате утопления». Таково было заключение судебного врача. Алло?

Т. К. Да, я слушаю.

МЭРИЛИ. Моя бабушка Мейсон никогда не произносила слова «смерть». Когда кто-нибудь умирал, особенно из дорогих ей людей, она всегда говорила, что их «отозвали назад». Она не хотела считать, что они погребены и ушли навсегда, а думала, что их «отозвали назад», в счастливое детство, в мир реальных вещей. У меня такое же чувство по отношению к сестре. Адди отозвали назад, и она находится среди всего того, что любила. Среди детей. Детей и цветов. А также птиц. И диких растений, которые она находила в горах.

Т. К. Я очень сожалею, миссис Коннор. Я...

МЭРИЛИ. Ничего, дорогой мой, ничего.

Т. К. Могу я быть чем-нибудь полезен?..

МЭРИЛИ. Что ж, очень мило, что вы позвонили. А когда будете говорить с Джейком, передайте ему от меня привет.

Я принял душ, поставил бутылку бренди возле постели, залез под одеяло, снял телефон с ночного столика, установил его на животе и набрал номер в Орегоне, который мне дала Мэрили. Ответил сын Джейка; сказал, что отца нет дома и неизвестно, когда он вернется. Я попросил, чтобы Джейк позвонил мне, как только появится — в любое время. Я набрал полный рот бренди и подержал напиток во рту, дабы унять стучавшие зубы. Потом проглотил бренди, и оно тонкой струйкой стекло по горлу. Я погружался в сон, словно в журчащую воду речной излучины; итак, в конечном счете все возвращалось к реке, все сводилось к ней. Куинн мог раздобыть гремучих змей, никотин, стальную проволоку, поджечь дом, но за всем этим стояла река, и теперь река потребовала новой жертвы — Адди. Я видел во сне ее волосы — они запутались в речных водорослях и, словно свадебная вуаль, застилали лицо утопленницы, неясно видневшееся под водой.

Резкий звонок прервал мой сон: это был телефон, громко трещавший на моем животе, где он так и остался стоять после того, как я задремал. Я знал, что это Джейк. Прежде чем снять трубку, я налил себе хорошую порцию бренди, чтобы окончательно проснуться.

Т. К. Джейк?

ДЖЕЙК. Итак, ты наконец вернулся в Штаты?

Т. К. Сегодня утром.

ДЖЕЙК. Ну что ж, свадьбу ты все же не пропустил.

Т. К. Я получил твое письмо, Джейк, я...

ДЖЕЙК. Нет, нет, пожалуйста, не произноси речей.

Т. К. Я звонил миссис Коннор, Мэрили. Мы с ней долго разговаривали.

ДЖЕЙК *(настороженно)*. Да?

Т. К. Она рассказала мне обо всем, что случилось...

ДЖЕЙК. Ну нет, не обо всем! Будь я проклят, если это так!

Т. К. *(задетый резким тоном его ответа).* Но, Джейк, она сказала мне...

ДЖЕЙК. Да. Что же она сказала?

Т. К. Она сказала, что это был несчастный случай.

ДЖЕЙК. И ты поверил?

(По его насмешливо-мрачному тону я догадался, какое у него выражение лица: жесткий взгляд глаз, тонкие подвижные губы искажены гримасой.)

Т. К. Судя по тому, что она рассказала, только так и можно объяснить происшедшее.

ДЖЕЙК. Да она же не знает, что случилось. Ее не было на месте происшествия. Она прилипла задом к пляжу и читала журналы.

Т. К. Но если это опять Куинн...

ДЖЕЙК. Да, так что же?

Т. К. Он должен быть колдуном.

ДЖЕЙК. Совсем не обязательно. Я не в состоянии говорить об этом сейчас. Может быть, немного позже. Случилось нечто такое, что может ускорить развязку. В этом году Санта Клаус появился необычно рано.

Т. К. Неужели речь идет о Джейгере?

ДЖЕЙК. Да, сэр. Начальник почты получил свою посылку.

Т. К. Когда?

ДЖЕЙК. Вчера. *(Он засмеялся, но не от удовольствия, а от возбуждения или прилива энергии.)* Плохая новость для Джейгера, но весьма недурная для меня. Я собирался пробыть здесь День благодарения. Но, понимаешь, я буквально сходил с ума. Передо мною неизменно захлопывались все двери. Я думал только об одном: «Неужели он оставит в покое Джейгера? Неужели не даст мне последнего шанса?» Позвони мне завтра вечером в мотель «Прерия». Я буду уже там.

Т. К. Джейк, подожди минутку. Это, наверное, все же несчастный случай. Я говорю об Адди.

ДЖЕЙК *(с преувеличенным терпением, как если бы он обучал неграмотного туземца).* Ну что ж, я тебе подброшу кое-какие мыслишки перед сном: песчаная бухта, где произошел этот «несчастный случай», принадлежит человеку по имени А. Д. Миллер. К ней ведут два пути. И наиболее краткий — проселочная дорога, которая проходит через поместье Куинна прямо к ранчо Миллера. Так вот именно по этой дороге женщины ехали к реке.

Adios, amigo [1].

Новость, которую он мне сообщил перед сном, естественно, не дала мне уснуть до рассвета. В воспаленном мозгу возникали и исчезали какие-то видения, словно я мысленно монтировал кинофильм.

Адди и ее сестра едут на машине по автостраде. Затем сворачивают на грунтовую дорогу, принадлежащую Куинну. Хозяин ранчо стоит на веранде дома или, возможно, у окна,— одним словом, он замечает машину, вторгнувшуюся в его владения, узнает сидящих в ней двух женщин и догадывается, что они едут купаться к Песчаной бухте. Он решает отправиться вслед за ними. Машиной, верхом на лошади или пешком — так или иначе он достигает кружным путем места, где купаются женщины. И прячется там среди тенистых деревьев, растущих над Песчаной бухтой. Мэрили лежит на полотенце и читает журналы. Адди — в воде. Он слышит, как Адди говорит сестре: «Я проплыву вдоль излучины и посижу на камнях водопада». Идеальная возможность: Адди окажется одна, безо всякой защиты, вне поля зрения сестры. Куинн дожидается момента, когда она целиком поглощена зрелищем падающей воды. Тогда он скользит вниз по откосу (тому самому, по которому позже спустилась в поисках сестры Мэрили). Адди не слышит его шагов — их заглушает шум падающей воды. Но рано или поздно она должна заметить Куинна. И, конечно, как только заметит его, почувствует опасность и закричит. Но нет, он вынудит ее молчать, пригрозив ей оружием. Адди слышит какой-то шум, поднимает глаза и видит, как Куинн быстро движется по каменистой гряде с направленным на нее револьве-

[1] Прощай, друг *(исп.).*

ром; он сбрасывает Адди в реку под самым водопадом, ныряет вслед за ней, тянет вниз и держит под водой — последнее крещение.

Так могло быть.

Однако рассвет и возобновившийся шум нью-йоркского уличного движения поубавили мой пыл и способность к лихорадочным фантазиям: я погрузился в глубокую обескураживающую пучину реальности. У Джейка не было иного выбора: как и Куинн, он поставил перед собой одну, захватившую его целиком и превратившуюся в гражданский долг цель — доказать, что Куинн виновен в десяти злодейских убийствах и, в частности, в смерти той милой, приветливой женщины, на которой Джейк собирался жениться. Но если Джейк не выдвинул более убедительной версии, чем та, которую мне подсказывало воображение, то было бы лучше, если бы я обо всем забыл и спокойно уснул, положившись на вполне разумное заключение судебного врача: случайная смерть в результате утопления.

Через час меня разбудил рев реактивного самолета. Я не выспался, не отдохнул и был раздражен и голоден, как волк. И, конечно же, из-за моего длительного отсутствия в холодильнике все оказалось несъедобным: прокисшее молоко, черствый хлеб, почерневшие бананы, протухшие яйца, высохшие апельсины, вялые яблоки, гнилые помидоры, подернутый плесенью шоколадный торт. Я приготовил чашку кофе, добавил в него бренди и, подкрепившись этим напитком, просмотрел скопившуюся корреспонденцию. К моему дню рождения — тридцатого сентября — несколько друзей прислали поздравительные открытки. Одна из них была от нашего общего с Джейком друга, вышедшего на пенсию детектива Фреда Уилсона, который и познакомил меня с Джейком. Я знал, что Фреду было известно дело, которое вел Джейк, и что Джейк часто консультировался с ним, но по какой-то причине мы никогда не обсуждали хода расследования с Фредом, и я решил теперь исправить это упущение, позвонив ему по телефону.

Т. К. Алло! Я хотел бы поговорить с мистером Уилсоном!

ФРЕД УИЛСОН. Я у телефона.

Т. К. Фред? У тебя такой голос, словно ты зверски простужен.

ФРЕД. Еще бы! У меня такая простудища, доложу тебе!

Т. К. Спасибо за поздравление.

ФРЕД. Черт побери. Из-за этого можно было бы не тратить деньги!

Т. К. Понимаешь, мне хотелось поговорить с тобой о Джейке Пеппере.

ФРЕД. Ну и ну, телепатия все-таки, наверное, существует. Я только что думал о Джейке, когда зазвонил телефон. Ты знаешь, Бюро выставило его в отпуск. Они хотят, чтобы Джейк бросил расследование.

Т. К. Но он снова приступил к нему.

(Я передал Фреду наш разговор с Джейком накануне вечером, и Фред задал мне несколько вопросов, в основном о смерти Адди Мейсон и мнении Джейка по этому поводу.)

ФРЕД. Я чертовски удивлен, что Бюро разрешило ему снова туда поехать. Джейк — самый толковый парень из всех, кого я встречал. Я никого не уважаю в нашем деле так, как Пеппера. Но он утратил способность здраво судить. Он так долго бился головой об стену, что вышиб рассудок. То, что произошло с его невестой, действительно ужасно. Но это был несчастный случай. Она утонула. А вот Джейк не может примириться с ее смертью. Он заявляет во всеуслышание, что Адди убили. Обвиняет того человека — Куинна.

Т. К. *(возмущенно)*. Но Джейк, быть может, прав. Это вполне возможно.

ФРЕД. Но возможно и то, что подозреваемый им человек совсем невиновен. Фактически таково общее мнение. Я толковал с парнями из Бюро Джейка, и они говорят, что с имеющимися уликами нельзя прихлопнуть даже муху. Положение крайне щекотливое. Да и шеф Джейка говорил мне, что, насколько ему известно, Куинн никогда никого не убивал.

Т. К. Он убил двух конокрадов.

ФРЕД *(хмыкает и затем долго кашляет)*. Ну, сэр, такие вещи мы не называем убийством. По крайней мере в наших краях.

Т. К. Но они не были конокрадами. Это были два картежника из Денвера, которым Куинн задолжал деньги. И, кроме того, я не думаю, что смерть Адди была несчастным случаем.

(С поразительным самомнением я вызывающим тоном изложил ему, как представлял себе это «убийство». Предположения, которые я отверг на рассвете, теперь казались мне не только вероятными, но весьма убедительными: Куинн последовал за сестрами до Песчаной бухты, спрятался за деревьями, спустился по откосу вниз, пригрозил Адди оружием и утопил ее.)

ФРЕД. Это версия Джейка.

Т. К. Нет.

ФРЕД. Значит, ты придумал все это сам?

Т. К. В какой-то мере — да.

ФРЕД. И однако же, это и есть версия Джейка.

Т. К. Что значит — «это и есть версия Джейка»?

ФРЕД. Да то и значит, что я сказал: телепатия, наверное, все же существует. За исключением незначительных деталей твоя версия совпадает с версией Джейка. Он написал донесение, копию которого прислал мне, и в нем именно так излагает события: Куинн увидел машину, последовал за сестрами...

(Фред продолжал говорить. А я залился краской: я чувствовал себя как школьник, которого поймали за списыванием на экзаменах. Непонятно, по какой причине, но я ругал Джейка вместо того, чтобы ругать самого себя; я злился на Джейка за то, что он не нашел более убедительных аргументов, и был огорчен: ведь его предположения оказались ничуть не лучше моих. Я доверял Джейку как настоящему профессионалу и был очень расстроен, ибо мое доверие оказалось поколеблено. Ведь все это — и Куинн, и Адди, и водопад — просто досужий вымысел. И тем не менее, несмотря на убийственную иронию Фреда Уилсона, я знал, что в целом моя вера в Джейка обоснованна.)

Бюро попало в трудное положение. Джейка вынуждены снять с расследования дела. Он не справился со своей задачей. Но Джейк, конечно, просто так не отступится. Для него это дело чести. Да и безопасности тоже. Как-то раз после того, как погибла его невеста, он позвонил мне по телефону около четырех часов утра, пьяный вдрабадан, и сообщил, что собирается вызвать Куинна на дуэль. Я позвонил ему на следующий день. Этот сукин сын даже не помнил, что разговаривал со мной накануне.

Чувство тревоги — объяснит вам любой дорогой психиатр — вызывается депрессией, и тот же самый психиатр во время второго визита сообщит вам за дополнительную плату, что тревога вызывает депрессию. Весь день я не мог выбраться из этого порочного круга. Ближе к ночи оба демона уже владели мной безраздельно, и, пока они терзали мою душу, я сидел, уставившись на сомнительное изобретение мистера Белла и ожидая со страхом того мгновения, когда мне придется набрать номер мотеля «Прерия» и услышать подтверждение тому, что Бюро снимает Джейка с расследования дела. Мне, конечно, стало бы легче, если бы я как следует подкрепился, но я уже заморил червячка, съев кусок шоколадного торта, слегка подернутый плесенью. Я мог бы сходить в кино или накуриться какой-нибудь травки. Но когда тобой владеет такое сильное беспокойство, самое лучшее — ничего не делать, махнуть рукой на тревогу и депрессию, расслабиться, и пусть события идут своим чередом, увлекая за собой и тебя.

ТЕЛЕФОНИСТКА. Добрый вечер. Мотель «Прерия». Вам мистера Пеппера? Эй, Ральф, ты не видел Джейка Пеппера? Он в баре? Алло, сэр, я сейчас соединю.

Т. К. Спасибо.

(Я вспомнил бар в мотеле «Прерия»: в отличие от самого мотеля, он не лишен забавной привлекательности. Его посетители — настоящие ковбои, стены обтянуты сыромятной кожей и украшены изображениями гёрлс и мексиканскими сомбреро, на дверях двух туалетов — надписи: «Для БЫКОВ» и «Для БАБОЧЕК», а из проигрывателя-автомата несутся звуки мелодий Дальнего Запада. Взрыв музыки оповестил, что бармен снял трубку.)

БАРМЕН. Джейк Пеппер! Вас вызывают. Алло, мистер. Он спрашивает, кто это.

Т. К. Друг из Нью-Йорка.

ГОЛОС ДЖЕЙКА *(издалека, становясь громче по мере того, как он приближается к телефону)*. Ну конечно, у меня есть друзья в Нью-Йорке, Токио, Бомбее. Привет, друг из Нью-Йорка!

Т. К. Ты, кажется, навеселе.

ДЖЕЙК. Мне так же весело, как обезьянке нищего шарманщика.

Т. К. Ты можешь сейчас разговаривать? Или позвонить позже?

ДЖЕЙК. Могу. Здесь так шумно, что никто ничего не услышит.

Т. К. *(осторожно, боясь разбередить раны).* Как твои дела?

ДЖЕЙК. Да так себе.

Т. К. Из-за Бюро?

ДЖЕЙК *(с удивлением).* Почему из-за Бюро?

Т. К. Я думаю, они доставляют тебе немало хлопот.

ДЖЕЙК. Мне они не доставляют особых хлопот. Свора идиотов. Нет, все из-за тупоголового Джейгера. Нашего любимого начальника почты. Он трусит и хочет отсюда смыться. А я не знаю, как его удержать. Это очень нужно.

Т. К. Для чего?

ДЖЕЙК. «Акуле нужна приманка».

Т. К. Ты говорил об этом с Джейгером?

ДЖЕЙК. Все время. Он и сейчас со мной. Сидит, забившись в угол, как жалкий заяц, готовый чуть что спрятаться в свою норку.

Т. К. Ну что ж, мне это вполне понятно.

ДЖЕЙК. А я не могу позволить себе подобного слюнтяйства. Мне надо удержать во что бы то ни стало эту старую размазню. Но как? Ему шестьдесят четыре года, у него куча денег, да еще скоро получит пенсию. Он холостяк, и ближайший его родственник — из тех, которые еще живы,— Боб Куинн! Бог знает какая история! И представь себе, он все еще не верит, что это сделал Боб Куинн. Твердит, что если кто и хочет причинить ему зло, то только не Боб Куинн, состоящий с ним в кровном родстве. Однако есть один факт, который заставляет его задумываться.

Т. К. Что-то связанное с посылкой?

ДЖЕЙК. Угу.

Т. К. Почерк? Нет, вряд ли. Должно быть, фотография?

ДЖЕЙК. Попал в точку. Фотография совсем иная. Не похожая на другие. Во-первых, она двадцатилетней давности и была сделана на ярмарке штата. Джейгер на параде клуба «Кивани» марширует в шляпе клуба. *Этот снимок делал Куинн.* Джейгер видел, как Куинн фотографировал его, и помнит об этом до сих пор, потому что просил Куинна дать ему карточку, но тот так и не дал.

Т. К. Наш начальник почты должен хорошенько призадуматься. Но сомневаюсь, что подобная улика произведет впечатление на присяжных заседателей.

ДЖЕЙК. К сожалению, она не производит впечатления даже на самого Джейгера.

Т. К. Но он же так напуган, что хочет покинуть родной город?

ДЖЕЙК. Перепугался, да еще как. Но даже если бы он не был напуган, его все равно здесь ничто не удерживает. Говорит, что всегда собирался провести последние годы жизни путешествуя. Моя задача — отложить на неопределенное время его поездку. Знаешь, мне лучше не оставлять надолго одного моего перепуганного зайчишку. Пожелай-ка мне удачи. И не пропадай.

Я пожелал Джейку удачи, однако ему все равно не повезло — через неделю и начальник почты и детектив отправились каждый по своему маршруту: первый — в кругосветное путешествие, второго Бюро сняло с расследования дела.

Ниже приводятся выдержки из моих дневников между 1975 и 1979 годами.

20 октября 1975 г. Разговаривал с Джейком. Он озлоблен и брызжет ядом во все стороны. Говорит, что ему ровным счетом на все наплевать, он уйдет с работы, подаст в отставку и уедет на ферму к сыну в Орегон. «Но пока я еще работаю в Бюро, я задам им жару». Уверен, что ему не по карману этот beau geste [1] — бросить работу сейчас и из-за этого потерять пенсию.

6 ноября 1975 г. Разговаривал с Джейком. Говорит, что у них в северо-восточной части штата повальная кража скота. Его крадут по ночам, грузят в машины и отвозят в Северную и Южную Дакоту. Он провел несколько ночей вместе с другими агентами на пастбище, под открытым небом, среди стад, поджидая грабителей, которые так и не появились. «Ну и мерзну же я здесь, старик, такая тяжелая работа мне не по годам». Сказал, что Мэрили Коннор уехала в Сарасоту.

25 ноября 1975 г. День благодарения. Проснулся утром, подумал о Джейке и

[1] Красивый жест *(франц.).*

вспомнил, что ровно год назад ему «привалила удача»: он пошел на обед к Адди, и она поведала ему о Куинне и Голубой реке. Я решил все же не звонить ему, мой звонок может лишь усугубить мучительные воспоминания, связанные с этой годовщиной. Вместо этого я позвонил Фреду Уилсону и его жене Элис и пожелал им приятного аппетита перед праздничным обедом. Фред спросил меня о Джейке, я ответил, что, разговаривая с ним в последний раз, узнал — он ловит грабителей, угоняющих скот. Фред сказал: «Да, они стараются загнать его вконец, чтобы он больше не думал о том деле, которое парни из Бюро прозвали «Гремучий змееныш». Они передали следствие молодому детективу по фамилии Нелсон только так, для виду. Хотя юридически дело еще не закрыто, на самом деле Бюро поставило на нем крест».

5 декабря 1975 г. Разговаривал с Джейком. Первое, что он сказал: «Тебе, наверное, интересно будет узнать, что почтмейстер жив-здоров и находится в Гонолулу. Рассылает направо и налево почтовые открытки. Уверен, что послал открытку и Куинну». Говорит, что до сих пор занимается ловлей грабителей, угоняющих скот, и страшно от этого устал. «Мне стоило бы присоединиться к грабителям. Они зарабатывают в сто раз больше, чем я».

20 декабря 1975 г. Получил поздравительную открытку к рождеству от Мэрили Коннор. Она пишет: «Сарасота прекрасна! Я впервые провожу весну в теплом климате и должна честно признаться, что совсем не скучаю по дому. Знаете ли Вы, что в Сарасоте проводит зимний сезон цирк «Ринглинг бразерс»? Мы с кузиной часто ездим смотреть, как репетируют перед выступлением циркачи. Это страшно интересно! Мы подружились с одной русской, которая тренирует акробатов. Да пошлет Вам бог удачу в Новом году и примите, пожалуйста, от меня небольшой подарок». Это был любительский снимок Адди из семейного альбома — ей было тогда примерно шестнадцать лет. Адди стоит в цветущем саду, на ней белое летнее платье и такая же белая ленточка в волосах; в руках она держит белого котенка, очень осторожно, словно он так же нежен, как ажурная листва вокруг. Котенок зевает. На обратной стороне фотографии Мэрили написала: «*Аделаида Минерва Мейсон. Родилась 14 июня 1939 г., отозвана назад 29 августа 1975 г.*»

1 января 1976 г. Звонил Джейк, пожелал счастливого Нового года. Голос у него как у могильщика, роющего могилу для самого себя. Сказал, что провел новогоднюю ночь в постели, читая «Дэвида Копперфилда». «В Бюро устроили праздничный вечер, но я не пошел. Иначе напился бы и свернул кое-кому голову. Может, даже немало голов. Но и в пьяном, и в трезвом состоянии, как только оказываюсь рядом с шефом, еле удерживаюсь, чтобы не двинуть по его толстой роже». Я сказал, что получил к рождеству открытку от Мэрили, и описал фотографию Адди, которую она прислала вместе с поздравлением. Он ответил, что получил точно такой же снимок. «Но что это означает, почему она пишет — «отозвана назад»?» Я попытался объяснить ему, но он прервал меня, буркнув, что это слишком заумно для него, и добавил: «Я люблю Мэрили. Я всегда говорил, что она милая женщина, но слишком недалекая».

5 февраля 1976 г. На прошлой неделе купил рамку для фотографии Адди. Поставил снимок на столик в спальне, но вчера убрал в ящик. Фотография тревожит меня, все кажется таким живым, особенно зевающий котенок.

14 февраля 1976 г. Получил три послания по случаю дня святого Валентина[1]: одно — от старой школьной учительницы мисс Вуд, другое — от налогового инспектора и третье, заканчивающееся словами: «С любовью. Боб Куинн». Это, конечно, шутка Джейка. Вероятно, так он представляет себе черный юмор.

15 февраля 1976 г. Позвонил Джейку, и он признался, что открытка от него. Я спросил, не был ли он пьян. Сказал, что был.

20 апреля 1976 г. Получил коротенькое письмо от Джейка, нацарапанное на почтовой бумаге с изображением мотеля «Прерия»: «Провел здесь два дня, собирая сплетни, в основном в «О'кэй кафе». Почтмейстер все еще в Гонолулу. У Хуаниты Куинн был удар. Я хорошо отношусь к Хуаните и огорчился, узнав о ее болезни. Но муж ее здоров, как бык. Мне это на руку. Не хотелось бы, чтобы с ним стряслась какая-нибудь беда, прежде чем наложу на него свою лапу. Бюро, быть может, и забыло об этом деле, но только не я. Я никогда не откажусь от него. Искренне твой...»

10 июля 1976 г. Звонил вчера вечером Джейку после двухмесячного перерыва и разговаривал с совершенно новым Джейком Пеппером или, точнее, со старым: деятельным, веселым, словно он пробудился от глубокого сна и, отдохнув, снова готов

[1] День влюбленных, когда посылаются любовные или шутливые послания.

ринуться в бой. Я тотчас же узнал, что вызвало у него такой подъем духа. «Поймал за хвост самого дьявола. Дельце что надо». В действительности же дельце, несмотря на один весьма интригующий момент, было самым обыкновенным убийством. Во всяком случае таким оно показалось мне. Двадцатидвухлетний молодой человек жил с престарелым дедом на скромной ферме. В начале весны внук убил старика, чтобы получить в наследство ферму и присвоить себе деньги, которые его дед собирал по грошу и прятал у себя под матрасом. Соседи заметили, что старый фермер исчез, а парень раскатывает на сверкающей новой машине. Уведомили полицию, и та вскоре обнаружила, что внук, который не мог объяснить причину внезапного исчезновения деда, купил новую машину, заплатив за нее старыми банкнотами. Подозреваемый в убийстве парень не желал ни отрицать, ни признавать свою вину, хотя власти уверены, что убийство совершил он. Сложность заключалась в том, что никак не могли обнаружить труп. А без этого нельзя арестовать подозреваемого. Но как ни искали, жертву найти не удавалось. Местная полиция обратилась в Бюро расследований штата, и Джейку поручили распутать дело. «Невероятная история. Этот парень — настоящая продувная бестия. Сотворил со стариком нечто дьявольское. И если нам не удастся обнаружить тело, он избегнет наказания. Но я уверен, что труп спрятан где-нибудь на ферме. Чутье подсказывает мне, что внук разрубил дедушку на мелкие куски и закопал их в разных местах. Мне нужна только голова. И я найду ее, если даже мне придется перепахать всю землю акр за акром или дюйм за дюймом». После того как нас разъединили, меня охватил настоящий приступ злости и ревности, точно я узнал об измене своей возлюбленной. Я и в самом деле не хотел, чтобы Джейк проявлял интерес к какому-либо другому делу, кроме того, которое волновало меня.

20 июля 1976 г. Телеграмма от Джейка: «Нашел голову, одну руку и две ноги. Отправляюсь на рыбную ловлю. Джейк». Интересно, отчего он послал мне телеграмму, а не позвонил? Может, думает, что я не буду радоваться его успеху? Нет, я рад, я знаю, что теперь, по крайней мере, его честь как-то восстановлена. Надеюсь только, что он отправился на рыбную ловлю куда-нибудь неподалеку от Голубой реки.

22 июля 1976 г. Написал Джейку поздравительное письмо и сообщил, что уезжаю за границу на три месяца.

20 декабря 1976 г. Получил рождественскую открытку из Сарасоты: «Если будете в этих краях, не забудьте заглянуть. Да благословит Вас бог. Мэрили Коннор».

22 февраля 1977 г. Записка от Мэрили: «Я все еще подписываюсь на газету своего родного города и думаю, что прилагаемая вырезка может заинтересовать Вас. Я написала письмо ее мужу. Когда с Адди произошел несчастный случай, он прислал мне прекрасное письмо». В вырезке сообщалось о смерти Хуаниты Куинн. Она умерла во сне. Странно, но после ее смерти не было ни церковной службы, ни похорон, так как покойная просила, чтобы ее кремировали и пепел развеяли по Голубой реке.

23 февраля 1977 г. Позвонил Джейку. Он сказал смущенно: «Привет, старина. Ты совсем меня забыл!» Но я послал ему письмо из Швейцарии, на которое он не ответил, и дважды звонил ему на рождество, но не заставал дома. «Ах, да, я был в Орегоне». Наконец я сказал ему о главном — некрологе Хуаниты Куинн. Джейк без обиняков заявил: «Мне это кажется подозрительным». А когда я спросил почему, ответил: «Кремация у меня всегда вызывает подозрение». Мы поговорили с ним еще четверть часа, но разговор получился неловкий, он говорил напряженно, с явным усилием — вероятно, я напомнил ему о делах, которые он, несмотря на всю свою моральную стойкость, старается уже забыть.

10 июля 1977 г. Позвонил Джейк. Он — в приподнятом настроении. Без всякого вступления заявил мне: «Как я и говорил тебе, кремация всегда внушает подозрение. Боб Куинн — новобрачный! В общем-то все знали, что у него есть другая семья, женщина с четырьмя детьми, и все — от сквайра Куинна. Он держал их в Эпплтоне, что находится примерно в ста милях отсюда к юго-западу. На прошлой неделе Куинн женился на этой женщине. Привез на ранчо новую жену и весь выводок, гордый собой, как петух. Хуанита перевернулась бы в гробу, если бы у нее был гроб». Ошеломленный быстротой, с какою он излагал новости, я задал глупый вопрос: «Сколько лет детям?» Он ответил: «Старшей семнадцать, а младшей — десять. Все девочки. И скажу тебе — весь город кипит. Здесь вполне спокойно могут проглотить убийство, и даже несколько убийств не очень-то смутит этих людей, но когда их светлый рыцарь, этот прославленный герой войны появился здесь со своей бесстыжей потаскухой и ее четырьмя ублюдками — это оказалось слишком для пресвитерианской мо-

рали». Я сказал: «Мне жаль этих детей и эту женщину». Джейк в ответ изрек: «Я приберегу свои сожаления для Хуаниты. Если бы сохранилось тело, которое можно было бы эксгумировать, я уверен — судебный врач обнаружил бы в нем приличную дозу жидкого никотина». Я сказал, что сомневаюсь в этом. Вряд ли Куинн стал бы причинять зло Хуаните. Она была алкоголичкой, и он пытался ее спасти, он любил ее. Тогда Джейк тихо произнес: «И ты, конечно, считаешь, что он не имеет никакого отношения к несчастному случаю, происшедшему с Адди?» Я ответил ему, что Куинн собирался убить ее и в конце концов сделал бы это, но она утонула. Джейк сказал: «Ну конечно, избавила его от хлопот! О'кэй. Объясни же случай с Клемом Андерсоном и с Бакстерами». Я признал: «Да, все это — дело рук Куинна. Он совершил эти преступления, ибо считает себя мессией, призванным выполнить свой долг». Джейк спросил: «Так почему же Куинн дал преспокойно смыться почтмейстеру?» — «В самом деле? — спросил я.— Думаю, что старика Джейгера еще ожидает встреча в Самарре [1]. Куинн пересечет ему однажды дорогу. Он не успокоится, пока не сделает этого. Он ведь ненормальный, как ты знаешь». Перед тем как повесить трубку, Джейк язвительно спросил: «А ты нормальный?»

15 декабря 1977 г. Увидел в витрине комиссионного магазина бумажник из черной крокодиловой кожи. Он был в прекрасном состоянии, и на нем стояли инициалы «Д. П.». Я купил его и послал Джейку в подарок к рождеству, желая заключить с ним мир, поскольку наш последний разговор закончился размолвкой (рассердился он на меня, а не я на него).

22 декабря 1977 г. Рождественская открытка от верной миссис Коннор: «Я работаю в цирке! Но, конечно, не акробаткой. Я — дежурный администратор. Это почище самой увлекательной игры. Наилучшие пожелания к Новому году».

17 декабря 1978 г. Открытка от Джейка с четырьмя кое-как нацарапанными строчками. Лаконично, не слишком сердечно благодарит за бумажник. Я чувствителен к такого рода вещам и писать или звонить ему больше не буду.

20 декабря 1978 г. Рождественская открытка от Мэрили Коннор только с ее подписью. От Джейка ничего нет.

12 сентября 1979 г. На прошлой неделе в Нью-Йорке были проездом в Европу (их первое путешествие) Фред Уилсон с женой. Счастливы, как молодожены. Я пригласил их вместе пообедать. Разговор за столом свелся к взволнованному обсуждению предстоящей поездки, но, выбирая десерт, Фред сказал: «Я заметил, что ты ничего не говоришь о Джейке». Я изобразил удивление и между прочим обронил, что не получал ничего от Джейка уже более года. Проницательный Фред спросил меня: «Уж не поссорились ли вы с ним?» Я пожал плечами: «Ничего особенного между нами не произошло, просто мы не всегда одинаково воспринимаем одни и те же факты». Тогда Фред сказал: «У Джейка в последнее время плохо со здоровьем. Эмфизема. В конце этого месяца он уходит в отставку. Дело не мое, конечно, но думаю, было бы хорошо, если бы ты позвонил ему. Он сейчас очень нуждается в дружеской поддержке».

14 сентября 1979 г. Я всегда останусь благодарен Фреду Уилсону за то, что он помог мне побороть гордость и позвонить Джейку. Мы говорили с ним сегодня утром так, будто общались накануне или за день до того. Никто бы не подумал, что наша дружба прерывалась на какое-то время. Он подтвердил, что уходит в отставку. «Осталось только шестнадцать дней!» Сказал, что собирается жить вместе с сыном в Орегоне. «Но перед этим думаю провести пару дней в мотеле «Прерия». В этом городе у меня кое-какие незаконченные делишки. Хочу выкрасть в суде несколько протоколов для собственного досье. Послушай-ка, а почему бы нам не съездить туда вдвоем? Повидались бы. Я мог бы встретить тебя в Денвере и подвезти до места на машине». Джейку не пришлось меня уговаривать; даже если бы он не пригласил меня, я бы сам предложил ему поехать вместе. Я часто представлял себе наяву или во сне, как снова приезжаю в этот грустный городок, мне хотелось еще раз увидеть Куинна, встретиться и поговорить с ним один на один.

---

[1] Эпиграфом к роману Дж. О'Хары «Встреча в Самарре» служит восточная притча (в изложении С. Моэма), в которой рассказывается о том, как человек из Багдада, повстречав на базаре смерть, решает скрыться от нее в Самарре. Но смерть настигает его и там.

Было второе октября.

В результате Джейк отказался поехать вместе, но одолжил свою машину, и после обеда я сразу же отправился из мотеля «Прерия», чтобы поспеть к назначенному часу на ранчо Б. К. Я вспомнил, как в первый раз проезжал по этим местам: полная луна, заснеженные поля, жестокий холод, коровы, жмущиеся друг к другу, стоящие небольшими группками, струйки пара от их теплого дыхания в ледяном воздухе. Сейчас в октябре пейзаж был прекрасен по-своему: щебенчатое шоссе напоминало темную полоску моря, разделяющую два золотистых континента. По обеим сторонам сверкала обожженная солнцем стерня скошенной пшеницы, переливающаяся под безоблачным небом всеми оттенками желтых красок. Быки горделиво расхаживали по пастбищам, а коровы — и среди них недавно отелившиеся, с молоденькими телятами — пощипывали траву, подремывая на ходу.

У въезда на ранчо стояла девочка, опершись о доску, ту самую, на которой были изображены перекрещенные томагавки. Улыбаясь, она сделала мне знак, чтобы я остановился.

ДЕВОЧКА. Привет! Я — Нэнси Куинн. Папа послал меня вам навстречу.

Т. К. Спасибо.

НЭНСИ КУИНН *(открывая дверцу машины и забираясь в нее).* Он ловит рыбу. Я покажу вам где.

(Это была веселая двенадцатилетняя девчонка, осыпанная веснушками с головы до ног,— сорванец со щербатыми зубами. Золотисто-каштановые волосы коротко острижены. На ней был старенький купальный костюм, одно колено перевязано грязным бинтом.)

Т. К. *(указывая на повязку).* Ушиблась?

НЭНСИ КУИНН. Не... это меня скинула лошадь.

Т. К. Как скинула?

НЭНСИ КУИНН. Скинул Скверный Парень. Это — такой противный жеребец. Оттого-то и прозвали его Скверным Парнем. Он сбрасывает с себя всех ребят здесь на ранчо. Да и взрослых парней тоже. Ну, а я поспорила, что проеду на нем. И проехала. Около двух секунд, точно. А вы приезжали сюда раньше?

Т. К. Приезжал как-то много лет назад. Но это было ночью. Я помню деревянный мост...

НЭНСИ КУИНН. Он вон там.

(Мы проехали по мосту, и я наконец увидел Голубую реку. Но она промелькнула мгновенно, словно птица в полете,— ее скрывала сверкавшая осенними красками листва нависавших над водой деревьев, которые стояли голыми в первое мое посещение.)

Вы бывали когда-нибудь в Эпплтоне?

Т. К. Нет.

НЭНСИ КУИНН. Никогда не бывали? Как странно! Я еще не встречала никого, кто не видел Эпплтона.

Т. К. А там есть что-нибудь интересное?

НЭНСИ КУИНН. Да нет. Просто мы жили там. Но здесь мне нравится гораздо больше. Тут ты предоставлена самой себе и делай что хочешь. Хочешь — лови рыбу, хочешь — стреляй койотов. Папа посулил, что будет выдавать мне по доллару за каждого убитого койота, но когда ему пришлось заплатить более двухсот долларов, он сократил плату до пятидесяти центов за штуку. Ну, да на что мне деньги? Я не похожа на своих сестричек. Те все время торчат перед зеркалом.

У меня три сестры, но им здесь не очень-то нравится. Они не терпят лошадей, да и все остальное тоже. У них на уме одни мальчишки. Когда мы жили в Эпплтоне, папа приезжал редко. Примерно раз в неделю. Сестры красили губы, душились, и у них была пропасть дружков. Мама против этого не возражала. Она и сама-то вроде сестер. Страшно любит прихорашиваться. А уж папа строг, так строг. Не позволяет сестрам заводить дружков или красить губы. Как-то раз приехали навестить сестер старые приятели из Эпплтона, так отец встретил их на пороге с дробовиком в руках. Сказал: увидит еще раз здесь — размозжит им голову. Ну и удирали же отсюда эти парни! Девчонки проплакали себе все глаза. А я только посмеивалась в свое удовольствие. Видите ту развилку на дороге? Притормозите-ка там.

(Я остановил машину, и мы оба вышли. Она указала на идущую вниз, между деревьями, темную заросшую тропинку.)

Дальше идите по ней.

Т. К. *(внезапно испуганный перспективой остаться в одиночестве).* А ты не пойдешь со мной?

НЭНСИ КУИНН. Отец не любит, когда ему кто-нибудь мешает вести деловой разговор.

Т. К. Ну что же, еще раз спасибо за все.

НЭНСИ КУИНН. Не за что!

Она удалилась насвистывая.

В отдельных местах тропинка так заросла, что мне приходилось нагибать ветки, чтобы они не били мне в лицо. Вереск и колючки каких-то незнакомых растений цеплялись за брюки. На вершинах деревьев громко каркали вороны. Мне попался на глаза филин — было странно видеть его днем, он моргал глазами, но сидел неподвижно. В одном месте я чуть было не угодил ногой в осиное гнездо: старый полый пень кишмя кишел черными дикими осами. И повсюду до меня доносился шум реки — негромкое журчанье медленно текущей воды. Вдруг на повороте тропинки я увидел реку и Куинна тоже.

На нем был резиновый костюм; высоко в руке он держал, словно дирижерскую палочку, гибкую удочку. Он стоял по пояс в воде, и его непокрытая голова была повернута ко мне в профиль. В волосах уже не было проседи — они все стали белыми, как та водяная пена, что кружилась вокруг его бедер. Мне вдруг захотелось повернуть назад и бежать прочь — так сильно эта сцена напомнила мне тот день, когда так похожий на Куинна преподобный Билли-Джо Сноу ожидал моего приближения, стоя по пояс в воде. Я услышал свое имя — Куинн звал меня и, делая мне знаки рукой, брел по воде к берегу.

Мне припомнились молодые быки, гордо разгуливавшие по золотистым полям. Куинн в блестевшем от воды резиновом костюме удивительно напоминал их: он был так же полон жизненных сил, так же могуч и опасен, как и они. Если бы не седые волосы, он, казалось, ничуть не постарел, напротив, даже выглядел на несколько лет моложе — пятидесятилетний мужчина в расцвете сил. Он присел, улыбаясь, на скалу и пригласил меня занять место рядом. В руках у него было несколько форелей.

— Вроде бы мелковаты, но есть можно, вкусные.

Я упомянул о Нэнси. Он ухмыльнулся и сказал: «О да, Нэнси — милая девочка». Больше он ничего не прибавил. Не упомянул ни о смерти своей жены, ни о том, что женился снова, видимо считая, что все это и так известно.

Он сказал, что мой звонок удивил его.

— Почему же?

— Не знаю, но я был удивлен. Где вы остановились?

— В мотеле «Прерия». Где же еще?

Помолчав немного, он спросил почти робко:

— Джейк Пеппер с вами?

Я кивнул головой.

— Мне говорили, что он уходит из Бюро.

— Да, собирается перебраться в Орегон.

— Не думаю, что мне когда-нибудь придется снова свидеться с этим старым болваном. А жаль. Мы могли бы стать друзьями, если бы не его подозрения. Будь он проклят, он даже считает, что я утопил бедняжку Адди Мейсон! — Он засмеялся, но тут же нахмурился.— Я так думаю, что все это — рука божья.— Он поднял руку, и казалось, что сквозь его растопыренные пальцы река вьется, как черная лента.— Дело господне. Его воля.

■

ЕРОФЕЕВА ГАЛИНА НИКОЛАЕВНА

Советская переводчица с французского и английского языков. Переводила произведения Т. Драйзера, П. Руане, А. Труайя («ИЛ», 1975, № 8), Ж. Жубера («ИЛ», 1978, № 8), П. Гамарра («ИЛ», 1980, № 11) и др.

ЖОРЖИ АМАДУ

Военный китель, академический мундир, ночная рубашка

Повествование во имя надежды

РОМАН

Перевод с португальского ЮРИЯ КАЛУГИНА

III

ПАРТИЗАНСКАЯ ВОЙНА НА ЭСПЛАНАДЕ ДО КАСТЕЛО

Суждения не для печати

Похороним полковника с почестями и в срочном порядке — чем скорее освободимся от него, тем лучше, посоветовал директор департамента печати и пропаганды, политическое двуличие его отмечалось и ранее. Он только что дал для опубликования официальное правительственное сообщение о смерти полковника Агналдо Сампайо Перейры, и в этом сообщении были выражены восхваления «храброму солдату отчизны, послужной список которого столь блистателен, а преданность режиму представляла собой существенный фактор в деле обеспечения порядка и подавления коммунистической угрозы».

Редактор, рассчитывая пополнить информацию, почерпнутую из бюллетеня Национального агентства, попытался узнать:

— А сам будет присутствовать на похоронах? Или только побывает на бдении у гроба?

— Кто? Президент? Вы с ума сошли, ни на похоронах, ни на бдении у гроба. Он признавал полезной деятельность нашего покойного Геббельса, но испытывал отвращение к нему. «Этот Перейра смердит средневековьем»,— сказал он мне однажды.

Услышав такое откровение, редактор польстил:

— Когда напишете свои мемуары, какая книга получится, а, доктор?

— Если бы я мог запоминать все, то не занимал бы этого поста, сын мой. Я глух, нем и потерял память. Только что не импотент. Пока.

«Ну и циник, но почему же мне он симпатичен?» — задался вопросом редактор. В его памяти всплыли суждения, слышанные в редакциях — обычных прибежищах всяких возмутителей:

— Этого типа настолько ненавидели, что ему еще повезло. Он умер в постели естественной смертью. Случись в один прекрасный день переворот, да был бы он еще в живых, не избежать ему расстрела.

— В постели, да. А естественной смертью? Кто вам это сказал? Он умирал медленной смертью, отравленный цикутой. Это более соответствует его среде.

Сенсационное открытие было кем-то подсказано. О! Какая поднимется шумиха, когда журналист распространит эту версию среди коллег! Правильно говорят, что в борьбе за власть случаются страшные вещи за кулисами Нового государства:

— Отравлен? Цикутой? Как? Кем?

— Старичками из Академии. Доза за дозой, увеличивавшаяся с каждым днем. Последнюю чашу дал ему испить Персио Менезес.

Директор искоса посмотрел в окно на железобетонный пейзаж:

Окончание. Начало см. в № 8.

— Великий человек этот Персио Менезес, гений. Знаете, работая в Принстоне, он открыл две неизвестные до того звезды? Он заселил небо...— и, улыбнувшись, добавил: — и ад тоже.

Единственный кандидат

Лизандро Лейте немедля после кончины Антонио Бруно обещал могущественному полковнику Сампайо Перейре все привилегии единственного кандидата. Со смертью полковника, похороненного с большой помпой — танки, солдаты, звуки горнов, речи, ружейный салют,— спустя восемь дней после прекращения регистрации, единственным в списке неожиданно оказался заштатный, но удачливый генерал Валдомиро Морейра.

Он узнал о смерти соперника (и врага) по телефону от верного Сабенсы, стилиста редакции «Диарио да тарде», где тот проводил по пять часов в день, правя материалы, написанные на плохом португальском языке компанией малограмотных борзописцев, набивших руку на репортажах и хронике.

— Великолепная весть, мой генерал! Я первым хочу поздравить нового «бессмертного».

Увы, сердце генерала Морейры — усталая машина! Оно легко воспламеняется и нуждается в постоянном контроле, генералу следует избегать волнений. Но в самый разгар предвыборной борьбы это невозможно. Что же произошло? Быть может, Афранио Портела согласился с решением подлеца Перейры снять кандидатуру?

— Что, тот снял свою кандидатуру? («Тот», а не «Геббельс Перейра» или другие унизительные прозвища: телефон генерала прослушивается с тех пор, как он зарегистрировался в качестве кандидата, оспаривая вакансию после кончины Бруно. Один друг предупредил его, рекомендовав ему быть осторожным в выражениях. Ему и легкомысленной Сесилии.)

— Сыграл в ящик. Умер.

— Ого! Когда?

Сердце готово выскочить из груди — куда же подевались Консейсан и Сесилия? Хоть бы одна из них была тут и принесла таблетку, воду.

— Утром нашли мертвым. Похороны в пять, потрясающие, речь министра, парад танков, ружейный салют. Теперь, поскольку регистрация кандидатов прекращена, вы, благородный друг, не имея конкурента, можете считать себя избранным досрочно.

К счастью, в комнату вошла дона Консейсан и тут же помчалась за лекарством. Как только генерал узнал, что он уже практически избран, его едва не хватил инфаркт.

Избежав опасности, откинувшись в шезлонге, он сообщил жене и дочери — Сесилия появилась с намазанным кремом лицом, у нее сегодня свидание с Родриго — приятную новость:

— Перед вами генерал Валдомиро Морейра — член Бразильской академии литературы, один из «бессмертных»!

Впоследствии дона Консейсан сокрушалась: почему не умирают в заранее определенный час?

Революционерка

Узнав о смерти полковника из сообщения в «Жорнал до алмосо», услышав информационную программу «Радио Кариока», Мария Мануэла позвонила Афранио Портеле, чтобы условиться о встрече, если возможно, в тот же день. После кончины Бруно они вели долгие беседы по телефону, писатель посвящал ее во все перипетии предвыборной борьбы. Теперь она горела желанием узнать подробности сенсационного известия и кстати предупредить его о своем предстоящем отъезде из Бразилии — чемоданы у нее уже собраны.

Уютный бар на последнем этаже небоскреба на Прайе до Фламенго с видом на бухту неподалеку от дома писателя, бывал переполнен во второй половине дня, когда там появлялись такие знаменитости, как Силвио Калдас, Дирсинья и Линда Батиста, Доривал Каимми, мексиканка Эльвира Риос, Ламартине Бабо, пикантные сестрички Пагас; ближе к вечеру посетителей здесь уже меньше — одна-две влюбленные парочки, перешептывающиеся, скрывающиеся от чужого взгляда.

Сидя у балюстрады, писатель и португалка наблюдают за похоронной процессией, которая движется по улице Рассела за полковым оркестром; доносятся траур-

ные мелодии. На орудийном лафете — гроб, покрытый бразильским флагом. Солдаты, пешие и конные, отряд специальной полиции на новых немецких машинах — мощных автомобилях и скоростных мотоциклах; большие черные лимузины с официальными представителями власти. Два танка завершают кортеж. Полковник Сампайо Перейра вновь занял командный пост. Мария Мануэла смотрит словно зачарованная. Она расспрашивает Портелу:

— Внезапная смерть, не правда ли? Что за причина?

— Я бы сказал: совершенно неожиданная смерть. Причина? Какая может быть другая причина, кроме битвы, в которую мы все вовлечены? Признаюсь, не ожидал, предполагалось все иначе. Но будем справедливы: полковник пал на поле брани.

— Пожалуйста, дорогой мой, помогите мне разгадать эти шарады. Пал на поле брани. Как это? Вы, маэстро, не ожидали его смерти, но ожидали чего-то другого, а чего?

— Я ждал, что он снимет свою кандидатуру.— Портела отвел взгляд от похоронной процессии, предпочитая любоваться меланхоличной красотой последней любовницы Бруно.— Сампайо Перейра был попросту дурак, обуреваемый тщеславием, он считал себя всемогущим и был убежден, что никто не осмелится пойти против его желаний. Стратегия заключалась в том, чтобы вынудить его снять кандидатуру, вымотать с помощью все нарастающих разочарований и неудач. При каждом полученном ударе он раздражался, нервничал. Он рассчитывал быть единственным кандидатом, а у него объявился конкурент. Мечтал об единогласном избрании, и эта мечта потерпела фиаско. Потом начал терять голоса, считавшиеся гарантированными, почувствовал отпор, противодействие. Фигейредо его поносил, об Эвандро и говорить нечего. Расстроенный, униженный, он понял, что все пропало.

— И был побежден?

Процессия двигалась медленно и торжественно, провожая в последний путь «героя у траншеи бессмертия» (как эффектно выразился министр в своей речи перед могилой полковника), движение городского транспорта было остановлено, чтобы пропустить процессию, на тротуарах сгрудились зеваки.

— Еще нет, до этого было далеко. Не знаю, победили бы мы его, если бы дошло до выборов. Сомневаюсь. Мы так планировали всю кампанию, чтобы он почувствовал себя деморализованным, отвергнутым и, опасаясь поражения, устранился бы сам. Маневр президента с обедами поверг Сампайо Перейру в панику. Мы заставили его проглотить жаб и змей, чтобы его вырвало своей же кандидатурой. А он задохнулся и умер от удушья.

Звуки оркестра таяли в воздухе, похоронная процессия достигла авениды да Лигасан, удаляясь.

— Мне стоило большого труда убедить Персио принять полковника, такое отвращение он питал к нему. Он пошел на это из любви к Бруно, из любви же к Бруно Антониета села за рояль и сыграла траурный марш из «Героической» симфонии. Я говорил вчера с Персио по телефону, и он признался, что переборщил. Когда этот тип попросил Персио проголосовать за него, тот вышел за границы дозволенного и посулил надавать ему пощечин, Сампайо Перейра буквально выбежал от него. Доза оказалась, видимо, роковой. И то, что он не дошел до визита ко мне... Так или иначе, моя красавица, память Бруно не осквернена, я выполнил свое обещание: мы сделали все возможное и невозможное. Игра стоила свеч.

Мария Мануэла взяла руку маэстро Афранио и поцеловала ее.

— Мне так хотелось бы поцеловать руку и профессора Персио. Как его здоровье? В самом деле нет надежды?..

— Никакой, к несчастью. Я опасаюсь, что его поступок был последним вкладом Персио в защиту бразильской культуры.

— Теперь я могу уехать спокойно. Афонсу, мой муж, получил назначение в Венесуэлу, послом. Мы едем прямо туда, это устроил мой отец, чтобы оградить меня от опасностей морского путешествия. Мы должны отправиться в Манаус в будущем месяце.

Они молча полюбовались ослепительным пейзажем: залив Гуанабара, острова, горы, дома далекого Нитероя.

— Знаешь, где я познакомилась с Антонио? В Нитерое... Сумасшедшая история.... Если у тебя есть время слушать, расскажу.

— Сегодня мой первый день отдыха, с тех пор как Бруно скончался, и красавица

разыскала меня в обеденный час. Теперь у меня все время свободно, а я обожаю слушать сказки.

Улыбка, почти озорная, сменила меланхолическое выражение лица Марии Мануэлы.

— Ты прав, это была сказка в стиле «модерн», в ней политика перемешалась с супружеской неверностью, абсурдная сказка.— После паузы она спросила:— Ты, конечно, знаешь, что я опасная революционерка, участвую в борьбе против диктатуры Салазара?

— Бруно показывал мне поэму, в которой говорится о богине на Олимпе, держащей в руке серп и молот. Прекрасная поэма.

— «Богиня и фигляр» — я и он, одно из первых стихотворений, посвященных мне. Так вот, у меня была назначена встреча с товарищем, политическим эмигрантом из Португалии, он должен был передать мне документы для пересылки на родину. Мое положение дает мне кое-какие возможности

Дочь салазаровского министра, невестка крупнейшего в стране банкира, жена советника посольства Португалии, разумеется, располагала большими возможностями для борьбы с фашизмом; находясь в самом логове врага, она не раз знакомилась с конфиденциальными докладами, знала агентов португальской охранки ПИДЕ, действующих в Бразилии, кроме того, имела право пользоваться дипломатической почтой для личной переписки.

Афранио Портела смотрит задумчиво на сидящую перед ним женщину: изящество, изысканность и элегантность; боготворимая светской хроникой, королева салонов рио-де-жанейрского света, дипломатического корпуса,— кто бы мог подумать, что она связана с подрывными элементами, что действует в подполье, участвуя в секретных операциях? Вот тема для романа, и такая заманчивая,— он даже почувствовал соблазн вернуться к художественной прозе.

— Место свидания — бар в бухте Сан-Франсиско. Я пришла первой и, как было условлено, направилась к табачному киоску, купила сигареты; товарищ появился — взволнованный, торопился. Он вручил мне конверт и сказал, что за ним следят. «Постарайтесь не попасть на глаза шпикам»,— шепнул он мне и исчез. Я сунула конверт в сумочку Как сделать, чтобы полицейский меня не увидел? Что было бы, если бы он узнал меня?

Маэстро Портела смаковал — какая сцена для романа!

— Что же дальше?

— Я увидела за одним из столиков Антонио, он пил вино, наверняка в ожидании какой-то дамы. Я его знала по фотографиям, читала его произведения, обожала его стихи еще со студенческих лет. Не колеблясь, я подсела к нему и без околичностей заявила, что мне нужно избежать встречи с типом, который прохаживается перед дверями и следит за тем, что делается внутри. Он не стал задавать вопросов. Агент мог заподозрить кого угодно, только не меня; к тому же он не видел моего лица, оно оказалось заслоненным головой Антонио, когда наши уста соединились в бесконечном поцелуе... Потом он проводил меня до такси, не спросив даже, кто я такая...

Афранио Портела уже видел себя пишущим роман: как знать, не засядет ли он и впрямь за машинку, отложив в сторону заметки о поэтах Инконфиденсии [1], не попытается ли воссоздать эти политические интриги, обстановку в салазаровском посольстве, последнюю любовь поэта, тайну Марии Мануэлы?

— На следующий день я получила книгу с весьма странным посвящением и букет необычайно красивых орхидей, таких никогда и не видывала. Затем раздался телефонный звонок. Антонио признался мне в любви Прежде я была только активной политической деятельницей. Антонио сделал меня богаче — я стала женщиной.

Оружейный салют вдали... Первые комья земли упали на гроб полковника Агналдо Сампайо Перейры.

Дама в черном

Поначалу она проявляла упорство. Однако не из почтения к супругу и уважения к браку. Отнюдь не любовь связывала ее с мужем, незначительным и пустым челове-

[1] Имеется в виду так называемая Инконфиденсия минейра — революционное выступление в Минас Жераисе против португальского господства в конце XVIII века; в этом выступлении активную роль играли, в частности, крупнейшие поэты Бразилии — Томас Антонио Гонзага, Клаудио Мануэл да Коста, Инасио Жозе де Алваренга Пейшото.

ком, флегматичным, мечтающим только о наградах и почетных званиях. Самым большим его желанием было получить дворянский титул, который обеспечил бы ему наследование части огромного состояния отца, добытого в колониях пóтом негров и приумноженного в метрополии благодаря льготам, предоставленным правительством. Честолюбивые притязания привели Афонсу Кастиэла к дипломатической карьере. Управление банками, сельскохозяйственными и промышленными предприятиями он предоставил заботе братьев, женившись на Марии Мануэле Кову Силварис д'Эса, блистательной представительнице старинного дворянского рода, на гербе́ которого было начертано: «В руки короля передаю жизнь свою и честь». Было бы возможно — Афонсу принял бы блестящие титулы жены, прибавив к ним фамилию Кастиэл, фамилию, напоминавшую о гетто. Тесные узы дружбы и финансовые дела связывали богача Саломона Кастиэла с влиятельным министром иностранных дел Силварисом; оба пользовались доверием и уважением диктатора.

Что касается брачных уз, Мария Мануэла не считала, что они достойны хотя бы малейшего уважения, замужество ее было не более как выполнением миссии, самой тяжелой из всех. Она выполняла ее по мотивам чисто идейного характера.

Антонио Бруно познакомился с ней в баре в Нитерое. Он убедился, что страх быть узнанной и необходимость спрятать лицо, бросившие ее к нему в объятия, не имели ничего общего с альковными интригами. Политический заговор, а может быть и шпионаж? Он видел, как какой-то субъект передал ей пакет у табачного киоска. Красота женщины и ее таинственность вскружили ему голову, им овладела безумная страсть. Он не смог бы жить, если б не завоевал ее. Ему нужно было овладеть ею во что бы то ни стало — гранатовые губы, лебединая шея.

Он стал ухаживать, используя всевозможные средства, обогащенный значительным опытом. Цветы и книги, нежный голос, медовая лесть, блеск и изящество беседы, жар страсти. Вежливая, всегда что-то недоговаривающая, Мария Мануэла не уступала — неприступная крепость.

Бруно сумел пробить брешь, прибегнув к помощи литературы. В обмен на свои книги, отправляемые одна за другой, с посвящениями, все менее строгими, он получил по почте единственный опубликованный при жизни том Фернанду Пéссоа с надписью: «Замечательному бразильскому поэту Антонио Бруно это «Послание» крупнейшего современного поэта Португалии с глубоким восхищением передает читательница Мария Мануэла Силварис Кастиэл». Бруно лишь понаслышке знал португальского поэта, получившего известность в Бразилии только после войны 1914—1918 годов. Интеллектуал, знаток французской культуры, Бруно едва представлял себе новейшую литературу Португалии, кроме великого поколения ди Кейроша, Рамалью, Антеру Он прочел «Селву» Феррейры ди Каштру, был знаком с именем Акилину Рибейру; меланхолическая поэзия Антониу Нобри его не соблазняла, но ему нравился Сезариу Верди. За пределами этого — полное невежество, омрачающее патриотические чувства обаятельной лиценциатки литературного лицея при университете Коимбры.

Начавшись с разговора о Фернанду Пессоа, телефонные беседы стали все более долгими и завершились первой встречей в Португальском литературном лицее, куда она пришла запыхавшаяся, красивая, нагруженная сборниками стихов неизвестных Бруно авторов. Но не португальские поэты привели ее сюда — она уступила мольбам влюбленного, потому что тот первый поцелуй, рожденный случаем, продолжал жечь ей уста, на которых оставался вкус губ бразильского поэта, ослабляя ее волю, распаляя сдерживаемые желания.

Нелепая игра: возбужденный Бруно, разглагольствующий о любви, и Мария Мануэла, платонически холодная, эрудированная, объясняющая значение групп, объединенных вокруг редакций «Орфеу» и «Презенса», преподносящая ему экземпляр журнала «Сеара нова». Что делать, как не использовать то же оружие? Бруно атаковал ее Превером, Бретоном, Арагоном, Элюаром, Тцарà, и так, поэт за поэтом, стихотворение за стихотворением, незаметно между ними возникла близость, нежные слова вперемежку со строфами, литературные дебаты зажгли огонь страсти. «Цыганский романсеро» Гарсиа Лорки послужил подходящей для обоих почвой, на которой расцвела их любовь. Они обменялись поцелуями, сидя на грубой скамье под деревьями, читая «Двадцать поэм любви и одну песнь отчаяния» Пабло Неруды.

Мария Мануэла перестала сопротивляться, уступила, когда Бруно продекламировал шепотом, скорбным голосом цикл из трех сонетов в стиле Камоэнса, вдохновленных

ею: «Сама Юнона посещала Королевскую виллу на Прайе Гранде в Нитерое»... «Делай со мной что хочешь»,— промолвила она, побежденная и счастливая.

Для него это было последнее приключение, сумасбродство; для Марии Мануэлы — первая любовь, открытие новой стороны жизни. Один из ее товарищей, Фернанду Каштру, преподал ей урок солидарности; с поэтом Антонио Бруно она познала любовь. Антонио сделал меня богаче, я стала женщиной, призналась она маэстро Афранио в день похорон полковника.

Первая, хотя и запоздалая любовь пришла к ней в двадцать восемь лет. Она узнала полное счастье, безграничную нежность, безграничное сладострастие, свободу. Неожиданная встреча в Нитерое произошла незадолго до рождества 1939 года, Бруно умер в сентябре 40-го; эти десять месяцев для нее были полны гармонии и красоты.

По окончании лицея, не подчинившись феодальным обычаям семьи, Мария Мануэла отказалась от домашних дел, завоевала право на поступление в университет, записалась на курс литературы в Коимбре. Энтузиастка, веселая, умная, она сразу же включилась в студенческую жизнь. После короткого и разочаровавшего ее периода романтических серенад на берегу Мондего[1] она примкнула было к какой-то группе левых, лозунги которых ее соблазнили. Студент-юрист с аскетическим лицом и резким голосом, Фернанду Каштру, взялся наставлять ее. В то время как другие коллеги ухаживали за ней, тратя время на смешные объяснения, он говорил о политике, нищете страны и народа, о гнете салазаровского режима, терзавшего португальскую нацию. Он приносил ей запрещенные книги Маркса и Ленина, «Коммунистический манифест», «Империализм, как высшая стадия капитализма», и она их читала, эти и другие произведения — «Мать» Горького, поэмы Маяковского. Он поведал ей сагу об Октябрьской революции, красном знамени и надежде эксплуатируемых, о создании лучшего мира, мира без богатых и бедных, без классов, без частной собственности, где каждый сыт и имеет право на блага, которые дает обладание культурой. Мария Мануэла была захвачена новыми для нее идеями...

Отказавшись от всего, что было роскошью, от дорогих платьев и туфель, от косметики, сияя чистотой красивого лица, она сводила с ума студентов и преподавателей, воодушевляя их на сочинение десятков плохих стихов, еще худших страниц прозы, никуда не годных фадо[2]. Ничто из всего этого не волновало и не трогало ее — глупые проявления чувств декадентствующих буржуа. В ней еще не пробудилась женщина. Главное — революция, все остальное второстепенно.

На явке в горах Эштрела Фернанду Каштру попал в руки полиции. Мария Мануэла пыталась было навестить его, но ей это не удалось. Она продолжала занятия в Коимбре, закончила курс, не отрываясь от подпольной работы. Осужденный на длительное заключение, Фернанду Каштру не выдержал пыток — скончался в концлагере Таррафал через несколько месяцев после ареста. Мария Мануэла глубоко переживала смерть товарища...

Получив диплом, она вернулась в Лиссабон, решила полностью посвятить себя подпольной работе, порвав с семьей и прежней средой, стать профессиональной революционеркой. Но когда Афонсу Кастиэл сделал ей предложение, товарищи по организации посоветовали не отказываться от этого брака, за который к тому же так ратовали ее родные и семья претендента на ее руку.

Посоветовали — не то слово. Она рассказала руководителю низовой организации, к которой принадлежала, забавную историю о предложении Кастиэла и заявила, что ни в коем случае не согласится сочетаться браком с этим самодовольным дураком.

Тогда война в Испании была в разгаре, и она, дочь министра иностранных дел, имеющая свободный доступ в официальные круги, сможет быть исключительно полезной для организации, собирая, добывая и передавая информацию — и потому руководство решило, что ей не следует отвергать предложение Афонсу Кастиэла: этот брак позволит ей значительно расширить сферу действий.

Мария Мануэла, правда, вначале попыталась было возражать, но потом передумала.

Свадьба Марии Мануэлы Кову Силварис д'Эса с Афонсу Кастиэлом стала событием года, до сих пор не забытым лиссабонским великосветским обществом. Невеста, бледная и ослепительная, в платье, фате и флердоранже парижской фирмы знамени-

[1] Река, на берегу которой расположен город Коимбра со знаменитым университетом.

[2] Португальская народная песня.

той художницы-модельера Коко Шанель; свадебный марш, блестяще исполненный органистом Клаусом Бергманом, приглашенным специально для этого из Вены, что стоило золотых гор; проповедь кардинала, восхваляющая союз двух знатных семейств, связанных теперь узами брака с благословения господа бога. Затем грандиозный прием сказочной пышности.

В постели претенциозный и надушенный Афонсу интересовал ее еще меньше, но... болтливый муж Афонсу обожал узнавать и пересказывать последние слухи, подхватывать то, о чем говорят в министерских кулуарах, на правительственных приемах. Таким образом Мария Мануэла оказалась в курсе всего, что относилось к салазаровской помощи генералу Франко, и могла ставить в известность испанских республиканцев.

Позднее Мария Мануэла поехала с мужем в Бразилию, куда он был назначен на пост советника посольства; и здесь она не теряла контакта с португальскими антифашистами. Через год пребывания в Рио она познакомилась с Антонио Бруно в тот странный, тревожный вечер в Нитерое.

Она расцвела в объятиях поэта. В Коимбре ей открылся мир, который предстояло изменить, в Рио она познала жизнь во всей ее полноте. Ошеломляющее событие, когда наконец после стольких отказов она осталась наедине с Антонио, впервые испытала наслаждения любви...

Принадлежа ему, счастливая, она не покинула, однако, окопа антифашистской борьбы. Добросовестно выполняла все получаемые ею задания, и уже по собственной инициативе ей хотелось включить в эту борьбу поэта Антонио Бруно, которого предстояло изменить: его песни должны стать оружием трудящихся, поставивших своей задачей преобразовать мир. Она напомнила пример чилийца Пабло Неруды, «Двадцать поэм любви» которого привели к их первым поцелуям. Консул в Испании времен гражданской войны, Пабло Неруда ведь отдал свой талант идеалам борющихся против реакции.

Как-то Бруно показал ей статью критика, который, хотя и хвалил «бразильские истоки» его поэзии, но обвинял поэта в том, что он далек от социальных проблем, не определил свою позицию в «потрясенном мире, в решительный час, когда Гарсиа Лорка, которого он называл своим братом, был расстрелян Франко, Томас Манн эмигрировал, чтобы не погибнуть в гитлеровском концлагере, а Антонио Мачадо умирает в изгнании». Эта статья увидела свет по воле случая в последнем номере журнала «Пара тодос», затем запрещенного циркуляром департамента печати и пропаганды, несмотря на престиж и связи Алваро Морейры, владельца и главного редактора этого издания. Мария Мануэла заявила, что автор статьи абсолютно прав: Антонио не выполнял своего долга. Возможно, обаятельная бунтарка внесла свой вклад в речь, произнесенную им в Академии, о хрустальной башне, покинуть которую его заставила война.

Смеясь, Бруно объявил, что напишет целый сборник поэм социального содержания, но так и не сдержал своего слова. Он писал, да, поэмы о любви, безумной страсти — сумасшедший фигляр, трубадур у ног отважной дамы, которая ради него рисковала честью и положением.

Ничем она не рисковала, повторила Мария Мануэла; между нею и мужем существовали лишь формальные узы брака. Афонсу продолжал содержать певиц — теперь потрясающую мулатку, танцовщицу самбы в одном из театров на площади Тирадентеса, окруженную, как и прежние, двоюродными братьями, забавными долговязыми подростками,— и если у Марии Мануэлы не было других любовников до Бруно, то это объяснялось исключительно тем, что ее не заинтересовал ни один из многочисленных салонных ловеласов. Мария Мануэла пригрозила покинуть мужа, бросить все, чтобы жить с Бруно среди бедности и поэзии. Пытаясь воспрепятствовать подобному безрассудству, поэт был вынужден искать серьезные доводы.

В пятьдесят четыре года, однако в полной форме, не думая о приближении старости, Бруно чувствовал себя вознагражденным судьбой — любовью красивой молодой женщины, образованной и отважной, родившейся аристократкой, но поднявшейся до высот дочери народа. Он попробовал втайне писать боевые стихи, которых она требовала, но ему они не удавались, звучали фальшиво. Единственная поэма, в которой чувствовалось подлинное вдохновение, средоточие ненависти, отвращения, гнева, отчаяния и надежды — окровавленное сердце и поднятый кулак,— была «Песнь любви

к оккупированному городу», сначала написанная было с мыслью оплакать падение Парижа, но переработанная, чтобы призвать народы мира к борьбе против фашизма, за освобождение всех оккупированных городов. Это была поэма Бруно и Марии Мануэлы, первый ее экземпляр она сама напечатала на машинке. Наследие, оставленное революционерке в трауре, даме в черном, в трудный час распространявшееся в Бразилии, Португалии, в африканских колониях,— читавшееся в Анголе, Гвинее-Бисау, в Мозамбике, где мятежные негры разожгли первые очаги партизанской войны.

Диалог академиков

Проницательный наблюдатель, декан Франселино Алмейда немедленно заметил перемену в поведении генерала Валдомиро Морейры. Усевшись на софу, рядом с министром [1] Пайвой из Верховного трибунала, он посматривал на сервированный стол, за которым многие академики пили чай, кофе, фруктовую воду, ели пирожки, тосты и бисквиты перед началом еженедельного собрания, первого после смерти полковника Сампайо Перейры. Тихим голосом он заметил другу:

— Он уже не тот, что прежде, обратите внимание. Что-то изменилось. В манере здороваться, в обращении. Раньше он держался скромно и почтительно, приятно было видеть. Теперь он уже не заискивает, грудь колесом. Да и другой хорош... дождался прекращения регистрации, чтобы умереть, и этим открыл ему путь, обеспечил избрание...

— Ты стал бы голосовать за него, если бы Сампайо Перейра не умер?

— Я колебался. Полковник обладал властью, отказать ему было бы дерзостью. Вместе с тем у Морейры могущественный крестный отец... Могло случиться, что в конце концов я решился бы...

Маленький, худой министр, щурясь от сильного света, еще более понизил голос:

— Скажи мне, мой Франселино, кто у него крестный отец или ... крестная мать?

— Угадал. И еще какая крестная! — Он многозначительно прищелкнул языком.

— Не говори, та самая...

— Ты тоже? Ты, верный голос за покойного... Секретарша?

— Секретарша? Какая? Чья?

— Генерала. Столь скромна и стеснительна, я даже думаю, что она девственница...

— Такую не знаю. Ты хочешь сказать, будто он пустил секретаршу по твоим следам? Что меня поражает, так это успех генерала у женщин. Лицо его малопривлекательно, да и манера держаться...

— Так кто же она?

— Кем же ей быть? Очаровательная чертовка, которую зовут Мария Жоан.

— Актриса?

— Она? Да. Закрыла вопрос, представляешь себе?

Два старичка рассмеялись благодушно и весело. Министр, все еще заинтригованный, заметил:

— Кто бы сказал, что у Морейры такие покровительницы...

Франселино промолвил:

— Действительно, смерть Перейры разрешила наши проблемы. Но посмотри на генерала, он вовсе не похож на бедного человека. Впрочем, он и не должен быть бедным, судя по корзине с ликерами и бисквитами, которую преподнес.

— Он беден, живет лишь на жалованье. Все, что у него есть,— это дом, купленный ценою самоотречения. Он, должно быть, потратил на тебя все, что получает в месяц.

— Откуда ты столько знаешь про него?

— От Марии Жоан, конечно. Чертовка мучает меня все время рассказами о достоинствах и затруднениях генерала, честного и бедного.

— Так ли? Эти военные экономны и верны своим женам, у них небольшие расходы, они всегда копят деньги, лишнего себе не позволят... Корзина, которую он мне прислал, должно быть, стоит дорого.

— Он уже пришел на чай? Я видал его обычно в зале слушающим доклады. А здесь, наверху, что-то не припоминаю...

— Мне кажется, он побывал тут однажды, его еще привел Родриго. Тогда он был очень смущен, едва пригубил чашечку кофе. Сегодня пришел сам, обрати внимание на его аппетит.

[1] В данном случае — высший юридический чин.

В чайном салоне генерал Валдомиро Морейра говорил громко, выпил две чашки кофе с молоком, отдал дань маисовому пирогу. Увидев его непринужденность, никто бы не подумал, что он еще только кандидат: он вел себя как избранный академик. Министр Пайва, старый бонвиван, вернулся к приятной теме о женщинах:

— Между нами говоря, кто насладился, так это наш Родриго. Дочка генерала, скажу тебе, рыбка...

— Ты говоришь так потому, что не видел секретаршу... Божественная мулатка...

— Мулатка? — Маленькие глазки министра округлились, голос заглох от зависти: — Счастливец!

Академики вели беседу в ожидании собрания, на котором президент объявит о кончине полковника Агналдо Сампайо Перейры; теперь лишь один кандидат оспаривает вакансию Антонио Бруно — генерал Валдомиро Морейра. Академик Лизандро Лейте произнес похвальное слово покойному, попросив записать в протокол выражение скорби.

Сидя в одиночестве за чайным столом, генерал, кандидат без соперников, проглотил последний кусок пирога, размышляя о некоторых глупых правилах и обычаях: поскольку он практически уже академик, его место там, среди других «бессмертных». В таких случаях можно было бы и пренебречь параграфом устава, в принципе, конечно, правильным, который разрешает вход в залу собраний только академикам,— ведь нет же правил без исключения.

Побежденный

Лизандро Лейте, единственный академик, один из немногих гражданских лиц, участвовавших в похоронах полковника Сампайо Перейры — дорогого и наводившего страх Агналдо,— по возвращении с кладбища почувствовал себя сраженным. Хуже — осиротевшим, он остался без кандидата. Эти выборы, от которых он ожидал столь многого, обернулись несчастьем. На полях газеты, лежавшей на письменном столе,— она была раскрыта на обширной информации о кончине «выдающегося офицера и высокоценимого писателя, кандидата в Бразильскую академию литературы» — Пру написала красным карандашом: «Уже поздно!» Неблагодарная.

Он провел печальные дни, хмурый, неразговорчивый. Вернувшись с собрания в Академии, он рассказал доне Мариусии:

— Я попросил дать мне выступить, произнести несколько слов в память покойного. Портела, Эвандро, Фигейредо и некоторые другие улыбались — им, очевидно, приятно было видеть мое унылое лицо. Они чувствовали себя победителями. Упиваясь победой, генерал Морейра явился на чай. Кусок достался не тому, кто его готовил, а тому, кто сейчас его ест. Пропала впустую огромная работа. Да еще Пру, неблагодарная.

— Оставь Пру в покое и не переживай так.

— Я уже рассчитывал на назначение в Верховный...

— Не волнуйся, еще попадешь туда.

— Никто ничего не делает даром, Мариусия, нужно трудиться, создавать условия.

— Ты найдешь выход, я уверена. Выше голову, дорогой! Я никогда не видела тебя таким.

— Выход есть, только бы Персио рецился, наконец, помереть. Он кажется железным, хотя врачи его уже давно похоронили... Тогда я выдвину кандидатуру Раула Лимейры, он близкий друг Самого (Сам — глава правительства)... При поддержке его и Пайвы...

— Вот видишь? Пройдет время, и все образуется.

Мысли Лизандро приняли другое направление.

— Я хотел бы знать...

— Что?

— Что произошло при посещении Персио. Мы договаривались, что Агналдо позвонит мне после визита. Он не позвонил. Я пытался соединиться с ним по всем его номерам, но не нашел нигде. Говорил потом с доной Эрминией, письма Персио с его поддержкой не нашлось среди бумаг Агналдо.

— Забудь обо всем, это уже вода, которая утекла. Я уверена, что днем раньше или позже буду женой министра Лейте из Верховного.

— А я уверен в другом... не заслуживаю тебя.

— Глупец!

Откуда взялась амбиция, так и выпиравшая из него? Он сам повинен в этом, или, может быть, передалось от Мариусии, тонкой, благоразумной?

Историческая справка

Партизанская война на Эспланаде до Кастело вокруг Бразильской академии литературы разгорелась тотчас же после того, как возмущенный Эвандро Нунес дос Сантос — с пенсне в дрожащей руке — и пораженный маэстро Афранио Портела обменялись многозначительными и тревожными взглядами. Это случилось в следующий четверг, то есть ровно через неделю после собрания, на котором президент Эрмано де Кармо сообщил собравшимся о смерти кандидата полковника Агналдо Сампайо Перейры, происшедшей за полтора месяца до выборов.

Вопреки утверждениям менее щепетильных и честных историков, партизанская война началась не в самый день похорон полковника. В действительности был короткий, немногим более недели, перерыв между драматическим окончанием Битвы за Малый Трианон и началом вербовки добровольцев для новой кампании; то были спокойные дни, когда все, казалось, пребывали в добром мире. Те, кто думал так, не учитывали переменчивости человеческой природы.

За неделю между упомянутым четвергом, когда многоопытный посол Франселино Алмейда установил во время чаепития симптомы перемен в поведении генерала Валдомиро Морейры, ставшего единственным кандидатом, и следующим четвергом малозаметные предвестия переродились в явную и грозную очевидность — «страшную», как классифицировал Эвандро,— подвигнув двух старых партизан на почти конспиративную встречу сразу же после собрания, на котором академики с обычной учтивостью обсуждали все аспекты проектируемой орфографической реформы, предложенной Лиссабонской академией наук.

Экс-будущий министр

Едва он вошел в чайную залу, как все обратили внимание на то, что генерал Валдомиро Морейра, еще не простившись с военным кителем, будто облачился в парадный мундир Академии. Когда кандидат выступал против соперника, считавшегося непобедимым, он сорвал звезды с генеральских погон и превратился в обычного рядового, в послушного солдата, держась подобострастно перед «бессмертными», упиваясь их словами, аплодируя самым различным мнениям, порою противоположным, зачастую не совпадающим с его собственными. Он уже не раз испытывал унижение. Самое большое из них — при посещении Эвандро. Эссеист преподнес ему экземпляр вызвавшей немалую полемику книги «Милитаризм в Латинской Америке»; автор ее возлагал на военных ответственность за бедствия, за отсталость, за зависимость латиноамериканских стран от Англии, Соединенных Штатов, Германии. Бесцеремонный Эвандро настойчиво повторял громким голосом свои суждения о роли вооруженных сил, прозвучавшие явно оскорбительно. Кандидат выслушал их молча, ничего не ответив.

Внезапно изменилось все. Через две недели после предварительного подсчета голосов, сделанного Афранио Портелой и Родриго Инасио Фильо, он лег спать побежденным, проснулся победителем. Конкурент сыграл в ящик. Избрание гарантировано. Фаза унижений закончилась.

Он как бы напялил парадный мундир Академии поверх военного кителя, на котором звезды, погоны и медали засияли еще ярче; будучи уверенным, что его ждет звание академика, он утвердился в звании генерала и повел себя соответствующим образом. Казалось, облаченный в две форменные одежды, хотя и одетый в плохо сшитый гражданский костюм из синего кашемира, он снова появился на академическом чае и весьма фамильярно общался с будущими коллегами, навязывал им свои мнения, выражал несогласие. Что же касается аппетита, то следует учесть скудный режим, которым его истязала дона Консейсан по указанию врача. Избавившись от контроля жены, он набросился на лакомства. Заняв позиции у обильного стола, наелся до отвала.

Во второй раз посчастливилось генералу Морейре наступать, словно муха его укусила, наступать неудержимо, занимая новые рубежи, принять на себя командова-

ние еще до того, как пробил нужный час, освободившись от надоевшей маски воздержания, он всем показал, каким его сделал господь бог и военная карьера: дерзким и властным.

Во время кампании Армандо Салеса де Оливейры, баллотировавшегося в президенты республики, имя генерала упоминалось среди кандидатов на министерские посты; в случае победы Салеса де Оливейры он мог бы стать военным министром.

Генерал никогда не сомневался в своей победе: все знали, что писатель Жозе Америко де Алмейда, хотя и кичился положением официального кандидата в президенты, не пользовался поддержкой диктатуры, правительство предоставило его судьбу его же собственному попечению. К тому же можно ли было представить себе, что неотесанный уроженец сертанов Параибы, представитель святош и наемных охранников, эксплуатируемых, неграмотных и голодных людей, мог бы победить кандидата из Сан-Пауло, поддерживаемого такими тузами, как крупные кофейные латифундисты и промышленники, богатые и образованные? На митингах ораторы с трибун горделиво вещали: Сан-Пауло — мощный локомотив, который способен тащить пустые вагоны других штатов.

Уверенный в победе, он был убежден, что получит место военного министра. Не какого-нибудь там другого министра — просвещения или общественных работ, а военного министра, который практически является вторым лицом в правительстве, выше только президент.

С черным портфелем, набитым бумагами, он стал регулярно посещать министерство, где его видели накануне путча, приведшего к провозглашению Нового государства. Он наведывался к секретаршам, в различные службы, в казармы, собирая сведения, которые могли бы оказаться ему полезными на новом посту. Он заранее составил свой кабинет, сменил командующих, произвел перемещения, преобразования, повышения в должностях. Правда, все это делал он на бумаге, но не скрывал намеченную им программу действий. Он дошел до того, что загодя предложил кое-каким офицерам важные командные должности.

Пользовавшийся незначительной поддержкой в военных кругах, Армандо Салес в начале кампании, возможно, и имел в виду назначить генерала Морейру, в верности которого не сомневался, на высокий пост. Но если бы такая возможность появилась у него, он наверняка передумал бы еще до того, как ноябрьский переворот 1938 года похоронил мечты и надежды не только генерала, но и всех тех, кто серьезно участвовал в кампаниях обоих кандидатов в президенты. Чтобы вознаградить генерала за преданность, Салес, вероятнее всего, предоставил бы ему хорошую синекуру, скажем пост военного атташе в Париже, вполне подходящий для бывшего слушателя курсов при французской военной миссии,— почетная должность и к тому же нет опасности, что он попытается командовать, да еще и по другую сторону океана, ведь генерал, помимо того, что славился большими претензиями, любил распоряжаться и был страшно докучливым типом.

За чайным столом, слушая, как Энрике Андраде жаловался президенту Академии на то, что секретарша опаздывает с отправкой корреспонденции академикам, генерал Морейра заявил громко и самоуверенно:

— Чего недостает нашей Академии, так это некоторой доли военной дисциплины. Это учреждение не может не иметь в своем составе хотя бы одного представителя вооруженных сил, который наводил бы порядок, не допуская, чтобы власть страдала от царапин.

Царапин, каких царапин? Среди воцарившегося молчания старый Эвандро Нунес дос Сантос и маэстро Афранио Портела переглянулись. Встревоженно и многозначительно.

Заговорщики

Ошибки относительно дат и прочих подробностей истории партизанской войны, которую вел старый Эвандро, наверняка явились результатом чрезвычайно секретного характера предпринятых действий. Все боевые операции замышлялись и осуществлялись в глубочайшем подполье. Если бы Эвандро и Портела вместо того, чтобы являться почтенными либеральными литераторами, были бы испытанными революционерами с многолетним опытом нелегальной деятельности, даже тогда бы они не действовали с большей эффективностью и предусмотрительностью.

Для такой конфиденциальной беседы не было более подходящего места, чем автомобиль романиста. Шофер Аурелио Содрэ, молчаливо восседавший на переднем сиденье, находился на службе у Афранио и доны Розариньо более двадцати пяти лет и заслужил их полное доверие. Машина направилась в сторону Санта-Терезы, чтобы отвезти Эвандро домой. Маэстро Портела оборвал его возмущенное ворчание:

— Чего вы хотели? Чтобы мы голосовали за Сампайо Перейру? Да, Морейра — всего лишь сублитератор, зато другой был нацистом.

— Если бы только сублитератор, для меня это не имело бы значения, не он один. Но у него деспотический характер. Я вам определенно говорю: эта затея с кандидатом из военных нам не подходит.— Гнев Эвандро возрастал: — Наиболее подходящий на место Бруно это Фелисиано.

— Не спорю, согласен. Но в том затруднительном положении, в котором мы находились, у нас не было иного выхода, как остановиться на генерале. Теперь надо запастись терпением, проявить сдержанность.

— Сдерживайтесь вы, если хотите, а я не желаю, и терпения у меня больше нет.

— Какого черта, что вы можете сделать? Морейра — теперь единственный кандидат.

— Ну и что? Он воображает, что уже избран, но до выборов еще целый месяц...

— Вы намереваетесь?..— Маэстро Афранио смотрит на разгневанного кума, блеснувшая догадка начинает его забавлять.

— Намереваюсь! Для чего же существует голосование незаполненным бюллетенем?

— Но, кум, ведь мы были у него дома, чтобы пригласить его, мы сами надоумили его выставить свою кандидатуру... Мы читали его книги, хвалили... Ради приличия мы не можем...

— Во-первых, я был у него дома, потому что вы меня вынудили пойти. Во-вторых, никогда не читал ни одной строчки, написанной им, благодарение богу! — Он загибал палец за пальцем: — В-третьих, я поддерживал ваши похвалы, чтобы не оставить вас одного в этой идиотской ситуации. В-четвертых, я вел себя недостойно.

Он снял пенсне и начал протирать его.

— И я, и вы... Я никогда не видел столь дурацкого лица, какое было у вас, когда вы расхваливали его глупости, называя их чуть ли не гениальными.

Маэстро Портела тихонько посмеивался. Эвандро продолжал:

— Я читал как-то документальную книгу, изданную в Соединенных Штатах, о гражданской войне в Испании Во время битвы за Мадрид одна женщина, ее звали Пасионария, придумала лозунг и с ним смело выступила против фалангистов: «Но пасаран!» — «Они не пройдут!» Так вот, я беру этот лозунг на вооружение. Делайте что хотите, обвиняйте меня, говорите, что я негодяй, скажите, что я пригласил «линию Мажино»...

— Эвандро, это уж слишком... Ведь такую кличку давали Сампайо Перейре!

— Я услышал ее от Жозе Ливио, и мне она понравилась. Я знать не хочу, как она возникла. Я говорю, что я штатский человек и не хочу получать указания от какого бы то ни было военного, никогда не был ни рекрутом, ни резервистом.

В глазах маэстро Афранио блеснуло лукавство.

— Не забывайте, кум, что помимо голосования незаполненным бюллетенем существует еще воздержание от голосования.— Он ударяет рукой по костлявому колену Эвандро: — Маленькая партизанская война никому не повредит...

— Вы хотите сказать...

— Я родился, чтобы стать партизаном. Отдаю себя в ваше распоряжение, мой командир.— Он на мгновение задумался: — В нынешнем положении главное — это бдительность. Враг, ни о чем не подозревая, не должен сомневаться, что его изберут. Чем больше Морейра будет уверен в этом, тем больше глупостей он наделает.

Автомобиль останавливается у сада, окружающего виллу на холме Санта-Тереза. Аурелио выходит, чтобы открыть заднюю дверцу, Изабел, увидев стариков, зовет брата:

— Педро! Педро! Дедушка приехал. Дядя Афранио с ним.

После смерти полковника они еще не встречались с ближайшим другом семьи, крестным отцом Алваро. Изабел нежно целует обоих стариканов:

— Я же говорила дедушке, что все кончится хорошо, дядя Афранио.

— Еще не кончилось, моя красавица. Мы снова взялись за оружие.

Подходит Педро, спрашивает:

— Что это за новость?

— Мы — ваш дед, донкихот, этот старый строптивец, и я, Санчо Панса, его верный оруженосец,— выступаем в поход.

— А кто же Дульсинея? Какую деву собираетесь защищать?

Старый Эвандро Нунес дос Сантос привлекает к себе внуков, это они убедили его воевать против нациста Сампайо Перейры. В хриплом от курения голосе взволнованная нотка:

— Ту же, дети мои, что и рыцарь Ламанчский: свободу.

Необъятная звездная ночь опускается на деревья сада.

Секретарша теряет работу

Афранио Портела послал ей букет роз и записку, в которой назначил встречу в той же молочной. Роза вышла из какой-то частной машины, за рулем — водитель в накидке и кепи.

— С каждым днем ты становишься все красивее.— Он сдержал любопытство и не спросил про машину, поджидавшую ее у тротуара.— Я пришел проститься с секретаршей генерала.

— Я представляла себе, что такое не замедлит случиться, когда прочла сообщение о смерти этого субъекта. Никогда не радуюсь ничьей смерти, но на этот раз она не вызвала у меня сожаления. Только мысль о том, что он станет говорить о Бруно, обливая грязью имя моего любимого, причиняла мне страдание.

— От одного субъекта мы освободились, остается освободиться от другого.

— От генерала? Разве он не ваш протеже? Разве не для того была придумана эта история с секретаршей, чтобы я добыла голос Линдиньо?

— Кого?

— Посла. Он хочет, чтобы я называла его Линдиньо.

Маэстро Афранио рассказал ей о поведении кандидата, о продолжении кампании по выборам в академики, о голосовании незаполненным бюллетенем и воздержании от голосования.

— Значит, я уволена? Смотри, не поздно ли уже... Линдиньо держится нахально, уговаривает меня прийти выпить шампанского к нему на квартиру. Не говоря уж о щипках. Хорошо еще, что у меня смуглая кожа и следы мало заметны. Иначе...

Маэстро Афранио оценивает стоимость автомобиля — женщины Бруно удивляют его и волнуют, но любопытство взяло верх:

— Иначе — что?

Роза улыбается, заметив, что он разглядывает машину:

— Ты его знаешь, он твой приятель.— Она называет имя богатого португальца, владельца текстильной фабрики.— Он устроит для меня ателье на улице Розарио, на втором этаже. Я буду работать самостоятельно.

— А аргентинка?

— Вернулась в Буэнос-Айрес. Когда он овдовел, она потребовала, чтобы он женился на ней, прямо силой хотела заставить... Приставила нож к груди...

— Смазливая женщина, но до чего же противная! «Сеньора Делия Пилар, певица танго»,— смеясь сказал он, подражая аргентинскому акценту.— Среди исполнительниц танго никогда не слыхал более скверной...

— Мадам Пик послала меня к ней домой примерить платья. Там я и познакомилась с моим нынешним... покровителем...

— Когда встречу, поздравлю его. Он избавился от малосимпатичной особы и завоевал красивейшую розу Рио-де-Жанейро. Тебя я тоже поздравляю. Он хороший и достойный человек.

— Я знаю. Он хочет лишь немного любви. Я думаю, что мы с ним очень хорошо уживемся. Любовь и уважение, я могу это дать.— Улыбка на пухлых губах, в голосе нотки печали и одновременно гордости.— У меня уже была любовь, о которой я мечтала, мне достаточно вспомнить те дни, чтобы почувствовать себя счастливой. Но все-таки скажи мне: я уволена?

— Уволена с должности секретаря. Я хочу знать одну вещь: у него есть твой адрес? Как он с тобой сообщается, как назначает встречи? По телефону?

— Он полагает, что я живу в монастырском пансионе для девушек, куда я должна возвращаться до девяти вечера. Что я приехала из провинции под опеку ге-

нерала, у которого мой отец был ординарцем. Я солгала ему. Дала телефон ателье с согласия мадам Пик, которой все рассказала, она нашла это забавным, согласилась быть соучастницей. Линдиньо звонит всегда в час завтрака, он думает, что к телефону подходит монахиня-француженка, и называет себя моим дядей. Забавно. Он меня знает как Беатрис, называет Биа. Биа тут, Биа там — и старается ущипнуть всякий раз.

— Договорись с мадам Пик о следующем: когда посол позвонит, она должна сказать, что ты больше не хочешь его видеть, и пусть не ищет тебя. В то же время мадам должна дать ему понять, что это никакой не пансион, а нечто совсем другое, чтобы оставить Линдиньо — Линдиньо, ты говоришь? — в недоумении...

— Что ты хочешь, чтобы он подумал?

— Ничего определенного. Достаточно посеять сомнение, создать видимость чего-то легкомысленного...

— Чтобы он обозлился на моего бывшего хозяина?..

— Точно. И не голосовал бы за него.

— Бедняга Линдиньо. Нахала, равного ему, нет на свете. Когда меньше всего ожидаешь, его рука забирается тебе за декольте или под юбку. Вот уж, наверно, в молодости был волокитой-то...

— О доблестях Линдиньо еще говорят в Японии, в Скандинавии.

— Но он симпатичный, знаешь? Обожает рассказывать неприличные анекдоты...

— Я сделал тебя героиней рассказа, помнишь, Роза? Думаю, что теперь сделаю героиней романа. Раньше я знал лишь, что ты самое нежное и приятное создание, теперь знаю, что ты не только нежная и приятная, но и бесстрашная.

— Это Антонио сделал меня такой. Я — его творение.

Афранио Портела снова вспомнил стихотворение: «Медная роза, медовая роза, милая роза». Он поцеловал ей руку:

— Роза Бруно.

Идиоматические разногласия

— Вы читали это? — Р. Фигейредо Жуниор протянул президенту экземпляр газеты «Коррейо до Рио».— Я зашел сюда специально, чтобы показать вам.— Он ткнул пальцем в колонку «В защиту португальского языка», в этой консультации по грамматике генерал Валдомиро Морейра поучал несведущих, как писать правильно по-португальски.

— Нет, не читал. Пока я не обязан этого делать, поскольку автор еще не академик, хотя он уверен в обратном. У меня остался месяц, когда добавится и это испытание к другим обязанностям президента.

— Вы должны прочитать именно потому, что автор еще не академик...

Эрмано до Кармо берет газету.

— В такую жару, сеу Фигейредо...— Он начинает чтение, поднимает глаза: — Это кандидат, которого вы нам подсунули... И он противостоит тому, кого бог забрал в добрый час... Прекрасная услуга...— Он вернулся к статье: — Какой олух!

Редко президент, деликатность которого была общеизвестна и еще возросла с выполнением обязанностей, требующих чуткости и такта, употреблял резкие выражения, отзываясь о коллеге — академике или простом смертном. Его раздосадовало бесстыдство кандидата, который, не дождавшись выборов, уже публично дает указания, касающиеся деятельности Академии. Он открыто выражал несогласие с позицией значительного числа академиков в огнеопасном вопросе орфографической реформы, разрабатываемой смешанной комиссией, состоящей из представителей Бразильской академии и Академии наук в Лиссабоне. Бразильские ученые еще не пришли к единому мнению, что затрудняло ход работы.

— Поразительный человек. Не было более скромного, внимательного, я бы сказал, даже услужливого. Теперь он сделал поворот на сто восемьдесят градусов; единственная кандидатура — это ударило ему в голову. Он не пропускает ни одного чаепития, ораторствует много и громогласно, отдает распоряжения, критикует. Как-то на днях схватил меня за руку и стал читать мне лекцию уже насчет живописи. Он считает, что мы руководствуемся не теми критериями. Мы не отмечаем художников, которых он считает первоклассными, в то время как превозносим других, которые,

по его мнению, представляют собой полное ничтожество. Надо было видеть, как дерзко он себя вел.

Президент прочитал последние строчки и возвратил газету:

— Ему бы следовало выдвинуть свою кандидатуру в Лиссабонскую академию, а не в Бразильскую.

Некоторые из делегатов, назначенных для участия в работе смешанной комиссии, среди них Р. Фигейредо Жуниор, отстаивали необходимость считаться с существованием в литературном языке Бразилии особенностей португальского языка, на котором говорит бразильский народ. Они возражали против тенденции некоторых португальских коллег, настаивающих на строгих правилах, существующих для языка, на котором говорят и пишут лишь в Португалии, но неприемлемых для бразильцев. Драматург говорил о культурном колониализме, определяя позицию филологов, требовавших соблюдения правил единой грамматики для литературного языка в двух столь различных странах. В итоге обе делегации не могли прийти к общей точке зрения в этом щекотливом вопросе.

Сейчас, в своей еженедельной колонке, высказывая суждения и давая советы, генерал Морейра безоговорочно поддерживал португальскую тенденцию и диктовал бразильской делегации, какую позицию она должна занять: «отстаивать огнем и мечом» чистоту языка Камоэнса — языка, который был завещан классиками. Он критиковал тех, чьи уступки негодяям, искажающим язык, приводят Академию к нарушению своего самого священного долга — «сохранить последний цветок Древнего Рима в целостности его неизменных правил», напоминая этим о близком родстве с латынью. В заключение он обещал принять непосредственное участие в будущих дебатах. Как всегда нетерпеливый, он раньше времени назначил себя военным министром, теперь решил занять кресло в Академии, не дожидаясь выборов.

— Нам повезло. Как будто недостаточно было Алкантары с его манией пуризма, чтобы расколоть делегацию...

— Ваш генерал берет на себя слишком много. Он должен был, по крайней мере, подождать своего избрания, чтобы публично устраивать нам головомойку...

— Какого черта этот грязный полицейский дождался закрытия регистрации, чтобы умереть? А теперь?

— Вы заварили эту кашу, теперь и разбирайтесь, если можете.— Он добавил, как бы невзначай: — У Эвандро есть, похоже, кое-какие идеи на этот счет. Почему бы вам не поговорить с ним?

Комиссия распускается

Р. Фигейредо Жуниор пошел дальше совета президента. Он обратился не только к старому Эвандро Нунесу дос Сантосу. Он созвал к себе на коктейль участников комиссии, которая приезжала три месяца назад в Гражау, чтобы предложить генералу Валдомиро Морейре, автору «Идиоматических пролегоменов» и ряда других книг, выставить свою кандидатуру в Бразильскую академию литературы.

После того как были поданы напитки и закуски, он показал коллегам оскорбительную статью. Что они думают по этому поводу?

Прочитав статью, Эвандро велел сделать копии на мимеографе, чтобы распространить ее среди тех академиков, которые защищали патриотические позиции в вопросе языка. Фигейредо сообщил о решении, принятом им и Афранио Портелой относительно кандидатуры генерала. «Мы дураки!» — заключил он в искреннем порыве.

— Раз уж мы находимся в состоянии войны,— продолжил романист,— в таком случае начнем партизанскую борьбу по примеру маки во Франции. О своих действиях мы сообщим вам, но, в сущности, мы уже начали работу. С большим успехом и в абсолютной тайне.

— Я ничего не знал,— сказал Родриго.

— Почему вы не сказали мне сразу? — пожаловался Фигейредо.

— Несмотря на вашу скрытность, я почувствовал что-то в воздухе,— сказал Энрике Андраде,— Пайва колеблется. Наша дивная Мария Жоан, которая потратила больше месяца, стараясь убедить его голосовать за генерала, теперь внезапно потребовала, чтобы он голосовал незаполненным бюллетенем. Я усмотрел руку маэстро Афранио в этой истории.

Они обсудили сложившуюся ситуацию. Хотя все единодушно считали генерала

наглым и несносным плутом, намеревающимся превратить Академию в казарму, а академиков в вымуштрованных вояк, всеобщего согласия на ведение партизанской войны не последовало, и комиссия пяти распалась.

Энрике Андраде извинился. При других обстоятельствах он с радостью бы постарался воспрепятствовать этому сублитератору занять место в Академии. Однако в стране при диктатуре Нового государства обстановка такова, что, по его мнению, демократы обязаны поддерживать тех, кто способен тем или иным способом изменить положение. Что касается генерала, то, хоть он и уволен в запас, не занимает командного поста, все же имеет влияние среди офицерства. Во время академической кампании они беседовали, обменивались мнениями, строили планы. Именно потому, что Энрике не считал свой голос решающим, он не хотел менять свою позицию. Если генерал потерпит на выборах поражение, он, Энрике, не будет огорчен. Но ему не хотелось способствовать тому, чтобы это случилось, так как у него есть обязательства по отношению к кандидату. Каков бы ни был результат выборов, он желал бы сохранить хорошие отношения с генералом. Кроме того, в день выборов он будет в Баие и до отъезда передаст письмо со своим голосом самому кандидату.

Родриго также попросил обойтись без него. Хотя ему и было бы интересно принять участие в партизанской войне — впоследствии он рассказал бы об этом опыте в новой своей книге «Чужие мемуары»,— но у него также были причины держаться в стороне от споров. Они не были патриотическими, как у Энрике, но тоже достаточно уважительными.

— Личные причины...— лукаво и понимающе улыбнулся маэстро Афранио,— ладно, бездельник, ты освобождаешься.

Что же касается Р. Фигейредо Жуниора, тот не желал иного, как занять в сражении позицию на передовой. Он пришел в воодушевление, узнав о том, что уже сделано.

Версия Афранио Портелы относительно недостойных маневров кандидата

Афранио Портела преднамеренно прибыл в Академию пораньше. Он встретил декана Франселино Алмейду с казначеем — тот отмечал в книге свое присутствие, получая маленький конверт и жетон. Вместе они направились к шкафам, в отдельных ящичках которых хранилась корреспонденция сорока «бессмертных».

— Мне кажется, вы несколько удручены, Франселино. Плохо себя чувствуете? В нашем возрасте надо заботиться о здоровье.

— Со здоровьем у меня все в порядке, я ни на что не жалуюсь.

— Тогда что же? — маэстро Афранио настаивает, проявляя интерес к самочувствию коллеги и друга.

— Меня кое-что беспокоит.

Они забирают корреспонденцию, возвращаются к письменному столу, романист отводит дипломата к окну.

— Что же именно?

— Этот генерал, например. Он сильно изменился, вам не кажется?

Получив ожидаемый ответ, маэстро Афранио переходит к делу:

— На мой взгляд, он даже слишком изменился. Должен вам сказать, Франселино, что я очень разочаровался в этом сеньоре.— Он говорил тихим голосом: — Как, возможно, вы подметили, я поначалу проявил интерес к его кандидатуре, даже беседовал с двумя-тремя друзьями...

— Мне говорили.

— Потом, однако, я узнал о некоторых фактах... я бы сказал... неприятных, и коренным образом изменил свою позицию. Только между нами, пусть никто не знает, главное, чтобы ему не стало известно: я решил голосовать незаполненным бюллетенем.

Декан явно оживился:

— Неприятные факты? Какие же?

— Недостойные маневры. Я вам расскажу, но конфиденциально. У меня есть старая приятельница еще со времен богемной жизни, француженка, которая владела гостеприимным женским пансионом, где жили девицы, отменные, совсем не похожие на тех, кем они на самом деле являлись. Как-то я встретил ее, и она рассказала мне невероятную историю. Представьте себе, что генерал Морейра — завсегдатай этого

заведения, он платил одной из девиц — с ней он обычно наслаждался,— чтобы она раздобывала для него голоса некоторых академиков, выдавая себя за его секретаршу...

Декан внезапно побледнел.

— Это невероятно! Какая каналья!

— Мадам Пик, хозяйка пансиона, страшно забавлялась, отвечая на телефонные звонки кое-каких наших коллег, разыскивавших девушку. Веселое заведение превратилось в скромный пансион для девиц, управляемый монахинями, а мадам по телефону называлась «сестрой Пик», французской монахиней. Полное бесстыдство.

— Женский пансион... Хм! Хм! Генерал-завсегдатай, ого? Вот мошенник! Пайва мне сказал, что он беден, однако он прислал мне корзину, очень дорогую, из магазина «Рамос и Рамос».

— Мне тоже. И Эвандро, и Фигейредо...

— Где же он добывает деньги на такие расходы? Чтобы нанимать девиц, совершать покупки у «Рамос и Рамос» по тем ценам, которые те дерут?

Маэстро Афранио еще более понизил голос, склонившись к уху дипломата, лояльность которого правительству, каково бы оно ни было, была общеизвестной; Франселино Алмейда чувствовал отвращение к оппозиции.

— Разве вы не знаете, что генерал — доверенное лицо Армандо Салеса и тех, что пытались совершить переворот в тридцать восьмом году вместе с интегралистами? Он не принял участия в заговоре банды только потому, что в это время не был в Рио.

— Я знал, что он сторонник Армандо...

— И продолжает быть им, он один из наиболее активных участников заговора против режима. Хочет быть избранным в Академию именно из желания иметь крышу, которая бы гарантировала ему безнаказанность. За ним — люди Армандо Салеса из Сан-Пауло. Это они оплачивают расходы, связанные с его кандидатурой. Бисквиты, которые вы ели, старина, были подрывными.

— Но раз так, посадить этого человека в Академию просто опасно!

— Он теперь единственный кандидат, девицу уволил, прекратил посылать корзины. На мой взгляд, хуже всего — попытка использовать Академию в политических целях. Вы знаете, что я не симпатизирую правительству, но здесь я не занимаюсь политикой, полагаю, что Академия должна быть выше подобных конфронтаций и споров. В силу всего этого я изменил свое решение.

— Я никогда и не думал голосовать за него...— заверил декан с беспардонной непосредственностью прожженного дипломата.— Я был связан обязательством по отношению к Сампайо Перейре. Вы абсолютно правы, голосовать за этого человека безрассудно. Хорошо еще, что вы меня предупредили.

Ему хотелось выяснить еще кое-что.

— А Мария Жоан? Почему она ходила просить за него?

— Тут другое дело. Мария Жоан — кузина жены генерала, она просто выполняла просьбу родственницы.

— Ну что ж, благодарю вас, Портела. Большое спасибо.

— Главное, не дайте генералу установить вашу подлинную позицию. Он опасный тип, способен даже на насилие. Поступайте как я — обхожусь с ним очень хорошо, позволяю ему думать, что мой голос ему гарантирован. В час, когда будем опускать бюллетень в урну... После подсчета голосов и сожжения бюллетеней как угадать, кто голосовал незаполненным?

Ложный союз

Лизандро Лейте ходил подавленный все пятнадцать дней, то есть как раз то время, когда состоялись три последних собрания Академии после похорон полковника Сампайо Перейры. А в этот вечер, придя домой, он уже не выглядел столь угнетенным. Дона Мариусия всегда угадывала перемены в настроении мужа.

— Как дела? Ты уже не хмуришься.

— Невероятная вещь, если бы мне рассказали, я не поверил бы. Но у меня есть конкретные доказательства. Те же лица, которые выдвинули кандидатуру генерала — шайка Портелы,— стараются теперь похоронить ее. Я узнал потрясающие вещи. На этот раз самый активный — Эвандро. Называет генерала только «линией Мажино», такое прозвище дал ему Агналдо.

Он поделился с ней подробностями, двусмысленными фразами, ловко вырванными признаниями, случайно оброненными словами, замеченными перешептываниями.

— А ты, что ты будешь делать? Поддерживать генерала?

Толстое лицо юриста расплылось в широкой улыбке.

— Я? И не подумаю. Я присоединюсь к ним. Место в Верховном еще может попасть в наши руки в результате этих выборов. Если генерала не изберут, если он не наберет кворума...

Он поясняет: если генерал не будет избран, то его, Лизандро, позиция еще более укрепится, он снова сможет надеяться занять вакансию, которая откроется с уходом на пенсию министра Пайвы.

С одной стороны, соратники покойного полковника, сильные в правительстве, будут довольны, как только Академия откажет оппозиционно настроенному генералу, противнику Нового государства. Они не станут приписывать Эвандро и Портеле провал кандидатуры генерала, а припишут это ему, Лизандро, который сообщит немедленно тем, с кем он действовал заодно в битве Сампайо Перейры, начиная с военного министра, высшего военачальника, о своей огромной работе, проделанной с тем, чтобы воспрепятствовать избранию упорствующего врага режима. Он взял на себя эту задачу, чтобы почтить память своего горько оплакиваемого друга, покинувшего мир как раз тогда, когда родина больше всего нуждалась в нем. С другой стороны, если место в Академии окажется вновь вакантным, он будет покровительствовать кандидатуре Раула Лимейры, ректора национального университета, близкого друга главы государства. Тот врач и не стремится занять пост в органах юстиции. Лимейра может быть решающим козырем в час выбора нового министра. Возьмите тогда парадный мундир Академии, дайте мне тогу Верховного.

Дона Мариусия потрепала изящными, ухоженными пальчиками всклокоченную львиную гриву супруга:

— Разве я тебе не говорила, чтобы ты был спокоен, мой министр?

Так возник союз между силами Эвандро и силами Лизандро Лейте; партизанская война получила неожиданное подкрепление. Союз неофициальный, но действенный, быть может за ним решающее слово.

Маки́

Из-за войны французские интеллигенты самого разного толка искали убежища в Бразилии. Писатели, издатели, журналисты, певцы, художники, театральные деятели. Самый видный из них, Жорж Бернанос, обосновался в Минас-Жераисе, остальные — в Рио и Сан-Пауло. Они сгруппировались вокруг известных профессоров, прибывших в 1937 году для руководства кафедрами в недавно основанных университетах; особенно выделялась среди последних фигура писателя и ученого Роже Бастида.

Встретив поддержку со стороны бразильской интеллигенции, прибывшие организовали работу по оказанию помощи французскому Сопротивлению, движению «Свободная Франция», генералу де Голлю и маки́. Положение в стране не благоприятствовало тому, чтобы развивать здесь политическую активность Свободных французов, диктатура Нового государства стремилась ко все более тесному сотрудничеству с державами фашистской оси; ходили слухи о предстоящем присоединении Бразилии к антикоминтерновскому пакту, заключенному между Германией, Италией и Японией при поддержке франкистской Испании; глава бразильского режима, в отсутствие министра иностранных дел, совещался с послом Гитлера, договариваясь о мерах, способных расширить сферу идеологических и экономических отношений, связывающих две нации, и привести их в конечном счете к союзу. Несмотря на это, используя противоречия, существующие в правительстве, и исключительную симпатию бразильцев к Франции и ее культуре, изгнанники сумели организовать движение, которое не было в полной мере подпольным, но и вполне легальным также не было. Правительство держало французов под надзором полиции, однако относилось терпимо к их деятельности.

Крупные фигуры интеллектуальной, военной и политической жизни: упомянутый министр иностранных дел Освалдо Аранья[1], генерал Лейтан де Карвальо и, согласно упорно распространявшимся слухам, дочь самого диктатора Алзира Варгас — противились союзу с осью и поддерживали усилия группы Свободных французов, немногочисленной, однако активной, которая вдали от оккупированной родины боролась за ее освобождение.

[1] Освалдо Эуклидис де Соуза Аранья (1894—1960) — бразильский государственный деятель, дипломат, был министром иностранных дел в 1938—1944 гг., занимал и другие посты в правительстве.

Среди бразильских интеллигентов, теснее всего связанных с французами — участниками движения Сопротивления, были академики Эвандро Нунес дос Сантос, Алсеу де Аморозо Лима, Афранио Портела, Р. Фигейредо Жуниор, поэты Мурило Мендес и Аугусто Фредерико Шмидт, актер Прокопио Феррера и актриса Мария Жоан, писатели Алваро Морейра, Сержио Миллиет, Жозуэ Монтелло, Анибал Машадо и главный редактор литературной газеты «Дон Касмурро» Брисио де Абреу, который в свое время жил в Париже более десяти лет.

Все они и многие другие антифашисты встретились в доме Эвандро Нунеса дос Сантоса в связи с приездом в Рио профессора Роже Бастида, который должен был прочесть несколько лекций и установить контакты. Тесная дружба, основанная на взаимном уважении, связывала двух писателей. Эвандро собрал друзей Франции вокруг Бастида, чтобы вместе разработать эффективные меры помощи деголлевским организациям, маки, Сопротивлению. Молодая хозяйка дома Изабел принимала гостей вместе с братом и дедом, сияя от удовольствия,— разве не была она любимицей Бруно?..

Среди прочих решений одно имело особый интерес — оно гарантировало финансовую помощь и должно было получить широкий резонанс.

Мария Жоан предложила поставить в какой-нибудь понедельник, день отдыха театральных компаний, спектакль в пользу Свободных французов, а именно пьесу Антонио Бруно «Мэри Джон», с которой она дебютировала в 1922 году в труппе Леополдо Фроэса. Предлогом мог послужить двадцатилетний юбилей сценической деятельности Марии Жоан. Идея вызвала всеобщий энтузиазм: под патронатом газеты «Дон Касмурро» Алваро Морейра согласился руководить новой постановкой, а Санта-Роза взял на себя подготовку декораций; Р. Фигейредо Жуниор вызвался написать программу; Прокопио сыграет лжезвезду Голливуда, роль, созданную в первой постановке Фроэсом; Афранио Портела договорится с Гимле — владельцами театра «Феникс». Все, в первую очередь дамы, возьмут на себя заботу о распространении билетов, которые должны продаваться по высокой цене.

Веселое празднество, хорошо сервированный стол, отличные вина, блестящая беседа, юношеский энтузиазм Педро и Изабел. Гости после принятых решений разбрелись по саду, наслаждаясь морским бризом в этот знойный декабрьский вечер. Маэстро Афранио, дона Розариньо и Мария Жоан уселись на скамейку под хлебным деревом.

— Прекрасная идея пришла тебе в голову, Мария Жоан...— Дона Розарио ласково взяла актрису за руку.

— Я многому научилась у Бруно, в том числе любви к Франции. И, кроме того, знаешь, у меня всегда было желание поставить пьесу, которую он написал для меня, мою пьесу. Возможно, сегодня она кажется наивной, но стихи замечательны, не правда ли? Единственно, что меня заботит, это возраст Мэри Джон — у него она моложе двадцати лет, а мне почти тридцать восемь...

— Не волнуйся. Никто не даст тебе больше тридцати...— сделал комплимент маэстро Афранио, и его слова не лишены были правды.

— Я подумывала пригласить на эту роль молодую актрису, но признаюсь, что умираю от желания снова сыграть ее сама. Это возвращение к прежним дням. Мэри Джон — это я в девятнадцать лет. Неужели еще может получиться?

— Не беспокойся,— ответила дона Розариньо.— Я тебя не обманываю и не позволила бы показаться смешной. Многое зависит от грима.— Они были подругами с далеких времен первой постановки «Мэри Джон».

Маэстро Афранио переменил тему разговора:

— А наши голосующие? Как с поворотом на сто восемьдесят градусов у этих... les tournants de l'histoire?[1]

Среди деревьев раздался плутовской смех Марии Жоан:

— Забавнейший фарс... Подумать только, я добилась четырех голосов для этого генерала, не считая Пайвы, а потом пришлось расстроить все, повернуть вспять. Если бы вы только видели физиономии дорогих...

— Как же ты объясняла свой интерес к генералу? — полюбопытствовала дона Розариньо.

— Очень просто — родственными интересами. Я объявила себя кузиной его жены.

[1] Изменяющих ход истории *(франц.)*.

— А что же ты придумала, когда просила их голосовать незаполненными бюллетенями или воздержаться?

— Я изобрела страшную историю, которая взбудоражила дорогих академиков. В негодовании, чуть не в слезах, я рассказываю им о возмутительном поведении генерала. Проявив неуважение к жене, к домашнему очагу, к дружбе, он якобы в своем собственном доме хотел затащить меня в супружескую постель. Ужасная сцена, достойная итальянской низкопробной драмы: генерал пытался меня изнасиловать, и я оказала героическое сопротивление. Освободившись, в разорванной блузке, с синяками на груди, я убежала, тогда как он осыпал меня невероятно грубыми ругательствами. Это произвело на дорогих академиков исключительно сильное впечатление. Они знают, что никогда в жизни я не ложилась в постель с мужем своей подруги, как бы хорош он ни был.

Афранио Портела перевел взгляд на звездное небо: уж кому знать, как не ему! Несговорчивая Мария Жоан со своими неизменными предрассудками — принципами, как говаривала она. Когда, через несколько лет после Бруно, Афранио предложил ей свою кандидатуру, она, поцеловав его, навсегда положила конец разговору:

— Ни за что, мой обожаемый маэстро. Ты знаешь, как хорошо я к тебе отношусь, но мы с доной Розариньо подруги. Не настаивай, не огорчай меня.

Тянущий с моря бриз играет волосами выдающейся актрисы. Она заканчивает свой рассказ:

— Дорогие академики были возмущены. Кто позволит себе голосовать за такое чудовище? Бедный генерал... Почему он стал таким гадким, так внезапно?

— Он не гадкий, просто он генерал.

К ним подошел Р. Фигейредо Жуниор. Он жадным взглядом смотрел на Марию Жоан.

— Мария, я разговаривал с Алвиньо,— он имел в виду Алваро Морейру,— у нас возникла идея, находка для спектакля.

Мария Жоан встает, драматург предлагает ей руку; он перевел Ибсена исключительно для того, чтобы она сыграла Гедду Габлер.

— Пойдем, расскажи мне...

Афранио Портела смотрит вслед исчезающей во мраке паре. Мария Жоан, должно быть, не подруга жены Фигейредо. Она легко соблазняет мужчин и одерживает победы, накапливая состояние и славу, бывшая Принцесса карнавала, родившаяся в бедном предместье, теперь великая актриса. Возлюбленные Бруно, все его женщины отмечены какой-то особой печатью...

Маэстро Портела ничего не сказал доне Розариньо. Он еще не решил, прикоснуться ли ему к стопам белой бумаги. Но искушение написать роман усилилось в эту таинственную ночь, в которую маки разбили свой лагерь на холме Санта-Тереза в городе Рио-де-Жанейро.

Клокло и Семь Прыжков

Легкомысленная, ах, легкомысленная! И вместе с тем у нее доброе сердце, она справедлива, размышляет генерал Валдомиро Морейра, услыхав просьбу Сесилии. Девушка отвлеклась от радио — блюзы в исполнении Стелы Марис — и попросила:

— Папа, когда ты будешь командовать там, в Академии, сразу же устрой премию для Клаудинора. Клокло заслуживает того.

— Ты верно говоришь, в достоинствах у него недостатка нет. Преданный друг имеет представление об иерархии, не похож на штатского.

В самом деле, Клаудинор Сабенса походит на ординарца генерала, выполняющего его поручения. Он сопровождает его повсюду, присутствует на докладах академиков, аплодирует им, выслушивает отчеты о протокольных визитах, подсчитывает и пересчитывает голоса; подсчет этот, к счастью, стал теперь ненужным, благодаря случившейся так кстати кончине полковника.

Отдавая дань спиритизму, Сабенса время от времени посещает прорицательницу, жрицу, толстую и властную мать Грасиэлу до Буноко, которая вызывает с того света среди других, менее страшных, могущественную персону, почитаемую под именем Эшу Семь Прыжков,— злого духа, способного причинить невероятный вред. Когда он откликается на просьбу матери Грасиэлы, считай, дело будет сделано. Для решения денежных и любовных вопросов, измен, ревности, порчи жрица прибегает к помощи

других колдунов. К метису Курибоке, например, знатоку любовных козней, или к старому негру Ритасинио, который успешно занимался лотереей «жого до бишо» и всем, что касается денег. Мать Грасиэла приберегает Семь Прыжков для неожиданных просьб, трудноразрешимых дел, требующих особо сильного колдовства.

Сабенса задал и оплатил весьма сложную и дорогостоящую работу для Семи Прыжков, пожелав, чтобы тот перекрыл пути в Академию полковнику Сампайо Перейре. Намерения просителя сводились к следующему: кровь петухов и воск свечей должны были всего лишь замкнуть двери учреждения, основанного Машадо де Ассизом, перед соперником генерала Морейры. Но у Семи Прыжков, как сказала мать Грасиэла и в чем убедился Сабенса, была тяжелая рука, он не признавал полумер и попросту уничтожил полковника.

Верующий католик, генерал Морейра не желал признавать подобные предрассудки. Но дона Консейсан и свободная от супружеских обязательств Сесилия, ни мгновения не колеблясь, послали купить кашасы [1] и сигар, которые предназначались достопочтенному Эшу. Суеверие или колдовство, неважно, так или иначе Сабенса заслуживал благодарности.

— При распределении премий этого года я постараюсь добиться награждения Сабенсы. Надеюсь, он получит премию имени Жозе Вериссимо за опубликованный им сборник.— Генерал был в курсе всего, что относилось к премиям, присуждаемым Академией.

— А в этом году не получится, папа? Это было бы хорошим рождественским подарком для Клокло...

— Премия Академии — не рождественский подарок, глупышка. Но он может быть спокоен, я займусь этим делом. И не награждай смешными кличками филолога, который хотя и молод, но завоевал приличную репутацию.

Сесилия, удовлетворенная, заметила:

— Попав в Академию, ты станешь важной персоной, не так ли, папа? Там одни фанфароны, только изображающие важных персон.

Воспользовавшись редким случаем заинтересованности дочери в его делах, генерал пускается на откровения: Академии требуется серьезная реформа в том, что касается ее состава. На выборах последних лет наблюдался явный отход от некоторых принципов, которыми руководствовались на выборах академиков со времен ее основания. Раньше приоритет отдавался представителям высших слоев общества. Сегодня же преимущество имеют писатели, даже когда они не обладают иными достоинствами, кроме литературных. Дошло до того, что Академия осталась без представителя вооруженных сил,— абсурд! Он не то что против приема писателей, но необходим строгий выбор. Некоторые академики, боже мой, не знают самых элементарных правил грамматики, губят португальский язык. У некоторых отсутствует даже внешнее приличие, которого требует парадный мундир «бессмертного». Примером отличного выбора может служить он сам: писатель и человек, имеющий высший чин в армии, генерал. Он смотрит на дочь, которая делит свое внимание между речью отца и радио, божественным голосом Стелы Марис. Генерал приказывает:

— Не вздумай повторить кому-нибудь то, что я тебе сказал. Никому, слышишь? Тем более какому-нибудь академику.

Как бы она не рассказала Родриго, когда... Легкомысленная, ах, легкомысленная! И все-таки хорошая дочь — золотое сердце, а как справедлива!

Пресная

Золотое сердце и справедлива — возможно. Щедрая для тех, с кем бывает близка, в вечном стремлении найти того, кому она не надоест.

Почему же всегда происходит так? Познакомившись с ней, мужчины загораются желанием, ухаживают, стараются ее завоевать, готовы весь мир сложить к ее ногам. Вначале все идет хорошо, Сесилия грациозна, привлекательна и отдается без оговорок... Но очень скоро интерес к ней пропадает. Один из любовников, красивый и глупый, бросил ей в лицо жестокие слова: «Вульгарна ты, вульгарна и не отдаешь себе в этом отчета». Другой, менее красивый и более грубый, употребил слова еще оскорбительнее: «Пресная ты, пресная, как пышный лист латука, без пикантности» Вначале она плакала, потом ей пришлось довольствоваться обществом мужчин, оставшихся в ре-

[1] Спиртной напиток из сока сахарного тростника.

зерве. Да, без мужчин она не могла жить. За кого выйдет? Дона Консейсан не находила ответа на этот вопрос.

Когда первый и единственный в списке претендентов дантист-хирург с привлекательной наружностью, разительно похожий на мексиканского киноактера Хосе Мухику, порвал с ней, застав ее с Родриго, Клаудинор Сабенса был тотчас же вознагражден за свое долгое и настойчивое ухаживание. Сесилия сделалась мягче, она уже опирается на его руку, бросает на него быстрый взгляд и опускает глаза, словно захвачена врасплох, слушает поэму, вздыхая: «Посвящается мне? Но какая красота! Я не заслуживаю этого». Час триумфа все ближе и ближе.

Родриго был самым большим завоеванием: аристократ, богач, имя в газетах, портрет в журнале, утонченный, пожалуй даже слишком. Никогда не скажет «вульгарная» или «пресная», он воплощение вежливости. Вместе с тем она чувствует, что его интерес к ней иссяк, встречи становятся реже; поначалу они виделись ежедневно, затем через день, потом через три, теперь только раз в неделю — и все. Во время последнего свидания Родриго сообщил, что скоро отправится в Петрополис, где проведет рождество и Новый год, возвратится в Рио лишь во второй половине января, чтобы проголосовать за генерала.

Сесилия предложила поехать вместе, она могла бы остановиться в каком-нибудь пансионе, однако он, как всегда очень вежливо, объяснил ей, что временная разлука сделает новую встречу только еще более желанной. А Сесилия знает, что новой встречи не будет.

Тем не менее он не уедет сейчас же. Он намерен остаться до кануна рождества и побывать с ней на спектакле — новой постановке комедии Антонио Бруно с участием Марии Жоан. На следующей неделе — раньше у него не будет ни одной свободной минуты — Родриго принесет билеты ей, генералу и его супруге. Будучи обязан вознести хвалу поэту в своей речи при вступлении в Академию, отец Сесилии не может не присутствовать на постановке его пьесы. Образец хорошего воспитания, Родриго просит разрешения преподнести билеты семейству. На следующей неделе, подтверждает он. Во время последней встречи, как догадывается Сесилия. Такой утонченный, элегантный и вежливый и так изящно дает пинок, ах, какая жалость!

Вот тогда Сесилия впервые назвала Клаудинора Сабенсу Клокло; Клокло ответил ей в страстном порыве: Сиса, моя нежная Сиса!

Необходимость визита

— Визит безусловно необходим. Ни один кандидат не может позволить себе не нанести визит тому или иному академику, под каким бы то ни было предлогом. Академик, да, тот волен отложить встречу или даже отказаться принять его, но кандидату следует просить назначить день и час визита.

В библиотеке, развалившись в кресле, с портсигаром в руке, старый Франселино Алмейда излагает свое мнение трем коллегам, которые обсуждали этот вопрос перед его приходом. Декан, являющийся «бессмертным» вот уже сорок три года,— неоспоримый авторитет во всем, что касается устава, традиций Академии, его выслушивают со вниманием и уважением.

— Хотя я знаю, что подобный визит не предусмотрен уставом, на этот счет нет никаких предписаний. Все же он более обязателен, чем любая статья устава. Это условие, без соблюдения которого кандидат не может быть избран. Здесь нет места ни вражде, ни пренебрежению — все достойны уважения.

По этому вопросу он мог разглагольствовать часами, так как считал его основой для сохранения в целости категории и авторитета прославленной компании.

— Тот факт, что академик публично отдает предпочтение определенному кандидату, обещая ему голос, не освобождает других претендентов от обязательства посетить его. Напротив, в этом случае визит еще более необходим.

Он с наслаждением втягивает дым сигареты — пять штук в течение дня, чтобы избежать бронхита и насморка,— и продолжает:

— Академия — единственная, несравненная. И поскольку Академия состоит из академиков, естественно, что за нами должны ухаживать, льстить нам. Что было бы с нами без визитов?

Коллеги откликаются на вопрос возгласами, подтверждающими высказывания достойного почтения дипломата. Он заключает сурово:

— Генерал совершает непростительную ошибку, заявляя, что не нанесет визит Лизандро. Из-за того, что Лизандро старался в пользу кандидатуры Сампайо Перейры? Он имел на это право и использовал его. Генерал не должен раздражаться и нарушать одну из самых законных традиций Академии. Он поступает очень дурно.

Слова декана вызвали единодушное одобрение коллег, внимательно слушающих его. Один из них дополняет:

— Помимо того, что он поступает своевольно, «линия Мажино» еще и болтлив. Не знаю, что хуже.

Он мог бы добавить: помимо того, что генерал поступает своевольно и болтлив, он еще и наивен — сообщил конфиденциально двум или трем «бессмертным» о своем решении не наносить визит дезембаргадору Лизандро Лейте, который относился к нему враждебно во время предвыборной кампании и продолжает борьбу против его кандидатуры, пытаясь уговорить академиков, бывших сторонников Сампайо Перейры, голосовать незаполненными бюллетенями. Достоинство генерала обязывало его принять это оскорбительное для дезембаргадора решение. Как единственный кандидат, он может позволить себе некую вольность, у него есть на то привилегия.

Откровенничать с академиком в период выборов — все равно что пользоваться дырявым мешком, секрет тотчас же разнесется по ветру, а вернее, по воздуху от вентиляторов в дни отдыха среди рио-де-жанейровского лета. В особенности если президент петушится, навязчив. Кто выдумал, что единственный кандидат может пользоваться какими-то привилегиями?

Лизандро был исключением, сделанным генералом в его странствовании с визитами. Он ездил на поезде, перетряс свои кости, пока путешествовал в Минас-Жераис, дело стоило того — привез голос разбитого односторонним параличом новеллиста. В Сан-Паулу держал путь на самолете. Там был принят с величайшим гостеприимством поэтом, автором «Сборника романсов бандейрантов [1]». Они вспомнили эпизоды революции 1932 года, в которой поэт принимал участие, служа в штабе полковника Эуклидеса де Фигейредо. Вместо обычных двадцати минут визит продлился до вечера. Что же касается голоса, то лирик, автор «Книги псалмов», обещал сообщить о своем решении непосредственно в Академию. Полет обошелся генералу дорого — все же авиационный билет, но, несмотря на большие затраты, он вернулся в повышенном настроении, поскольку был уверен, что весомый голос выборщика будет наверняка подан за него, даже если он не был бы единственным кандидатом, а оспаривал вакансию у канальи Сампайо Перейры. Поэт Марио Буэно был товарищем по поэзии и оружию.

Предыдущий визитер

Товарищество по поэзии оказалось сильнее, чем товарищество по оружию. За несколько дней до прибытия генерала в Сан-Паулу побывал партизан Эвандро Нунес дос Сантос. Он приезжал с единственной целью — обнять Марио Буэно и обсудить с ним академические дела. Старые друзья, до известной степени родственники, так как супруга поэта была двоюродной сестрой покойной Аниты. При редких посещениях Рио Буэно останавливался в вилле на холме Санта-Терезы.

Оспаривание вакансии Бруно дважды привело Эвандро в сампауловский дом потомка бандейрантов. В первый раз — чтобы просить его голосовать за генерала. Задача была нетрудной, так как Марио Буэно ненавидел Сампайо Перейру, который, еще будучи майором, руководил армейскими силами безопасности и информации в Сан-Паулу после поражения революции 1932 года и почем зря громил побежденных, обвиняя их в том, что они были сепаратистами.

«Это же капитан-до-мато [2], как ты мог подумать, что я поддержу его? Ты что, меня не знаешь? Он нанес мне визит, я принял его хорошо и пообещал ему свой голос, как и поступаю со всеми, я ведь воспитанный человек. Но голосовать буду, конечно, за твоего генерала, тем более что он участвовал в конституционалистской эпопее».

Труднее было во второй раз, когда он приехал просить поэта, чтобы тот за генерала проголосовал незаполненным бюллетенем. Конституционалистская эпопея обернулась серьезным препятствием.

— Возможно, он сублитератор, властен и заносчив, верю, что это так. Но он от-

[1] Завоеватели внутренних районов Бразилии в конце XVI — начале XVII века.
[2] Человек, занимавшийся поимкой беглых рабов-негров в Бразилии.

важен, отозвался на призыв Сан-Пауло! Кроме всего прочего, я так редко посещаю Академию, почти совсем не езжу в Рио, мне он не будет докучать.

Эвандро учитывал возможность таких возражений, поскольку все, что относилось к движению 1932 года, стало священным для барда, написавшего героическую песнь «Вперед, за Сан-Пауло!» — единственную действительно плохую вещь во всей его обильной поэтической продукции. У Эвандро, однако, был сильный козырь.

— Ладно, но я полагал, что ты желал бы увидеть Жозе Фелисиано в Академии... — Он медленно протер пенсне, водрузил его снова на нос. — Когда я позвонил тебе, сообщая о смерти Бруно, мы согласились, что отличным кандидатом для его замены был бы Фелисиано, и ты первым назвал его имя. Большой поэт, превосходный человек и, помимо всего прочего, санпауловец, твой земляк.

— Конечно, Фелисиано идеален, но в этой истории с военными...

— Я хотел выставить кандидатуру Фелисиано, однако Афранио счел, что нам нужен генерал, чтобы противопоставить его полковнику Сампайо Перейре. Он был прав, а, между нами говоря, я все же не уверен, что с генералом мы бы победили его. Однако фашист не выдержал трудностей кампании, отдал концы. За коим чертом нам теперь нужен генерал? Ты слышал, что в Академии якобы существуют закрепленные места? Одно за армией, другое — за флотом, третье — за авиацией... Не сегодня завтра военная полиция и пожарный корпус потребуют и для себя места. Послушай, Марио, мы должны помешать тому, чтобы этот зануда был избран, у нас тогда снова останется вакансия Бруно, и на сей раз наступит черед Фелисиано.

— И... есть такая возможность?

— По моим расчетам, это зависит от твоего голоса.

Марио Буэно относился к Фелисиано так, как если бы тот был его кровным братом. С юных лет коллеги по работе в редакциях газет, они даже спали с одними и теми же девицами легких нравов, влюблялись в одних и тех же дочерей приличных семейств, устраивали сумасбродные карнавалы в салонах, декорированных Лазарем Сегаллом [1], вместе участвовали в Неделе современного искусства [2] и подписывали дерзкие манифесты против Бразильской академии литературы. В 1932 году Жозе Фелисиано находился на лечении в туберкулезном санатории в Кампос до Жордан. Не колеблясь ни секунды, он отправился добровольцем на фронт в Минас-Жераис, где его обнаружили и силой привезли обратно заканчивать лечение.

— Ты выиграл, старый анархист. Я не стану голосовать незаполненным бюллетенем, потому что генерал воевал в 1932-м, но я воздержусь от голосования. Результат тот же, есть, однако, разница...

— Хорошо, знаю.

— Сохраню свой голос для Жозе. В конце концов, если он не сражался, то лишь потому, что врачи вытащили его из окопа. А какой поэт, старина!.. — Марио Буэно обладал даром преувеличения: — Крупнейший в Сан-Пауло.

— Большой поэт, да, но крупнейший поэт Сан-Пауло — это ты.

Марио Буэно обладал и редким даром восхищения, а также гораздо менее редким даром, достаточно привычным в литературных кругах, — восхищения самим собой.

— Нет, Эвандро. Я не крупнейший поэт Сан-Пауло, я крупнейший поэт Бразилии.

Предыстория спектакля

В последний понедельник перед рождеством на сцене театра «Феникс» была представлена комедия в стихах Антонио Бруно «Мэри Джон» с участием Марии Жоан, через восемнадцать лет после первой постановки. Несмотря на непомерно высокие цены на билеты, в зале не оставалось ни одного свободного места; люди стояли в проходах, сидели на полу. До самого поднятия занавеса желающие приобрести билеты толпились у кассы, где висел аншлаг: «Все билеты проданы».

Явился весь Рио-де-Жанейро, здесь были все значительные лица города, начиная с министра иностранных дел Освалдо Араньи — своим присутствием он как бы бросал вызов двойственной внешней политике Нового государства — и кончая Стенио Баррето Тошнотворным, которому Мария Жоан предоставила три ложи, выручив за них огромную сумму.

Спектакль был широко разрекламирован, освещен в газетах и по радио. Юби-

[1] Видный бразильский художник.

[2] Имеется в виду выступление художников в 1922 году в Сан-Пауло.

лейное представление, отмечающее двадцать лет пребывания Марии Жоан на сцене — включая маленькие роли в ревю, звездою которых была Маргарида Вилар,— должно было стать золотым завершением театрального сезона, небывалым событием культурной жизни столицы.

Через несколько дней стала известна цель спектакля: газетная хроника сообщала, что сбор со спектакля пойдет в фонд «Свободной Франции». «Дон Касмурро» заблаговременно опубликовал введение, написанное для программы Р. Фигейредо Жуниором: «Отмечая двадцать славных лет своей сценической деятельности, Мария Жоан решила посвятить свой праздник вечно свободной Франции, которую сегодня попирают нацистские сапоги, борцам, сражающимся против кровавых оккупантов, передав Свободным французам весь сбор со спектакля Следует особо отметить, что все, кто принимал участие в постановке спектакля, начиная с владельцев театра «Феникс» и кончая машинистами сцены и плотниками, отказались от вознаграждения за свою работу в знак преклонения перед примадонной нашего театра и безграничной солидарности с героической борьбой французского народа, которая является также и нашей борьбой. Выбранная пьеса, комедия Антонио Бруно «Мэри Джон», как ни одна другая, подходит для праздника Марии Жоан и Сражающейся Франции. Она была написана специально в честь дебюта актрисы в драматическом театре Леополдо Фроэса. Франция была второй родиной для выдающегося, незабвенной памяти поэта. Его сердце не вынесло ее унижений и неволи. Антонио Бруно стал одной из первых жертв падения Парижа».

Поскольку издание еженедельника после этой публикации не было приостановлено или запрещено, остальные газеты и радиостанции последовали его примеру и стали превозносить идею Марии Жоан, эпитеты сыпались в изобилии, высокопарные и льстивые. Стало известно, что директор департамента печати и пропаганды — довольно противоречивая личность — разрешил публикацию текста Фигейредо, закрыл глаза на характер сообщений по поводу предстоящего спектакля. Однако ему не удалось удержаться на этой либеральной позиции в течение долгого времени. Вскоре пришли распоряжения свыше, исходящие из того же кабинета во дворце военного министерства, который ранее занимал полковник Сампайо Перейра. Публикация в «Дон Касмурро» осуждалась, была квалифицирована крамольной. Вследствие этого департамент печати и пропаганды запретил и в рекламе, и в сообщениях о спектакле какие бы то ни было упоминания о Франции, оккупированной или вечно свободной, о нацистах и маки. Было запрещено также распространение программы.

Но что сделано, то сделано. В Рио не было других разговоров, как о «Мэри Джон», и охота за билетами превратилась чуть ли не в настоящую битву. За билет, а еще больше за программу с текстом Р. Фигейредо Жуниора предлагались огромные деньги.

Стало известно также, что помимо битвы за билеты разыгралась и другая битва, гораздо более серьезная,— в правительстве. Крайне правые деятели Нового государства требовали запрещения спектакля; люди, симпатизирующие делу союзников, отстаивали его постановку. Циркулировали самые разные слухи, распространялись всякого рода угрозы и предупреждения. Говорили о сильном нажиме на владельцев театра Гинле, чтобы заставить их отказаться от постановки в «Фениксе», однако и это не дало никаких результатов. Стало известно, что инициаторы славного дела решили поставить спектакль, даже если бы цензура наложила запрет на пьесу: двери театра все равно открылись бы для публики, и занавес поднялся бы точно в назначенное время, пусть организаторы спектакля подвергнутся риску оказаться в тюрьме и быть отданными под суд. Ходили слухи, что дочь главы правительства заявила — что она сама появится в «Фениксе» в случае запрета спектакля и станет аплодировать артистам.

В конце концов спектакль был разрешен, но при условии — никаких упоминаний о том, что постановка связана с движением «Свободная Франция». Только гала-спектакль, отмечающий двадцать лет пребывания на сцене Марии Жоан.

Все это привело к тому, что значение новой постановки «Мэри Джон» превзошло первоначальный замысел, она превратилась в символ борьбы между местными фашистскими силами и бразильской интеллигенцией, занявшей позиции в окопах свободы. Так было с колониальных времен, со времен поэзии баиянского мулата Грегорио Матоса [1].

[1] Грегорио де Матос (1633—1696) — бразильский поэт-сатирик.

Мэри Джон, Мария Жоан, Марианна

Первый взрыв аплодисментов разразился, когда занавес поднялся, и перед взором восхищенных зрителей предстали декорации Санта-Розы, открывшие новую эру в декорационно-постановочном искусстве бразильского театра. Аплодисменты повторялись при появлении каждого исполнителя. Они вылились в овацию, когда на сцену вышел Прокопио Феррейра, который играл роль мошенника, назвавшего себя американским киноактером — персонаж, ранее созданный Леополдо Фроэсом; с трудом сдерживая волнение, Феррейра начал произносить первые слова уже под аплодисменты. Когда же на сцену вышла Мария Жоан — восемнадцатилетняя, озорная и ветреная девчонка из предместья, увлеченная голливудскими фильмами, мисс Мэри Джон,— представление пришлось прервать: овация длилась несколько минут.

После этого волнующего начала публика утихомирилась, и первые два акта комедии, отличавшейся довольно слабым сюжетом, но звучным стихом, вдохновленным красотою и темпераментом Марии Жоан, прошли в веселой и легкой атмосфере при абсолютном спокойствии: никто бы не испугался, если бы внезапно появилась полиция и потребовала прекратить представление.

Поднялся занавес третьего, последнего, акта, и зрители изумились, увидев в глубине сцены не только артистов, участвующих в постановке, но и весь обслуживающий персонал: электриков, машинистов сцены, суфлера; там же находились и автор текста программы академик Р. Фигейредо Жуниор, и режиссер спектакля Алваро Морейра — все, кто так или иначе причастен. Не было лишь Марии Жоан.

Огромная корзина синих, белых и красных цветов — национальные цвета Франции — стояла в центре сцены. Публика ответила бурными аплодисментами, зал взорвался овацией, когда Мария Жоан появилась из-за кулис, одетая Марианной, в трехцветной юбке и блузке, с фригийским колпаком. Она ждала, пока прекратится овация, приложив руку к сердцу. В конце концов со свойственными ей одной интонациями своим гортанным голосом, незабываемым для всех, кто слышал ее хоть раз, она объявила:

— «Песнь любви к оккупированному городу» поэта Антонио Бруно, написанная вскоре после падения Парижа, незадолго до кончины поэта.

Невозможно описать волнение публики, никто не ожидал услышать со сцены театра «Феникс» роковую поэму. Будто электрический разряд! Кто-то встал, другие последовали его примеру, в конце концов весь партер поднялся, бешено аплодируя, и остался стоять. Наконец воцарилась тишина, такая абсолютная тишина, что слова крови и огня, строфы, полные слез и гнева, унижения и возмущения, ненависти и любви, казались доносившимися из глубины времен.

В первых стихах — горе. Поэт оплакивает подвергшийся насилию город: в русле Сены река грязи, тела павших жертвой гнета нацистов, траур и молчание — в певучем голосе великой актрисы отчаяние и смерть. Затем стихи зазвучали громче, как предвестие свободы; звуки горна, трепещущий, победоносный голос, взывающий к солидарности, провозглашающий светлый завтрашний день, день жизни и любви. Каждая строфа прерывалась взрывами аплодисментов — никогда здесь такого не бывало.

В партере, сидя рядом с доной Розариньо и маэстро Афранио, португалка Мария Мануэла улыбается сквозь слезы, шепотом повторяя слово за словом строки столь близкой ей поэмы. На следующий день она уедет в Каракас, кто знает, может быть, уже никогда не вернется, но здесь она оставила свой след: откликаясь на ее пожелание, Антонио призывал людей к борьбе за свободу. Мария Мануэла также поднимается из траура и одиночества, по словам маэстро Портелы. Под руку с Бруно.

Слезы бегут и по лицу Марии Жоан, но голос ее остается твердым; в финальных строках, обращенных к убийцам, посягнувшим на жизнь народов, каждое слово — граната. Заря Парижа загорается в устах Марии Жоан, бразильской девушки из предместья, ставшей Марианной, Свободной Францией.

Париж, Париж, Париж — зажженное вечное пламя! Все стоят. Голос Марианны звучит все громче и громче, она повторяет название города, написанное Бруно его кровью. Те, кто находился в театре в этот вечер, будут знать, запомнят навсегда, что угнетение, насилие, смерть никогда не задушат свободу, жизнь человека.

Мария Жоан повторила в последний раз — Париж, и разразилась нескончаемая овация; раскаты аплодисментов, казалось, сотрясали стены театра «Феникс».

По окончании третьего акта, когда Мария Жоан, другие актеры и режиссер но-

вой постановки пьесы Бруно под аплодисменты вышли на сцену, из глубины партера послышался женский голос, который все тотчас узнали, голос поэтессы Беатрис Рейнал, из уст ее прозвучали начальные строфы «Марсельезы».

Мелодию гимна подхватили артисты, за ними весь зал. Гала-спектакль Марии Жоан вылился в триумфальное выступление маки.

Репрессия

Как репрессия последовал отказ в предоставлении ссуды на сезон 1941 года, которую запросила труппа Бразильского театра комедии, возглавляемая Марией Жоан. В репертуар труппы входила «Кровавая свадьба» Федерико Гарсиа Лорки, новая комедия Жораси Камарго и пьеса «Рио», первая вещь молодого писателя Карлоса Ласерды, чье имя только становилось известным, благодаря одному из редакторов недавно запрещенного журнала «Перспективас» Самуэла Ледермана, который прослыл как ярый полемист, экзальтированный трибун, коммунист из числа самых опасных.

Приглашенная в кабинет директора департамента печати и пропаганды, с которым она была в хороших отношениях, Мария Жоан догадалась без труда о причине вызова. Они уселись рядом на софе, обитой черной кожей. Директор — весьма противоречивая личность — грустно взирал через окно на унылый городской пейзаж, лишь вдали виднелась узкая полоса моря.

— Иногда меня охватывает желание уйти со своего поста,— сообщил директор доверительным тоном,— послать все к черту. Вы спросите, почему я этого не делаю. Не знаю, что вы подумаете, если я отвечу, остаюсь потому, что мне тем или иным способом удается воспрепятствовать некоторым решениям, смягчить принимаемые меры, держать отдушину открытой. Если это так, то почему же меня не прогоняют? Думаю, что Сам нуждается во мне, как в ком-то, кто всему этому противостоит. По той же причине он не соглашается уволить в отставку Освалдо Аранью. В большинстве случаев я оказываюсь побежденным, но кто же выигрывает постоянно?

Мария Жоан улыбнулась понимающе, чуть не с жалостью:

— Говорите откровенно, я ко всему готова.

— Я пробовал отстоять смету, старался, прошу вас верить. Но скандал был слишком велик... поэма Бруно, «Марсельеза» — наши маленькие гитлеры обезумели от ярости. Будь их воля, они бы всю труппу во главе с вами посадили в тюрьму.

Он взглянул на сидящую рядом женщину — красота, элегантность и вызов.

— Помимо всего прочего, репертуар, который вы предлагаете,— от него же волосы становятся дыбом. Скажем, Гарсиа Лорка. Мне он нравится, но другие его ненавидят — испанский республиканец, синоним коммуниста, расстрелянный нашим верным союзником генералом Франсиско Франко. Жораси Камарго, как известно, своей пьесой «Бог вам воздаст» загубил свою репутацию, а что касается нового драматурга, которого вы открыли, этого парня — Ласерды, то на него в полиции заведено одно из самых объемистых дел. Я потерял зря свое время и потратил немало слюны.— Пауза, взгляд, убегающий за окно.— А теперь, что вы думаете делать?

Мария Жоан проследила за взглядом директора департамента, поначалу она увидела лишь бетон, наконец различила полоску синего моря.

— Буду ставить пьесы, которые есть в репертуаре, если только цензура не запретит их.

— На какие средства? Думаю, что «Гедда Габлер» если и не приносит убытка, то во всяком случае не дает и прибыли.

— Я добуду средства, у меня есть возможности, не беспокойтесь.— Она встала.— Так или иначе я вам признательна за ваши усилия. Знаю, что это правда, и благодарю.

Она протянула ему пальцы, директор поцеловал их и проводил ее до двери кабинета. Он почти ненавидел свой пост, хотя и признавал его важным,— каждый день проигранное сражение. И все же он был привязан к своей должности, не мог расстаться с этой крупицей власти. Родился он в крайней бедности, в убогом селении на северо-востоке страны, должен был обрабатывать чужую землю, как это делали отец, мать и старшие братья. Но его ум и желание учиться тронули приходского священника и епископа, они устроили его бесплатно в семинарию. Увидев себя в сутане, с книгою в руке, он возжелал обрести могущество, чего бы это ему ни стоило. Стоило дорого, иногда даже слишком дорого.

На улице Мария Жоан закусила губу. Никогда еще им не удавалось заставить ее отступить, если она на что-то решалась,— так она завоевала место и высокое положе-

ние в бразильском театре. Она доведет свой репертуар до сцены, даже если понадобится провести конец недели в Петрополисе с Тошнотворным. После новой постановки «Мэри Джон» ничто не могло запачкать ее имя, она выше добра и зла.

Единение за рождественским чаем

Седовласый служитель подает кофе. В своем президентском кабинете Эрмано до Кармо выслушивает двух светил юстиции — министра Пайву из Верховного федерального трибунала и дезембаргадора Лизандро Лейте из Апелляционного трибунала. Они обсуждают в подробностях организацию рождественского чая, устраиваемого с целью дружеского единения академиков, сопровождаемых их превосходительнейшими сеньорами, и служебного персонала Академии.

Это чаепитие проводится в последний четверг перед рождеством, собирая раз в году веселую компанию супруг всех «бессмертных». Стол устраивается гораздо пышнее, чем и так обильный еженедельный. Президент — рядом президентша — принимает гостей, преподносит цветы и подарки дамам. Для супруг этот ежегодный праздник притягателен и волнующ: им предоставляется возможность обойти весь Малый Трианон, побывать в библиотеке, в архиве, секретариате, в залах, где заседают мужья,— на запретной территории для женщин, в «самом закрытом клубе в мире», по определению журналиста Аустрежезило де Атайде, который недавно опубликовал обширный репортаж, полный и беспристрастный, о Бразильской академии литературы.

Когда же происходит церемония принятия нового академика, в зале тоже появляются дамы, в платьях, сшитых знаменитыми портнихами, увешанные драгоценностями, демонстрирующие великолепные прически. А рождественский чай не требует роскоши, не имеет официального характера, здесь нет длинных речей, которые надо выслушивать и подкреплять аплодисментами. В непринужденной обстановке дамы обсуждают самые различные темы, показывают друг другу фотографии внуков, толкуют о домашних проблемах, жалуются на то, как трудно найти прислугу, как возросла дороговизна жизни. Они болтают и пересмеиваются, тогда как академики проводят накоротке совещание, чтобы обсудить, кому из служащих вручить жетон, даруемый в этот четверг.

В ту пору вакации в Малом Трианоне начинались первого февраля и продолжались до конца марта. Таким образом рождественский чай не означал окончания академического года, не преследовал иной цели, как собрать супруг «бессмертных» по случаю самого большого христианского праздника, и был предлогом дружественной встречи со служащими и служителями.

— Ведь он появляется на всех четвергах, будто занял кресло еще до того, как его избрали. Чего доброго, придет вместе с женой и на рождественский чай. Выходит из рамок приличия! — Министр Пайва не скрывает своего неодобрения.

Лизандро Лейте, настроенный против кандидатуры генерала, уже не мог сдержаться, узнав, что Морейра решил не наносить ему визита, и вознамерился наложить официальное вето.

— Необходимо, дорогой Эрмано, довести до сведения генерала, что на нашей праздничной встрече присутствует очень узкий круг лиц — лишь мы, академики, наши супруги и сотрудники. Мы никого не приглашаем и проныр не допустим.

Мелкие проблемы протокольного порядка едва не свели с ума президента. В Академии, по ее положению, поддерживается определенный для каждого события ритуал, и «бессмертные» исключительно ревниво относятся к его точному соблюдению. Эрмано до Кармо воздел руки к небу:

— Поверьте, если генерал Морейра появится, то не потому, что с моей стороны не было намеков.

— Намеки не помогут. «Линия Мажино» не случайно имеет такое прозвище, он непоколебим,— заявляет торжественно министр Пайва.

— Это знаю. И намеками не ограничился. В четверг, воспользовавшись каким-то предлогом, я сказал ему четко и недвусмысленно, что чай на рождественской неделе устраивается только для академиков, их супруг и наших служащих. Если он все же появится, это будет непостижимо.

— Если он придет, я забираю Маурисию и ухожу,— заявляет Лизандро.

— Нет, Лизандро, вы не сделаете этого... — возражает Эрмано.

— Почему бы нет? Еще кандидат, а уже объявляет, что не нанесет мне визита...

— Именно поэтому. А его неудачная декларация весьма повредит ему, она означает очко против него. Но если вы в отместку генералу покинете своих коллег на

празднике единения, то вы сыграете на руку генералу. Вы случайно не хотите, чтобы он оказался прав? Как вам кажется, Пайва?

— Наверняка Лизандро сказал, не подумав. Он раздражен, хотя у него есть причина. Но ни в коем случае он не уйдет. Я позабочусь об этом.

Дезембаргадор не вступает в спор с министром, чей пост мечтает занять, когда тот через несколько месяцев отправится на пенсию.

— Этот тип меня оскорбил. Но, конечно, я сумею вести себя в рамках пристойности.

— Надеюсь, он все же не придет,— предполагает Эрмано до Кармо.— Я выразился в разговоре с ним даже слишком четко, боюсь, что преступил те рамки, о которых вы только что упомянули, мой дорогой Лизандро. Но если несмотря на все он явится, что тогда?

Двое светил все же предпочитают разведать мнение самого президента.

— Нам придется терпеть его в тех рамках, о которых сказал Лизандро. Зато генерал получит еще одно очко против. Нет ничего на свете, что не имело бы и своей хорошей стороны.

— Ну что ж! Пожалуй, вы правы,— соглашается министр Пайва, не лишенный хитрости и благоразумия.

Счастливая семья

Что это — наглость или уверенность, будто он уже академик и недостает лишь простой формальности, чтобы назначить дату торжественного вступления, когда можно будет начать наведение порядка в прославленной компании? Генерал появился на рождественском чае, в военном мундире и под руку с доной Консейсан. Кроме того, он прихватил дочку Сесилию и друга Сабенсу.

Друг Сабенса, влюбленный кандидат на открытую вакансию в постели Сесилии, счастливый, шествует на дистанции в один шаг от супругов.

События в Сан-Пауло и в Рио-де-Жанейро

Внезапная смерть полковника Сампайо Перейры разрешила многие проблемы, принесла академикам неожиданное облегчение. Однако никак не отразилась она на действиях, предпринимаемых многочисленными полицейскими органами Федерального округа и штатов, а также специальными военными службами против лиц, подозреваемых в подрывной деятельности, против либералов, антифашистов, различных левых элементов, которым приклеивают ярлык коммунистических,— тут не произошло никаких изменений, положение осталось прежним.

Поскольку полковник считался чрезвычайно необходимым во главе многочисленной активной и хорошо оплачиваемой полицейской сети, что, по-видимому, объяснялось его собственной непоколебимостью и литературным престижем экс-кандидата в Бразильскую академию, то ему постарались как можно быстрее подобрать достойного преемника. Ведь, по словам отличающегося противоречивостью директора департамента печати и пропаганды, у нас в Бразилии во всех отраслях государственной администрации не хватает квалифицированного персонала, но только не в полиции. Старательные и преданные служаки действуют там на всех уровнях, сверху донизу, по разнообразным специальностям, а особенно по части пыток. Приглашенным инструкторам гестапо нечему было их учить, гитлеровцы лишь помогали им некоторыми рекомендациями.

Как только завершилось празднование рождества и Нового года, появилось сообщение департамента политической и социальной полиции Сан-Пауло, в котором объявлялось о сенсационном событии, наиболее значительном в ряду других, взволновавших страну: взорвана бомба в помещении, где проводился пленум Центрального Комитета Коммунистической партии. Согласно оценке полиции, это был смертельный удар по верхушке подрывной организации; совершенная акция — плод настойчивой работы, долгих изысканий, сложных расследований, осуществленных службой безопасности, отвечающей за поддержание порядка и общественного спокойствия.

Действия полиции были поистине героическими, сообщалось в коммюнике для печати, и проведены блестяще. Обнаружив, что дом на Серра до Мар, где происходил пленум, окружен, коммунисты открыли огонь. В результате перестрелки были ранены два тайных агента и убиты шесть агитаторов, среди них долго разыскивавшийся член секретариата партии. Шестеро убиты, пятнадцать ведущих руководителей арестованы,

захвачено большое количество пропагандистских материалов и оружия. В любой момент могли быть произведены новые аресты, так как следствие продолжалось, задержанные подвергались допросам. В коммюнике не упоминалось об участии военных в этой операции.

Спустя несколько дней начальник полиции Сан-Пауло созвал аккредитованных при его кабинете журналистов, чтобы объявить о новых блестящих действиях своих подопечных. В ходе расследования и на основании данных, полученных при допросах, было установлено местонахождение подпольной типографии, где печатался центральный орган партии «А классе операриа» и большая часть партийной литературы. Пятеро коммунистов из числа самых опасных активистов попали в руки полиции.

Репортеры смогли увидеть и сфотографировать захваченные материалы; кое-какое оружие — несколько револьверов, две винтовки, испорченный пулемет, патроны,— а также множество печатных публикаций. Помимо экземпляров последнего номера «А классе операриа» — манифесты, проспекты, листовки, аналитические обзоры государственной политики, отчеты о забастовочных движениях, не публиковавшиеся в печати, призывы к рабочим и крестьянам, просьбы об оказании финансовой помощи боевым организациям и политическим заключенным.

Во время пресс-конференции начальник полиции представил журналистам некоего Феликса Брагу. Бывший студент-медик, выходец из среднего сословия, он скрыл свое буржуазное происхождение, выдавая себя за рабочего-текстильщика. Бросив учебу на медицинском факультете, он сделал карьеру в подпольной организации, численно сократившейся вследствие ударов реакции.

Прежде чем дать слово арестованному, начальник полиции отметил роль этого человека в партии и указал, что последний представлял собой большую опасность. Неуверенным голосом тот зачитал заявление, якобы написанное «по собственной воле и без всякого принуждения», как подчеркивал начальник полиции. Читал он плохо, сбивался, то и дело повторялся. Журналистам стало ясно, что текст составлен не им: даже ренегат написал бы, например, не Россия, а Советский Союз.

По окончании унизительного чтения начальник полиции потребовал от этого человека подтвердить еще раз, что он написал этот текст не под угрозой и не в результате какого-либо насилия со стороны полицейских. Опустив глаза, тот ответил, что нет; на следующий вопрос начальника полиции — известно ли ему, что арестованные подвергаются пыткам? — Феликс Брага промямлил, что он, дескать, не видел никого со следами пыток, не слышал жалоб от тех, кто был арестован вместе с ним. После фотографирования раскаявшийся был тотчас же уведен охранниками, журналисты не смогли даже задать ему вопросы.

Крупные заголовки на первых полосах газет, фото на четыре колонки, редакционные статьи, превозносящие действия полиции, привлекающие внимание молодых людей к драматическому заявлению Браги, наивного студента, обманутого вкрадчивыми речами коммунистов. Целая неделя восхваления Нового государства, клеветы в адрес Советского Союза.

Распространялись, однако, втихомолку устные версии относительно произошедших шумных событий. Как удалось выяснить некоторым дошлым журналистам, все началось с совершенно случайного ареста парня, который вез пакет с экземплярами «А классе операриа». Он ехал, стоя в переполненном автобусе. Шофер, чтобы уклониться от несшегося навстречу автомобиля, резко свернул в сторону и налетел на столб. Упав, парень выпустил пакет из рук, пакет лопнул, и экземпляры запрещенной газеты рассыпались по полу. Тайный агент, ехавший в этом же автобусе, быстро подобрал подрывной материал и задержал парня.

В политической полиции его допрашивал небезызвестный комиссар Аполонио Серафин. На другой день несчастный, избитый до полусмерти, превращенный в окровавленную тряпку, не выдержал и проговорился не только о подпольной типографии, но и о намеченном пленуме.

Все громкие фразы о стойкости перед врагом, которыми ранее щеголял Феликс Брага, он забыл, как только его привели на допрос и он увидел полицейских, вооруженных резиновыми дубинками и плетьми со свинчаткой, заметил чуть ли не сердечную улыбку на лице Аполонио Серафина (Феликс знал его по слухам и фотографиям). Феликс Брага похолодел, разглядев Бангу и Мартинса, голыми стоящих у стены в наручниках, избитых, в крови. Плашмя на полу, также голый, измученный, с едва узнаваемым лицом, без сознания или мертвый, лежал товарищ Гато. Мартинс и Бангу

были рабочими, Гато — известный журналист. Феликс почувствовал, что силы его покидают. Аполонио подошел к нему:

— Посмотрим, каков ты?

Он ударил Феликса кулаком в грудь так, что у него прервалось дыхание. Аполонио Серафин к тому же был шутник: «Мои руки — на вес золота»,— говаривал он, показывая железные кулаки — ступни слона. Одного удара оказалось достаточно. Феликс Брага чуть не отдал душу.

— Не бейте меня, ради бога, я расскажу все.

Он рассказал все, подписал заявление, которое потом было им прочтено перед журналистами. Лично навел наряды полиции на конспиративные квартиры, которые были ему известны, спровоцировал новую волну арестов. Спасая свою шкуру, Брага умолял полковника, ведшего допрос, перевести его из Сан-Пауло в Рио-де-Жанейро, где он ранее состоял в партийной организации и мог бы принести значительно больше пользы полицейской службе. Через несколько месяцев этого типа, Феликса Брагу, освободили — даже полицейские прозвали его Вошью.

Гато, которого Феликс Вошь увидел распростертым на полу в комнате полицейского комиссара Аполонио Серафина, был не кто иной, как журналист Жоакин да Камара Феррейра, редактор одной из крупных газет Сан-Пауло. Он вел двойную жизнь, легальную и нелегальную, редактируя утреннюю газету и руководя запрещенным ежемесячником. Гато выглядел всегда любезным, дружелюбным, улыбающимся. Его зверски пытали в течение двух недель, но ничего у него не вырвали, за исключением ногтей и клочьев кожи. Однажды утром, когда его вели из камеры на очередные пытки, он кинулся к закрытому окну, разбил кулаками стекло и осколком перерезал себе вены. Ему поспешили оказать помощь, спасли от преждевременной смерти. Слухи о его аресте и перенесенных им пытках облетели все редакции. Журналисты, местный профсоюз, ассоциация прессы Сан-Пауло, владельцы газеты, где работал Жоакин, подняли шум. Он не умер, его судили, приговорили к длительному тюремному заключению, а после разгрома фашизма в 1945 году он был освобожден по амнистии. однако, выйдя на свободу, не прекратил вести активную партийную работу вплоть до того дня, когда его убили, но уже при другой диктатуре.

В Рио-де-Жанейро аресты не ограничились захваченными в партийных организациях активистами, которых выдал Вошь (еще содержавшийся в наручниках). Людей умственного труда — врачей, инженеров, государственных чиновников, банковских служащих и даже банкиров — тоже арестовывали, многие были отданы под суд, их имена фигурировали в подписных листах по сбору средств для партии, найденных при обыске в одной из организаций.

Полицейские вторглись и в адвокатскую контору, которая принадлежала юристу, считавшемуся умелым, одаренным и симпатичным человеком, пользовавшимся уважением даже среди судей Трибунала безопасности, где защищал политических заключенных. Ему и его коллегам удавалось не раз добиваться освобождения обвиняемых или хотя бы смягчения меры наказания. Звали его Летелба Родригес де Брито. Он был арестован вместе с другим адвокатом и с тремя студентами юридического факультета, которые ему помогали.

Среди арестованных студентов оказалась Пруденсия дос Сантос Лейте, более известная как Пру. Еще на четвертом курсе факультета она показала себя более знающей и старательной, чем многие бакалавры. Настойчивость и добродушие она унаследовала от отца, а красоту и выдержку — от матери.

Отец и мать

Узнав об аресте дочери, Лизандро Лейте растерялся. Безумно любя жену, детей и внуков, он обожал неблагодарную дочь, бездумную, непоследовательную, связавшуюся с коммунистами и не упускавшую случая покритиковать позицию и действия отца-академика... Во время кампании за кандидатуру Сампайо Перейры он то и дело находил на своем рабочем столе исписанные ее рукой листки с резкими замечаниями в свой адрес. Лизандро возмущался, покрикивал на сумасбродную дочь, угрожал ей, но при всем том любил ее не меньше. Он испытывал большое удовольствие, когда коллеги по кафедре на факультете, преподаватели Пру, отзывались с похвалой о способностях девушки. «Яблоко от яблони недалеко падает». Ее отличали усердие в учебе, а также достойная похвалы (по мнению других) деятельность в Трибунале национальной безо-

пасности и в качестве помощницы адвоката не особенно рекомендуемой (по мнению Лизандро) юридической конторы доктора Летелбы де Брито.

Лейте сулил золотые горы за освобождение Пру, просил заступничества у других судей Трибунала безопасности, у знакомых военных, которых знал через Сампайо Перейру, вынудил Эрмано до Кармо хлопотать от имени Академии.

Шли дни, и юрист проявлял все большую озабоченность, становился все угрюмее; он утратил чувство юмора, лишился хорошего настроения... Ему не удавалось выяснить даже, где содержится дочь, он не смог добиться разрешения на свидание. Один из военных, к которому он обратился, обещал поинтересоваться делом, но через двое суток заявил, что не в силах чем-либо помочь, так как положение арестованных из юридической конторы серьезно: «Все, включая и вашу дочь, все увязли по горло».

Как-то вечером, лежа в постели, дона Мариусия заметила, что муж не может уснуть, все время ворочается, она обняла его и старалась успокоить:

— Тебе надо поспать, Лизандро.

— Не могу. Когда думаю о сумасшедшей Пру, мне хочется убить ее — в тот же день, как вернется.

— Понимаю. Ты опасаешься, что арест Пру повредит твоей карьере — твоей кандидатуре в Верховный трибунал...

Он оборвал ее с раздражением:

— При чем тут Верховный трибунал! Я хочу, чтобы дочь была дома, только и всего.

Она понизила голос, звучавший страдальчески робко:

— Они ведь пытают, ты знаешь?

— Я слыхал это от Пру, читал в бумагах....

— Это не выдумки коммунистов, это правда, я знаю. Они прижигают сигаретами спины заключенным, вырывают ногти, избивают, насилуют арестованных женщин... Шестеро-семеро, один за другим... Как подумаю, что Пру находится в их руках, цепенею, не могу заснуть... — Дона Мариусия поцеловала мужа в глаза, в губы.— Но ведь ничего такого не сделают с Пру? Ведь она твоя дочь, а ты — академик?

Она прижалась к нему, он почувствовал прикосновение ее груди и пробормотал:

— Оставь меня...

— Не тревожься, Пру скоро вернется.

Так и случилось. По ходатайству адвокатов, аккредитованных при этом учреждении по особо важным делам, судьи Трибунала безопасности сделали запрос о судьбе доктора Летелбы Родригеса де Брито и его коллег по конторе.

Когда Пру неожиданно появилась дома — ее освободили в полночь — без каких-либо признаков насилия, в радостном настроении, и оттого, что она на свободе, и оттого, что была под арестом, Лизандро встретил ее упреками:

— Ты сама виновата во всем, получила то, чего добивалась. Ты хочешь погубить меня и погубить семью...

— Не беспокойся, отец, здесь я больше жить не буду. Я перееду.

Дона Мариусия даже выпустила дочь из объятий:

— Не верь ни одному слову отца. Пока ты была в тюрьме, он чуть не умер. Не ел, не спал... — и добавила, смушаясь: — Не хотел заниматься любовью, это случилось с ним впервые с тех пор, как мы поженились. Твой отец тебя обожает.

Пру улыбнулась матери и подошла к отцу:

— Ты думаешь, я не знаю? Этот старый реакционер такой придира.

Лизандро толстой и потной рукой взъерошил волосы дочери.

— Так не будешь переезжать, верно?

— Если только ты больше не захочешь видеть меня в своем доме, бесчеловечный отец.

— Сумасбродная!

Пру села на колени Лизандро, как бывало в детстве.

— Будь спокоен, отец. Там я ни минуты не испытывала страха.

— Зато мы жили в страхе все эти дни, Пру,— ответила мать.

Дона Мариусия подошла к мужу и дочери. С ним она могла делать что угодно, он целиком был в ее подчинении. Пру же выскальзывала из ее рук, бесполезно было бы пытаться обуздать дочку.

— Ты вся в грязи, от тебя дурно пахнет. Иди прими ванну, а мы с отцом пойдем спать.

— Спать? Неужели? — Строптивая, она не могла удержаться от насмешки.

Лизандро улыбнулся, теперь у него появился и аппетит, и жажда, и желание — он вернулся к жизни.

Кресло для армии

Начиная с середины января генерал Валдомиро Морейра стал посещать Академию ежедневно после полудня. Академики, заходившие в Малый Трианон, чтобы получить корреспонденцию, встретиться с каким-нибудь читателем или другом, перекинуться несколькими словами с президентом, видели его в библиотеке делающим заметки, пишущим за столом, заваленным книгами; все они удивлялись его поразительной усидчивости. Подходили побеседовать с ним, узнать, какой это работой он занимается Некоторые «бессмертные» сами подбрасывали темы для разговора с кандидатом, болтуном и фанфароном.

Единственный кандидат укрепляет свою позицию и, как таковой, начинает подбирать материалы для своей речи на церемонии приема в Академию. Он намеревается приступить к делу сразу же по окончании академических вакаций. Возникла проблема парадного мундира, но Алтино Алкантара, его друг и соратник, которого он пригласил присутствовать на церемонии, польщенный таким знаком внимания и уважения, обещал помочь, если власти Пернамбуко, родного штата прославленного военачальника и писателя, бестактно нарушат старинную традицию, установившуюся и приятную, и не преподнесут новому академику парадный мундир, шпагу и нагрудную цепь, не засвидетельствуют чувства гордости за земляка, завоевавшего «бессмертие». Если случится такое, Алкантара, используя свой авторитет, соберет средства в Сан-Паулу, которых будет вполне достаточно для приобретения парадного мундира, шпаги и цепи, да еще останется на праздничное шампанское после торжественного заседания. Генерал Валдомиро Морейра достоин награды со стороны санпауловцев, не забывших о солидарности, проявленной по отношению к ним в трудный час, как это было в 1932 году.

Клаудинор Сабенса в те дни, когда не давал уроков — помимо работы в газете он преподавал португальский язык в муниципальной гимназии, — считал своим долгом сопровождать выдающегося друга, отца Сесилии, и выполнять обязанности его секретаря, отыскивая книги на полках, выписывая разные справки и цитаты. А оставаясь один, генерал занимался сочинением своей будущей речи.

За долгий срок существования Академии предназначенное генералу Морейре место принадлежало четырем академикам — трем генералам и поэту Антонио Бруно. Если начать с первого патрона этого кресла, то насчитывалось пять персон, жизнь и деятельность которых следовало изучить для полагающихся в их адрес восхвалений в речи.

Генерал Морейра вполне симпатизировал первому хозяину своего будущего кресла, классику XVIII века. Тот написал обширную эпическую поэму из двенадцати песен — «Амазонки» в стиле «Лузиад» Камоэнса. Неизвестный новым поколениям, но исследуемый и превозносимый в учебниках по истории литературы, был он или нет предвестником романтизма? Школьные антологии воспроизводили, предваряя биографическими сведениями, отрывок поэмы, по странному совпадению всегда один и тот же. Патрон пользовался тем же чистым португальским языком, за который так ратовал автор «Идиоматических пролегоменов». Генерал Морейра возражал критикам, не находившим в «Амазонках» признаков романтизма,— поэты романтической школы проявляли крайнюю небрежность в употреблении языка, столь правильного в стихотворениях патрона.

Перелистывая достойное благоговения редчайшее издание, одно из сокровищ библиотеки, генерал наслаждался поочередно всеми двенадцатью песнями, читая страницу за страницей внимательно слушающему его Сабенсе — к чему только не обязывает любовь! Генерал чувствовал себя виноватым, что прежде не был знаком с этой жемчужиной бразильской классической литературы. Друг Сабенса наверняка читал ее не раз, генерал припомнил, что видел отрывок, включенный тем в «Антологию португало-бразильской литературы». Сабенса солгал дважды: да, конечно, он читал, и не раз, однако тем приятнее, мол, было слышать изысканные строфы, которые декламировал генерал властным, энергичным, воинственным голосом. На самом же деле Сабенса поэму не читал — факт, не слишком похвальный для автора антологии,— и в «Португало-бразильской» он просто воспроизвел уже известный отрывок и не был первым

среди цитировавших этот кусок поэмы. Если кто-то в прошлом взял на себя выбор цитаты, то чего ради другие должны были продираться сквозь дебри двухсот страниц, написанных трудночитаемым языком? Пока генерал терзал его уши стихами патрона, Сабенса, безразличный ко всему прочему, мечтал лишь о Сесилии.

В речи при вступлении в Академию, рассчитанной на тридцать пять — сорок страниц,— таков установленный ее объем, около двух часов чтения — три страницы будут посвящены патрону. Генерал хотел призвать слушателей воздать должное памяти патрона и его поэме. Основная часть речи отводилась анализу творчества трех генералов, которые последовательно занимали это кресло в Академии вплоть до абсурдного избрания Бруно. Генерал Морейра с мужеством, проявленным еще в окопах конституционалистской революции 1932 года, углубился в книги отважных военачальников и пережевывал их, одну за другой, испытывая интеллектуальное наслаждение.

Первый из генералов оставил лишь одну книгу из числа самых слабых, сто двадцать страниц крупным шрифтом, под названием «Счастливые даты нации»; в ней были собраны памятные торжественные речи, произнесенные в годовщины выдающихся событий — почти всегда битв, выигранных бразильскими войсками в войнах времен империи[1]. Этого оказалось все же достаточно, чтобы автор, представляя вооруженные силы, мог считать последние в числе основателей прославленной Академии. Он прожил более восьмидесяти лет; если у него и не хватало книг, зато были другие заслуги перед Академией, которая вначале пребывала в бедности и немилости.

Его сменил генерал с обширной библиографией, умерший через несколько месяцев после вступления в Академию. Плодовитый историк, он оставил восемь вдохновенных трудов о войне с Парагваем в 1865—1870 годах, четыре книги о проблеме Уругвая во время бразильского господства[2], перед кончиной он как раз работал над серией книг, посвященных кампании против аргентинского тирана Росаса[3], из этой серии опубликовал он лишь первый том, оставив два других неизданными,— не увидевшими свет, они пребывают и по сей день. Генерал Морейра был знаком с отдельными его трудами и относился к ним с большим почтением. Он ощущал памфлетиста, автора произведения «Деспот Лопес», как своего предшественника — творчество того и другого было пронизано одинаково пламенным (и слепым) патриотизмом.

Третий генерал был не только автором серьезных и интересных очерков об индейцах — они опубликованы в серии «Бразильская коллекция»,— в которых он описывал их обычаи, языки, традиции и верования, но и являлся почти легендарной фигурой. Уроженец сертана, он пересекал леса и болота, переправлялся через реки, чтобы установить контакт с племенами, никогда не видевшими белого человека. Его труды и вся деятельность были отмечены гуманизмом и симпатией к обитателям лесов. Антонио Бруно в речи при вступлении в Академию открыл в нем поэта, если не в книгах, которые тот опубликовал, то наверняка в жизни, подобной саге.

Из анализа творчества и деяний трех генералов родилось название «Кресло для армии», под которым генерал Морейра думал опубликовать свою речь, короткое и содержательное эссе.

Более страницы он зарезервировал для поэзии Антонио Бруно, по его мнению, слащавой и безнравственной и потому не заслуживавшей и этой страницы. Но, как говаривал развратный поэт, испорченный французскими нравами, «noblesse oblige...»[4].

Он просмотрел несколько его поэм и хроникальных заметок, однако не получил удовольствия ни от поэзии, ни от прозы. Бруно пользовался и даже злоупотреблял белым стихом, а без рифмы и размера нет достойной уважения поэзии, как утверждал генерал. Зачастую совершенно непонятный певец сюрреализма, поэт сочинял какие-то головоломки, а не стихи, не говоря уж о варварском языке, о бесчисленных галлицизмах.

Пьеса в стихах «Мэри Джон», на новой постановке которой генерал присутствовал по приглашению академика Родриго Инасио Фильо, показалась ему банальной и фривольной. Что же касается поэмы о Париже, то Бруно следовало бы искать вдохновения в «Лузиадах» или по крайней мере в строфах «Амазонок», если он действительно хотел создать воинственную песню, способную поднять народы. В итоге Антонио был не более как обманщик, ничтожество. Конечно, генерал не станет провозглашать эту исти-

[1] Бразильская империя существовала с 1822 по 1889 г.

[2] В 1821 г. Уругвай был присоединен к Бразилии, а в 1928 г. признан независимым государством.

[3] Хуан Мануэль де Росас (1793—1877) — диктатор Аргентины.

[4] Положение обязывает *(франц.)*.

ну с трибуны, прозвучало бы плохо — ритуал Академии требовал от преемника безудержных восхвалений в адрес предшественника.

Генерал не мог скрыть, однако, своего презрения к поэзии легкомысленного поэта, автора «Танцовщика и цветка», в разговорах с академиками во время своей двухнедельной столь интенсивной работы в библиотеке Малого Трианона. Главная идея речи, в сущности, была такой — армия должна иметь свое кресло в Академии, и справедливость будет восстановлена с его избранием. Бруно же не имел к этому креслу никакого отношения, оно было отдано ему по ошибке.

Некоторые академики преднамеренно заводили с ним беседы, тянули за болтливый язык, другие слушали его молча. Генерал Валдомиро Морейра принимал и беседы и молчание как одобрение и согласие. Единственный кандидат — у него нет причин хранить свои мысли в тайне. Бруно в речи Морейры при вступлении в Академию будет представлен как штатский с весьма сомнительной репутацией, случайно очутившийся среди безупречно чистых военных.

Женщина бальзаковского возраста

Среди сгрудившихся в углу зала людей — сюда, в библиотеку, Афранио Портела привел дону Мариану Синтру да Коста Рибейро — маэстро заметил генерала Морейру, с карандашом в руке тот облокотился на письменный стол. Под предлогом, что ему мешает свет, маэстро, спросив разрешение, переставляет кресло так, чтобы оказаться спиною к кандидату. Он вынимает листок пергаментной бумаги. На листке — выпуклые буквы АБ, инициалы поэта; ниже слова, начертанные каллиграфическим почерком, почти нарисованные: «Ночная рубашка». Он протягивает листок сеньоре, та едва может сдержать волнение.

— Вот. Я взял его, чтобы сохранить как реликвию... У каждого ведь есть нечто священное.

По щеке доны Марианы скатывается слеза, и дама ее не вытирает.

— Он умер с мыслью обо мне. Столько лет прошло, и все не могу забыть...

На бдении у гроба поэта Афранио Портела поклонился ей, еще когда она, безмолвная, в окружении друзей, слушала добрые слова в адрес Антонио Бруно. Увядшая красота, серебристые волосы, и все же дама производит впечатление своей манерой держаться, затаенной грустью в огромных, полных слез глазах. Маэстро Афранио услышал, как она вздыхает; что хранила она в глубине памяти, отягощенной воспоминаниями?

Он не видел ее несколько последних месяцев, и только накануне его удивил неурочный телефонный звонок из Сан-Пауло. Дона Мариана просила о встрече. Прямо с самолета она прибыла в Академию, как они условились. И вот она здесь, в слезах, с листком бумаги в дрожащей руке, в голосе чувствуются с трудом сдерживаемые рыдания. Все же она овладела собой — умела это делать — и продолжала:

— Его двадцатилетие мы отметили праздником, который длился целые сутки. Мы побывали в ювелирном магазине, я ему преподнесла в подарок часы, чтобы он не опаздывал на свидания, как это иногда с ним случалось. Тогда мне уже исполнилось тридцать два года, и он называл меня женщиной бальзаковского возраста, но этим не хотел обидеть, наоборот... — Улыбка сквозь слезы.

Маэстро Афранио прикинул — на двенадцать лет она была старше Бруно, следовательно, сейчас ей шестьдесят шесть. Однако ей нельзя было дать столько, она выглядела даже моложе, чем четыре месяца назад, исчезли морщины под глазами.

Как бы угадывая его мысли, дона Мариана подтвердила:

— Мне шестьдесят шесть, и если я не обратилась к вам раньше, то лишь потому, что после смерти Антонио легла в клинику, в Сан-Пауло,—небольшая пластическая операция. Я пошла на это, чтобы удовлетворить просьбу Алберто, ему нравятся мои глаза, и я убрала мешки, которые их безобразили.

Муж, Алберто да Коста Рибейро,— один из финансовых тузов страны, кофейный король, бизнесмен, крупнейший экспортер. Афранио знал его с давних пор — отец Алберто и отец Розариньо были компаньонами по бизнесу.

— Я не могла показаться на людях, пока шрамы полностью не зарубцевались, вот и укрылась на фазенде[1] в Мато-Гроссо и там провела все это время — я люблю покой. Позавчера, перелистывая опоздавший номер журнала «Карэта», я узнала из статьи

[1] Крупное поместье.

Перегрино Жуниора [1], что Антонио едва написал на чистом листе слова «Ночная рубашка», как с ним случился инфаркт. Перегрино считает, что они должны были стать названием поэмы. Вы не представляете мое волнение. В час смерти он думал обо мне, вспоминал свою женщину бальзаковского возраста.

— Это действительно название поэмы? — едва скрывая любопытство, скромно спросил маэстро Афранио.

— Которую он не успел написать.— Она подняла голову, полузакрыла глаза («твои глаза речной наяды»,— говаривал Бруно).— То, что он гордо именовал студией, была мансарда на шестом этаже маленькой студенческой гостиницы «Сен-Мишель». Она до сих пор существует на улице Кюжа, рядом с бульваром Сен-Мишель. Я думала, что, познакомившись с Антонио, разрушила свою семью, получилось как раз наоборот.— Она обратила взор на выражающее сочувствие лицо романиста: — Я выскажу вам одну абсурдную, но правдивую вещь, друг мой: Антонио спас мой брак и сделал из меня хорошую и верную жену.

Ах, женщины Бруно! Они не перестают интриговать, покорять, эти загадочные личности. До чего же у них был странный роман!

— Я хорошо помню то утро, потому что всю неделю до этого стояла плохая погода, без солнца. Когда я проснулась и протянула руки к Антонио, он стоял и смотрел на меня с выражением восхищения. Я... я была обнаженной, это естественно, что я была в таком виде. Со своей прелестной улыбкой шаловливого мальчика он сказал мне: «Ты одета солнечным светом, это твоя ночная рубашка. Я напишу для тебя сонет с таким заглавием». Я не дала ему времени написать, все осталось на потом. В час смерти он вспомнил... Вспомнил обо мне.

Она не сумела сдержать рыдания. Прижала к губам платок, но огромным усилием воли все же взяла себя в руки — светская дама, привыкшая владеть своими чувствами.

— Я приехала предложить вам обмен. Отдайте мне этот листок, а вам я оставлю очень ценную вещь, которой, к сожалению, не могу распорядиться так, как следовало бы.

Она открывает сумку, вынимает школьную тетрадь.

— В этой тетради Антонио написал для меня несколько сонетов. Их нельзя публиковать, по крайней мере для широкой продажи в книжных магазинах. Я подумала, что вы могли бы подготовить небольшое, но роскошное издание, возможно с иллюстрациями. У Альберто есть много таких книг, французских, английских. Рисунки мог бы сделать Ди Кавалканти [2], он большой друг моего старшего сына, Антонио,— когда она произнесла это имя, наступила короткая пауза.— Он копия отца...

Афранио Портела берет тетрадь, перелистывает ее, дона Мариана просит:

— Пожалуйста, после того, как я уйду... Я не знаю, сколько будет стоить это издание, но, если вы возьмете хлопоты на себя, я оплачу расходы. Прошу только, пришлите мне экземпляр, когда книга выйдет.

— Не беспокойтесь насчет финансирования, оставьте это мне. А Ди, где он?

— Он в Лиссабоне, с Антонио, они переехали туда, бежав из Франции, где их застала война. Антонио унаследовал от отца любовь к Парижу. Он живет там больше, чем в Сан-Пауло. Сейчас они собираются в Бразилию.

— А оригиналы?

— Подарите их библиотеке Академии или Национальной библиотеке, оставляю вам право выбора. Я не хочу держать их дольше у себя. Если я умру внезапно, мне бы не хотелось, чтобы Альберто нашел эту тетрадь среди моих вещей. Одному вам известно, что эти сонеты были написаны для меня, даже Силвия не знает о них.

Они спустились на лифте, маэстро Афранио проводил ее до выхода, где ее ожидало такси, шофер читал в вечерней газете сообщения о военных действиях в Европе. Мариана наклонилась, чтобы сесть в машину, романист улыбнулся, полюбовавшись ее пышными бедрами,— нет, не случайно она выбрала Ди Кавалканти, чтобы иллюстрировать венок сонетов, неизданную книгу Антонио Бруно, первую, написанную еще до «Танцовщика и цветка», тоже достаточно фривольного, ныне ставшего библиографической редкостью.

Маэстро Афранио не вернулся в библиотеку. Он поспешил укрыться в одной из комнат четвертого этажа, в архиве. Прочитал залпом пятнадцать легкомысленных со-

---

[1] Перегрино Жуниор — современный бразильский писатель.

[2] Эмилиано Ди Кавалканти (1897—1976) — выдающийся бразильский художник, один из родоначальников современной живописи в Бразилии.

нетов. «Начало наслаждения». Подзаголовок: «Венок сонетов для сан-пауловской дамы, парижской вакханки». Посвящение: «Для М... моей Марии де Медичи».

Маэстро Афранио перечитывает первый сонет, повторяет строфы стихотворения не спеша, вполголоса, как человек, смакующий вино редкостного букета.

О, воспламеняющая Венера чудесных форм!

Поблекшей красоты сеньора

Союз двух родовитых семей, альянс двух могущественных состояний привлек внимание газет, которые публиковали пространные сообщения о браке Марианы д'Алмейды Синтры с Алберто да Коста Рибейро. Между тем это был брак по любви — столь редкое явление в высших сферах общества, где деньги берут верх над чувствами.

Мариана — высокая блондинка с роскошной фигурой, словно сбежавшая с картины Рубенса, как написал поэт Менотти дель Пикшиа [1], который вздыхал по ней, романтические глаза, похожие на огромные капли воды. Алберто — выше ее ростом, красив, смугл, широкоплеч, популярный спортсмен, победитель состязаний по верховой езде, в скачках с препятствиями, ездящий на замечательных лошадях, владелец конюшен в жокей-клубе, компаньон отца. Экспортная фирма, находящаяся в Сантосе, держала в руках кофейную биржу, решая вопросы цен, получая невероятные прибыли. Фазенды и той и другой семьи занимали плодороднейшие земли штата Сан-Пауло, где на бесконечных просторах расцветали плантации кофе высшего сорта. В Мато-Гроссо откармливали породистый скот и тысячи голов зебу.

Двадцать лет исполнилось Мариане, ему двадцать пять, когда они отправились в свадебное путешествие, в трехмесячный кругосветный круиз, но медовый месяц длился более четырех лет: приемы, празднества, балы, прогулки, поездки в Аргентину, в Соединенные Штаты, в Европу.

Потом все изменилось. Алберто после смерти отца принял на себя единоличное управление фирмой и фазендами, поскольку он был старшим из братьев, мать не вмешивалась в дела. Раньше он только помогал отцу, принимал участие в совещаниях, давал советы, но решающее слово оставалось за стариком. Алберто жил для жены, удовлетворяя ее малейшие прихоти, был любящим и преданным мужем. Возможно, он мог бы быть поживее в постели, думала иногда Мариана, но, как достойная супруга, никогда не выдавала себя. Они вели обычную супружескую жизнь с частыми интимными встречами, но без излишеств и изысков. За этим Алберто обращался к француженкам в столице и в Сантосе.

Мало-помалу бесчисленные хлопоты, деловая лихорадка захватили его, и Мариана все более отходила на задний план в жизни мужа, у того не было для нее ни времени, ни подходящего настроения. Кончались дни отдыха, развлекательные круизы. Алберто много путешествовал, совершая деловые поездки, срочные и утомительные. Он выполнял супружеские обязанности, столь приятные для требовательной Марианы, но выполнял их через силу, вымотанный работой и ответственностью, которая лежала на его плечах. Он еще занимался немного спортом, но уже не был прежним непобедимым наездником, увлечение его породистыми лошадьми прошло, конюшни были переданы младшим братьям.

Через двенадцать лет после великолепного свадебного празднества супружеская жизнь Марианы и Алберто зашла в тупик. В один дождливый, грустный день, уставшая от одиночества, которым она была обязана, как считала, безразличию со стороны мужа, Мариана решила разойтись с ним. У них не было детей, и жизнь превратилась для нее в бесполезное самопожертвование, приносившее лишь унижение и огорчения; случалось, что Алберто неделями не искал близости с ней, они переехали в новый особняк, где отвели себе отдельные спальни.

Когда она сообщила Алберто о своем решении, кофейный экспортер не поверил своим ушам. Он был поражен.

— Ты что, с ума сошла? Зачем нам расходиться, если мы живем так хорошо и любим друг друга? Или, может быть, ты меня разлюбила?

Она его любила, да, как знать, может быть, и он ее еще любит, но какой толк от этой любви, если они почти не видятся, редко бывают в театре, в гостях, на приемах?

[1] Пауло Менотти дель Пикшиа (род. в 1892 г.) — бразильский поэт и прозаик, примыкал к реакционному движению «интегралистов», творчество его отличается элитарностью.

— Знаешь, сколько времени ты уже не стучишь в дверь моей спальни? Почти два месяца. Это тебе ни о чем не говорит?

Алберто стал защищаться: разве Мариана не сама попросила устроить отдельные спальни, он воспринял это как проявление пренебрежения со стороны жены и почувствовал себя ущемленным. Охлаждению способствовало и отсутствие детей, они так хотели иметь их. Чья здесь вина? Мариана принимала лечебные процедуры, консультировалась у специалистов, все оказалось тщетным. Алберто прошел медицинское обследование — он был здоров. Они стали все больше отдаляться друг от друга, и Мариана начала приходить в уныние. Женщина, рожденная для любви и лишенная ее, страдала. Надменная великосветская дама, она была слишком гордой, чтобы жаловаться.

Вначале она держалась непоколебимо в своей решимости разойтись. Но Алберто ее обожал, не мог жить без нее. Он предложил выход. Старшая сестра Марианы — Силвия, которая овдовела немногим более двух лет назад, жила в Париже, где снимала квартиру вблизи от Елисейских полей. Почему бы Мариане, прежде чем принять окончательное решение, не провести несколько месяцев с сестрой? Алберто предложил ей шесть месяцев брачного отпуска. Если они легко вынесут разлуку, то разойдутся. Но если почувствуют, что им не хватает друг друга, они сделают еще одну попытку наладить свою семейную жизнь. Как знать, после шести месяцев разлуки не вернутся ли первые счастливые годы? К тому же два брата Алберто работают вместе с ним, и самый младший обнаруживает хорошие способности в ведении дел. За это время Алберто постарается передать братьям большую часть работы, которую нес до сих пор один. Мариана согласилась, в глубине души она не хотела терять его.

Алберто простился с ней в порту Сантос, Мариана плакала во время своего путешествия на английском пакетботе. Она рассчитывала остаться в Париже не более месяца, с тем чтобы остальные пять провести в уединении на отдаленной фазенде, одной из тех, что они недавно приобрели в штате Мато-Гроссо на границе с Парагваем.

Силвия вдовью вуаль и семейные обязательства оставила в Сан-Пауло, никто бы не поверил, что она на восемь лет старше Марианы. В Париже она помолодела.

— Всю жизнь, дорогая, я была рабою мужа и сыновей. Муж умер, сыновья выросли, заканчивают университет, у них полно денег, они не нуждаются во мне — да здравствует Париж!

Это она представила Мариане поэта Бруно:

— Тебе нужен кто-нибудь, кто бы тебя сопровождал, ездил с тобой на прогулки, познакомил бы тебя с ресторанами, театрами. Через две недели состоится бал-маскарад в Опере, тебе следует побывать у портнихи и заказать карнавальное платье. Для всего этого да и остального необходим жиголо[1]. И я знаю одного по твоему вкусу. Он красавчик и пишет стихи.

— А ты, у тебя есть уже кто-нибудь?

— По правде говоря, у меня их двое — маленький Жан и большой Андре, мне нравится их чередовать.

— А вот я не люблю чередовать, до сих пор у меня был один Алберто.

— Именно потому я и рекомендую тебе одного Бруно. Его зовут Антонио, он студент, поэт, уроженец нашей Баии, что тебе еще надо? Как кавалер не имеет себе равных.

— Ты с ума сошла. Я приехала сюда, чтобы забыть мужа, но не для того, чтобы изменять ему.

— Кто тебе сказал об измене? Ты все усложняешь, дорогая! Бруно будет лишь сопровождать тебя, гулять с тобой, сведет тебя к портнихе, в ресторан, будет твоим пажем. Пойдет дальше только с твоего согласия, если ты не сможешь устоять.

Она сопротивлялась ухаживанию, очарованию, поэзии молодого человека более недели и уступила на девятый день, день маскарада в Опере.

До этого в обществе Антонио — она никогда не называла его Бруно — нежная и привлекательная женщина открыла для себя новый Париж, которого она не знавала в прежних поездках, побывала в музеях, соборах, исследовала все закоулки Нотр-Дам, научилась любить прелесть и очарование города, постигла то, чем он живет.

[1] Платный танцор в дансингах, альфонс.

С Жаном или Андре — и всегда с Силвией — она и Антонио проводили вечера в ресторанах, бистро, театрах, кабаре, танцуя, смеясь, наслаждаясь шампанским. Антонио без конца повторял ей признания в любви, читал свои стихи. Действительно ли он влюблен? Он был красив и приятен, бесшабашный и неожиданный в своих поступках. Смуглый, точеный профиль напоминал ей Алберто тех времен, когда она с ним познакомилась,— юного смелого всадника, скачущего через препятствия на состязаниях по верховой езде. Она уступала беглым поцелуям тут и там, в танцевальных залах,— он был несравненный танцор! — в предрассветные часы возвращения домой, когда Силвия бесстыдно прижималась к очередному партнеру. Но Мариана не шла дальше поцелуев.

Вспоминая комплименты другого поэта, написавшего «Маски»[1], она воображала себя Марией Медичи Рубенса. Фантазия? Она была сама Мария Медичи и стала королевой маскарада. Бруно надел тот же костюм арлекина, что и в прошлом году. Тяжелые юбки карнавального платья мешали ей быть идеальной партнершей, когда они танцевали матчиш, но Бруно был таким виртуозом, что другие пары отступили в сторону и стали аплодировать. Силвия воспользовалась успехом сестры, чтобы исчезнуть с Андре.

На рассвете Мариана проснулась — наполовину королева, наполовину раба — в постели молодого танцора, бездельника и альфонса, Франсуа Вийона тропиков, как он шутя называл себя, проснулась после того, как, опьяневшая и ничего не соображавшая, одолела шесть крутых пролетов стертых ступеней до мансарды на шестом этаже гостиницы «Сен-Мишель».

Бруно умирал от желания, которое до сих пор скрывал с таким трудом. Ни на одну другую женщину он не потратил столько времени, столько лести, стольких ухищрений. Мариана злоупотребила его терпением, защищаясь от комплиментов именем и достоинствами мужа, нарушила все прикинутые поэтом сроки. Многоопытный завоеватель уже чувствовал себя на грани поражения. Но в конце концов победа была одержана им...

Мариана отвечала страстным и бурным взрывом чувств, проявляя одновременно невежество и желание все познать. Спящий вулкан внезапно проснулся. Три месяца вакханалии, в течение которых Мариана стремилась наверстать потерянные годы. Ей ничего другого не хотелось — лишь бы оставаться в мансарде поэта, мальчишки, юноши из Баии, которого le bon Dieu de France[2] ниспослал ей благодаря Силвии. Она щедро одаривала его, упивалась его словами и стихами. Каждую ночь она вкушала новые ощущения, каждую ночь столь разные... На французском языке ни одно слово о любви не может быть неприличным... Бруно читал ей эротические поэмы Бодлера, Рембо, Верлена, Аполлинера... Чудом было заснуть в его объятиях, проснуться от прикосновения его губ, превосходно: «Ah comme c'est bon»[3].

Постель альфонса и бальзаковской женщины, бездельника и вакханки, голод и аппетит. Не удовлетворяясь поэзией других, Бруно сочинил для Марианы серию любовных сонетов, в которых воспел деталь за деталью ее великолепное тело, посвятив свои распутные рифмы парижскому роману Франсуа Вийона из Баии и Марии Медичи из Сан-Пауло, роману в мансарде на бульваре Сен-Мишель.

Роман не ограничивался, однако, утренними и вечерними ласками, ночными вакханалиями. Он был дополнен дневными прогулками, бесконечными разговорами на берегах Сены, в бистро Сен-Жермен, в Люксембургском саду: «Твои сады, твои дворцы, моя Мария Медичи». Мария говорила ему о радостном и грустном, поведала о своей жизни. Иллюзии ученицы монашеского колледжа, первые балы, требовательная наследница, отказывающая женихам, встреча с Алберто, безмерная любовь, счастливое замужество, возвращение в свет, медовый месяц, длящийся более четырех лет, и, наконец, одиночество, безразличие, отсутствие детей, раздельные спальни, муж, охваченный жаждой денег, мечущийся между Сан-Пауло и Сантосом, и — отчаяние, предложение разойтись, приезд в Париж до окончательного решения. В Париже она встретила своего Бруно, свое счастье!

Счастье? Или только наслаждение, неистовство прелестного приключения, недозволенного и сладчайшего? Будь что будет. Уже не было и речи о том, чтобы вы-

[1] Имеется в виду бразильский поэт-сатирик и пародист Жоан Сарайва (1866—1948).

[2] Добрый бог Франции *(франц.)*.

[3] Ах, как это хорошо *(франц.)*.

ясснять, как воспринимает она отсутствие Алберто. Она ему изменила — это решало все.

Бруно слушал с тем нежным вниманием, которое с юных лет научился уделять женщинам, горячо обнимая, менял тему разговора, целовал огромные блестящие глаза Марианы, желая отвлечь ее от грустных мыслей.

Он говорил о песенках и картинах, читал ей недавно написанные стихи, но она возвращалась к вечной теме — о муже, который теперь потерян навсегда. Однажды вечером, после того как они одолели крутые ступеньки лестницы, ведущей на шестой этаж «Сен-Мишель», Бруно спросил:

— Чем ты озабочена? Что случилось?

Мариана открыла сумочку, вынула телеграмму:

— Прочти...

Алберто сообщал, что отплыл на французском судне и появится в Париже через неделю. Он не в силах вынести ожидание условленных шести месяцев, оставил на попечение братьев дела фирмы, получив возможность встречи с женой: «Без тебя не могу жить»,— подтверждалось в телеграмме.

Это будет неприятно, нет, нет, много хуже — ужасно, но ей придется сказать ему, что продолжать совместную жизнь невозможно, она ему изменила... Бруно обнял ее, начал осторожно расстегивать пуговицы блузки.

— Ты не сделаешь ничего подобного, моя Мария Медичи, не скажешь ничего подобного, ты ведь любишь своего мужа, это единственная истина, зачем же ты хочешь заставить его страдать.

— Ты считаешь, что я еще люблю Алберто? Если это так, почему же я ему изменила?

— Ты без конца говоришь о нем, ходишь целыми днями с мыслью об Алберто; если бы я не был добрым малым, то мог даже обидеться. Я не твоя любовь, я лишь дал тебе то, чего тебе недоставало, дал познать наслаждение.

— Думаю, что да...— еще такой молодой, знал ли Антонио или только угадывал?

— Итак? Возвращайся к своему мужу и преврати свое брачное ложе в залог твоей любви. Отдай Алберто все то, что дал тебе я, все, что взял у тебя и возвращаю тебе. Но только в день его приезда. До этого ты будешь моя, только моя, Мариана де Медичи да Коста, никогда тебя не забуду. В час смерти вспомню о тебе.

— Даже если я его и люблю, теперь невозможно вернуться к нему, Антонио...

Бруно испугался. Неужели она думает о совместной с ним жизни, о том, чтобы превратить веселое, возбуждающее и преходящее приключение в сожительство? Это еще хуже брака!

— Я уже говорил тебе, помнишь? Что не намерен связывать свою судьбу ни с какой женщиной, я не постоянен, я лишь нечто преходящее.

— Не бойся, я вернусь в Бразилию...

— И еще я хочу тебе сказать. Ты родилась для семейной жизни, для верности. Я не представляю тебя меняющей привязанности, ты не была бы счастлива.

— Речь вовсе не о том, Антонио. Помимо всего, что ты мне дал, помимо стихов и наслаждения, я от тебя беременна. И сразу предупреждаю, что ничего не буду предпринимать, я всегда хотела иметь сына. Досаждать тебе я не стану, у меня будет мой сын в Бразилии. Он заставит меня всегда помнить о тебе, о моем преходящем Антонио.

Бруно улыбнулся, лицо его просветлело:

— Сын? Почему твой сын? Он твой столько же, сколько и мой, наш мальчик!

Он задумался на минуту, на две, потом поцеловал ее в глаза и в губы. Став внезапно серьезным и рассудительным, многоопытный в свои двадцать лет, как это бывает только с поэтами — они обладают даром прорицания,— он заговорил:

— Твой муж тоже хочет сына, не так ли? Кроме того, мы с ним похожи, ты мне говорила. Не думай, что я брошу нашего мальчика: я знаю, что это будет мальчик, и ты дашь ему имя Антонио. Но подумай, почему ты должна воспитывать сына без отца? Он будет дорого расплачиваться за это всю жизнь. Для нашего Антонио лучшее, что только может для него быть,— это родиться сыном Алберто Рибейро да Коста, а я хочу лучшего для своего сына. Не сердись, не считай меня низким человеком, подумай не спеша, спокойно, и ты увидишь, что я прав. Я хочу дать тебе еще больше, чем наслаждение и сына, хочу вернуть тебе мужа. С ним ты и Антонио будете счастливы.

Так и получилось. Накануне приезда Алберто, в час прощания, она за все благодарила Бруно со слезами на глазах, и поэт напомнил, что остался ей должен поэму, в один прекрасный день он напишет, сохраняя в памяти ее образ, прекрасное тело Марианы, одетое в ночную рубашку из света утренней зари.

Мальчику, зачатому в Париже, в постели поэта и вакханки, в мансарде на шестом этаже «Сен-Мишель», дали имя Антонио в знак благодарности святому покровителю, к которому Мариана обратилась, испрашивая сына. Чудо случилось в день прибытия Алберто, вечером, в доме ее сестры, когда она разделась для мужа и, отбросив стыд, отдалась ему с пылом и страстью. Потрясенный, Алберто сказал:

— Теперь у нас будет сын, я уверен, любовь моя.

Потом в Сан-Пауло у нее родились сын Антонио и дочь Силвия, окрещенная так в честь тетки, которая продолжала жить в Париже и не думала возвращаться.

Сан-пауловское высшее общество не знало более счастливой четы, как убедился Афранио Портела, подыскивавший материалы для своего романа. Преданный и внимательный супруг, верная и любящая жена старели вместе, намереваясь через четыре года отпраздновать золотую свадьбу. Мариана и Алберто доказали, что даже среди великосветских семей и мультимиллионеров, созданных для денег и легкомыслия, может процветать любовь, и она может быть вечной. Только волшебным образом обязаны они поэтам — эти чудотворцы способны на большее, чем канонизированные святые в алтарях.

Финишная прямая

В жаркий январь 1941 года, когда духота давила на Рио как железобетонная плита, открылись приятные перспективы для единственного кандидата, вышедшего на финишную прямую в последнюю неделю перед выборами. Он получил два хороших известия, которым был обязан академику Алтино Алкантаре.

Первое касалось парадного мундира и имело прежде всего материальный интерес. С грудью, обшлагами и воротником, вышитыми золотом по зеленому фетру, невероятно роскошный парадный мундир стоил баснословную сумму, полторы баснословные суммы — с треуголкой, также отделанной золотом и кроме того, белым плюмажем, с узорчатой рапирой и золоченой нашейной цепью. Алтино Алкантара, удивленный и польщенный приглашением участвовать в церемонии приема в Академию,— он думал, что избранником, как ему сказали, будет Родриго Инасио Фильо, один из покровителей кандидатуры генерала и близкий друг семьи,— обещал провести в Сан-Пауло сбор средств на оплату роскошного мундира «бессмертного» академика. Это должно было быть внушительное и требующее много времени мероприятие, если только ветерану 1932 года не покажется нежелательным публичное признание его военных подвигов жителями столь знаменитого штата.

Пожалев о данном обещании, Алкантара предпочел действовать окольным путем, через посредничество общего друга. Он обратился к интервентору — наместнику, заменявшему губернатора в штате Пернамбуко и показавшему себя отзывчивым человеком, и тот пообещал подписать документ о предоставлении ссуды на парадный мундир для земляка. Чувство гордости за свой штат оказалось выше политических разногласий. Кроме того, как сказал интервентор начальнику полиции, генерал Валдомиро Морейра находится в запасе, не занимает командных должностей и, устроившись в академическом кресле, не будет опасен для Нового государства. Официальное подношение полностью нейтрализует его, таким образом затраты себя оправдают.

Помимо этой приятной новости достопочтенный Алкантара открыл перед генералом перспективу: единогласное избрание. Генерал не придавал значения одному голосу с незаполненным бюллетенем, голосу Лизандро Лейте. Но даже если предположить, что такой голос будет единственным, говорил Алкантара, этого достаточно, чтобы испортить впечатление от редчайшего единодушия на выборах в Академию. Можно было по пальцам сосчитать «бессмертных», избранных таким образом.

Политик, действующий исподтишка, видный адвокат, главный юрисконсульт одного из крупнейших банков Сан-Пауло, защищающий юридические интересы Португальского банка в Бразилии и крупных промышленных предприятий, Алтино Алкантара после закрытия парламента в результате переворота 1937 года редко бывал в Рио и еще реже в Академии. Единомышленник генерала, он открыто симпатизировал его кандидатуре и был избран для произнесения речи при вступлении в Академию — гене-

рал не делал тайны из этого заблаговременного приглашения. Ни Эвандро и его сторонники, ни Лизандро и приверженцы полковника Сампайо Перейры не говорили с Алкантарой о проблематичности избрания генерала. Однако президент Эрмано до Кармо во время одного из появлений академика, редкого гостя в стенах Академии, коснулся прискорбной позиции кандидата, который не скрывал своего решения нарушить протокол, отказавшись от нанесения визита Лизандро Лейте: факт получил неприятный резонанс.

Прежде чем вернуться в Сан-Пауло, Алкантара встретился с генералом, чтобы подтвердить ему свою поддержку, так как на день выборов было назначено слушание дела, на которое он не мог не явиться, и это воспрепятствовало его приезду в Рио. Он попросил извинения, что не сможет появиться после выборов в доме уважаемого друга, чтобы лично поздравить его, его достойнейшую супругу и очаровательную дочь. Он воспользовался случаем и посоветовал проявить большую гибкость в отношении Лизандро, пересмотреть позицию, занятую генералом насчет визита к Лейте.

— Простите меня, мой блистательный друг, но, как высший чин наших вооруженных сил, как генерал армии, я считаю для себя невозможным пойти на это. На карту поставлена моя честь...

Ловкий политик, Алкантара нашел компромисс — он всегда находил соглашательские решения:

— Я понимаю, что вы не хотите посетить его лично. Сделайте следующее — оставьте визитную карточку с несколькими словами у швейцара дома, где он живет. Подобные прецеденты бывали на предыдущих выборах. Таким образом можно будет добиться, чтобы Лизандро не голосовал незаполненным бюллетенем, а просто воздержался бы, предоставив тем самым вам преимущество единогласного избрания.

Довод оказался веским, генерал смягчился:

— Вы, дорогой друг, замолвите ему словечко?

— Я напишу письмецо из Сан-Пауло.

— В таком случае я оставлю визитную карточку. Завтра же.

Следуя совету, он оставил у швейцара визитную карточку, добавив к напечатанному имени «Генерал Валдомиро Морейра» несколько слов от руки: «Приветствует академика Лизандро Лейте». Он надеялся, что каналья ответит на этот вежливый жест тем, что просто воздержится от голосования, а не проголосует незаполненным бюллетенем. Единогласие венчало бы избрание генерала, поставив его среди двух-трех привилегированных лиц, которые, как правило, не упускали возможности напомнить об исключительности своего положения.

Круговерть

Круговерть! Любимое слово генерала Морейры, он применил его по поводу оживления, царившего в Гражау в этот последний четверг января 1941 года — день заседания Бразильской академии литературы, начавшегося в семнадцать часов, на котором «бессмертные» должны были избрать преемника поэта Антонио Бруно, почившего немногим более четырех месяцев назад. Бывает, что в особенно горячих спорах ни один из кандидатов не получает необходимого кворума. При наличии единственного кандидата этого случиться не могло.

Круговерть! Дона Консейсан не знала в точности значения этого слова, но, выслушав объяснение почти «бессмертного» лингвиста, пришла к выводу: более тяжелой работы еще не выпадало на ее долю за всю замужнюю жизнь. Адский труд и невероятная ответственность. Она суетится по дому, как безмозглый таракан. «Да ты похожа на безмозглого таракана»,— заметил генерал, увидев ее обезумевшей от хлопот, отдающей распоряжения, проверяющей их выполнение. Она влетает в буфетную, где Сесилия и Сабенса чистят фрукты для пунша — ананасы, яблоки, груши, апельсины, виноград,— и когда остаются наедине, обмениваются поцелуями — счастливый день!

— Вы считаете, что придет более пятидесяти человек?

— Пятидесяти? Да что вы, дона Сейсан! — Сабенса любил прибегать к уменьшительным именам в знак особого расположения.— Вы, сеньора, еще не осознали значения Бразильской академии. Войти в состав прославленной компании — высшее посвящение, о котором литератор может только мечтать. Рассчитывайте на сто человек, а то и больше.

— Надо будет увеличить заказ на пирожки с мясом и с рыбой в пекарне сеу Антеро. Попросить приготовить еще по два десятка каждого сорта. Позвони, Сесилия.

— Разрешите, я займусь этим, дона Сейсан.

До чего же он услужлив, этот сеньор Сабенса. Если Сесилии доведется соединить свою судьбу с кем-либо — даже если бы она и захотела вернуться к мужу, тот не согласится и будет прав,— то пусть он будет как сеу Клаудинор: не мальчик, ему под сорок, зарабатывает хорошие деньги как журналист и преподаватель, разошелся с женой, которая ушла к прежнему возлюбленному через три месяца после свадьбы. Не говоря уж о том, что Клаудинор, хотя ему лишь около сорока, уже состоит в Академии. Правда, в Литературной академии Рио-де-Жанейро,— стало быть, второго сорта, по выражению Морейры, но так он говорит сейчас — до того, как принять депутацию «бессмертных», он сам стремился попасть в эту Академию, ходил как помешанный за сеньором Сабенсой.

Однако теперь не время думать ни о судьбе Сесилии, ни о достоинствах Клаудинора, как бог решит! Сабенса вернулся от телефона, задание выполнено. Дона Консейсан, прежде чем отправиться в свой штаб — на кухню, восклицает:

— Какие все же расходы! Окупятся ли они?

В кухне громоздились горы снеди — из трески, мяса и прочего. Три помощницы, которым обещано хорошее вознаграждение — две кузины и кума,— пришли помогать Эунисе, верной «прислуге за все», работающей в семье Морейры с незапамятных времен. Одна из них, специалистка по сладостям, взялась приготовить всевозможные баиянские лакомства... Дона Консейсан мимоходом пробует — объедение! В печи огромный окорок, готовы индейка и ветчина. Сеу Арлиндо занимается винами и прохладительными напитками. Этот официант, рекомендованный соседом, любителем застолья, пришел сразу после завтрака, берет он дорого, зато обладает высокой квалификацией. Дона Консейсан еще не прикинула, следует ли вычесть с него за хрустальный бокал, который он разбил, когда мыл посуду. Ущерб не только материальный — памятный бокал входил в неполную теперь дюжину,— это свадебный подарок. Помимо пунша, прохладительных напитков и пива — два ящика пива в маленьких бутылках — три бутылки шотландского виски и две французского коньяка, ужас сколько стоят! Сесилия, которая знает не особенно высокие вкусы академиков, твердит:

— Виски и коньяка должно быть достаточно...— В холостяцкой квартире Родриго не было недостатка в винах иностранных марок.— И никакого отечественного виски или коньяка из дегтя...

Дона Консейсан схватилась за голову, но что делать? Счет в банке, где хранятся их сбережения, накопленные годами и приносившие проценты, потерпел серьезный урон. Сесилия потребовала, чтобы туалеты для вечера после выборов, когда они будут принимать поздравления, и для торжества официального вступления в Академию спустя три месяца были бы сшиты доной Диной Амадо. Великолепно осведомленная обо всем, что происходит за кулисами Академии, Сесилия избрала ее, так как знала, что та обшивает кое-кого из супруг академиков. Четыре платья, две шляпы — куча денег: дона Дина была немилосердна к своим заказчицам.

Дона Консейсан покидает кухню, дает инструкции Косме, бывшему ординарцу генерала, оставившему военную службу и занявшемуся профессией менее благородной, однако приносящей лучший заработок — он предпочел работать агентом по распространению лотерейных билетов. Его затребовали с позавчерашнего дня — перетаскивать столы и стулья, одолженные у соседей, а также натирать полы в доме.

— Я хочу, чтобы зала блестела, как зеркало.

Она не забывает и про лекарство для Морейры. При очередном посещении кардиолога выяснилось, что давление у генерала повышено, и врач добавил еще какие-то таблетки. Кажущийся спокойным, муж на самом деле пребывает в крайнем напряжении (она его знает): властный, но не грубый, по крайней мере с женой и дочерью, нынче он обозвал ее «безмозглым тараканом» — признак крайней нервозности.

Дона Консейсан опять появляется неожиданно в буфетной, едва не вспылив при виде Сесилии и Сабенсы, слившихся в поцелуе по случаю праздничного дня:

— Сесилия, оставь эти фрукты, передай их сеу Арлиндо, иди помоги Эунисе на кухне, чтобы девушки могли прибрать комнаты. А вы, сеу Клаудинор, пойдите побеседуйте с Морейрой, чтобы развлечь его немного.

Сабенса бросает влюбленный взгляд на Сесилию, Сиса отвечает Клокло взглядом, полным обещаний. Дона Консейсан вздыхает: дай бог, чтобы это навсегда, что-

бы не кончилось так же внезапно, как прежние флирты, ах, до чего же ветрена Сесилия!

Не в силах усидеть на месте, кандидат расхаживает взад-вперед по саду строевым шагом. Сабенса — плохой рекрут, сбивается, шагает не в ногу, но все же сопровождает друга и, как знать, будущего тестя. Они еще раз обсуждают детали торжественного часа выборов. Сабенса останется в холле, отделяющем чайную залу от залы заседаний, и будет находиться рядом с телефоном. Как только закончится голосование, он позвонит ему и сообщит окончательный результат: голосовал ли кто-нибудь незаполненным бюллетенем или было святое единодушие. Возможно, из уважения к визитной карточке Лизандро Лейте смягчится и не станет голосовать незаполненным бюллетенем. В этом случае генерал расположен «забыть прошлые обиды и протянуть руку коллеге по «бессмертию»,— уведомляет он доброго Сабенсу.

Подходит дона Консейсан с бокалом и пилюлей в руке:

— Лекарство, Морейра. Ты не думаешь, что сегодня тебе надо принять две таблетки вместо одной?

— Не вижу причины. Чувствую себя отлично.— Он проглатывает лекарство, отпивает глоток воды.— Я хочу, чтобы все было готово и в полном порядке к моменту прибытия академиков.

Он позволяет себе улыбнуться и похлопывает жену по щеке — редкий жест:

— Завтра я поеду к Пене, он — официальный портной Академии, снять мерки для парадного мундира.

Вступление генерала в Академию будет стоить и ему, Клаудинору, нового костюма, думает он, но деньги хорошо вложены: рука Сесилии, премия имени Жозе Вериссимо, а в будущем, может быть... С тестем там, в Академии, работая на него... Мечты заполонили дом в Гражау, где дона Консейсан носится среди ужасающей круговерти.

Кандидат и министры

Ренато Мюллер Виейра, посол Бразилии в Мексике, прибыл в Рио на отпуск как раз накануне выборов. Академик с пятилетним стажем, избранный только после четвертого голосования, он впервые имел случай лично участвовать в волнующем событии. Его приезды в Бразилию обычно не совпадали со сроками проведения выборов, поэтому он голосовал заочно, посылая письма. И в связи с вакансией после смерти Бруно он также послал письмо покойному кандидату Сампайо Перейре, как только получил его пространную пылкую телеграмму.

Он знал полковника лишь по имени, никогда не видел его и не читал ни одного из его весьма спорных политических исследований, но поторопился направить свой голос и поздравление, поскольку речь шла о влиятельной личности в правительстве и признанном авторитете в военных кругах. Полковник мог бы сыграть решающую роль для Мюллера Виейры, который был в списке возможных преемников Освалдо Араньи в министерстве иностранных дел, в случае если состоится ожидаемая отставка. Тот факт, что Перейра служил в Германии после прихода к власти Гитлера, имел большое значение: он пользовался доверием нацистских властей, это было чрезвычайно полезно в нынешней ситуации, когда внешняя политика Бразилии склоняется в сторону союза с осью.

Поэт и романист Мюллер Виейра был автором малопонятных стихов, полудюжины опубликованных книг, весьма уважаемым определенными критиками, которые в своих хвалебных статьях цитировали Достоевского, Джойса и Кафку, чтобы объяснить тоску и одиночество, так характерные для его творений; мало кто читал Мюллера Виейру; в Бразилии его романов не существовало, в его поэзии даже самые тонкие знатоки не могли обнаружить любви. Книги этого автора не читали даже критики, хотя и расхваливали. но, как утверждал Р. Фригейредо Жуниор (и другие злопыхатели), те же самые критики не читали также ни Джойса, ни Кафку, правда некоторые из них перелистывали переводы Достоевского. Так или иначе, читали его или не читали, родилась молва о гениальности Ренато Мюллера Виейры; романы и поэмы его отражали, по мнению литературных теоретиков, патетичность современного мира, насилие, но не на войне — «всеобщая хирургия необходима»,— а внутреннее насилие человека над самим собой.

Он получил телеграмму также и от генерала Морейры; правда немногословную: ведь генерал расплачивался собственными драгоценными денежками, тогда как пол-

ковник пользовался фондами на борьбу против коммунизма. Он ответил выражениями благодарности и сообщил, что уже взял на себя обязательство перед Сампайо Перейрой. После смерти могущественного полковника он доказал свою вежливость, подтвердив получение письма кандидата, ставшего теперь единственным, письма, в котором будущий «бессмертный» обращал его внимание на новую конъюнктуру и просил прислать голос. Он сообщил, что приедет в Бразилию на выборы и будет иметь удовольствие проголосовать лично за выдающегося военачальника. Он не сказал, как сожалеет о смерти полковника. Могущественный Сампайо оплатил бы ему поддержку своей кандидатуры с процентами. Тогда как достоинства нынешнего единственного кандидата сводились лишь к звездам на мундире. Но так или иначе генерал — всегда генерал.

Виейра был намерен использовать отпуск, чтобы выяснить действительное положение вещей в связи с отставкой Араньи и чтобы начать кампанию в свою пользу. Он рассчитывал на друзей в кабинете главы правительства. Посол провел утро и послеобеденное время в министерстве иностранных дел, откуда направился прямо в Академию. Встреченный объятиями и теплыми приветствиями, он получил в секретариате чек и прошел в чайную залу. Здесь кое-кто из коллег, приветствуя Мюллера Виейру, уже открыто назвал его министром иностранных дел. Лизандро Лейте, не удовольствовавшись объятьем и словами «добро пожаловать», увлек коллегу к окну:

— Прежде чем вам назовут другое имя, я хочу предупредить вас, что нашим кандидатом будет Раул Лимейра...

— Ректор?

— Он самый. Более чем ректор, он близкий друг Самого. А для того, кто одной ногой в стремени, чтобы стать министром...

— Но кандидата — на какую вакансию? Разве умер кто-нибудь, пока я летел на самолете?

— На вакансию после Антонио Бруно.

— Разве она не будет занята сегодня?

— Это зависит...

— Зависит от чего?

— От вашего голоса, например. Он может быть решающим. Я уполномочен поговорить с вами. Лимейра умеет быть благодарным...

— Ничего не понимаю. Скажите, наконец, яснее, в чем дело?

— Пойдемте в библиотеку, там мы будем чувствовать себя свободно.

Человеческая природа

Выйдя из машины у входа в Малый Трианон, Родриго Инасио Фильо, прибывший на выборы из Петрополиса, оказался в костлявых объятиях Эвандро Нунеса дос Сантоса.

— Счастливец, наслаждается в горах, а мы задыхаемся в этом пекле...

Они направились под руку в секретариат, Родриго попросил рассказать, как идут дела.

— Итак, каковы успехи партизанской войны?

— Последняя схватка произойдет вот-вот, уже совсем скоро,— Эвандро остановился посреди вестибюля, снял пенсне, улыбаясь.— Враг отступает, мы его уничтожим.

Родриго доверительно говорит:

— Человеческая природа очень подлая, сеу Эвандро.

— Вы так думаете?

— Это ведь я нашел генерала, когда вы с Портелой выискивали кого-либо, кто обладал бы необходимыми качествами. Я входил в состав делегации, которая прибыла к нему домой, чтобы предложить ему выдвинуть свою кандидатуру...

— Я тоже, Афранио принудил меня.

— ...прочитал одну книгу, которую он мне прислал...

— Я до этого не дошел.

— ...у меня был флирт с его дочерью, изящной девицей, впрочем, немного пресной... В конечном счете я друг семьи, почти родственник. Вместе с тем я голосую за него, только чтобы ладить со своей совестью, и, что еще хуже, болею за вашу победу против бедняги. Нет сомнения, человеческая природа очень подлая.

— Против бедняги? Он уже распоряжается и командует вовсю, утверждает, что Бруно был круглый дурак. Представьте, если он окажется избранным... Учтите, нам

может не хватить вашего голоса. Логично рассуждая, вы станете голосовать вопреки своей совести, а не чтобы ладить с ней. Поразмыслите...

Родриго снова направляется в секретариат.

— Vade retro...[1]

— Девица изящная и пресная! Ну что ж, расплачивайтесь за свое распутство. Но, пожалуйста, не берите на себя обязательств на ближайшие четыре месяца. Наш кандидат — Фелисиано. Вы об этом не знали?

— Я проголосую за него с большим удовольствием, если вы одержите верх.

— Вы еще сомневаетесь? При мне здесь никто не поменяет военный китель на академический мундир. Ни китель, ни сутану.

— Вы самый последний антиклерикал в мире.

— Я не антиклерикал, я — материалист. У меня много друзей среди священников, но не хочу, чтобы они читали проповеди здесь.

— ...и последний антимилитарист...

— Я же цивилист, моя область — гражданское право, это да. У меня есть друзья и среди военных, однако я не согласен, чтобы они пришли сюда муштровать нас... «Кресло для армии», где это видано?

Урна

Декан Франселино Алмейда позирует фотографам в традиционной позе — рука протянута к урне для голосования. После ухода репортеров двери зала заседаний запираются.

Одетый с элегантностью английского лорда, с ног до головы в черном, с седой головой, декан подает урну президенту, который голосует первым. Затем передает ее сидящим за столом, обходит остальных академиков.

Число присутствующих невелико на последнем собрании перед вакациями. Большинство сбежало от жары в горы, некоторые разъехались на праздники в свои штаты и еще не вернулись. Декан переходит от кресла к креслу, каждый «бессмертный» опускает в урну бюллетень. Президент извещает до начала голосования о письмах, полученных от отсутствующих, в запечатанных конвертах — их голоса.

Урна, возвращенная на стол, освобождается. Начинается подсчет голосов. После того как подсчет закончен, бюллетени снова собирают в урну и декан обливает их спиртом, прежде чем зажечь спичку,— огонь все уничтожит. Таким образом тайна голосования будет погребена в пепле.

В чайной зале журналисты и фотографы разделываются с тем, что осталось на богато сервированном столе. На выборах, когда вакансия оспаривается несколькими кандидатами, множество людей расхаживает по залам, библиотеке, холлу — это сторонники кандидатов. Повсюду слышится гул голосов. Выборы же с единственным кандидатом лишены особой остроты, они проходят без боя, без сюрпризов. И все же появились некоторые любопытные, среди них старый торговец книгами Карлос Рибейро. Они ожидают закрытия заседания, рассчитывая бесплатно доехать с кем-нибудь до дома избранного академика, чтобы поздравить его, а заодно выпить и закусить. Безотлучно находясь у телефона, Клаудинор Сабенса ожидает минуты, чтобы позвонить генералу Валдомиро Морейре о завоевании им «бессмертия».

Телефонный звонок

Генерал Валдомиро Морейра ожидает звонка друга Клаудинора Сабенсы, который известит его о завоевании «бессмертия». В парадном военном кителе, лицо серьезно, преисполнено достоинства и спокойствия, генерал расположился в кресле перед телефоном, рядом дочь, легкомысленная, но преданная отцу. Дона Консейсан расхаживает туда-сюда, занятая последними приготовлениями. Обе нарядно одеты.

Некоторые гости прибыли, чтобы дождаться многообещающего известия в обществе кандидата, они разбрелись по залу — соседи, ближайшие друзья, товарищи по казарме, офицеры, служившие вместе с ним. Они восхищаются хорошо сервированными столами, уставленными блюдами и тарелками с солениями и сладостями, подносами с ветчиной, окороком, индейкой. Близкие друзья знают о кулинарных достоинствах Эунисе. Во дворе сеу Арлиндо соорудил бар: бочки с пивом, графины с пун-

[1] Изыди... *(лат.)*

шем, прохладительные напитки, а бутылки виски и коньяка припрятаны для «бессмертных» и прочих превосходительств.

Никогда время не текло так медленно, генерал ждет, присутствующие беседуют вполголоса, время от времени слышится смех. Дона Консейсан показывается в дверях, несет последнее блюдо:

— Еще нет?

В этот момент звонит телефон, генерал протягивает руку, на лице Сесилии вспыхивает улыбка, дона Консейсан замирает на месте.

— Сабенса? Это я, да. Ну как? Единогласно?

Генерал слушает, вытаращив глаза, открыв рот, сдавленный голос:

— Что?

Кровь ударяет ему в голову, губы нервно кривятся. Генерал роняет трубку, тело его клонится вперед. Дона Консейсан выпускает из рук блюдо, пирожки с треской раскатились по полу. Она бежит к мужу, поддерживает его.

Из телефонной трубки едва доносятся далекие, повторяющиеся слова:

— Алло! Алло!

Сесилия хватает трубку, упавшим голосом с трудом выговаривает:

— Приезжай скорее, с папой что-то случилось...

«Он скончался не в тот час,— сказала дона Консейсан спустя долгое время.— Он упустил свой час, час того телефонного звонка, когда узнал, что он единственный кандидат, и посчитал себя избранным».

Известие

Афранио Портела передает служанке шляпу и трость, та спешит сообщить ему:

— Доктор Эрмано просил, чтобы вы позвонили ему немедленно, дело очень срочное.

Проходя в кабинет, маэстро Афранио улыбается доне Розариньо, которая вышла ему навстречу, ей не терпится узнать результат. Поджидая, когда президент подойдет к телефону, маэстро Афранио целует жену и обещает удовлетворить ее любопытство:

— Я тебе сейчас расскажу все.— Он слышит голос на другом конце провода: — Да, Эрмано, можете говорить, я слушаю.

Он слушает, опираясь на плечо доны Розариньо. Вдруг ладонь сжимается, у Афранио вырывается возглас:

— Черт возьми!

Кладет трубку, застывает в молчании. Дона Розариньо трогает его за руку.

— Что случилось, Афранио?

— Мы убили генерала!

Второй

Дед входит в дом вместе с внуком и внучкой.

— Расскажите, дедушка.

— Скорее, мой дорогой, мы с ума сходим от любопытства.

Эвандро Нунес дос Сантос садится в любимое кресло, закуривает сигарету. Рассказывая, играет пенсне:

— Он получил шестнадцать голосов, не хватило четырех, чтобы получить кворум. Двенадцать воздержались, одиннадцать проголосовали незаполненными бюллетенями. Положен конец этой истории с зарезервированным местом в Академии. У Бруно будет преемник, какого он заслуживает,— Фелисиано.

— Ты не находишь, что поэты могли бы иметь зарезервированное место, мой дорогой? — интересуется Изабел, ненасытная любительница поэзии.

Телефонный звонок. Педро подходит:

— Ваш президент, дедушка. Думаю, хочет поздравить тебя, он очень возбужден.

Эвандро берет трубку.

— Мы...— он не заканчивает фразу, слушает президента.— Не говорите! Достойно сожаления, конечно. Печально, согласен. Но в конце концов война есть война.

Положив трубку, он сообщает внукам о случившемся:

— Узнав, упал замертво. Мгновенная смерть.

— Инфаркт?

— Можешь назвать так, Изабел, если хочешь. По-моему, это убийство.

— Второе, дедушка. Не забывай полковника...— напоминает Педро.

— Конец битве, ведь это была битва, дедушка.

Два престарелых литератора

Два престарелых господина, известные литераторы, демократы, один едва не либерал — Афранио Портела, другой с наклонностями анархиста — Эвандро Нунес дос Сантос, выпивали в «Коломбо» вечером следующего после выборов дня. Взгляд маэстро Афранио поднимается к балкону ателье мадам Пик, откуда Роза когда-то кокетничала с Антонио Бруно. Она уже не выглядывает с балкона, открыла теперь собственное ателье, занимающее этаж на улице Розарио, послала карточку доне Розариньо с предложением услуг.

— Я начал писать роман, кум. Послезавтра отправляюсь в загородный дом, в Терезополис, заложу бумагу в машинку.

— Пора уже.

— Я думал, что «Женщина в зеркале» будет моим последним романом, я уже потерял вкус к козням людей, которые обитают в салонах и холостяцких квартирах...

— Но я не так давно читал рассказ... Там шла речь и о «Коломбо», я хорошо помню.

Маэстро Афранио почувствовал гордость, услышав, что Эвандро говорит о его рассказе, он не знал, что кум читал и хранил в памяти такие подробности.

— «Пятичасовой чай» был опубликован года четыре назад. Он был вдохновлен отношениями, которые Бруно поддерживал с модисткой из ателье напротив, на третьем этаже того здания. Так вот, я вернусь к ней...

— К кому, к модистке?

— К ней, да, теперь я ее знаю хорошо, а в рассказе я очень исказил ее образ. Персонажами будут она и три других любовницы Бруно. Все четверо присутствовали на бдении у гроба. Кстати, роман и начинается с бдения.

— Там началась и наша битва, с появлением Сампайо Перейры, помнишь? Он отдал честь покойному, фотографию напечатали в газетах, чтобы никто не сомневался.— Эвандро поднял рюмку: — Черт возьми, что буду я теперь делать? У тебя есть роман, который займет все твое время в Терезополисе. Мне же будет так недоставать партизанской войны...

— Не пора ли писать мемуары?

— Партизанская война могла бы составить хорошую главу... Генерала похоронили сегодня утром, не так ли? — Он поднимает рюмку и осушает ее.

Афранио Портела выпивает последний глоток, прежде чем ответить.

— Да. Его похоронили в одиннадцать часов. Родриго был на похоронах, за ним прислали.

Он подзывает официанта, просит счет. Смотрит на кума Эвандро Нунеса дос Сантоса, на губах играет его обычная лукавая улыбка. Заключает шутливо-мрачным голосом:

— Убийца!

Медленно, размеренным шагом идут по улице два престарелых литератора, довольные жизнью. Они направляются в книжный магазин, чтобы перелистать новые издания, узнать последние новости, прокомментировать события, приобрести из-под прилавка какие-нибудь из иностранных книг, запрещенных диктатурой.

Мораль повествования

Мораль? Смотрите: чуть не повсюду в нашем мире снова мрак, войны против народа, произвол. Но, как доказывается в этом повествовании, всегда возможно бросить семя — зародить надежду....

ДЖЕЙМС ДЖОНС

Только позови

РОМАН

Перевод с английского Г. ЗЛОБИНА

Глава 25

Уинч знал об успехах Лэндерса так же, как знал все и об остальных ребятах. Работы у него было не выше головы, и это позволяло ему заниматься посторонними вещами.

За то время, что Уинч пробыл в лагере О'Брайер, он успел обрасти прочными связями. С помощью Джека Александера он обзавелся широким кругом знакомств, который, в сущности, представлял собой разветвленную сеть стукачей, охватывавшую и командование Второй армии, и места расположения находившихся в О'Брайере частей и подразделений, и общевойсковой госпиталь Килрейни, и штаб Второй армии в Люксоре.

Уинч не любил говорить «стукачи», лучше — приятели, дружки. Но его люди не были ему ни приятелями, ни дружками, это были именно стукачи. Чтобы не уколоть ничье самолюбие, он строил отношения с ними так, будто они и вправду были его приятелями и дружками. Кому охота быть стукачом? Рядовые, сержанты, уорент-офицеры — кто из хозяйственной части, кто из подразделения связи, кто еще откуда — все они время от времени поодиночке наведывались в пивной зал при гарнизонном доме торговли, чтобы доложить Уинчу новости, но выглядело это чин чином: заскочили пивка с ним выпить.

Уинч усаживался за большой стол в углу, отгороженный от остального зала низенькой перегородкой из алюминиевых реек,— отсюда начиналось просторное помещение для сержантского состава. Ему резервировали этот стол каждый вечер, едва наступал тот час, который в офицерских клубах называют «коктейльным». Здесь Уинч и вел, так сказать, прием. И стукачи со всего городка передавали Уинчу свою информацию.

Уинч держался по-свойски: откалывал шуточки, хохотал, угощал пивом и одновременно раскладывал по дальним и ближним полочкам памяти все, что могло пригодиться. А пригодиться могло многое.

Уинч ненавидел алюминиевую перегородку и ненавидел два огромных, сверкающих никелем и разноцветными огнями музыкальных автомата системы «Вурлитцер». Пластинки шептали, грохотали, стонали, и в зале, мешаясь с табачным дымом, стояла густая звуковая завеса, под прикрытием которой стукачи передавали Уинчу свои донесения.

Поэтому Уинч был наслышан о Гарри Л. Преворе и 3516-й роте задолго до того, как туда попал Лэндерс. Ему доносили, как Лэндерс выручает Превора и как особенно выручил с ведомостью для денежного довольствия благодаря своим блестящим канцелярским способностям. Он, конечно, сразу же узнал о том, что Лэндерсу дали сержанта, а через месяц повысили до штаб-сержанта.

Повышения повышениями, а малый еще хлебнет горя, думал Уинч. Он был убежден, что Лэндерс выручает Превора и роту по мо-

Окончание. Начало см. в № 7, 8.

ральным соображениям. Если так, ему несдобровать. Уинч держал лейтенанта Превора в поле зрения с самого начала, как только тот появился в лагере О'Брайер, через неделю после него самого. И он знал, что Превор и два других офицера-еврея, прибывших с той же группой, постоянно подвергаются всяческой дискриминации.

Вообще-то Уинча и его отдела это никак не касалось, но ему было любопытно наблюдать, как развиваются события. Среди офицеров Второй армии были и другие евреи, и немало, а иные занимали даже высокие посты. Все они прижились здесь, обзавелись знакомыми и связями. Но ни один из этих прочно сидевших евреев палец о палец не ударил, чтобы прямо или косвенно помочь Превору и двум другим. По словам сержантов-стукачей, они были настроены против даже больше, чем остальные офицеры, чистокровные англосаксы. За кресла держатся — таково было общее мнение.

Уинч считал это нормальным. Он не имел ничего против евреев. Ему было все равно. Лэндерсу же до всего есть дело. Только из его благородного негодования один пшик выйдет, потому что защищать Превора — пропащее дело. С самого начала, как он принял командование 3516-й, стало ясно, что слетит, бедолага, не удержится на роте.

При существовавших во Второй армии порядках Уинч предвидел два возможных поворота событий. Первый: если Превору удастся привести в чувство доставшийся ему сброд и превратить роту в более или менее нормальное подразделение. Тогда командование поставит над ним какого-нибудь оставшегося без назначения любимчика капитана, и тот будет снимать пенки, сбитые из пота и крови бедного лейтенанта. Другой, более вероятный: если Превор не сумеет сделать роту по-настоящему дееспособной. Тогда его освободят, заставят формировать какое-нибудь новое подразделение, причем за ним потянется хвост не справившегося с обязанностями, а роту перебросят в Европу с каким-нибудь другим, таким же незадачливым и зеленым командиром.

Не исключен и третий, самый худший вариант: Превор попросту махнет рукой на роту, и тогда, чтобы от него избавиться, его вместе с озлобленной, распоясавшейся шарагой полукалек и штрафников кинут на передовую на самый гиблый участок. Как ни крути, Превору не поздоровится. И Лэндерсу не поздоровится, если он вздумает выкладываться, чтобы выручить своего ротного. Уинч пока не очень понимал, как поведет себя Лэндерс, когда столкнется с одним из этих трех неминуемых вариантов.

Между тем у Марта Уинча тоже были свои проблемы. Его личная жизнь складывалась из Кэрол и ночных кошмаров. Кошмары теснили Кэрол и все остальное.

После возвращения в Штаты у Уинча бывали периоды, когда он испытывал неудержимую потребность засыпать со штыком или пистолетом под подушкой. Дурь, что и говорить, но он чувствовал себя в безопасности, как ребенок, с головой укрывшийся одеялом. Несколько раз он так спал и в госпитале — засунув пистолет или штык под подушку, потом перестал, но оружие припрятал в вещах. Сейчас это странное желание снова навалилось на Уинча, и только присутствие Кэрол останавливало его. Зато когда он ночевал у себя, в городке, он непременно брал в постель штык или пистолет. Засыпая, он ощущал нагретый металл под рукой, и это успокаивало.

Уинч считал, что его ночные кошмары вроде бы никак не связаны с желанием иметь при себе оружие. И тем не менее они снова начали преследовать его. Теперь ему попеременно снились три разных сна. И не только ночью. Стоило ему прилечь или задремать в кресле, как тут же выплывали страшные видения. А совсем недавно случилось то, чего он так боялся: мучивший его кошмар вырвался наружу. Он выдал свою тайну.

Ему опять приснилось, будто они попали под минометный огонь, и он начал бредить во сне. Кэрол разбудила его среди ночи и сказала, что он выкрикивал что-то непонятное. Она разобрала только одну фразу, он ее несколько раз повторил: «Выводи их оттуда! Выводи!» Наверное, нехороший сон? Что-нибудь про войну?

— Да нет,— ответил он.— Война тут ни при чем.

Он видел жадное любопытство в ее глазах. Он понимал, как она жаждет услышать что-нибудь необыкновенное, романтическое, о чем она могла бы вспоминать, когда будет постарше, когда постареет. Но ему не хотелось разочаровывать ее, не хотелось говорить правду.

— Не обращай внимания, просто дурацкий сон,— сказал Уинч, еще не придя в себя после случившегося.

— Ты чем-то серьезно расстроен,— настаивала Кэрол.

— Есть немного. Ничего, пройдет.

То ли желая утешить его, то ли повинуясь женскому чутью, она повернулась к нему, и он ткнулся в ее теплую тугую грудь и целовал, целовал без конца, пока Кэрол не застонала...

Он уснул, но вскоре перед глазами опять поплыли какие-то новые, непонятные картины. Очнувшись, он долго смотрел на спящую Кэрол. Он догадывался, что теперь она будет донимать его расспросами, и не ошибся. В следующий раз она завела разговор на эту тему, потом еще и еще. И бред тоже, однажды вырвавшись наружу, словно развороти запруду: Уинч стал все чаще и чаще разговаривать и кричать во сне. Кэрол приходилось расталкивать его чуть ли не каждую ночь. Дошло до того, что он теперь боялся уснуть при ней, и в результате у него развилась бессонница, которой он сроду не знал, даже в самые тяжелые дни на Гуадалканале и Нью-Джорджии.

Уинч ни разу не рассказал Кэрол о том, что ему снится по ночам. Хотя кошмары помимо его воли все чаще выливались в бред, он все еще верил, что если будет молчать, не будет говорить на эту тему, то избавится от них и снова научится держать себя в руках. К тому же Кэрол была заинтригована его вскриками и разговорами во сне. Слишком заинтригована, чтобы он мог открыться ей.

Она любила слушать про войну, и самые жуткие, самые чудовищные подробности доставляли ей почти чувственное наслаждение. Как мальчишке, которого безудержно влекут страшные фильмы с Дракулой. Это потому, что она не знала, что такое война. Если бы она видела ее своими глазами и пережила то, что довелось пережить ему, она поняла бы, что война не жуть и не ужасы, а горе. Но Уинч знал, что она не поймет. Мало кто из цивильных понимал это.

Впрочем, у Кэрол хватало и своих забот. Начались они с приезда ее жениха на рождество. Он по-прежнему рвался в армию, дома у него об этом только и говорили. Он решил бросить колледж и идти добровольцем. Родители были против, особенно мать. И родители Кэрол тоже были против: зачем ей выходить замуж за молодого человека, которого вот-вот пошлют в Европу, пусть он из хорошей семьи и со связями. Решающее слово оставалось за самой Кэрол. И она не преминула поделиться своими огорчениями с Уинчем.

Как она и предполагала, они сумели встретиться только раз за все праздники, так что он узнал обо всем позднее, уже в январе.

— Ты сама-то хочешь, чтобы он пошел в армию, или нет? — спросил он строго, как у подчиненного.

Кэрол состроила жалостливую мину и захныкала:

— Не хочу я, чтобы он шел в армию. Но и замуж за него не хочу. Мне кажется, я не люблю его. Я тебя люблю.

— Не впутывай меня, пожалуйста,— оборвал ее Уинч.— Я не в счет.

— Нет, в счет! — запротестовала Кэрол.— Но все равно я не хочу, чтобы он шел в армию. Раз его родители против. Его мама, бедная, вся извелась. И папу старенького жалко. Он добился для него отсроч-

ки. Я обязана прислушиваться к их мнению. Мне просто не хочется за него замуж... А если он останется — значит, мне придется идти за него. Придется ведь, правда?

Ясно, чего она ждет от него, не ждет — напрашивается.

— Не обязательно,— сказал он.

Повернув голову, Кэрол пристально посмотрела на него большими темными глазами. Левый глаз немного скосил, потом снова стал на место.

— Просто так он не послушает меня, не останется. У него своя голова на плечах.

— Послушает, еще как послушает,— продолжал Уинч уверенно.— Скажи ему, что у тебя любовник, и все.

Бегающий, косящий зрачок делал ее неотразимой.

— А-а... И ты думаешь, он поэтому останется. А не получится наоборот? Возьмет да и сбежит с горя в армию.

На Уинча вдруг опять нахлынуло то же чувство, которое по разным поводам все чаще и чаще возникало у него с недавних пор. Смотришь — и не знаешь, то ли явь, то ли сон. Неужели она в самом деле верит в то, что говорит? Похоже, что верит.

Люди вот понаделали оружия, запаслись бомбами и пошли гурьбой убивать других — это по-настоящему, всерьез? Похоже, что так. Людей взаправду убивают? И тогда они действительно мертвые? Или это все понарошку, как у детей, когда они играют и балуются?

Человек строит дом. Это доподлинно дом или просто груда бревен, особым образом сложенных и сколоченных, которую люди сообща решили называть домом?

От таких пугающих мыслей кружилась голова, как будто он стоял над бездонной пропастью. И Кэрол снова удержала его.

— Нет, это непорядочно. Вот если б я была уверена... — Потом подумала и сказала, кося глазом: — Так я и сделаю.

— Я могу, конечно, ошибиться,— протянул Уинч.— Зато мы сможем встречаться по-прежнему.

— Да, так я и сделаю,— еще раз решительно заявила Кэрол.

Само собой, ничего подобного Кэрол не сделала. Не хватило духу, сообщила она Уинчу при следующем свидании. Вместо этого она согласилась вернуться в колледж и пообещала приехать на недельку к жениху. Они договорились, что она поедет в Кливленд в конце января.

Эти несколько недель до ее отъезда Уинч встречался с ней почти каждый день. И всякий раз ровно в четыре утра она поднималась, одевалась, красилась и к половине пятого была уже у себя. Дома ее никто не ждал, никто не вставал в такую рань. Но она неукоснительно следовала правилам игры. Когда мать в половине девятого приходила будить Кэрол, дочь всегда была в постели.

Вернувшись из Кливленда, она объявила, что у нее появился новый друг. Из-за него-то она и пробыла там три недели вместо одной. Сам он из какого-то городка в Огайо, примерно тех же лет, что и ее жених.

— И знаешь, он любит всякие такие штучки.— Они с Уинчем пришли в его квартиру с холода, и она снимала шубку.— Может, мне лучше за него пойти? У него и денег побольше, и уже положение. И родители просто удивительные, воспитанные такие, особенно мама. Ах, Март, как я тебе благодарна! Ты так многому научил меня! — Кэрол бросила шубку на диван и закружилась по комнате.

Уинчу показалось, что он услышал прощальную барабанную дробь.

Вдруг она остановилась и жалобно хныкнула.

— Но не люблю я его ни капельки! Я же тебя люблю! — Она подбежала к нему, обхватила за шею, крепко прижалась к груди. На каблуках она была ростом почти с него.

— Уф! Нет, я в таком состязании не участвую,— сказал Уинч.— Помнишь, я тебе с самого начала говорил?

Он запустил руку ей под свитер, обнял.

— Боже мой! Что же с нами будет? — тихо спрашивала Кэрол и терлась щекой о его ухо.— Что же нам с тобой делать?

— Может, баиньки? Ты как на это смотришь?

Когда все кончилось, Уинч вдруг почувствовал, что задыхается. Это, наверно, от сердца. Немного погодя стало лучше, почти совсем прошло, потом снова началось удушье, такое же болезненное, как и сначала. Уинч не понимал, почему такие перепады. Мучительно не хватало воздуха; он встал и принялся ходить по комнате, чтобы Кэрол не заметила, что ему плохо.

В те дни, когда Кэрол была в Кливленде, состоялась свадьба Бобби Прелла.

Уинч знал о приближавшемся торжестве, но никак не думал, что его позовут. Он держал постоянную связь со Стрейнджем по телефону, один раз во время рождественских школьных каникул они даже провели вместе вечер в «Пибоди». Стрейндж и ввел его в курс планов однополчанина.

И тем не менее он был удивлен, получив приглашение. Прелловы каракули не годились для такой роскошной тисненой карточки. Круглые с завитками и наклоном влево буковки, выписанные рукой прилежной ученицы, могли принадлежать только крошке Делле. Делла-Мэй... Кинкейд, так, кажется? Уинч не мог взять в толк, зачем ей вздумалось приглашать его. Он сразу же заподозрил Стрейнджа и позвонил ему.

Нет. Стрейндж не говорил ей, чтобы пригласить Уинча. И Преллу не говорил. Она сама отвела его в сторонку, когда он навещал Прелла, и спросила, кого надо пригласить. Среди прочих он, натурально, назвал и его, но предупредил, что Прелл может воспротивиться. «Это я возьму на себя»,— отмахнулась она. Лэндерс тоже получил приглашение, докладывал Стрейндж, и Корелло, и Трайнор — вообще все наши. С другой стороны, их не так уж много осталось.

— Ну что же,— сказал Уинч.— Я, наверно, приду. Почему бы и нет? — У него вдруг запершило в горле, он прокашлялся. Нежданно-негаданно на него навалилось что-то непонятное и бешеное. Он затряс головой, как пес, зажавший в пасти пойманную крысу.— Сдалась ему эта женитьба!.. — хрипел он в трубку.— Ведь едва ноги таскает! На что они жить-то будут, когда его демобилизуют? Он что, с ума сошел?

— А куда ему деваться? — В трубке раздался сухой зловредный смешок.— Ты разве не знаешь? Разве я тебе не говорил? Залетела она.

Уинч ахнул от изумления.

— Да, на полную катушку залетела. Нет у него теперь выбора, нету.

В голосе Стрейнджа опять прорезалось что-то сатанинское. Народу будет пропасть, рассказывал он, Уинч многих знает. Торжество что надо готовится. А насчет того, как жить будут, можно не беспокоиться. Его, видать, вообще не демобилизуют. Говорят, что даже лейтенанта дадут, первого.

Уинч презрительно фыркнул, попрощался и, повесив трубку, тут же забыл о Прелле. Будь он прежним Мартом Уинчем, он немедленно позвонил бы Джеку Александеру, но он никуда не стал звонить. Поэтому, прибыв в назначенный час, он сначала немало удивился, но быстро усек, что к чему. Венчание происходило в госпитальной церкви. Организацию торжества взяло на себя командование, справедливо рассчитывая, что не останется в накладе. Руководил всем полковник Стивенс. Если бы Уинч почаще заглядывал в офицерский клуб, он бы уже давно узнал о предстоящем событии.

После церемонии бракосочетания в зале для отдыха, специально подготовленном для этой цели, был устроен пышный прием. Кто с бокалом шампанского, кто с чем покрепче, по залу прохаживались члены Торговой палаты и престижных клубов «Ротари», «Кивани», «Львы», «Сохатые» с женами и без оных и даже целый контингент дам из Объединенного люксорского женского клуба. Словом, присутствовали представители всех тех организаций, где выступал Прелл, агитируя за приобретение облигаций военного займа.

Гости чувствовали себя как нельзя лучше. Они восторгались Прелом и невестой и были рады случаю на людей поглядеть и себя показать, особенно если собралось столько журналистов и фоторепортеров. Когда в свете фотографических вспышек Прелл и Делла-Мэй солдатским штыком разрезали свадебный пирог, цивильные гости дружно захлопали.

На протяжении всей церемонии, разумеется, фигурировала Почетная медаль конгресса. Прелла просили надеть ее, когда делали официальную фотографию молодоженов, снова — когда они с Деллой-Мэй разрезали пирог, и еще раз, когда репортеры фотографировали новобрачных вместе с полковником Стивенсом для газет. Каждый раз Прелл аккуратно складывал ленту и убирал медаль в коробочку.

— Ну что скажете, Март? — раздался рядом голос полковника Стивенса.

— По первому классу устроено, сэр! — заулыбался Уинч.— Облигации, наверно, нарасхват!

Полковник хмыкнул:

— Ну не сейчас, разумеется. Но пойдут.

Уинч был рад, что догадался надеть новую, сшитую на заказ парадно-выходную форму и нацепил ленточку. Приходилось вести вежливые разговоры с городскими гостями. Они без устали восхваляли Прелла, а когда узнавали, кто такой Уинч, радости их не было предела. Можно представить себе, как он гордится, что был его начальником. Уинч неизменно отвечал, что он горд и польщен этим обстоятельством.

Сквозь толпу к нему пробрался Стрейндж, и они отошли в спокойный уголок.

— Ты, я вижу, без своей цыпочки? — сказал Уинч.

— Угу. Такие сборища не по ней,— ответил Стрейндж.— А ты тоже?

— Моя уехала. Да и не стоило бы ее тащить сюда. Ее тут каждая собака знает.

Стрейндж рассказал Уинчу, что Прелл сделался записным оратором — такие речуги насчет военного займа толкает. Публике нравится, что он без затей, и полковник Стивенс даже рекомендовал начальству в Вашингтоне, чтобы его отправили в пропагандистское турне. Не сразу, конечно: парню нужно малость подлечиться, ноги пока еще не очень. А потом пошлют, говорят, в Голливуд. Так оно и задумано, заключил Стрейндж, чтобы оставить его в армии и при деле. По крайней мере до конца войны.

— Ну что ж, значит, все у него в наилучшем виде? — сказал Уинч, почувствовав неожиданно для себя огромное облегчение. Хуже всякой пытки — не пить на людях. Уинч подошел к бармену, спросил, не найдется ли сухого. Сухое нашлось.

— Как тебе сказать,— покачал головой Стрейндж.— Сам-то Прелл не больно радуется. Ясное дело, в армии остаться здорово. Но он в действующую хочет.

— А кто не хочет? — пробурчал Уинч, и Стрейндж понимающе кивнул. Нет, Прелл в самом деле считает, что это его долг. Циркулярный душ каждый божий день принимает и упражнения для ног по целым часам — прямо через силу парень работает. Иначе вообще бы не смог ногами двигать.

— Ногами двигать — одно, а пехота — другое,— возразил Уинч.— Перебиты же они у него.

— Да сам знаю,— отозвался Стрейндж.

Уинч кинул взгляд в сторону Прелла и крошки Деллы-Мэй. Прелл снова сидел в коляске. Он стоял на ногах во время свадебного обряда, вставал, когда фотографировали и когда они с Деллой резали пирог, и даже походил немного по залу: Но и эта малая малость потребовала от него большого напряжения.

Войдя в зал, Уинч сразу же подошел к Преллу, протянул ему руку и поздравил с законным браком, а Деллу поцеловал в щеку. Прелл пожал протянутую руку, сказал «спасибо», но улыбку даже не пытался изобразить.

Потом Уинч раза два ловил на себе его взгляд — застывший, ничего не говорящий, непроницаемый. Он попробовал подмигнуть ему, но Прелл сделал вид, что не заметил, и отвернулся.

— Тут встречаю его,— брюзжал Стрейндж, следя за Уинчевым взглядом,— мы одни были, он мне и сознался. Как в первый раз легли, так и залетела. Ахнуть не успел.

Уинч фыркнул и отвел глаза от Прелла. Он вдруг сообразил, что нигде не видно Лэндерса; потом его взгляд случайно упал на доброволку из Красного Креста, которая в этом самом зале в будние дни учит инвалидов плести корзины. Она явно была из дамского клубного контингента и выглядела вполне ничего. Вместо серой униформы на ней было дорогое вечернее платье — сразу скажешь — из богатых, и светлые волосы, хоть и не длинные, не как у молодой, очень даже соблазнительно завиты.

Уинча внезапно охватило безумное, безудержное желание подойти к ней, обнять легонько так, нежненько, а другой рукой вылить полный бокал вина на голову, прямо на ее роскошную прическу. Желание было настолько сильно, что каблуки сами оторвались от пола и ноги пошли к дамочке. Спохватившись, Уинч круто отвернул в сторону, залпом выпил вино и поставил бокал.

— Ты как хочешь, а я сматываюсь,— прошипел он Стрейнджу.— Меня от таких сборищ воротит.

— Меня тоже. Давай вместе.

Выйдя в коридор — такой знакомый, исхоженный взад-вперед,— Уинч достал из кармана платок и вытер выступивший на лбу пот. Рука у него заметно дрожала. Еще немного, и он бы... Ни с того, ни с сего.

— Кстати, как твоя благоверная смотрит, что ты на гостиницу все деньги угрохал? — услышал он свой голос.

— Никак не смотрит. Не ее деньги-то, мои.

— А-а... — промычал Уинч.

— Она на своем оборонном в Цинциннати сама дай бог загребает.

— А как она смотрит, что у тебя эта есть, Фрэнсис? Тоже не знает?

— Вряд ли она чего знает,— ответил Стрейндж, неторопливо выбирая слова.— Догадывается, может,— это другой разговор.— Он помолчал и добавил: — Все едино, разошлись мы.

— Ну? А я и не знал.

— Подполковник у нее какой-то есть. Давно уже с ним крутит.

— Понятно,— протянул Уинч.— Выходит, еще один потерпевший.

— Угу, вроде того. Потерпевший — это ты верно. Только с ней, видать, и раньше такое бывало. Еще до войны.

— Факт. У них у всех бывало.

— Твоя-то как?

— Моя? Живет себе...

— Понятно, живет. Где?

— Не знаю, не в Люксоре.— Они уже вышли из корпуса и шли по дорожке к главным воротам, за которыми выстроились такси.

Уинч назвал адрес городской квартиры и укатил. Он даже не оглянулся. Со Стрейнджем полный порядок. За такого волноваться нечего. Прочно на земле стоит, как валун, не сдвинешь. Вот только за Прелла беспокоится. От усталости Уинч не мог сообразить, хорошо это для того или плохо.

В веренице мыслей снова заскребла одна — о Лэндерсе и о том, почему он не пришел. Что-то тут не то, не то... Уинч задремал под мерный рокот мотора, но его разбудил японский сержант, который шел на него со штыком наперевес.

— Эй,— окликнул он водителя.— Я ничего сейчас не говорил? А то сморило меня.

— Да вроде нет,— сказал шофер.

Уинч успокоенно откинулся на спинку. Они уже подъезжали к его дому. В голове у него было вязко, как на проселке после дождя. Уинч не был уверен, что сумеет в конце концов урезонить Лэндерса.

Так вышло, что ровно через неделю после Прелловой свадьбы Гарри Л. Превора отстранили от должности. Вместо него 3516-ю квартирмейстерскую роту снабжения ГСМ принял капитан Мейхью.

Глава 26

Ничто не могло удержать Лэндерса, и он сразу ввязался в события.

Они были немного наслышаны о капитане Мейхью, так что новость не застала их врасплох. Кроме того, накануне вечером Превор провел беседу с сержантским составом подразделения. И все-таки Лэндерса огорчила и рассердила печальная, растерянная улыбка на лице лейтенанта, когда днем в канцелярию явился Мейхью, чтобы принять командование ротой.

У Лэндерса была простая и веская причина не прийти к Преллу на свадьбу: он работал. В штатно-организационном расписании роты он уже числился штаб-сержантом и командиром отделения. Конец дня, то есть то самое время, когда в госпитале происходила церемония, да и весь вечер у него обычно были загружены. Он обучал сержантов, проверял или переписывал накопившиеся с утра бумаги. Чтобы удержать в роте Превора и уберечь ее от всяких мейхью. Все его чувства с Бобби Прелла перешли на Гарри Превора и на 3516-ю, хотя он понимал, что со стороны лейтенанта было неразумно давать ему звание сержанта и отделение.

Когда прибыл Мейхью, Лэндерс со всем пылом души готов был отстаивать Превора и одновременно его пронизал ток нервного возбуждения, какое испытываешь, сталкиваясь с чем-то знакомым и опасным. Это не был плод расстроенного воображения неврастеника, а реальная угроза человеку. В объединившихся великих хваленых Штатах Америки выползало что-то живучее, цепкое, злобное, как в гитлеровской Германии и Японии,— то, с чем надо было бороться. Тревожное ожидание даже вытеснило в Лэндерсе сожаления по поводу снятия Превора.

На следующее утро после побудки рота гурьбой выкатилась на холод для построения. Капитан Мейхью принимал рапорт, а Превор в качестве заместителя командира стоял сзади, на расстоянии пяти шагов, и на его широкоскулом лице была та же печальная, растерянная улыбка. Лэндерс кипел от благородного негодования.

Накануне передачи командования Превор собрал в канцелярии своих писарей и двух сержантов — начальника кухни-столовой и сержанта по снабжению (то есть первоначальное «ядро» своей роты плюс Лэндерс) и провел с ними беседу. Потом он вызвал весь сержантский состав и произнес небольшую речь.

Смысл ее сводился к тому, чтобы они не вздумали поднимать бузу.

— Я не знаю, как вы относитесь лично ко мне. На эту тему у нас разговора не было. Одни, наверное, лучше, другие хуже. Но мне не хотелось бы, чтобы ваше отношение ко мне отражалось на вашем отношении к роте. К нам приходит новый командир, у которого могут быть свои методы. Это естественно. Но метод — это только форма, он не затрагивает сути дела, главного. А главное — наша рота, и давайте с честью сохраним это главное.

По мнению Лэндерса, речь была почти что безупречна. Превор, конечно, мог бы обойтись без мудреных слов, таких, как «метод» или «форма», которые вряд ли дойдут до всех, зато он говорил с достоинством и от начала до конца искренно. Придраться к нему было невозможно. Лэндерс подумал, что на месте Превора он не сумел бы сохранить столько благородства.

Прощаясь с кадровым ядром, лейтенант высказался яснее:

— Я знаю, стоит вам захотеть, вы ему желтую жизнь устроите. Так вот, я прошу вас как о личном одолжении: не делайте этого, не надо. Я не знаю, что он собой представляет, но и вы не знаете. Будем надеяться — нормальный командир, не хуже других.

Лэндерс быстро понял, как заблуждался Превор. Новый ротный оказался хуже не придумаешь.

Мейхью признавал только приказ. Таких командиров не интересует, что нравится подчиненным, а что нет. Он был готов на все — лишь бы настоять на своем. А ему досталось подразделение, где мало что умели делать и еще меньше хотели делать. Он, очевидно, так и не уразумел этого обстоятельства. Его самонадеянность была невыносима.

Он тоже произнес речь и сразу же настроил роту против себя. Центральный ее мотив звучал примерно так: «Поиграли и хватит. Пора наводить порядок». Во-первых, они уж никак не «играли». Во-вторых, каждый знал, что порядок в основном есть. Он упустил из виду, что обращается не к зеленым призывникам, а к бывалым воякам, которых как только не мололи, да не перемололи.

Естественно, что на Превора сразу стали глядеть как на святого, хотя раньше отнюдь не все были от него в восторге. Больше же всего роту покоробило то, что Превора оставили у Мейхью в заместителях.

В роте сразу же начался разброд. Показатели боевой подготовки снизились, на построения собирались кое-как, участились случаи препирательства с сержантами и прямого неподчинения. Сержанты смотрели на беспорядок сквозь пальцы. Есть десятки способов ставить начальству палки в колеса, притом безнаказанно, а теперь и подавно, когда у солдат появился общий враг. Превор тоже заставлял делать никому не нужные вещи, вроде осточертевшей начальной подготовки, но тогда они кляли штабных крыс. Сейчас кляли Мейхью, независимо от того, виноват он или нет. Рота быстро превращалась в скопище недовольных.

Лэндерс пока не высовывался, помалкивал. Он ведь дал негласное обещание Превору не затевать бузу, хотя его так и подмывало кинуться в драчку.

Через два-три дня после принятия роты Мейхью вызвал его к себе для конфиденциального разговора.

— Нам нужно кое-что прояснить,— начал он.

Помещение управления роты было уже не то, что раньше. При Преворе сюда частенько заглядывали сержанты со всей роты, чтобы пообщаться и выпить кружку кофе. Теперь их здесь не жаловали, а кофе вообще предназначался только для офицеров, даже писарям не доставалось. Вдобавок единственный телефонный аппарат в роте стоял в кабинете у Мейхью, и когда Лэндерсу или первому сержанту надо было позвонить, приходилось каждый раз идти к нему.

— Я знаю, что вас здесь считают незаменимым, сержант,— говорил Мейхью, восседая за столом.— О вас даже наверху наслышаны.— Он улыбнулся.— Однако я усматриваю непорядок с вашим положением. В штатном расписании вы проходите командиром отделения. Но в своем отделении вы практически ничего не делаете, заняты здесь, в канцелярии. Между тем помощник ротного писаря по штатному расписанию капрал. Придется это поправить. Лейтенант Превор вообще был неосмотрителен с назначениями,— заключил он с улыбкой.

Лэндерс кипел от злости, но изо всех сил старался не терять самообладания.

— Понимаю, сэр,— ровным голосом сказал он, помедлив.— В таком случае понижайте меня хоть сейчас. Я на должности не напрашивался и за звания не цепляюсь. Готов продолжать теперешнюю работу и капралом. А можете и в рядовые разжаловать, и я вернусь в строй.— Он помолчал.— По правде говоря, в вашей роте я даже предпочитаю быть рядовым, сэр.

Мейхью не сумел скрыть удивление, но тут же напустил на себя строгий вид.

— Нет, мне это ни к чему. Пока продолжайте исполнять свои обязанности, а там посмотрим. Как по-вашему, первый сержант и ротный писарь тянут?

— Нет, сэр. И начальник столовой, и сержант по снабжению тоже не тянут. Им надо помогать.

— Понятно. Продолжайте работу и помогайте им. Учите. Об отделении забудьте. Это все, сержант. Можете идти.

— Есть, сэр,— отчеканил Лэндерс и, подумав, добавил язвительно: — Благодарю вас, сэр.

Мейхью не заметил иронии.

Лэндерс вышел на улицу и присел в сторонке, чтобы успокоиться. Туп он как пробка, этот Мейхью! Небось приходится родственничком какой-нибудь шишке. Он ведь не мог не знать, что́ сделал Лэндерс для 3516-й, даже наверху знали. Какого же дьявола он изгиляется и настраивает против себя человека, который ему нужен?

С этого момента и началась между ними настоящая родовая вражда — затаенная со стороны Лэндерса и неприкрытая со стороны Мейхью. Лэндерс поубавил служебный пыл, сам реже оставался по вечерам и реже натаскивал других. Ни Мейхью, ни кто другой не имел права приказать ему ковыряться с бумагами после ужина — иначе и на неприятность можно напороться. Первый сержант и писарь, не понукаемые Лэндерсом, тоже были рады удрать пораньше. Кроме того, Мейхью взял за правило запирать свой кабинет на ключ, а основные документы для работы хранились именно там. Кончилось тем, что Лэндерс зачастил в кино, или пил пиво в филиале гарнизонного дома торговли, или просто болтался до отбоя и думал о женщинах. Последние недели он начал здорово тосковать без них.

Один раз ему удалось поговорить с Превором о том, что происходит в роте. Они встретились случайно, когда уже темнело, около казармы и постояли на холоде. Лэндерсу хотелось, чтобы Превор освободил его от обещания не поднимать бузу. Тот поначалу сопротивлялся, но в конце концов уступил.

— Что значит — «поднять бузу»? Вы же перестали обучать людей — большей бузы не придумаешь. Все остальное будет уже открытым саботажем. Вы на это не пойдете — и правильно сделаете.

— Я могу плюнуть на все и вернуться в строй, рядовым,— гнул свое Лэндерс.— Пусть тогда повертится.

— Вам же будет хуже.

— Посмотрим.

— Сами знаете, как там.

— Ничего страшного. Лучше уж ворочать канистры с горючим, чем вкалывать на этого сукина сына.

— Боюсь, вы иначе запоете, когда наворочаетесь.

Лэндерс мог сделать кое-что еще, о чем поостерегся сказать Превору, а именно: бежать из части, дезертировать. Вот это будет настоящая буза. После разговора с Превором у него даже настроение поднялось. Хотя Превор как будто освободил его от обещания, Лэндерс решил выждать.

Однако в конце концов у него лопнуло терпение, и это произошло из-за телефона. С самого начала аппарат находился в комнате командира роты. При Преворе не было никаких осложнений. Когда звонили в роту, трубку брал любой, кто был поближе, чаще всего сам Превор, потому что телефон стоял у него на столе. С первого же дня Мейхью ввел новый порядок. Он никогда не брал трубку сам. Если даже он просто сидел у себя за столом, то все равно звал: «Сержант, подойдите к телефону!», и Лэндерс или любой другой, кто находился в соседней комнате, вынужден был бросать дела и спешить к Мейхью. Почти всегда звонили командиру роты.

Это случилось примерно через неделю после разговора с Мейхью. Раздался звонок, Лэндерс опять услышал: «Сержант Лэндерс, подойдите к телефону!» — и взорвался. Взрыв произошел внутри, не вырвался наружу, но от этого он не был менее мощным — скорее наоборот. Мейхью сидел, развалясь в кресле, задрав ноги на стол, с сигарой во рту. Лэндерс прочитал в его взгляде издевку.

Лэндерс взял трубку — звонили Мейхью — и передал ее ротному. Вернувшись к себе, он сел за стол, не в силах унять дрожь в руках.

— Что это с тобой? — испуганно шепнул писарь. Последнее время он часто с беспокойством поглядывал на Лэндерса.— Тебе худо?

— Мне? Да нет, ничего. Все в порядке. А что?

Было около половины шестого, можно было расходиться. Когда, заперев свою комнату, ушел Мейхью, а за ним первый сержант и остальные, Лэндерс, не заходя в казарму, направился в близлежащую гарнизонку. У освещенного входа там стояли металлические кабинки с телефонами-автоматами. Он набрал номер Стрейнджева «люкса» в «Пибоди».

— Я сейчас еду,— сказал он Стрейнджу, дрожа от холода и с трудом прижимая трубку к уху.— Приготовь что нужно.

— Едешь? Сюда? — спросил Стрейндж.— А увольнительная есть?

Лэндерс повернулся к дверце. О Стрейндже он и не подумал. Тот наверняка начнет отговаривать, если узнает, что Лэндерс решил дезертировать.

— Дурацкие вопросы задаешь,— ответил он раздраженно.— Как же я могу без увольнительной? Послушай, Мэри-Лу там? Позови ее.

В трубке зашелестело.

— Я сматываю удочки,— брякнул он, как только Мэри-Лу подошла к телефону.— Дезертирую. Хочешь со мной? У тебя есть какое-нибудь надежное местечко?

— Что-что? Я не совсем...

— Тише ты! — прикрикнул Лэндерс.— Я не хочу, чтобы слышал Стрейндж. И вообще незачем ему знать. Он около тебя?

— Н-нет, я в спальне, одна.

— Тогда слушай внимательно. Я удираю, поняла? Насовсем. Давай махнем куда-нибудь вдвоем.— Есть же у нее какое-нибудь место, чтобы спрятать его, должна быть где-нибудь крыша.

— Ой, Марион, я не могу... — жалобно заговорила Мэри-Лу.— У меня теперь друг. Он сию минуту должен сюда прийти. Наверно, мы поженимся. Мы... мы любим друг друга.

— Ах вот как... — протянул Лэндерс и растерянно умолк. Он не ожидал такого оборота, не предполагал, что Мэри-Лу откажется, а больше никого у него нет. Надо было головой думать, не рассчитывать на нее. Но кто-то же должен быть. Неужели на целом свете его

некому приютить? Холод пробирал до костей, зубы у него стучали. Он не мог припомнить ни одной живой души.

— Может, Энни Уотерфилд согласится? — предложила Мэри-Лу.— Она вернулась.

— Она с вами?

— Сейчас нет, но должна подойти. Я могу сказать, чтоб она дождалась тебя.

— Обязательно пусть дождется. Только не болтай лишнего. Ничего о самоволке не говори, я сам скажу. Просто чтоб дождалась. И еще... нет, дай лучше Стрейнджа. Но ему ни слова, поняла? И вообще помалкивай.

Лэндерс весь трясся от холода, но в течение нескольких минут плел Стрейнджу насчет всяких пустяков, чтобы рассеять его подозрения. Судя по тону, тот действительно что-то заподозрил. Однако, когда Лэндерс повесил трубку, у него не было уверенности, что ему удалось усыпить бдительность приятеля.

Он продрог насквозь и ждать такси был просто не в состоянии. Он вошел в гарнизонку, чтобы согреться, и выпил за стойкой три кружки пива. От пива по телу его растеклось тепло, настроение поднялось. Хорошо, что он надел утром повседневную, а не полевую форму и солдатскую шинель.

В городке имелось пять филиалов гарнизонного дома торговли, но, естественно, такого огромного пивного зала, как там, больше нигде не было. И все-таки здесь тоже было просторно, полно посетителей, тепло и душно от курева, горклого пива и просыхающих шинелей. Когда кругом много народу, человек почему-то чувствует себя в безопасности. Странное, обманчивое чувство, но оно успокаивает. Неважно, что в зале собрались и озлобленные, и равнодушные, и веселые неизвестно от чего, но зато они тут все вместе и похожи друг на друга — каждый, как все. И умирать по крайней мере пойдут одним стадом, пачками, а не поодиночке. Лэндерса тянуло остаться в толпе и в тепле, но он наглухо застегнул шинель, поднял воротник и вышел.

У главных ворот его никто не остановил. В машине было холодно, и дорога в город показалась ему длинной и унылой. Прибыв в «Пибоди», он обнаружил, что говорят только о нем.

Не желая ввязываться в спор со Стрейнджем, он заявил, что претендует на спальню и на Энни Уотерфилд. Та ждала его: Мэри-Лу сдержала обещание. Никто не посмел возражать. Пока он не уединился с Энни, ему пришлось отбиваться от вопросов, молоть бог весть что, уверять, что просто захотелось передохнуть несколько деньков в самоволке — самое большее неделю, а в роте он обеспечил себе хорошую «крышу», не засыплется. Когда же, наконец, они заперлись с Энни в спальне, он решил, что лучше выложить ей все как есть.

Выложил, однако, он не сразу. Сначала надо было ублажить Энни в постели. Она заслужила свое.

— Знаешь, а ты в О'Брайере поднабрался силенок,— сказала она, поглаживая ему плечи.

Лэндерс и сам это знал, хотя на душе было по-прежнему скверно. Вдоволь натешившись, они лежали и разговаривали.

— А деньги-то у тебя есть? — спросила Энни.

— Долларов восемьсот осталось. В банке лежат.

— Это дней на десять нам хватит. Можем в Сент-Луис махнуть.

— Могу еще у Стрейнджа несколько сотен одолжить.

— Тогда, считай, две недели.— Она приподнялась на локте и продолжала, глядя на него: — Только я тебе вот что должна сказать: не нравится мне твоя затея. Зачем тебе рисковать, Марион? И потом...

— Ну говори, говори!

— У меня есть возможность съездить в Новый Орлеан. Я познакомилась здесь с одним человеком. Морской летчик он. Сейчас его пе-

ревели туда, и он предлагает приехать к нему недели на три или на месяц. И мне не хочется отказываться. А с тобой — куда мы денемся? И денег нет, и поймать каждую минуту могут. Сам подумай.

— Понимаешь, главное, чтоб вместе отсидеться. Ты же здешняя, неужели не знаешь какого-нибудь надежного местечка?

Энни помолчала.

— Погоди, погоди, кажется, я знаю такое местечко. Сама-то я редко там бываю.

— И где же это?

— Ты не поверишь — у моего папочки!

— Нет, это не пойдет. Если кто-нибудь проболтается, что ты со мной крутила, туда в первую очередь кинутся искать.

— И пусть ищут, ничегошеньки у них не выйдет! — рассмеялась веселым, заливистым смехом Энни.— У меня же папочка шериф!

Это почти в центре западного Теннесси, от Нашвилла порядком добираться надо. Там ни одного крупного города. Он вообще представляет себе этот район? Вполне может отправиться туда и гостить сколько душе угодно. Никаких проблем, она позвонит папе и пошлет ему записку с Лэндерсом. Он всю жизнь был шерифом, сколько она себя помнит. Вообще-то по закону шерифа у них в округе на два срока подряд не избирают, поэтому папа и его помощник меняются должностями. Четыре года шерифом отец, а следующие четыре — его помощник.

— Но это для проформы. Все знают, кто настоящий хозяин,— смеялась Энни.

— А военные части есть поблизости?

Есть одна, в Форт-Дюлейне. От Барлевилла миль пятнадцать — двадцать. Но это не имеет значения. Отец не то что начальника военной полиции — каждого полицейского в лицо знает.

— Если захочешь, он тебе целую кучу чистых увольнительных бланков притащит,— добавила она, смеясь.

— Но ты же не поедешь со мной,— полувопросительно сказал Лэндерс.

— Скорее всего нет,— вздохнула Энни. Ей правда хочется в Новый Орлеан. И вообще домой она редко ездит. Раза два приехала туда с одним знакомым — а отец расстроился. Вот она и перестала.— А приехать одной — так у меня там столько поклонников, еще со школы, слетятся, как мухи на мед.— Энни тряслась от смеха.— Сейчас, конечно, переженились все — кому в армию охота? И все равно, если приеду, знаешь что будет? Отец опять расстроится.

Энни встала с постели, подошла к шаткому бюро и вытащила из гостиничного почтового набора в ящике лист бумаги. Подложив его под тяжелое пресс-папье, она аккуратно оторвала полоску сверху — с фирменной надписью — и полоску снизу, где значились адрес и телефоны «Пибоди». Потом посмотрела бумагу на свет. Все это время она словоохотливо рассказывала о своей семье.

— Никто не разбирается в женщинах лучше моего отца. Наверно, так и должно быть, когда имеешь четырех дочерей.— Ей самой сейчас девятнадцать, сестре — шестнадцать. Третья через десять лет родилась, ей, стало быть, девять. Самой младшей — восемь.

Ее родители разошлись и живут отдельно, хотя и не разведены. Мать — в каменном особняке на другом краю города, и младшие сестры при ней. Сестра Энни, Люсин, ей шестнадцать, с отцом живет, в старом доме. Она сейчас на восьмом месяце, но мужа нет.

Энни кончила писать и сложила листок.— Положишь в простой конверт, ладно? Не хочу в фирменный. Отец огорчится.

Лэндерс аккуратно спрятал письмо. Энни, сидевшая за бюро, вдруг расхохоталась.

— Ты чего? — спросил он.

— Да так! Просто представила себе, как ты приедешь к нам и через пару-тройку деньков будешь в постели с моей сестренкой-малолеткой.

Лэндерс оторопел.

— Ну, что ты говоришь? И не подумаю.

— А куда ты денешься? Сама ляжет.— Энни явно веселилась.— Застеснялся, бедненький... Ну ладно, давай одеваться. Надо еще ему позвонить.

— Только не отсюда, хорошо? Я не хочу, чтобы Стрейндж и все остальные...

— Не бойся. Давно уже догадалась. Ты не хочешь, чтобы Джонни-Страни знал, где ты и что. И сержант Уинч тоже, верно? Сейчас поедем ко мне. Я оттуда при тебе позвоню в Барлевилл. А потом провожу тебя на автобусную станцию. Не возражаешь?

— Да нет... — пробормотал Лэндерс. Он чувствовал какое-то непонятное беспокойство, хотя виски в номере было залейся и он уже порядком принял для храбрости. Его поражало, с какой щедростью Энни предлагала свою помощь, и оттого он лихорадочно искал лазейку.— Слушай, а почему ты так — всей душой ко мне? — спросил он, силясь изобразить улыбку.— Можешь объяснить?

— Попробую,— откликнулась она с улыбкой.— Во-первых, потому что я не еду с тобой в Барлевилл. Чувствую себя немного виноватой. Во-вторых...— Энни посерьезнела.— Во-вторых, мне самой приходилось раза два убегать. Я знаю, что это такое. Особенно когда бежать некуда.

— Давай-ка уточним,— обиделся Лэндерс.— Я не бегу. Я отступаю.

— Я о том и говорю. А кроме всего прочего, ты — правильный парень, Марион.— Она вздохнула.— Только подумай хорошенько, может, не стоит, а?

— Думал уже,— отрезал Лэндерс.— И не раз.

Пока они одевались, Энни продолжала распространяться о своей сестренке Люсин. Могла бы и помолчать, думал Лэндерс, не до разговоров сейчас. Но Энни как будто прорвало, едва она затронула семейную тему. Она рассказала, что, забеременев, Люсин приехала к ней, но ей так не понравилось в Люксоре, что через два месяца она решила: будь что будет — и вернулась домой.

— И ее никто ни о чем не спрашивал? — полюбопытствовал Лэндерс, завязывая шнурки на ботинках.

— А чего тут спрашивать? Эка невидаль — незамужняя девчонка с брюхом. Таких теперь не меньше, чем замужних.— Энни старательно подкрашивала губы.— Времена знаешь как переменились. Даже пока тебя в Штатах не было. Из-за войны все кувырком пошло.

Лэндерс понимал, что она права, но сейчас ему было не до рассуждений.

— Стрейнджа вот нужно еще обработать. Ты в это не вмешивайся,— сказал он.

Но такому, как Джонни-Страни, запросто очки не вотрешь. Как ни успокаивал его Лэндерс, что они с Энни всего на несколько деньков, что в роте его покроют, Стрейндж не унимался:

— Ах ты сукин сын! Ты чего мне голову морочишь? Я ж тебя насквозь вижу. Как же ты не соображаешь, что поймают тебя, поймают? Что тогда будет? Нет, одного я тебя не пущу.— Стрейндж схватил с вешалки свою шинель.— Раз ты спятил, придется тебя сторожить, психа ненормального.

Народ забавлялся вовсю, наблюдая эту сцену. Только самим Стрейнджу и Лэндерсу было не до смеха.

— Тебе что, жить надоело? — орал Стрейндж.— Не позволю — и все тут!

Кто-то пытался перекричать Стрейнджа. Лэндерс еле вырвался из его рук и вышел в коридор. Энни и Фрэнсис с трудом удержали Стрейнджа в номере.

— Джонни, мы сейчас ко мне едем,— урезонивала его Энни.— Я позвоню оттуда! Честное слово, позвоню.

— Ко мне, ко мне! Никто не знает, где ты живешь! — кипятился Стрейндж.— Где мне его искать?

— Это точно, никто не знает,— как отрубила Энни.— И не узнает. Должна же девушка иметь покой и личную жизнь.

Взяв с Лэндерса и Энни твердое слово позвонить, Стрейндж в конце концов отпустил их.

Слово они сдержали, позвонили — сразу же после того, как Энни вызвала Барлевилл и поговорила с отцом. Стрейндж потребовал к телефону Лэндерса, и тот в который раз тщетно уверял приятеля, что идет в обыкновенную самоволку. Только железно обещав позвонить завтра же, Лэндерс наконец отделался от Стрейнджа.

— До чего же противно врать ему,— мрачно сказал он, кладя трубку.

— Пойдем,— торопила Энни,— а то опоздаешь на автобус.

Лэндерс молча махал Энни из окна. Потом автобус откатил от стоянки, и ее лицо пропало из виду, растворившись в море чужих лиц. Началось одинокое опасное плавание. Осталась позади и сразу же забылась Энни — как будто ее и не было. Лэндерсу было слегка не по себе, но внутри держалось убеждение, что он поступает правильно и по совести. И тут же мелькнуло в голове: интересно, какой он из себя, этот Чарли Уотерфилд?

Глава 27

Было три часа утра, когда «борзая», в которой ехал Лэндерс, остановилась в Барлевилле. Он не имел ни малейшего понятия, что делать дальше, но это его не волновало. По главной площади городка гулял ветер, ни единого огонька в витринах, ни одной живой души. Водитель сбросил у закрытого киоска несколько кип газет, затем тяжелая дверь автобуса затворилась, раздалось шипение пневматических тормозов и стихло в холодном воздухе.

В этот же момент из-под навеса какой-то лавки вышла мужская фигура в пальто из овчины и в широкополой, напоминающей ковбойскую шляпе.

— Марион Лэндерс?

Лэндерс подтвердил, что это он.

— Чарли Уотерфилд, отец Энни,— представился мужчина. Он был высок, сухощав, но даже под овчиной угадывалось брюшко, какое бывает у любителей выпить.

На углу улицы перед зданием суда — невзрачным сооружением из белого теса на кирпичном фундаменте — стояла служебная машина. Сквозь голые ветви раскидистых деревьев у входа виднелась табличка «Управление шерифа», и Лэндерс подумал, что Чарли мог бы преспокойно ждать его у себя в теплом закутке, а не торчать на ветру возле закрытой лавки. Остановившись у машины, Чарли Уотерфилд покосился на здание.

— Проклятые дрозды черные. Опять под крышу набились. Каждую зиму так.

Он уселся за руль и захлопнул дверцу. Как только Лэндерс сел рядом, Уотерфилд протянул ему бутылку виски:

— Хлебнешь?

Лэндерс с радостью взял бутылку. Уотерфилд тоже сделал хороший глоток и убрал ее к себе под сиденье.

Он не спешил трогаться. Целую минуту он просидел неподвижно, положив руки без перчаток на баранку и глядя на пустынную пло-

щадь. Лэндерс дивился поразительной молчаливости этого человека и догадывался, что его неразговорчивость — не от тупости или косноязычия, а от понимания того, как чудовищно трудно выразить что-либо словами. Потом Уотерфилд так же молча включил стартер и отжал педаль сцепления.

Они выехали на окраину, и Уотерфилд остановил машину у приземистого строения, которое на севере назвали бы «заезжаловкой». Дом был погружен во тьму и казался вымершим. Уотерфилд тем не менее постучал, дверь открыл мужчина в рубашке с расстегнутым воротом и женщина в вечернем платье. Их провели внутрь. Там был уют: низкие бра, негромкая музыка, длинный бар вдоль левой стены, а в глубине пятачок для танцев. Пластинка играла «Человека под зонтом» в исполнении Веры Линн. Когда они подъехали, Лэндерс заметил у дома с десяток машин. Их пассажиры были здесь.

Уотерфилда встретили дружескими восклицаниями. Кто-то поинтересовался:

— Эй, Чарли, это кто с тобой?

— Знакомый моей старшей. Из Люксора. Погостить приехал.

Никто не допытывался, что и как. Сказано, и точка. С гостем Чарли Уотерфилда надо держать себя так же, как с ним самим. При свете Лэндерс увидел у своего хозяина большие круги под глазами. Они придавали ему сходство с охотничьей собакой. И глаза смотрели так же, как у хорошей гончей,— понятливо, печально и настороженно.

Для Уотерфилда быстро накрыли стоявший в глубине стол, подали бутылку виски, стаканы, лед, графин с водой. Все делалось, очевидно, по раз и навсегда заведенному порядку.

Они сидели, пили и разговаривали. Чарли больше расспрашивал об Энни, а Лэндерс отвечал.

Как она там, в Люксоре? Как выглядит, здорова ли? Житьем довольна? Развлекается? И работу не бросила? А знакомые — порядочные люди?

Это был единственный раз, когда неторопливый Чарли замялся, споткнувшись о слово «порядочные», потом поправился и сказал «хорошие». В окончательном виде вопрос звучал так: «А знакомые — хорошие люди?»

Лэндерс отвечал со всей обстоятельностью, на какую был способен, хотя мало что знал об Энни. Он, к примеру, не знал, работает она или нет. Он не понимал, как можно неделями шляться с вояками и одновременно работать. Своими сомнениями он, понятное дело, с ее родителем не поделился.

— Ни к чему ей эта работа,— заявил Уотерфилд. Сквозь его настороженный взгляд проглянула улыбка.— Денег я ей посылаю вдостаток. Но ей нравится, я так понимаю.

Лэндерс счел за благо промолчать. У него не было сомнения, что Чарли является владельцем или совладельцем заведения. Один раз к столику подошла женщина в вечернем платье — она, видимо, и вела дела — и что-то спросила насчет бара.

— Потом поговорим,— сказал Уотерфилд, подняв печальные и настороженные глаза. Та мигом испарилась, а он продолжал расспрашивать об Энни.

Они приехали домой только в половине седьмого, когда уже светало. Лэндерс совсем опьянел и падал с ног от усталости, Уотерфилд же, напротив, был, что называется, ни в одном глазу, свеж и бодр. Он показал Лэндерсу его комнату, однако сам ложиться не собирался. Переодевшись в дневную форму, шериф отправился в свой обычный утренний объезд. Уходя, он предупредил Лэндерса, что, когда он проснется, Люсин будет дома и приготовит ему завтрак.

Так потекла жизнь Лэндерса в старом большом доме на Главной улице, потекла в соответствии с распорядком дня Чарли Уотерфилда, и в этот распорядок чем дальше, тем больше втягивался его гость. Он

поднимался в полдень, завтракал, а после завтрака усаживался в полутемной необжитой гостиной и читал газеты. Потом обычно следовала прогулка по центральной части городка. По пути Лэндерс заглядывал в каждую бильярдную и пивную и в какой-нибудь непременно встречал Чарли. На ленч он съедал сандвич, запивая его кока-колой, куда каждый раз просил плеснуть виски. Поразительно, до чего же много было повсюду спиртного в главном городке «сухого» округа. Потом он возвращался в высокий неухоженный дом, где ему дали приют, и заваливался спать или опять читал. Вечером они втроем отправлялись куда-нибудь поужинать, а после, когда Люсин ложилась спать, начинали с Чарли объезд ночных заведений, который, как правило, продолжался до зари.

Лэндерс не мог пожаловаться на свое житье. По крайней мере он был в полной безопасности. Один лишь единственный раз Чарли коснулся его дезертирства: передавая ему книжку чистых увольнительных бланков, он сказал: «Где я взял их, там этих бумажек навалом. Можешь гостить, сколько влезет».

Иметь увольнительные, конечно, хорошо, но они ничего не решали. Вспоминая Мейхью, и его паскудные штуки с телефоном, и то, что он сделал с 3516-й, Лэндерс впадал в ярость — хотя тщательно скрывал ее от других — и снова давал себе клятву, что не вернется в лагерь О'Брайер.

Однако за вспышкой ярости и молчаливой клятвой самому себе всегда следовала долгая полоса убийственной хандры, которая гнала его куда глаза глядят — лишь бы было что выпить. Лэндерс не пробыл в Барлевилле и недели, как отчетливо осознал, что он тут не задержится.

Через два дня после приезда Лэндерс с печальной усмешкой вспомнил Энни. Случилось так, как она и предвидела: он оказался с Люсин в постели, причем с опережением срока.

Произошло это совершенно неожиданно. На второе утро Люсин появилась в прелестном, до колен, пеньюарчике и воздушной, прозрачной комбинации. Поев, Лэндерс пошел в гостиную почитать газеты, а она молча уселась неподалеку на диванчике у окна, разглядывая занесенную мелким сыпучим снежком улицу. На третье утро она внезапно плюхнулась к нему на колени, смяв луисвиллскую «Курьер джорнэл». Ни сразу, ни потом Лэндерс так и не понял, каким образом она оказалась у него на коленях. В эти часы, как нарочно, Чарли никогда не бывал дома.

Так к мерному распорядку жизни Лэндерса добавилась Люсин. Ей теперь принадлежали его дневные часы: иногда пораньше, иногда попозже, как когда. Лэндерсу до смерти хотелось узнать, сумеет ли он разговорить ее, поскольку кроме односложных «привет» и «пока» он мало что слышал от нее. Трудное это занятие — состоять любовником при беременной барышне, особенно когда пропадает ощущение новизны и она молчит, как мертвая.

Чарли познакомил Лэндерса с несколькими женщинами, которые были не прочь развлечься. Почти все были замужем или помолвлены, но супруги и женихи находились у кого в действующей армии, у кого в тыловых гарнизонах, и они тосковали без мужчин.

Женщин было вдоволь, но Лэндерса не привлекала роль заезжего самца для утехи скучающих дамочек. Да и сил на других после Люсин почти не оставалось. И он предпочитал коротать ночи в беседах и выпивке с Чарли.

Говорили они обо всем на свете — обо всем, кроме женщин. У Чарли Уотерфилда была одна своеобразная черта: в каждой женщине он видел леди, каждой находил оправдание. Лэндерс давно заметил, что его соотечественники-южане и вообще американцы, как правило, делят женщин на две четкие категории: целомудренные ле-

ди и продажные девки. Только черное и белое — никаких полутонов. У Чарли было иначе. Он всех числил в одной категории.

Раза два, когда они ездили вместе по городу, Чарли заглянул к своей жене. Выяснилось, что он ежедневно привозит ей продукты на вечер и завтрашнее утро.

Миссис Уотерфилд выглядела очень даже недурно для своих сорока пяти лет, сохранив и стройную фигуру, и то, что в здешних краях называется женской свежестью. Но в ее овальном, мягком лице нет-нет да и проглядывало что-то затаенное, хищное, как у хорька.

Миссис Уотерфилд было достаточно посмотреть на Лэндерса, чтобы понять, что он спит с ее второй дочерью. И она, и Лэндерс знали, что означало это ее умозаключение, и обоим было ясно, что ему лучше не блефовать.

В конце третьей недели Лэндерс объявил, что уезжает. Было бы неверно утверждать, что это решение было результатом посещения Бланш Уотерфилд и ее девчонок. Однако знакомство с ними, похоже, ускорило его.

Он пытался объяснить Чарли, что слишком много накопилось всякого, в том числе личного, в чем еще надо разобраться. Тот, должно быть, предвидел такой оборот и невесело усмехнулся: он-то давно заметил, что Лэндерсу не по себе, хотя надеялся, что ошибается.

— Теперь уже недолго, войне конец. Тебе, может, не так кажется, но это так. Мы победили.

— Пока это фрицы и япошки поймут, сколько еще хороших ребят поляжет,— мрачно сказал Лэндерс.

— Ребят жалко, это верно, но все равно теперь уже недолго. Весной вот во Франции высадимся, а в Европе дело быстро пойдет. Япошкам уже показали, что к чему. Еще малость поднажать — и конец. На кой дьявол сейчас под пули лезть? Ты свое отвоевал. Подумай пару деньков. А пока я хочу тебе предложение сделать.

— Предложение? Какое?

— Оставайся у нас. Выкинь армию из головы. Вот мое предложение.

Лэндерс молча смотрел на Уотерфилда.

— Подумай хорошенько. Больше мне от тебя ничего не надо. Обещаю, что через месячишко пиджачок наденешь. И на работу устрою, если пожелаешь. Только зачем тебе работа? Сомневаешься? Никто пикнуть не посмеет. И ни одна сволочь не прицепится. Округ у меня вот где.— Он сжал кулак.

Лэндерс ужаснулся при мысли, с какой уверенностью в себе, с какой лихостью можно обойти законы.

— Ты подумай, подумай,— настаивал Чарли.

— Да как же? Меня ведь тогда из армии с треском вышибут как дезертира. Все права потеряю. Голосовать не смогу.— Лэндерс состроил гримасу.— Хотя нужны мне эти выборы...

— Я же говорю: все можно уладить. Как только война кончится. А может, и сразу. Рука в Вашингтоне есть, понял?

— Да...— растерянно протянул Лэндерс.— Предложение что надо. А тебе-то какая выгода?

Чарли неуверенно пожал плечами.

— Понравился ты тут — и дело с концом. Мне уж точно. И Люсин понравился. Влюбилась она в тебя, Марион, я так понимаю.

— Влюбилась?

Чарли выставил свою огромную лапу.

— Молоденькие, как она, всенепременно влюбляются. Кто попадет под руку в подходящий момент, в того и влюбляются. А стоит отойти малость, они мигом на другого переключатся. На того, кто поближе. Так уж оно бывает.

Лэндерс не находил, что сказать. Ни единым словом Чарли не дал понять, знает он о том, что гость спит с его дочерью, или нет.

— Еще неизвестно, какая тебе попадется,— может, куда хуже Люсин,— продолжал он.— Никто не заставляет тебя жениться, если не хочешь. А детеныш ее моим будет. Сам его на ноги поставлю. На тебе — никакой ответственности. И вот еще что: ты как смотришь, чтобы помощником шерифа стать? Ты бы подошел. От природы видный, на земле крепко стоишь.— По лицу Чарли промелькнула озорная усмешка.— А вообще-то особого ума тут не требуется, ходишь себе с важным видом, будто во всем разбираешься. Ну и, само собой, капитал с толком вкладывать надо.

Лэндерс молчал.

— Глядишь, через несколько годков и сам шерифом заделаешься. А из девки моей жена хорошая выйдет.

— Чарли, да она мне за все это время и десяти слов не сказала,— вырвалось у Лэндерса.

— Потому из нее и выйдет хорошая жена,— веско произнес тот.

Лэндерсу на секунду померещилась Бланш, ее холеные пальцы — неужели и она руку приложила? Впрочем, вряд ли...

— Ей-богу, не знаю, Чарли,— выдавил он наконец.

— Не знаешь — обмозгуй,— улыбнулся тот.— Я тебе еще вот что скажу: знаю я, что вы с Энни приятели. Но это не играет роли. Энни — она беспокойная, ей все новое подавай. Как была бродяга, так и будет. Люсин — другое дело. Домоседка. Ей только дом и нужен...

Что и говорить, предложение было царское. Сказочное предложение. Чарли даже не настаивал на женитьбе и на том, чтобы дать ребенку имя, хотя, пожалуй, он рассчитывал, что, если Лэндерс останется, так со временем все само собой и выйдет. Лэндерс обещал подумать два дня. Но и давая обещание, он уже отчетливо сознавал, что не воспользуется расположением Чарли Уотерфилда. Он честно думал два дня — и не передумал.

— Понимаешь, я просто не могу,— сказал он Чарли.— Кое-что еще сделать надо. Будь что будет.

— Обратно поедешь? — Они были в той «заезжаловке», куда Чарли привез Лэндерса в первый раз. Джаз Текса Бенеке наигрывал с пластинки «Паровоз из Чаттануги».

— Надо, Чарли.

— Ну смотри. Предложение остается в силе. Но надолго ли — не знаю. Не от меня зависит. Помнишь, сказал: стоит отойти малость, они мигом на другого переключаются?

— Конечно, конечно. Я понимаю. Если б все это через месячишко случилось, тогда — может быть...— Лэндерс сам не верил в то, что говорил.— Завтра уеду.

Когда Лэндерс прощался с Люсин, та обняла его и заплакала.

— Ой, Марион! Я так скучать без тебя буду!

Лэндерс был ошарашен.

Чарли отвез его к двухчасовому автобусу. Дверь закрылась, зашипели тормоза, и Чарли крикнул вдогонку:

— Не забудь о предложении!

Глава 28

Едва такси въехало на территорию лагеря О'Брайер, как на Лэндерса накатила безысходная тоска. Закопченный, грязный военный городок растянулся на несколько миль. Облако дыма, висевшее над ним, было похоже на приплюснутый серый зонт. За три недели его отсутствия городок, казалось, разросся еще больше.

Лэндерса трясло оттого, что вот сейчас он превратится в безликую единицу среди множества таких же единиц. Однако и под гнетом невеселых мыслей его все равно покалывало от возбуждения. Он

чувствовал зуд в крови и рвался в драку. Он ни за что не упустит такого случая.

Лэндерс клял себя за то, что возвращается, хотя имел превосходную возможность отсидеться. Но он не мог не возвратиться, не мог сделаться настоящим дезертиром.

Никаких затруднений у главных ворот городка не возникло. По пути из Люксора он выкинул бесценную пачку чистых бланков для увольнительных — на тот случай, если его будут обыскивать,— оставив себе лишь один, выписанный на последние три дня. Военная полиция у въезда не обратила на него никакого внимания, даже пропуска не спросила.

Прибыв в воинское расположение по собственной инициативе, он считался теперь не дезертиром, а всего лишь возвратившимся из самовольной отлучки.

Лэндерс попросил подвезти его прямо к казарме, где размещалась 3516-я рота. Такси из города все равно обошлось недешево — заплатит чуть побольше. В Люксоре он даже не заглянул в «Пибоди» повидаться со Стрейнджем: ему было стыдно, что он обманул товарища, и, кроме того, он не хотел, чтобы Стрейндж звонил Уинчу, а тот помогал ему выпутаться из беды. Однако едва он оказался в лагере О'Брайер, в нем снова сработала защитная реакция. Он передумал и велел шоферу везти его к зданию, где размещалось командование Второй армии. По городку двигалось множество колонн, техники, грузовиков с имуществом. Они проехали место бывшего расположения дивизии, переброшенной в Европу. Теперь здесь стояла какая-то другая дивизия со своей незнакомой эмблемой.

Когда Лэндерс поднялся на третий этаж, Уинч уже ждал его. Он провел Лэндерса через огромную канцелярию в свой кабинет, затворил дверь и хмуро на него уставился.

— Вернулся? — сказал он почему-то негромко.

— Как видишь.

— Хорошо, что хоть сам. Может, примут во внимание.— Уинч выудил из ящика стола бутылку «Сиграма».— Наливай.

Лэндерс хотел было отказаться, но бутылка соблазнительно маячила перед глазами.

— Спасибо,— сухо сказал он. Никогда не узнаешь, что у Уинча на уме.— Ну и что же тебе известно обо мне? — спросил он. Ему показалось, что Уинч смотрит на него с каким-то раздраженным недоумением. Но голос его был ровен.

— Только то, что сказал по телефону Стрейндж. И что рассказал Мейхью.

— Мейхью? — удивился Лэндерс.— Ты разве знаком с ним?

— После Стрейнджева звонка я сам пошел к нему.

— Чего тебя туда понесло?

— Слушай, может, ты проснешься наконец? Все я о тебе знаю, все! С того самого момента, как ты загремел в эту роту. Откуда, думаешь, вам возвращали дерьмовые суточные ведомости, которые составляли ваши недоумки? Где, думаешь, просматривали вашу ведомость на денежное довольствие, прежде чем отправить ее в финчасть?

— И знать не хочу,— взъерепенился Лэндерс.— Здесь, что ли?

— Ты вообще понимаешь, что тебе грозит?

Лэндерс только сейчас как следует разглядел Уинча.

Бледный, лицо обрюзгло, глаза смотрят иначе, не так испытующе и насмешливо, как раньше, снова наметился животик. Не поймешь, на пользу ему канцелярское житье или нет.

— Понятия не имею,— отмахнулся Лэндерс.

— И напрасно. Мейхью спит и видит, как бы тебя попримернее наказать. Сначала — в гарнизонную тюрьму, потом — на передовую

в Европу с пополнением. Как упорствующего в неподчинении — так у них это меж собой называется.

— Замечательно, я на это и не рассчитывал.

— А ты представляешь, что такое эти «упорствующие»? Могу обрисовать. Подонки, всякий сброд — каждый друг на друга волком глядит, самая тяжелая и грязная работа и под огонь первыми. Ни благодарностей тебе в приказе, ни наград дерьмовых, ничего. На тебе как крест поставили.

Лэндерс заставил себя усмехнуться.

— Это ты все придумал?

— Я пытался оттоворить его — бесполезно. Ты его по самому больному месту ударил. Рота-то разваливается.

— По крайней мере в штабе Второй армии поймут...— начал Лэндерс.

— Ни хрена в штабе не поймут. У него там рука. Никто его и пальцем не посмеет тронуть.

— А что будет с Превором?

— С Превором? Если повезет, пошлют на фронт заместителем Мейхью. А не повезет, сместят и сунут в какую-нибудь дыру. Если же очень повезет, то есть если он продержится, пока Мейхью по глупости не подставит себя под пулю, то снова станет командиром. Тогда, может быть, ему удастся сделать нормальное боевое подразделение. Опять-таки если оно к тому времени окончательно не разбежится. Тебе, впрочем, до этого не дожить.

— Плевать я хотел! — Лэндерс усмехнулся.— Зато эта задница Мейхью чему-нибудь научится.

— Ни в жизнь он ничему не научится. Серого вещества не хватает. У таких все с кондачка, по рефлексу, как у собаки на опыте. Беда в том, что сейчас все его отрицательные рефлексы на тебя направлены.

Внезапно Уинч резко повернулся и, тяжело дыша, грохнулся в свое роскошное кресло. Со злости дыхание сперло, подумал Лэндерс. Немного погодя Уинч откинулся на спинку и, кажется, успокоился. Лэндерсу захотелось двинуть ему ногой в пах.

— Есть только один способ вытащить тебя из дерьма,— выдавил он наконец.

— Да? И какой же? — саркастически поинтересовался Лэндерс.

— Нажать на него, чтобы отпустил тебя на несколько дней в госпиталь.

— В госпиталь? Зачем?

— Для обследования,— ровным тоном произнес Уинч.— До того, как тебя запрут в камеру.

— Ну уж нет...— протянул Лэндерс.— Ну нет, со мной этот номер не пройдет.

— Учти,— урезонивал его Уинч,— либо в госпиталь, либо в камеру — одно из двух.

— Ни за что! Психом прикидываться я не буду.

— Как хочешь. Только другого выхода нет.

— Но я даже не знаю, что надо делать.

— Что ненормальные делают? — Уинч смотрел открыто и сочувственно.

— Мейхью — вот кто ненормальный, не я! — кипятился Лэндерс.— Посмотри, что творится в роте с тех пор, как он пришел. Совсем распоясался.

— Согласен, но, к сожалению, приструнить его некому.— Лицо Уинча сделалось жестким, он нахмурился.— Я тебе вот что скажу,— прошипел он.— Не для того я с вами, сосунками, нянчился всю дорогу, чтобы вы мне смертников тут из себя разыгрывали, понял?

— Ты в самом деле думаешь, что мне удастся провести их? — Несмотря на браваду, Лэндерса вовсе не соблазняла перспектива

отправки на фронт как «упорствующего». Он не хуже Уинча понимал, что это значит. Ему вдруг отчаянно захотелось, чтобы кто-нибудь обнял его и пожалел.— Правда, думаешь?

— Расскажи им, что́ тебе снится по ночам.— Лицо у Уинча снова было спокойно.

Откуда Уинчу известно о его кошмарных снах, мелькнуло у Лэндерса.

— А теперь вот что,— продолжал Уинч.— Немедленно отправляйся в роту. Возьми такси — внизу у нас всегда машины есть. Лучше, чтоб тебя не засекли, пока ты будешь туда топать. Дуй прямо к себе в казарму, на свою койку. Потом как ни в чем не бывало явишься на очередное построение.— Уинч посмотрел на часы.— Ближайшее построение будет к ужину. Если тебя не заграбастают, ты присутствуешь на вечернем построении, договорились?

Прежде чем Лэндерс успел что-либо сказать и вообще сообразить, что происходит, Уинч уже настойчиво вел его под руку к двери.

— Я сейчас же звоню Мейхью, уславливаюсь о встрече. Буду уламывать его. Думаю, что получится. А ты смывайся!

— Да не могу я! — тоскливо топтался Лэндерс у двери.— Не умею я притворяться.— «Ни за что не догадаешься, о чем он думает»,— опять мелькнула у него мысль.

— Постарайся, сделай милость,— сказал Уинч, глядя ему прямо в глаза.

Он стоял на пороге кабинета и смотрел, как Лэндерс идет между столами к выходу. Потом он быстро вернулся к своему столу и набрал номер «Пибоди». Он не был уверен, что застанет там Стрейнджа, но тот отозвался.

— Порядок! — возбужденно говорил Уинч в трубку.— Согласился на госпиталь. Теперь бы только обломать этого долболоба Мейхью... Погоди, погоди,— прервал он Стрейнджа, безуспешно пытавшегося, очевидно, выспросить о чем-то очень важном.— Да нет, конечно, признают. По-моему, он на самом деле свихнулся.— Уинча разбирал дурацкий, беспричинный смех, но он сдержался.— Слушай, мне сейчас некогда разговаривать. Надо связаться с Мейхью. Я потом позвоню тебе. Ты будешь в номере? — Уинч нажал на рычаг и попросил телефонистку соединить его с капитаном Мейхью из 3516-й роты.

Уинч долго и тщательно готовил этот час. Во время их первого разговора Мейхью вел себя самоуверенно и воинственно. Пока обстановка не прояснилась, Уинч осторожничал. Из беседы он понял, однако, что командир роты несколько даже обескуражен тем, что Лэндерс осмелился на самоволку, и воспринимает это как личную обиду. Он понял, что Мейхью очень волнует, что подумают о нем в штабе Второй армии.

Уинч припомнил все эти обстоятельства, пока телефонистка соединяла его с Мейхью. Он коротко сообщил капитану, что у него есть вести насчет его бойца в самоволке, и предложил встретиться в баре офицерского клуба. Мейхью сказал, что придет немедленно.

Бармен устроил Уинчу отдельный столик на двоих, где можно провести конфиденциальный разговор и в то же время быть достаточно на виду. Время подходило к концу рабочего дня, и это тоже вполне устраивало Уинча.

— Вернул я вам вашего беглеца,— начал он, не теряя времени на любезности.

— Да, я уже знаю. Попался мне на глаза, когда я выходил.

Сюрприза не получилось, но Уинч предвидел и этот случай.

— Как ваши планы — собираетесь отпустить его в госпиталь на обследование?

Круглая голова Мейхью качнулась из стороны в сторону.

— За такие штучки полагается заключение. Я уже решил. Он намеренно уронил честь подразделения.

— А по-моему, мудрее сделать послабление.

Мейхью снова мотнул головой.

— Я даже думаю, не поставить ли вопрос о дезертирстве. Три недели отсутствовал.

— Если военнослужащий возвращается в часть по собственной воле, он не считается дезертиром.

— Этот пункт имеет исключения.

— Капитан,— вкрадчиво произнесла гарнизонная знаменитость,— вам не кажется, что вас больше интересует, что о вас подумают в штабе, нежели суть дела?

Мейхью стиснул зубы, ощетинился.

— Пожалуйста, не сердитесь. Тюремное заключение бросит пятно на всю часть. Это куда хуже, чем один псих. Посерьезнее каша заварится.

— Мне безразлично. Он сделал это преднамеренно и назло мне. И я добьюсь, чтобы он получил сполна.

— Зачем же относить это к себе? Сложится впечатление, что вы сводите счеты.

Мейхью упрямо качал головой.

— Формально я прав.

И все-таки он чувствовал себя явно не в своей тарелке. Он беспрестанно озирался по сторонам. Уинч знал, что он редко бывает в главном офицерском клубе и еще не сошелся с публикой. Уинча же, напротив, то и дело приветствовали старшие офицеры, собиравшиеся в зале. Многие были лично знакомы ему по работе в его отделении. Уинч остановил у столика одного штабного полковника и, поднявшись, представил ему капитана Мейхью, потом попросил подойти второго. Оба раза Мейхью вскакивал и едва не вытягивался в струнку.

Наконец настал момент, которого так ждал Уинч. В дверях появился полковник Стивенс. Худощавый, седоволосый, он с достоинством, как и подобает старому уэст-пойнтовцу, прошествовал в зал. В облике Стивенса всегда было что-то такое, что выделяло его среди остальных. Теперь же на погонах у него красовалась звезда бригадного генерала. Его произвели около месяца назад. Завидев Уинча, генерал сам подошел к нему.

— Привет, Март! — сердечно улыбнулся он.— Как поживаете? Что-то давненько мы не виделись.— По всему чувствовалось, что высокое начальственное лицо питает явную слабость к уорент-офицеру Уинчу. Тот представил Стивенсу капитана Мейхью. Генерал корректно наклонил голову.— Кстати, Март, что с вашим юным протеже... как его, Лэндерс, кажется?

— Все нормально, сэр,— сияя, ответил Уинч.— Абсолютно нормально.

Когда генерал отошел и оба сели, шаровидная голова Мейхью, казалось, совсем одеревенела.

— В таком случае я буду вынужден действовать по-своему, капитан. Вы отправляете его в камеру и в Европу с пополнением, а я подаю рапорт о переводе его ко мне.

Это был чистейший блеф, похлеще, чем в покере. У Уинча не было никакой уверенности, что у него хватит связей, чтобы провернуть такую операцию.

Мейхью сидел как оглоушенный.

— Вы не сделаете этого...— Он запнулся, подыскивая подходящую форму обращения, и закончил нейтральным: — мистер Уинч. Не сделаете.

— Обязательно сделаю! Он был в моей роте. Даром я его учил, что ли?

Шея у Мейхью побагровела еще сильнее.

— Ну ладно,— пробормотал он себе под нос и допил стакан.—

Хорошо, мистер Уинч, сейчас я распоряжусь, чтобы его переправили в госпиталь.— Капитану ужасно хотелось остаться, пропустить еще пару стаканчиков и быть представленным еще одному генералу, но он поднялся.— Надеюсь, мы еще как-нибудь посидим тут, мистер Уинч.

— Конечно, посидим,— ответил Уинч, а про себя добавил: «Черта с два».

Мейхью вышел из клуба. Уинч подумал, что надо бы позвонить Стрейнджу из автомата, обрадовать его, но он был совершенно измочален.

Лэндерс находился уже в канцелярии и под стражей, когда Мейхью вернулся к себе. Лэндерс сделал все, как сказал Уинч. Но, шагая по затвердевшей грязи к дверям казармы, он попался на глаза командиру роты, спешившему в клуб. Капитан велел послать за ним караульных.

В спальном помещении Лэндерс обнаружил, что койка его голая. Одеяло и белье убраны, на пружинах лежит скатанный матрац. Как будто его и не было. Его охватило острое, как никогда, чувство бездомности. Солдаты, слонявшиеся по казарме, кидали на него безучастные взгляды. У каждого было свое место, своя койка, свое одеяло. Двое караульных, посланных за Лэндерсом, нашли его возле койки в глубокой задумчивости.

Вернувшись из клуба, Мейхью был, по обыкновению, неподражаем: крут, решителен, деловит.

— Есть мнение: направить вас в госпиталь на обследование. Я пошел навстречу,— заявил он сухим тоном, не скрывая, что он лично с этим мнением не согласен.

В канцелярии, куда привели Лэндерса, собрались погреться по окончании рабочего дня ротные офицеры. Ему показалось, что в раскосых глазах лейтенанта Превора загорелся смешливый огонек, а у лейтенанта Бернса, бывшего заместителя Превора, мелькнула ободряющая улыбка. Лэндерс так и не узнал, то ли при слове «госпиталь» пронесся по комнате вздох облегчения, то ли это вздохнул он сам.

Недавно назначенный в роту молодой лейтенант Мэтьесон получил приказание с двумя конвоирами доставить Лэндерса в госпитальную палату для арестованных. Короткая поездка на ротном джипе прошла как последовательная серия унизительных изображений на экране.

Вылезая из машины у госпиталя, Мэтьесон улучил момент, когда рядом не было конвоиров, оглянулся по сторонам и быстро заговорил:

— Мне поручено передать, что офицеры роты поддерживают вас. Мы понимаем, почему вы пошли на это. И сделаем все от нас зависящее, чтобы выручить вас.

Лэндерс молча глядел на него. Если они знают, зачем он это сделал, значит, им известно куда больше, чем ему самому. Потом его захлестнула теплая волна и ему застлало глаза. Удерживая слезы, он улыбнулся и кивнул в ответ.

Немного погодя, пока Мэтьесон оформлял документы, с Лэндерсом зашептался конвоир. Ребята, натурально, мало что могут сделать, но все равно.

— Народ за тебя, ты это знай. Нашему долболобу давно пора мозги вправить. Он дождется.

Лэндерс заставил себя улыбнуться и просил передать ребятам привет.

Вот он и за решеткой — ну и что? Не так уж страшно, если за тебя горой люди. У других заключенных и этого нет. Но если говорить по правде, ему вовсе не хотелось улыбаться, когда за ним клацнула массивная дверь и он остался один.

Лэндерс изо всех сил старался не показывать, как ему плохо. В палате были газеты, и репродуктор у притолоки передавал военные сводки. Но тяжелая металлическая дверь наглухо отгораживала от тебя живых людей и так же наглухо отгораживала свободу. Свободу? — горестно усмехался Лэндерс. Обман и иллюзия! И все-таки это казалось свободой отсюда, из-за двери на замке.

Еще хуже было чувство заброшенности, которое приходилось пересиливать каждый час и каждую минуту, если не хочешь впасть в беспросветное отчаяние. Снаружи проводились учения, шла война, и были люди, которые вчера еще думали о тебе. Увы, эти «вчера», которые так живо вспоминаются, когда сидишь взаперти, незаметно переходят в позавчера и отодвигаются в прошлое. Люди не способны вечно думать о других, даже если им очень хочется.

Несмотря на обещание, которое по секрету дал ему Мэтьесон, от офицеров 3516-й не было ни слуху ни духу. Никаких известий ни от Уинча, ни от Стрейнджа. Молчал Мейхью, и молчал начальник военной полиции.

Лэндерса никто не навещал. Раз зашел сердобольный сержант из охраны, потом еще один, смущенно заводили разговоры — сразу видно: по обязанности. Они понятия не имели, как движется его дело. Когда они уходили, Лэндерс чувствовал облегчение. Но и они больше не появлялись.

Однообразным, неразличимым на календаре потоком тянулось и спешило время, размечаемое лишь почти ежедневными беседами с психиатрами, которые выспрашивали, не испытывает ли он наклонности к феллацио или непреодолимой ненависти к отцу. Слава богу, хоть в субботу и воскресенье обходилось без бесед: врачи уезжали в город.

В общем и целом жизнь шла не намного хуже, чем в больничной палате. Палата для арестованных была одним из четырех изоляторов в гарнизонном госпитале, и все они располагались в одном крыле: два — на первом этаже, два — на втором. Три остальных назывались невропатологическими, попросту говоря, это были «психушки»; они предназначались для пациентов с психическими расстройствами, формально не считавшихся заключенными.

В первые дни по ночам Лэндерс слышал, как откуда-то снизу то и дело доносился шум. Кто-то кричал, и все время одно и то же: «Выводи людей отсюда, черт побери, выводи!» Потом крики прекратились, и прошел слух, что это какой-то первый сержант из кадровых — сейчас его демобилизовали и сунули в дом ветеранов. Говорили, что он воевал на Гуадалканале, в той же дивизии, что и Лэндерс.

Такие вещи более или менее разнообразили жизнь.

В палате для арестованных содержались также душевнобольные, среди них и числился Лэндерс. Кроме того, сюда попадали с общими заболеваниями и тяжелыми травмами — эти проходили, по крайней мере по бумагам, как нормальные. Они тоже оживляли обстановку. Чаще всего это были жертвы поножовщины в городке или драк с серьезным кровопролитием, и их подлечивали, прежде чем отдать под трибунал. Сплошь и рядом таких было трудно отличить от помешанных. Раза два привозили обработанных до бесчувствия из самой тюрьмы — согласно официальной версии, они свалились с едущего грузовика. Немного придя в себя, они принимались громко жаловаться, что подверглись жестоким побоям. Их мало кто слушал. Глядя на их пакостные рожи с бегающими глазками, Лэндерс вынужден был признать, что такие соврут — недорого возьмут. Однако самым любопытным экземпляром был пленный немец-нацист, который в знак протеста объявил голодовку и выпивал только литр молока в сутки для поддержания угасающих сил.

Немец работал на одной из близлежащих ферм вместе с другими военнопленными, но потом стал настаивать на репатриации. Зая-

вил, что желает снова сражаться за фюрера и фатерланд. Грузный, самодовольный флегматик, он все больше напоминал Лэндерсу капитана Мейхью. Все самое отвратительное в человеческой породе, что камнем давило на него с того памятного дня на Нью-Джорджии, когда он сидел на вершине холма, воплотилось в этом немце. Лэндерс с самого начала возненавидел нациста лютой ненавистью. Он бы давно прикончил этого типа, будь его воля и подвернись удобный случай.

Немец имел привычку выхаживать взад-вперед по палате, отхлебывая молоко из бутылки. Лэндерс представлял себе, как он набрасывается на немца, вырывает бутылку, разбивает ее о его голову, зазубренным горлышком режет проклятому горло. Сидя на краешке кровати, он фантазировал и фантазировал, а немец вышагивал туда и обратно со своим молоком. На ночь его запирали подальше, в специальную комнату — была такая, которую при необходимости обвешивали щитами с войлоком,— чтобы до него не добрался какой-нибудь спятивший патриот вроде Лэндерса.

Была еще одна причина для вспышек раздражительности у Лэндерса: каждое воскресенье по утрам по радио передавали проповеди. Репродуктор громыхал на все отделение, и спрятаться от «божьего слова» было решительно некуда. Сладкозвучное вранье насчет любви к ближнему приводило Лэндерса в такое исступление, что он не мог усидеть на месте. В первое же утро он изложил жалобу дежурному. Он заявил, что он атеист и расценивает передачи как посягательство на его права. Дежурный поспешил согласиться с ним, указав, однако, что содержание передач и громкость устанавливает госпитальное начальство. Единственное, что он может сделать,— это сообщить о его жалобе наверх, хотя сомневается, что она возымеет действие. Лэндерс заметил, что, разговаривая с ним, дежурный все время делает какие-то пометки и складывает листки в его разбухшую историю болезни.

— Зачем вы записываете?

Дежурный пожал плечами.

— Главный по головам приказал.

Проповеди продолжались на полную мощность. На третье воскресенье после бурного протеста Лэндерсу разрешили во время передач находиться в комнате с войлочными щитами — той самой, где по ночам из предосторожности содержали немца. Тому проповеди не мешали: он был ревностным католиком, да и не понимал по-английски ни слова. Проповеди доносились и в специальную комнату, но гораздо глуше. Для Лэндерса это была своего рода победа, немного скрасившая его жизнь.

В один прекрасный день неожиданно нагрянул Стрейндж, после чего события начали раскручиваться с удивительной быстротой.

Стрейндж передал привет от Уинча, который не зашел лично, чтобы не повредить Лэндерсу. Уинч велел сказать, что никаких мер наказания в отношении Лэндерса решено не применять. Другими словами, ему уже не грозит ни трибунал, ни тюрьма, ни отправка на передовую. Однако он должен теперь серьезно подумать. Очень серьезно подумать, чтобы решить, чего он хочет: уволиться вчистую из армии или нет.

Уволиться проще всего, сказал Стрейндж. Если же он хочет продолжать службу, то Уинч на семьдесят пять процентов обещает перевести Лэндерса под свое начало. Он, правда, не гарантирует на все сто — мало ли что может помешать.

У него сейчас уйма времени и есть где уединиться, чтобы хорошенько все взвесить, съязвил Стрейндж, уходя.

Увольнение из армии намечено дать нормальное, это Стрейндж особо подчеркнул. Не по восьмой статье — дисциплинарные мотивы.

И даже не по статье, предусматривающей увольнение без положительной аттестации. Нормальная чистая бумага. По второй статье, медицинской, велел передать Уинч: нервные явления, связанные с несением службы, то есть ни лишения прав, ни ущемления в льготах, ничего такого. Выйдешь чистым как стеклышко.

Да, ради такого увольнения стоит раскинуть умом, думал Лэндерс.

Думалось ему лучше всего у окна, где стояла его койка, одна из четырех в камере, и попозднее вечером, когда уже погасят свет. Он усаживался на подушку в изголовье, облокачивался на подоконник и, глядя сквозь тяжелую решетку на огни городка, принимался думать. Думал серьезно — о себе и обо всем на свете. Но сколько он ни думал, не находил удовлетворительных ответов — вообще никаких ответов.

Пока не явился Стрейндж, Лэндерс не рассчитывал на Уинча. За все это время тот ни разу не поинтересовался, что с ним,— так же, как и офицеры из 3516-й. Из окна Лэндерсу был виден край трехэтажного здания, где размещалось командование Второй армии. В угловых окнах на верхнем этаже допоздна горел свет. Лэндерсу почему-то хотелось думать, что это и есть Уинчев кабинет. Жаль, что жалюзи опущены. И все равно, будь у него винтовка, он с превеликим удовольствием послал бы пулю в то место, где стоит кресло. И уж достал бы поганца, пусть и сквозь жалюзи, недаром был там.

Да нет, ненавидит он не Уинча.

Он ненавидит войну и человечество. Вернее, выродков вроде Мейхью и этого немецкого солдата. Лэндерс много думал о Мейхью, о пленном и о том, что же сделало их такими. Он не надеялся, что доберется до сути. А сколько их в мире! Куда больше, чем таких людей, как Стрейндж или, допустим, Превор. Но выродки тоже принадлежат к роду человеческому, и это приводило Лэндерса в отчаяние, и не оставалось ничего иного, как быть одиночкой-аутсайдером.

И все из-за тех выродков, которые добиваются власти. Добиваются любой ценой, а добившись, не знают, как ею распорядиться. Из-за таких вот Мейхью. Из-за таких, как этот немец, который готов убивать и умирать неизвестно за что.

А Уинч? Уинч не в счет. Он исключение из правила.

Теперь надо подумать и о другом. Ему предлагают увольнение, нормальное, без хвостов, увольнение вчистую. Но Лэндерс не мог решить: хочет он расстаться с солдатской службой или нет.

Когда он думал о Мейхью и о том немце, ему хотелось бежать из армии. Он не желал иметь ничего общего с человечеством и с войной, которую затеяло человечество.

Но когда он смотрел на сотни и сотни огней по всему городку и думал о Стрейндже и Уинче, о Прелле и Преворе и о тех двух сердобольных сержантах, которые приходили поболтать с ним,— когда он думал обо всех них, ему хотелось остаться в армии и быть с ними.

И еще Лэндерс не мог решить, стоит ли ему принимать помощь от Уинча. Между тем времени на размышления оставалось не так уж много.

Через два дня после прихода Стрейнджа к Лэндерсу провели другого посетителя. Это был лейтенант Дрер из его роты — тоненький, хрупкого сложения блондин лет тридцати с хвостиком. Его вместе с Мэтьесоном назначили сравнительно недавно, когда Превор доукомплектовывал роту. Дрер был совершенно не способен к физическому труду, зато голова у него работала здорово. Впрочем, работать головой в 3516-й вроде было и ни к чему. На Дрера в роте смотрели как на интеллектуала, и остальные офицеры то и дело обраща-

лись к нему за советом по поводу всяческих бумаженций. Вдобавок он был отзывчив и прямодушен.

— Мы сожалеем, что долго держали вас в неведении. Но нам показалось целесообразным выждать, пока прояснится ситуация.

— Да ничего,— отмахнулся Лэндерс.— Что новенького в роте?

— Пока живы,— улыбнулся Дрер.— Вам предстоит пройти медицинскую комиссию, она и вынесет окончательное решение. Нам, каждому офицеру роты, предложено дать на вас личную характеристику.

— Знаю я эти медицинские комиссии,— пробурчал Лэндерс.

— Нет-нет, падать духом нет никаких оснований. Кстати, как вы себя чувствуете? — спросил Дрер участливо.

— Ничего,— пожал плечами Лэндерс.— Хотя, сами понимаете, место для отдыха не наилучшее.

Дрер обвел взглядом палату и кивнул.

— Мы, естественно, знаем, что́ напишет капитан Мейхью. Лейтенант Превор даст, разумеется, похвальный отзыв. Остальные, естественно, тоже. К тому же мы решили максимально учесть ваши интересы и пожелания. Поэтому нам хотелось бы знать, в каком духе писать.

— Я вас не совсем понимаю.

— Проблема в том, к чему вы сами склоняетесь — остаться в армии или демобилизоваться. Нам нужно знать это, чтобы подать факты соответствующим образом.

— Это вы придумали?

— Как вам сказать... Идея носилась в воздухе. Я лишь сформулировал ее.

Лэндерс поглядел в окно. С того места, где он сидел, не было видно командного корпуса, зато он хорошо различал множество раскинувшихся вдали бараков.

— Я и сам не знаю,— удрученно ответил он.— Честное слово, не знаю.

— Но нам нужно знать. Иначе как напишешь?

— Можете дать мне время?

— Это не от нас зависит. Характеристики должны быть поданы завтра. Поэтому я и пришел.

Лэндерс долго молчал, глядя в потолок.

— Хорошо,— сказал он наконец, вздохнув,— пишите в том духе, что я склоняюсь к демобилизации. Хватит сидеть в одном дерьме с разными мейхью.

— Боюсь, что мы никогда не отделаемся от таких, как Мейхью,— усмехнулся Дрер.— Чего вы ждете от людей? Увы, они далеко не совершенны, мягко говоря. А вы убеждены, что хотите демобилизоваться?

— Нет, не убежден.— Лэндерс старался сдержать вспыхнувшее раздражение.— Понимаете, лейтенант, тут тактическое соображение. Если я вдруг в последний момент передумаю, то на комиссии лучше сказать, что я решил остаться в армии, а не наоборот.

— Пожалуй, вы правы. Значит, я так и передам ребятам? Чтобы они написали в том духе, что вы хотите уйти из армии?

— Да.

Дрер сделал какую-то пометку на листке и собрал бумаги в портфель. Его аккуратность действовала Лэндерсу на нервы. Он встал. Дрер тоже поднялся и протянул руку.

— Тогда я пойду.— На лице у него появилось несвойственное ему застенчивое выражение.— Знаете, Марион, вы в роте стали настоящим героем.

— Да уж, герой! — пробурчал Лэндерс.

— И все-таки приятно знать это,— продолжал Дрер.— Со своей стороны, я тоже рад, что мне довелось служить с вами.

Тяжелая дверь захлопнулась за лейтенантом, и Лэндерс пожалел, что не сказал ему других, более теплых слов, хотя вряд ли они нужны Дреру.

Лэндерс поражался, как быстро переменилось к нему отношение в палате. Никто не изучил механизм распространения слухов. Каким-то образом узнавал один и передавал другому, тот — третьему, и пошло. Здесь действовала такая же система тайной связи, как в любом подразделении. Лэндерс не проронил никому ни слова, но к вечеру вся палата знала: парень демобилизуется, увольняется честь по чести, с хорошими бумагами.

Лэндерсу было противно, тем более что он сам не знал, хочет ли уйти из армии. Его зауважали даже застарелые штрафники. Остальные глядели на него как на знаменитость, как на олицетворение и пример типично американского успеха. Надзиратели тоже заметно подобрели. Ночной дежурный предложил Лэндерсу вместе посмотреть его историю болезни — нет ли там чего, что может пригодиться на комиссии. Лэндерс наотрез отказался. В уголке сознания шевелилась мыслишка: а вдруг это очередная пакость, подстроенная хитроумными докторами?

Все произошло скорее, чем предполагал Дрер,— не через десять дней, а через неделю.

В понедельник, через неделю, пришел дежурный и, доброжелательно скалясь во весь рот, объявил, что завтра Лэндерсу на комиссию. Утром ему выдадут новую больничную пижаму и мягкие туфли.

Процедура была так похожа на ту, которую Лэндерс прошел в Килрейни, что у него возникло странное ощущение: было, все это уже было. Такая же строгая затемненная комната, такой же длинный стол и за ним — пятеро мужчин штатского вида, но увешанные воинскими знаками и наградами, та же атмосфера судилища. Лэндерсу безумно захотелось бежать из армии.

Спектакль явно повторялся — с той единственной разницей, что сейчас перед ним другой враг — добропорядочные любезные буржуа, мощный средний класс Америки, и он знает то, чего не знал раньше, полон горечи и никому не верит. Все их красивые слова, все распрекрасные торжественные обещания обратятся в пустой звук, как только он снова попадет на фронт, в реальный, а не выдуманный мир. Они, может быть, и не знали этого, но он, Лэндерс, знал, теперь знал и ждал подходящей минуты, чтобы сказать, что желает остаться на военной службе.

Но подходящая минута не выпала. С одной стороны, им вроде бы только того и надо было, чтобы он изъявил такое желание. С другой — с каждым их словом это желание улетучивалось. Его спрашивали о том, что он умеет и намерен делать. Говорили, что хотят использовать его знания и опыт. То же самое спрашивали и говорили в Килрейни.

В конце концов сидевший посредине круглолицый полковник с квадратным подбородком и в очках — очевидно, главный среди трех полковников за столом — спросил с некоторым удивлением:

— Скажите, сержант, в каких частях вы хотели бы служить в армии дальше?

Весь подобравшись, едва сдерживая звенящий от злости голос, Лэндерс сказал то, что только и мог сказать.

— Я вообще не хочу служить в армии, сэр,— твердо ответил он.

— Хорошо. Можете идти,— заключил очкастый.

Весть дошла до палаты едва ли не прежде самого Лэндерса. Он был отчислен вчистую. Комиссия единогласно решила демобилизовать его. В глазах товарищей по заключению это была большая победа. Они гурьбой бросились поздравлять его, хлопали по спине, орали, так что под конец Лэндерс даже огрызнулся.

После этого он сделался меченым. Мало того что он вырвался на

волю, а им еще тянуть лямку, так он же и оскорбляет, хотя они к нему с чистым сердцем. С той минуты его вообще оставили в покое.

Но ему уже было все равно. Начались бесчисленные формальности, которые отняли целых пять дней,— если считать с заседания медицинской комиссии и до того момента, как Лэндерс вышел за ворота военного городка свободным человеком. Колеса раскручиваются туго, но уж когда раскрутятся — только поспевай. Бо́льшую часть оставшегося времени Лэндерс проводил вне отделения, так что он не успел почувствовать отверженности. И вообще плевать ему — пусть думают, что хотят.

Он побывал в финансовой части — получил расчет, сдал на склад обмундирование и имущество, аннулировал в страховой конторе солдатскую страховку, чтобы как можно меньше связывало его с армией. Остальные дела были в канцеляриях самого госпиталя.

Согласно правилам, его всюду сопровождал вооруженный конвоир. Лэндерс еще считался заключенным. Правда, конвоир понимал его особое положение, перебрасывался с ним шутками и вообще не следил за арестованным в оба глаза. Кто вот-вот будет на гражданке — не сбежит.

Последние пять дней вылились в фантастическую беготню. Утром на шестой день Лэндерс поставил последнюю роспись — в получении чистенького белого тисненого свидетельства об увольнении из рядов Вооруженных сил США с положительной аттестацией. Церемония происходила в главной канцелярии госпиталя.

Лэндерс опомнился, только когда стоял уже за воротами госпиталя — в форме, с потертым синим полупустым вещевым мешком в руке. Свободный человек, иди куда душе угодно.

Он прошел три квартала до автобусной остановки и опустил вещевой мешок с пожитками на мерзлую землю, зажав лямку в кулаке. Скоро должен быть автобус в Люксор. День стоял сухой, холодный, слегка мело снежком. Солдатская шинелишка грела плохо. Он поежился.

Перед ним по шоссе шла колонна из вновь прибывшей пехотной дивизии. Кто в робах, кто в полевой форме, усталые солдаты шагали, хмуро опустив головы. Колонна была большая. Лэндерс смотрел и смотрел, мысленно перебирая места, куда он волен податься, а эти ребята — нет. Скорее всего он вернется домой, в Индиану, к своей ненаглядной семейке. Мысль о доме полоснула горячей болью. Хорошо еще, что можно не спешить.

Вообще-то надо бы заглянуть в «Пибоди», повидаться с Джонни-Страни. Но тот сообщил, когда навещал его, что через пару-тройку дней выписывается из Килрейни. Получил назначение куда-то сюда, в лагерь О'Брайер. Чтобы разыскать его, надо идти в командный корпус, к Уинчу, и разыгрывать сцену прощания. На это у него сейчас духу не хватит. Можно, конечно, пока остановиться в «Пибоди», хотя Стрейндж предупредил, что отказывается от номера, поскольку деньги все вышли.

Хвост колонны сворачивал с шоссе на изрытую выбоинами грунтовую дорогу. Из-за колонны появился гражданский автомобиль с гарнизонным номером. Прекрасно смотрится — женщина за рулем.

Лэндерс видел, как удаляются по дороге последние шеренги, но пар от дыхания над колонной на расстоянии казался почему-то выше и гуще, чем когда она проходила мимо. Лэндерс был счастлив, что он не там. Но одному в «Пибоди» тоже не хотелось. Даже если он раздобудет комнату.

Лэндерс видел быстро приближавшийся автомобиль и женщину за рулем. Она была очень хороша, даже издали. Наверно, чья-нибудь жена, к мужу-офицеру торопится. Но слишком уж гонит. Лэндерс нагнулся, аккуратно перевязал лямкой верх мешка и, выпрямившись, посмотрел на женщину за рулем.

Когда автомобиль почти поравнялся с ним, он спокойно шагнул под колеса.

В тот же миг он подумал: ни за что не сделал бы этого, будь перед ним джип или военный грузовик с мужчиной за рулем. Но уж очень она красива. В кабине тепло, шубка у нее распахнулась, под свитером соблазнительно вырисовываются груди. И волосы так красиво разметались по воротнику. До чего же хороша!

Лэндерс услышал бешеный скрежет тормозов и, кажется, крик. Потом раздался звон стекла, треск фары и сильный глухой удар.

Он заметил — или подумал, что заметил,— выражение ужаса на лице за ветровиком. Вместо рта перекошенная ярко-красная дыра. Изломанные от неожиданности брови. Вытаращенные в испуге глаза. Верно решила, что загляделась, не успела отвернуть в сторону. Ему хотелось рассмеяться. Честное слово, жалко ее. Наверняка подумала, что сбила кого-то... потом геликоптер оторвался от палубы и потащил его вверх.

На борту белого парохода все так же виднелся большой красный крест. Вдоль корпуса так же шла разрезаемая носом волна. Стояла такая же мертвая тишина.

А вдали, в голубой дымке, все так же простирался зеленеющий густыми лесами и сочными травами огромный континент. Пустынный, молчаливый, зовущий. О белые безлюдные берега бесшумно бился прибой. И было тихо, как бывает только дома.

Книга пятая. КОНЕЦ ВСЕГО

Глава 29

Бобби Прелл узнал об этом в Канзас-Сити. Стрейндж позвонил ему по междугородному телефону в отель «Мюлебах».

Прелл совершал свою первую поездку по стране с целью распространения облигаций военного займа. Стрейнджу понадобилось несколько часов, чтобы поймать его, потому что Прелл мотался по городу. Это был их первый день в Канзас-Сити, а первый день всегда уходил на беготню и устройство всяких дел, на «работу», как говорили в группе, хотя то, что делал сам Прелл, он вряд ли мог назвать работой. В тот день он тоже мотался по городу с кем-то из группы — не по делам, а с бабами. Когда после восьмичасового отсутствия Прелл наконец явился в отель, внизу, у портье, его ожидали шесть белых листочков, извещавших, что его разыскивают по телефону. Звонили из лагеря О'Брайер. Некто Стрейндж, сержант Стрейндж.

В первый момент Прелл даже не мог сообразить, кто это такой. Все настолько отдалилось, ушло в прошлое. Если бы на бланках значились общевойсковой госпиталь Килрейни и Делла-Мэй или Люксор, куда в прошлом месяце переехала ее мать, он бы подумал, что у Деллы, очевидно, появилась какая-то ненормальность в ее дурацкой беременности. Но Стрейндж из О'Брайера, где он и месяца не пробыл? Уму непостижимо, зачем он ему понадобился.

Прелл собирался посидеть с двумя парнями из «команды» и Джерри Курнцем, «режиссером-постановщиком» их «программы». Они договорились встретиться с несколькими «феминами», которых понабрали за день. Группа состояла из молодчиков голливудского типа, так что лексикон Прелла значительно обогатился стильными выражениями «шоу-бизнеса».

Однако сейчас, держа в руках шесть белых листочков, Прелл решил, что никуда не пойдет. Он отдохнет и поест в номере, ему, может, позвонят тем временем, и он присоединится к остальным позднее.

Прелл велел принести ему в номер бурбону и с облегчением уселся в коляску. Коридорный повез его к лифту.

С самого начала поездки они с Курнцем разработали особую тактику: где бы ни остановились, держать складную коляску в укромном месте рядом с портье и брать ее с собой, только если вечером предстоит выступление, а времени заехать в гостиницу не предвидится. Для дневных выходов он брал короткие костыли с подлокотниками. Инвалидную коляску Прелл ненавидел лютой ненавистью и пользовался ею только в крайних случаях. Бывали, однако, моменты, как сейчас, когда он так уставал, что не мог обойтись без нее.

Номер был просторный и удобный. Преллу все-таки пришлось выбраться из коляски, чтобы смешать себе порцию на столике-баре. Коридорный принес еще одну бутылку. Заперев на двойной замок дверь и даже навесив цепочку, Прелл снял штаны и с удовольствием растянулся на кровати. Глядя на его невозмутимое лицо, никто не догадывался, чего ему стоит подняться на ноги с низкого сиденья.

Ноги были не просто натружены — они ныли, как два больных зуба. Боль не утихала ни днем ни ночью, и лучший способ пересилить ее — двигаться, больше двигаться. В конце концов к такой зубной боли привыкаешь, и когда попадешь к дантисту и тот успокоит ее, тебе уже чего-то не хватает.

Чтобы взять стакан, Преллу приходилось каждый раз поворачиваться на бок и приподниматься на локте. Ему надоело это, он перелез в коляску и стал потихоньку тянуть виски. Потом снова улегся на кровать и уснул.

Что-то пронзительно загудело. Прелл вздрогнул, одним махом, превозмогая боль в бедрах, перекатился на живот и зарыл голову в подушку: мины! И тут же спохватился: ну и дурак же! Сколько уже прошло — восемь месяцев или девять? Пока Прелл поднимался и брал трубку, телефон звонил, не переставая.

— Да? — отозвался он настороженно.

Это был Стрейндж. Он не стал ходить вокруг да около. Прелл ничего не слышал про Лэндерса? Погиб он.

— Погиб? Как погиб?

Стрейндж был краток. Попал под автомобиль: какая-то мадам наехала — и насмерть, машина гражданская, хотя с гарнизонным номером. Жена офицера. За час до этого он получил окончательное увольнение, шел из расположения части. Женщина, натурально, сама не своя.

— Надо же — так глупо загнуться,— бормотал Прелл. Звонит в такую далищу, чтобы сказать ему об этом? Первой его мыслью было, что Лэндерс попал по пьяной лавочке в драку в какой-нибудь бильярдной или в баре.— Нет, честное слово, глупо,— повторил он.

— Да, глупо,— подтвердил Стрейнджев голос.— Но есть кое-какие непонятные обстоятельства. Женщина утверждает, что он сам шагнул под колеса, она уже не могла свернуть. И что он смотрел прямо на нее.— Стрейндж резко оборвал, как точку поставил.

— Что значит — шагнул под колеса? Ничего не понимаю,— сказал Прелл, а самому подумалось: «Я-то тут при чем?» Он еще не совсем отошел ото сна, но улавливал какую-то незнакомую, беспокойную интонацию в голосе приятеля.

— Зачем ей выдумывать историю? Ее никто ни в чем не обвиняет. Все говорят, что несчастный случай и она ни при чем. Смысла ей нет выдумывать.

— Погоди, погоди! Ты хочешь сказать, что это самоубийство? — Сон с Прелла как рукой сняло, хотя тут же он снова удивился про себя: «Ну и что? Мне-то зачем звонить? Если Лэндерс решил покончить с собой, кто ему запретит?» — Он сам, Джонни?

— Никто не говорит про самоубийство. Официально как несчастный случай проходит, это ясно. А с другой стороны, чего ради ей выдумывать? — Стрейндж помедлил.— Может, она все равно вину за собой чувствует, хоть и не виновата? Так ведь бывает?

Только сейчас до Прелла начало доходить, что Стрейндж звонит не столько из-за Лэндерса, сколько из-за себя самого. Он, Прелл, никогда не дружил с Лэндерсом, даже плохо знал его. Лэндерс не из кадровых, с пополнением пришел. Зато Стрейндж — настоящий кореш. И раз он нужен Стрейнджу, значит нужен.

— Бывает же, правда? — настойчиво повторил Стрейндж.

— Не знаю, вообще-то бывает,— неуверенно ответил Прелл.— Слушай, Джонни, сейчас мы все равно ничего не решим. Может, еще что есть, чего мы не знаем. А что Уинч говорит? Он-то что думает?

— У него разве узнаешь? Здорово вроде расстроен. А я и подавно, если по чести сказать. Но тебя-то я не собирался беспокоить, хотя, видишь, звоню.

— По-настоящему-то я ведь с ним был не очень,—медленно проговорил Прелл.

— Знаю я, но как-никак вместе вчетвером обратно плыли.

— Помню. Он еще несколько раз ко мне в салон заглядывал,— говорил Прелл, а сам судорожно искал и не находил верные слова, чтобы успокоить друга.

— Ага, а мы...— Прелл слышал, как Стрейндж глотнул воздуха.— А мы тут потрудились малость, чтобы он получил нормальное увольнение вчистую. Уинч особенно постарался. Думал, он этого хочет. Лэндерс и сам говорил: только одного, мол, и хочу — уволиться к чертям из армии. Одному лейтенанту...— Голос пошел вверх и осекся.

— Да, ты говорил. Я думал, что все устроилось.

— Ты поставь себя на его место. Тебя вышибают из армии, ты выходишь за ворота госпиталя — и все. Как бы тебе было?

— Плохо,— согласился Прелл.— Но я — другое дело. Он ведь не кадровый солдат... Ну не из кадровых,— поправился он.— Он же сам хотел уволиться.

— Да, верно, не из кадровых,— неуверенно протянул Стрейндж.

— Послушай, Джонни, ты... это самое... не раскисай. Через пару недель я буду в Килрейни. Потолкуй пока с Уинчем.

— Не хочет он ни о чем толковать.

Конечно, не хочет, подлец этакий, подумал Прелл раздраженно.

— Вернусь вот — и поговорим про все, хорошо?

— Ладно. Ты не подумай, что я помираю. Просто решил, что надо тебе сообщить.

— Правильно сделал, что позвонил,— соврал Прелл.— Если что, завтра тоже звони. Послезавтра мы уже в Небраску махнем, в Линкольне будем.

— Ладно. Ты не беспокойся, слышь? За меня-то нечего беспокоиться. У меня все нормально. Приедешь — увидимся.

— Как там, в новой части? — поинтересовался Прелл.

— Нормально. Чего тут может быть? Я ведь теперь в войсках связи. Сварганить ребятам чего посъедобнее и раздать, пока не остыло,— всего и делов-то.

— Небось, лопают и похваливают,— помимо воли расплылся Прелл и спохватился: ну, не идиот ли, не видит же его Стрейндж.

— Вроде довольны. Ну ладно, пока.— Но прежде чем повесить трубку, вежливо осведомился: — У тебя-то как, порядок?

— Полный! — бодро ответил Прелл.— Я и не знал, что уродился оратором.

— Ну и здорово.

Трубка щелкнула и замолчала. Прелл вдруг понял, что весь разговор простоял на ногах и ныли они безбожно. Он снова растянулся на кровати и начал угрызаться совестью.

Ему было стыдно, что он не подбодрил Стрейнджа как следует. Стыдно, что сравнительно спокойно воспринял известие о смерти Лэндерса. Стыдно и жалко, что не пытался по-настоящему подружиться с ним,— почему так вышло?

Но больше всего Прелла тяготила нынешняя его роль. Во что он ввязался? Толкает речуги, платным агитатором заделался. Шут записной — вот он кто, хоть и с высшей военной наградой. Команда ломает комедию, и он с ними.

На Прелла снова нахлынуло горькое чувство ненужности и смехотворности того, что они делают. Оно наваливалось каждый день, тяжелее и упорнее раз от разу, и он бился что есть силы, тщетно стараясь избавиться от него.

Это чувство поднималось в нем примерно в одно и то же время — к вечеру. Они мотались целый день по городу, потом он возвращался в гостиницу, чтобы передохнуть перед торжественным сборищем с его выступлением или перед очередной попойкой с этими голливудскими хлыщами, вырядившимися в армейскую форму. Он ложился на кровать, чтобы дать отдых ногам, и мучительно думал.

Шут и есть: взывай к долгу, дави на слезу — что угодно, лишь бы народ раскошеливался и покупал поганые облигации. Форменный шут, только называешься «главным исполнителем», вокруг которого вьются разные «осветители», «звукооператоры», да еще «сценаристы», «режиссеры», «продюсеры». И каждый указывает, что́ говорить и ка́к, куда встать и где сесть. На кой ему это? Что он тут делает?

У Прелла не было ответов на одолевавшие его вопросы. Вернее, он знал ответ, один-единственный, простой, и с самого начала его знал: он хотел любой ценой остаться в армии. А выбор был один: либо вот так, либо давай на улицу в штатском пиджачке.

Один раз Прелл уже пережил те же сомнения — давно, еще в начале декабря, перед тем как было принято окончательное решение. Его вызвал генерал Стивенс, тогда еще полковник, и предложил на выбор: демобилизация или участие в распространении военного займа. Стивенс был настолько любезен, что предложил обсудить оба варианта. Тогда они все и порешили вдвоем.

— Я понимаю, что идея может показаться непривлекательной,— говорил он.— Но другого способа я не вижу. Иначе мы не можем держать вас в армии. Я имею в виду ваше состояние.

Седовласый, подтянутый, он отодвинулся вместе с креслом от стола и с улыбкой смотрел на сидевшего перед ним в инвалидной коляске Прелла.

— Признаюсь, я испытываю какую-то личную заинтересованность в ваших делах, Бобби. Это началось, когда мы только познакомились. Вы возражали против ампутации, и мы вместе искали выход, помните?

— Конечно, помню, сэр,— отвечал Прелл хриплым голосом.

— Тогда у вас еще не было Почетной медали, а многие полагали, что не будет и ног.— Полковник благодушно улыбался.— Я хорошо помню ваше заявление о том, что вы мечтаете прослужить в армии все двадцать лет.

Прелл кивнул, но выдавить ответную вежливую улыбку не смог.

— Я еще раз взвесил все возможности. Самым внимательнейшим образом, вместе с уорент-офицером Александером. Не знаю, понравится вам или нет, но мне ваше ближайшее будущее рисуется так...

Идея состоит в том, что он получит назначение в Вашингтон, в Управление генерал-адъютанта, но останется в Люксоре, в распоряжении штаба Второй армии. Непосредственным его начальником будет он, Стивенс, по крайней мере первое время. Работать он будет с голливудскими деятелями, специально привлеченными для этой цели. В разъездной группе, распространяющей облигации военного займа.

— Таким образом вы будете при деле, во всяком случае до окончания войны.

— А после войны? — спросил Прелл.

Стивенс выставил руку и откашлялся.

— После войны... После войны придумаем что-нибудь другое. Существует, например, служба подготовки офицеров запаса —

СПОЗ,— которая есть во многих колледжах и университетах по всей стране. Обычно эти места держат для кадровых мастер-сержантов с многолетним стажем, но известны исключения, когда берут людей пониже званием.

— Не вижу причины, которая помешала бы вам подготовиться к такой должности.

Полковник отечески улыбался, а Прелл хотелось плакать от благодарности и любви к этому старому подобранному солдату, любви безумной, невыразимой, не сравнимой ни с чем, что он когда-либо испытывал к другим людям. Ради него в ту минуту он был готов на все.

— Не утверждаю, что вы будете в восторге,— продолжал Стивенс,— но это лучшее, что мы можем предложить. С помощью уорент-офицера Александера я прозондировал почву о возможности назначения вас на такую должность. Полагаю, что после войны вы сможете ее получить. Особенно учитывая Почетную медаль.

— У меня только один вопрос, сэр,— хрипло выдавил Прелл.— Эта работа... по военному займу — она не уронит чести медали?

Полковник буквально вперился в Прелла.

— Ничто не может уронить чести Почетной медали конгресса и умалить то, что вы совершили, чтобы заслужить эту высокую награду. Помните это!

— Есть, сэр,— отчеканил Прелл, однако рискнул пойти дальше.— Мне кажется, что меня наградили незаслуженно.

— Так не бывает. Если наградили, значит заслуженно. Для того и существует строгая процедура рекомендаций и представлений, чтобы исключить всякую ошибку. Поскольку вы награждены, то заслуживаете всего, что положено герою.— Полковник едва заметно улыбнулся, хотя глаза глядели так же строго.

На том они и порешили еще в начале декабря. Есть ряд осложняющих обстоятельств, пояснил Стивенс, и их надо устранить, чтобы Прелл мог работать в СПОЗ; главное среди них — проблема звания. Если Прелл собирается претендовать на такую должность, он должен попасть в офицерский состав, то есть дослужиться хотя бы до первого лейтенанта, чтобы уволиться в звании мастер-сержанта. Демобилизация после войны предполагает понижение в звании на два ранга. Он, Стивенс, уже провел кое-какую работу, поскольку в настоящее время Прелл всего лишь штаб-сержант. После первой успешной поездки Преллу дадут техника-сержанта, а немного погодя и мастера. Когда он будет переведен в Управление генерал-адъютанта в Вашингтоне и отправлен на Западное побережье, его произведут в офицеры — сначала он получит второго лейтенанта, а затем и первого.

— Все это хитро придумано, но что поделаешь,— усмехнулся старик.— Если я хочу выйти в отставку в звании полковника, то до окончания войны я должен заработать генерал-майора.— Стивенс пододвинул кресло к столу.— Я, разумеется, не могу вам дать полной гарантии. Никто не может абсолютно гарантировать такое продвижение за короткий срок. С моей стороны было бы непорядочно давать определенные обещания. Но я думаю, что ради такого дела стоит потрудиться и, разумеется, все спланировать заранее.

Прелл кивал, не находя от волнения слов. Он был покорен откровенностью и джентльменской порядочностью старого полковника, и у него захватило дух от перспективы такой стремительной карьеры.

Именно откровенность и порядочность Стивенса побудили Прелла обратиться к старику за советом, когда через месяц он узнал, что влип в историю с Деллой-Мэй.

Собственно, идти больше было не к кому. Не к Стрейнджу же — что он может посоветовать? Ни Уинч, ни Стрейндж для такой роли не подходили.

— Жениться, жениться без всяких разговоров!— воскликнул

Стивенс, едва Прелл успел выложить ему как на духу, что случилось.— Это единственный достойный выход.

Прелл был готов к такому ответу, но ему нужно было время, чтобы свыкнуться с мыслью о будущих переменах.

— Есть, наверно, и другие способы решения, сэр...

— Погубить человеческую жизнь? Ну уж нет! — возмутился Стивенс.

— Какая там жизнь,— защищался Прелл,— полтора месяца всего.

— Все равно! Человеческая жизнь — это самое ценное,— твердо изрек старый вояка.— М-м... Скажите, у вас полная уверенность, что отец — вы?

— «Нет» легче всего сказать. Но если по чести, как мужчина мужчине, то да, полная.

— Тогда и надо поступать, как полагается порядочному человеку,— строго сказал Стивенс.— Если хотите знать мое мнение, скажу: надо жениться. Вы обязаны жениться, несмотря ни на что. Это ваш долг. Кроме того, как знать — может, она действительно любит вас.

— Медаль она на мне любит, вот что,— угрюмо ответил Прелл.

— Все равно обязаны жениться. Ребенку нужно имя.— Полковник машинально рисовал какие-то фигуры на листе бумаги.

Прелл знал, что услышит именно это. Может статься, он и пришел к Стивенсу как раз за тем, чтобы это услышать.

— Если вы так считаете, я готов, сэр.

Полковник обвел фигурку размашистым кругом, потом еще двумя и отбросил карандаш.

— Да, именно так! Вы подали мне превосходную мысль. Я думаю, мы сумеем извлечь пользу из этого случая. Мы вас разрекламируем.— И Стивенс принялся излагать идею бракосочетания в госпитале.

Даже сейчас, в Канзас-Сити, Прелл не знал, в какой мере эта идея повлияла на его окончательное решение жениться, хотя понимал, что повлияла. Кроме того, как сказал Стивенс, «если не сойдетесь характерами, всегда можно получить развод. Зато у вашего сына будет имя». Так и сказал — сына. Хотя откуда он знал, что родится сын, одному богу известно. Сейчас Делла-Мэй была уже на пятом месяце, но никто, даже врач, конечно, понятия не имел, мальчик будет или девочка.

Пересиливая себя, Прелл снова встал с кровати и пошел к бару налить еще.

Часы на руке показывали десять тридцать. Скоро прекратят подавать ужин в номера, и если он сейчас же не сделает заказ, то придется обойтись осточертевшими сандвичами с индюшатиной.

Но есть ему не хотелось. Он взял стакан с неразбавленным бурбоном, присел на край кровати и не спеша выпил. Затем снова улегся и попытался погрузиться в сон, из которого его так бесцеремонно выхватил звонок Стрейнджа.

После свадьбы всю чувственность Деллы-Мэй как рукой сняло. То она устала, то болела спина, то тошнило. Напрасно Прелл доказывал, что за два дня, прошедших после свадьбы, никаких изменений в ее состоянии произойти не могло,— Делла-Мэй была неумолима.

Выходило, что она втайне питала отвращение к своей пылкости, и теперь эта ее пылкость вытекла, как ртуть из треснувшего градусника и осталась только пустая ломкая трубка с ничего не говорящими делениями, которыми раньше измерялся сердечный жар.

Выходило, что, укрепив брачным свидетельством тылы и прикрыв им фланги, она готова теперь стойко сражаться за свои так называемые «принципы». И за самый очевидный из них: настоящая южная леди должна с брезгливостью относиться ко всему, что касается секса.

Прелл еще глубже зарылся головой в подушку.

Сон подступал медленно, толчками, как будто порывами крепнущего, грозящего перейти в бурю ветра; он гнал и крутил летучие снежные хлопья, которые заметали землю белой тишиной. Наконец, Прелл уснул, и сразу же пошли кошмары. Или ему показалось, что уснул, потому что по-настоящему спала только одна его половина, а другая не смыкала глаз, не в силах отвести взгляда от навязчивых видений.

Ему снова привиделось его отделение и их разведка. Ребята снова и снова цепочкой шагали перед ним, и другая, бодрствующая его половина с ужасом смотрела на них и удивлялась, почему они так долго не приходили к нему. И на этот раз среди них, с ними был Лэндерс. Он то маячил среди убитых, то возникал вместе с ранеными.

Прелл проснулся в поту. Видение не посещало его уже порядочное время. И никогда, ни разу ему не снился Лэндерс.

Было уже за полночь. Он знал, что теперь не уснет, как ни старайся. Механически, будто от сильного толчка, он тяжело поднялся с постели, ступая нетвердыми ногами, подошел к телефону и набрал номер штабного «люкса» Джерри Курнца. Гульба, само собой, была в самом разгаре.

— А я тебе что говорил, черт ты двурогий! — радостно заорал Джерри в трубку. — Топай к нам, а то фемина перезрела. Истомились все, ждут тебя не дождутся.

Прелл вызвал дежурного и попросил отвезти его в коляске к Курнцу в номер.

Выбор Прелла пал на ту, которая больше всех горевала, что его нет. Это была привлекательная породистая блондинка, настоящая южная леди, она и держалась как леди, хотя набралась уже, судя по всему, порядком. Остальные тоже были положительные замужние женщины, не чета дешевкам, которые ошивались на Четвертой улице в Люксоре.

Канзасскую блондинку звали Джойс.

— Джойс, вы не отвезете меня на этой штуке в мой номер? — закинул он удочку после того, как они мило поболтали, несмотря на гомон и тесноту в гостиной.

Они заснули обнявшись. Прелл спал без снов.

Проснулась Джойс около пяти, трезвая как стеклышко. Глаза у нее испуганно бегали.

— Боже мой, что же я делаю? — проговорила она, натягивая простыню на грудь.

Прелл уже привык к этому деланному испугу утром, и видел этот жест с простыней, и слышал почти такие же слова. Все они одинаковы.

— Что ты теперь обо мне подумаешь?

И это тоже все говорили одинаково. Прелл научился быть рассудительным и внимательным в такие моменты. Он начинал плести всякие нежности, но они, казалось, не слышали, что он говорит, и даже не видели его самого. Им достаточно было голоса, интонации.

Потом, по обыкновению, партнерша выскакивала из постели, приказывая ему отвернуться, но он, разумеется, не отворачивался, а, наоборот, с удовольствием и сожалением пялил на нее глаза. Она хватала одежду и кидалась в ванную, чтобы сполоснуться, подкраситься и одеться.

У Прелла был замечательный предлог не вставать самому: инвалид не обязан провожать даму. Зато он каждый раз предлагал позвонить портье, чтобы тот вызвал такси. Им это нравилось.

Затем он поворачивался на другой бок и засыпал. В девять его будил звонок. Джерри Курнц неизменно интересовался, как оно бы-

ло, и Прелл неизменно отвечал, что никак не было. Курнц понимающе хохотал.

На этот раз было несколько иначе. После того как Джойс, обернувшись у двери, послала ему пламенный воздушный поцелуй, Прелл, набросив халат, перебрался в коляску. Он боялся уснуть — из-за кошмаров. Он сидел с бутылкой в руке, наслаждаясь женским духом, все еще присутствовавшим в комнате. Пил он совсем немного — только чтобы расслабиться: предстоял тяжелый день. Наверное, он и подремал — благо догадался застопорить колеса,— но подремал самую малость и без всяких снов.

Вечером он выступал в огромном зале в центре города. Народу собралось много. Среди женщин, распространявших пригласительные билеты, Прелл увидел Джойс. Улучив момент, когда они остались одни, Джойс поинтересовалась, увидятся ли они сегодня. Прелл с сожалением ответил, что никак не может. Ему было не до баб. Весь день он думал о Стрейндже и Лэндерсе, но Стрейндж так и не позвонил. Прелл не терял надежды, что он позвонит позднее.

Днем у Прелла было еще одно выступление, на котором он бодро отбарабанил заготовленную речь. Но, выйдя вечером на сцену огромного зала, он забыл про нее и неожиданно для самого себя начал говорить о Лэндерсе. Посередине речи он понял, что бессовестно фантазирует, чтобы разжалобить аудиторию. По его рассказу выходило, что у Лэндерса было тяжелое ранение, которое привело к ампутации ноги, что потом потребовалась повторная операция и Лэндерс умер.

К чему он рассказывает все это, риторически вопрошал Прелл присутствующих. К тому, что Лэндерс умер безвестным героем, не получив ни чинов, ни наград, ничего — это раз. И второе, что таких, как Лэндерс, много, и тех из них, кто вернется домой живым, надо окружить исключительной заботой и вниманием.

Прелл понятия не имел, зачем он нагородил столько выдумки. Уж не тронулся ли? Наверно, ему хотелось хоть как-то отдать последнюю почесть Лэндерсу, и слова сами поперли из него.

На обратном пути в гостиницу Курнц говорил Преллу, что успех потрясающий, что, когда он закончил, зал плакал. В фойе, где Джойс с другими дамами вела запись желающих приобрести облигации, выстроилась очередь. Ни в одном городе не записалось столько народу.

— Ей-ей, ты отлично разыграл этот спектакль,— серьезно сказал Курнц.— Даже меня проняло до слез. Но давай вот о чем условимся: пожалуйста, предупреждай, когда у тебя появляется свежая идея. Чтобы мы могли обкатать ее и подготовить текст.

— У меня это само собой получилось,— возразил Прелл.— Я и не собирался о нем говорить.

Курнц понимающе кивнул.

— Хорошо, что осветитель слушал тебя и вовремя уловил настроение.— Курнц нерешительно кашлянул.— Скажи... м-м... это связано со вчерашним звонком? Ты был так расстроен.

— Конечно, связано,— признался Прелл.— Частично.

Курнц сочувственно похлопал его по плечу.

— Я так и думал. Обязательно используем этот сюжетец. Будем его варьировать. Завтра же засажу Фрэнка.

Прелл не знал, хорошо это или нет, если в его речи будет фигурировать «сюжетец» с Лэндерсом, но спорить сейчас у него не было сил.

На протяжении всего турне они только раз крупно повздорили — из-за коляски. Курнц настаивал, чтобы во время больших выступлений его вывозили на сцену. Потом он должен самостоятельно подняться и сделать, прихрамывая, два-три шага до трибуны. Прелл наотрез отказывался.

Курнц подал свою идею по-умному.

— Давай начистоту, парень. Я знаю, что тебя воротит от этой телеги. Ты считаешь, что это — жульничество. Но ведь публика не знает, что тебе на самом деле приходится пользоваться коляской. Я-то знаю, а они — нет. Ты должен подать себя. Не забывай, что наша цель — растрогать народ, развлечь его и заставить раскошелиться. Представь, ты встаешь и, превозмогая боль, идешь к трибуне. Все — ты уже очаровал, покорил зрителя! А покоренные выкладывают денежки. За этим нас и послали. Задание у нас такое, понимаешь?

Логика железная, против нее не попрешь. Понятно, почему Курнц заработал майора. Прелл вынужден был согласиться и попробовать. Коляска творила чудеса.

Теперь то же самое произойдет и с историей про Лэндерса, которую он сочинил. Ему придется пересказывать ее снова и снова. Чем дальше, тем больше она будет делаться чужой и тем меньше в ней будет того, что он пытался выразить.

Но сейчас ему не хотелось спорить. Ему нужно было одно — попасть в гостиницу и узнать, не звонил ли Стрейндж.

Звонков не было. Ни во время его отсутствия, ни потом. Он мог провести еще одну приятную ночь с Джойс и без всяких кошмаров. Вместо этого он провел ночь один и в кошмарах. Он просыпался три раза весь в поту от страха.

Утром вся их команда на большом военном самолете вылетела в Линкольн. Через два дня они уже были на пути в Денвер, самую отдаленную точку их маршрута.

Линкольн оказался скучным провинциальным городишком, где не особенно разгуляешься. Зато уж в Денвере они отведут душу, обещал Курнц.

К тому времени страшные сны почти перестали мучить Прелла.

Глава 30

Стрейндж не позвонил вторично Преллу, потому что понял: ни к чему это.

Кроме того, его часть отправлялась на десятидневные учения, и он был загружен выше головы: за двое суток предстояло привести в порядок походные кухни.

Его неприятно поразило, как спокойно отнесся Прелл к известию о смерти Лэндерса. Ему было трудно вообразить, что случившееся с их приятелем может кого-то оставить равнодушным. Он еще допускал, что остальные ребята из их роты не будут особенно горевать, но чтобы кто-то из четверых... Выходит, распадается даже костяк роты, разваливается из-за новых интересов и новых привязанностей.

Хуже всего, что из-за этого сам начинаешь бог весть что думать. Чего, мол, они стóят, твои привязанности? Получается, что привязанность как товар, который можно купить, выгодно продать или обменять по каким-то необъяснимым правилам, действующим в армии в военное время. В армии прорва народу, ей нет дела до чьих-то личных привязанностей. Уинч, помнится, говорил об этом.

Как он тогда сказал и где это было? Точно — на транспорте, в тот день, когда показалась земля. Они подходили к Сан-Диего.

Как же он сказал? *Пора кончать эту трепотню насчет роты. Все кончилось, Джонни-Страни, понимаешь? Кончилось! Вбей это в свою тупую техасскую башку.*

Прав был старшой, куда как прав. Он всегда наперед все знал. Ненормально это — наперед все знать и понимать. От этого и свихнуться недолго. Да еще говорить людям, но те — все одно, хоть кол на голове теши, никто не слушает. Предсказывать — ненормально это. Стрейндж был рад, что бог не дал ему такого таланта.

Но вот теперь до него дошло — и врасплох, как будто кто в морду неожиданно двинул. А Уинч-то давно знал и был готов.

Стрейнджу не понравилась часть, куда он попал. Сброд, набрали с бору по сосенке. Офицеры, рядовой и сержантский состав — как

положено, но все вразнотык. Одни наверх лезут, карьеру делают, другие лямку тянут и радуются, что живы. Которые с амбицией — тех то повышают, то переводят куда-то в другую часть.

Его подразделение было подразделением связи и теперь отправлялось на учение. Им предстояло установить где-то в лесной глуши коммутаторы на деревянных панелях (в Англии, говорили, выдадут металлические) и обеспечить связь какой-то дивизии с соседней или танкового корпуса с каким-то еще. Никто ничего толком не знал. Стрейндж заведовал кухней в одной из рот.

Нет, радоваться в части было нечему, разве что работе. Вот когда их перебросят в Европу, то в бою, под огнем, они, может, притрутся друг к другу и образуют одно целое, и дух товарищества появится. Но пока ничего этого не было, и Стрейндж существовал сам по себе, как и другие.

Многие свои привязанности он оставил в госпитале. Ему очень нравился, к примеру, подполковник Каррен. Он питал симпатию к своим из старой роты, которые собирались в «Пибоди», у него в номере. Эта симпатия улетучивалась помимо его воли по мере того, как ребята выписывались из госпиталя и разъезжались кто куда, но все равно это была симпатия, настоящая симпатия даже сейчас. И к Фрэнсис он испытывал серьезную привязанность, хотя девчонка и не имела никакого отношения к армии. Однако самую горячую, самую верную привязанность он испытывал к тем троим, с которыми возвращался домой. Он не верил, что их четверка распадется.

Госпиталь оказался тем местом, где гасли и рвались привязанности. Больше всего в этом убедил Стрейнджа последний разговор с Карреном.

Однажды во время утреннего обхода Каррен попросил его зайти к нему в кабинет для беседы — возможно, прощальной. Сердце у Стрейнджа учащенно забилось. Ему и самому в последние недели приходила мысль, что в госпитале остались только он и Прелл. Уехал Уинч со своим больным сердцем, выбыл Лэндерс с перебитой лодыжкой. Выписывался даже Прелл с искалеченными ногами — ему предстояла первая поездка. Его, Стрейнджа, пустяковая рана не шла ни в какое сравнение с тем, что было у них. И тем не менее он все еще болтался в отделении, изнывая от тоски. Что же это получается?

Каррен не тратил время на околичности.

— К сожалению, с рукой у вас не так хорошо, как я надеялся. Поэтому мы и держали вас так долго.

— Что значит — не так хорошо? Не болит, не воспалена. По-моему, все в порядке.— Стрейндж повертел кистью, сжал и разжал кулак. При мысли о возможном отчислении из армии его охватила паника.

— Я не говорю о физическом заживлении: рана затянулась превосходно. Я имею в виду работу суставов и связок. То самое, что мы хотели поправить. Операция прошла очень успешно, и мы имели основания рассчитывать, что подвижность восстановится на все сто процентов. Увы, не восстановилась.— Каррен взял Стрейнджа за запястье.— Ну-ка сожмите. Крепче. Так. Теперь разожмите. Чувствуете, будто что-то мешает внутри?

— Что-то есть,— вынужден был согласиться Стрейндж.

— Ну вот, об этом я и говорю. Результаты такого состояния могут быть самые различные.— Он мельком взглянул на пациента, как будто собираясь обстоятельно перечислить все мыслимые варианты, но передумал.— Не исключено, что это пройдет. Но лично я склонен думать, что полная подвижность кисти не восстановится. И наверняка рука начнет беспокоить вас с возрастом.

— Ну и что? — встревоженно спросил Стрейндж.— Что же я, совсем негоден, что ли? Так и будете держать меня тут?

Каррен рассмеялся.

— Вы по-прежнему рветесь в Англию?

— Именно так, сэр,— официальным тоном произнес Стрейндж.

— Ну что ж... С моей стороны возражений не будет. На данном этапе больше операций не требуется. Через два-три дня вы возвращаетесь в строй.

— Вот это здорово! А то вы меня напугали.

— Но должен предупредить вас,— строго продолжал Каррен,— что ухудшение может наступить внезапно, быть может, завтра или через неделю. Поэтому настоятельно рекомендую быть осторожным. Не перегружайте руку.

Теперь вовсю улыбался Стрейндж.

— Если что, я могу и скрыть — кто узнает? В первый раз вот полгода вкалывал — и ничего.

— Не советую. Сами знаете, чем это обернулось.

— А теперь, пожалуй, и год протяну.

— Так или иначе я выписываю вас как ограниченно годного.

— Особой разницы нет,— осторожно проговорил Стрейндж.— Я ведь кухонный сержант. Что в стрелковой роте на передовой, что в инвалидной команде — все одно.

— Может, и одно,— улыбаясь, качал головой Каррен.— Но у меня инструкция.

— Ясное дело! — Против инструкции не попрешь.

— Если рука всерьез разболится, вас снова направят в госпиталь.

— Можно вопрос, сэр?

— Давайте.

— Допустим, разболится еще в Штатах, где-нибудь на Восточном побережье,— куда меня направят?

Каррен пожал плечами.

— Теоретически в ближайший госпиталь с хорошей хирургией. Практически же вы попадете сначала в гарнизонный госпиталь. Затем — если, конечно, не найдется какой-нибудь шутник-самоучка, который вздумает попробовать на вас свое умение владеть скальпелем,— так вот, затем вас переправят в ближайший стационарный госпиталь. И независимо от того, есть у них такой специалист или нет, вы быстро окажетесь на столе.

— А если это случится, скажем, здесь, в лагере О'Брайер?

— Ну тогда, конечно, к нам.

— И оперировать будете вы?

Каррен помолчал.

— Нет, не я.

— То есть как? — удивился Стрейндж.— Почему же не вы?

— У нас начинается реорганизация. Госпиталь расширяется, готовимся ко дню «Д» — к европейской кампании. Вместо одного хирургического отделения будет два. Подполковник Бейкер будет начальником одного из них, а второе отдали мне. Был хирургом, стану чиновником. Как говорится, вышибают с повышением. Думаю, что нам самим оперировать не удастся. Дела и близко к столу не подпустят.

— Значит, если что с рукой случится, я все равно к вам не попаду? — Стрейндж сдерживал раздражение.

— Значит так, если трезво смотреть на вещи. Разумеется, если вы попадете к нам, я постараюсь проследить.

— Ладно, спасибо,— ответил Стрейндж и осторожно пожал тонкую сильную руку хирурга.— Скорее всего, мы с вами больше не увидимся, подполковник.

Каррен внимательно посмотрел на него.

— Скорее всего нет. Во всяком случае, пока идет война.

Вот так оно получилось со всеми привязанностями Стрейнджа. Их сразу как обрубили с его назначением в лагерь О'Брайер. Когда он прибыл туда, прервались отношения даже с Уинчем, с которым

он общался последнее время по телефону и все больше в связи с неприятностями у Лэндерса.

Сам Лэндерс к тому времени был, как говорится, на выходе и, наверно, уже принял роковое решение. Так они потом рассудили.

Последний раз Стрейндж виделся с Лэндерсом в палате для арестованных через день или два после «беседы» с Карреном. Он еще не был в лагере О'Брайер, потому что в армии все делается на неделю позже намеченного срока. Лэндерс был бледный, взъерошенный, под глазами огромные круги. Стрейнджу догадаться бы, что с парнем здорово неладно, а у него переезд, то да се, пока устроился, осмотрелся. Словом, времени еще раз навестить Лэндерса не выкроил.

Как и всякий прибывающий в лагерь О'Брайер, Стрейндж проходил через канцелярию Уинча. Тот и его тоже вышел встретить.

Лэндерс рассказывал Стрейнджу о заветной бутылке виски, припрятанной у Уинча. Теперь он сам имел случай попользоваться ею и с удовольствием опрокинул налитый стакан.

— Ну, Джонни-Страни, на какую должность метишь? — спросил Уинч, широко и добродушно щерясь.— Можно устроить что твоей душеньке угодно.

— Так ведь особой разницы нет, старшой,— усмехнулся в ответ Стрейндж.

— Сегодня нет, завтра будет. Очень даже большая. Ты меня послушай. Если согласен на временное понижение до простого сержанта, могу оставить тебя при себе. Первым поваром. Заведующий столовой у меня пока есть. Так вот, согласен на понижение? Месяца на два, на три?

Стрейндж не раздумывал.

— Чего-то не хочется, старшой,— сказал он с той же усмешечкой.

— Значит, желаешь, чтобы все по-официальному шло? — В прищуренных глазах Уинча заплясал злой огонек.— А там как выйдет?

— А чего мне еще остается? — услышал Стрейндж собственный голос.— Надо и Европу повидать.

Уинч не стал ни убеждать, ни спорить — ничего. Откинувшись в кресле, он нажал кнопку селектора и велел принести все заявки на заведующего кухней-столовой в звании штаб-сержанта. Таких оказалось только четыре, и когда писарь вышел, они вдвоем изучили их. В числе заявок была подходящая — из войск связи.

— Неплохое подразделение,— сказал Уинч, пока Стрейндж изучал бумагу.— Не поганая пехтура.

— Пожалуй, это то, что нужно,— отозвался Стрейндж.

Уинч еще раз включил селектор. Писарь принес другую папку, и Уинч просмотрел ее.

— Скоро они отправляются на учения, в поле. А потом, немного погодя, их перебрасывают в Англию.

— Меня вполне устраивает.

— Дело вкуса. Имущество с собой?

— Два вещевых мешка. Они тут, в этом сарае, который у вас называют канцелярией.

— Надеюсь, не сперли,— неуверенно произнес Уинч, посмотрев в занавешенное окошечко.— Посиди еще, выпей, а я позвоню к тебе в часть. Пусть хоть джип пришлют. Такой важной шишке положена машина.

— Ну спасибо, старшой!

Поговорили о Лэндерсе. Лэндерс достукался, так ему и надо, считал Уинч.

— По всем швам расползается парень,— говорил он.— Может, увольнение приведет его в чувство. В армии ему нельзя оставаться. Себе еще больше навредит. И другим покоя не даст. К тому же он

сам хотел демобилизоваться,— добавил он.— Специально просил ротных офицеров, чтобы они так и писали в своих характеристиках.

— Откуда тебе это известно?

— Один из них сказал, который в каталажку к нему ходил.

— Это ты молодец, что соломки парню подстелил.

— Что мог, то и сделал. Ну, а у тебя-то как?

— А что у меня?

— Жене-то сказал? Знает она, какой ты у нас храбрый да принципиальный?

— Ничего я ей не говорил.

— А может, стоит?

— Совсем необязательно.

— Твоя солдатская страховка у нее?

— Да, а что?

— Ты ведь муж ей.

— Муж, если официально, по закону.

— Развода нет, значит, муж. Мне кажется, ты должен известить ее о своих намерениях, чтобы она была в курсе.

— Это уж я сам решу! — отрезал Стрейндж. Потом, почувствовав, что вышло грубо, добавил: — Может, брошу ей открытку перед отъездом.

— Мне кажется, ты должен объясниться с ней. Позвони хотя бы.

— Ни хрена я ей не должен!

— Видишь ли...— начал Уинч, но в этот момент зазвонил телефон. Он снял трубку.— Джип ждет внизу.— Уинч встал и, разведя руками, добавил: — Не знаю, что тебе и сказать. Убей, не знаю.

— Я тоже не знаю. Выходит, два сапога — пара.

— Слушай, забегай в главную гарнизонку. Я там почти каждый вечер бываю, с полшестого-шести.

Разговор кончился так же, как и с Карреном: они пожали друг другу руки. Оба понимали, что завершается какой-то этап в их жизни. Так же, как понимали это они с Карреном.

Подхватив вещевые мешки и спускаясь за шофером по лестнице, Стрейндж удивлялся, откуда Уинч знает о его семейных делах. Он и видел-то Линду-Сью в последний раз на Оаху, еще перед нападением японцев. А вот все вроде знает.

Уезжая из Люксора, он, естественно, распрощался с Фрэнсис — они встретились в городе на другой день после разговора с Карреном. Но их отношения стали прохладными задолго до того. Частично это объяснялось тем, что он, израсходовав свои семь тысяч и деньги по аттестату, вынужден был отказаться от номера в «Пибоди». Очень может быть, что поэтому, а может, и не поэтому.

Последнее время Стрейндж редко бывал в «Пибоди». Через Уинчева дружка Джека Александера он снял для себя и Фрэнсис двухкомнатный номер в «Клэридже». Стрейнджу надоели многолюдные загулы. Он предпочитал бывать с Фрэнсис вдвоем.

Но он твердо решил держать номер в «Пибоди» для других — до самого конца, пока не спустит последнюю монету.

К счастью или несчастью, в тот момент, когда Лэндерс вернулся из самоволки и угодил в отделение для арестованных, у Стрейнджа кончились деньги. Только тогда до него дошло, как много ухлопал на их «люкс» Лэндерс.

Стрейнджу было не по себе оттого, что он ввел приятеля в такой расход. Он заговорил об этом с Лэндерсом, когда зашел к нему, и тот весело доложил, что просадил примерно четыре с половиной куска. Все свои сбережения, деньги по аттестату — все. Он вроде и не жалел, что остался без гроша за душой. Как и сам Стрейндж.

И только совсем обезденежев, отказавшись от номера в «Пибоди» и закрыв счет, Стрейндж понял, насколько зависела от него Фрэнсис Хайсмит.

— «Люкс», значит, тю-тю? Ты что, совсем в трубу вылетел? — осведомилась она осторожно.

— Вылететь не вылетел, но на мель сел. Правда, жалованье идет и от покеришка кое-что набегает.

— И все? — Фрэнсис недовольно вскинула голову.— Выходит, все эти роскошные рестораны, дорогие обеды, шик...

— Ага,— ухмыльнулся Стрейндж,— все кончилось. Разок-другой в неделю, может, осилю.

— У меня, конечно, есть кое-что,— неуверенно произнесла Фрэнсис.— Но живу-то я на жалованье. Ну, квартирка, правда, есть.— Она усмехнулась.— Можешь располагаться в случае чего.

— И не подумаю.

За эти три месяца Стрейндж по крайней мере узнал, где работает Фрэнсис. Она была помощницей заведующего в дамском магазинчике «Леди, жена и хозяйка» на Главной улице, который входил в торговую систему, раскинувшуюся по всему Югу и Среднему Западу. Квартирку она снимала на пару с молодой женщиной, муж которой воевал где-то на Тихом океане, но та была домоседка.

— С другой стороны, мне не хочется торчать в четырех стенах и целыми вечерами слушать радио,— вслух рассуждала Фрэнсис.— Или по киношкам таскаться.— Она искоса поглядела на него.

— Зачем же? Заведи себе кого-нибудь — и дело с концом.

— Ни за что! Хотя... Как ты думаешь, когда кончится война?

— Война? Года через два, не раньше,— беспечно сказал он.

— Ну вот! А потом опять все пойдет по-обычному. Опять...— Она замолчала.

— Потом как в сказке о Золушке. Карета опять сделается тыквой, а лошади — мышами.— Стрейндж улыбался.— Так оно и будет.

— Похоже на то,— задумчиво сказала Фрэнсис.

Так закончился их первый разговор. Стрейндж догадывался, как она отнесется к известию о его назначении в лагерь О'Брайер.

— Ты, я вижу, не рвешься переехать поближе к военному городку?

— В этот занюханный поселок? — Фрэнсис изо всех сил старалась не выпалить сразу же «нет».— Придется ведь уйти с работы. Кроме того, квартира. А там, уж конечно, никаких удобств. Не знаю, могу ли я бросить работу.

Стрейндж молчал. В горле у него запершило.

— И ты ни разу не говорил, что хочешь жениться на мне.

— Это верно, не говорил.

Стрейнджу показалось, что она облегченно вздохнула.

— Не представляю, как я вдруг снимусь с места, все брошу.

— Само собой. С моей стороны было бы неправильно — настаивать.

— Понимаешь, я люблю вольно жить. Не по расписанию. Ждать у моря погоды не по мне. Ты часто сможешь выбираться в город? Наверно, по субботам и воскресеньям?

— Раз в две недели. На ночь.

— Ну вот видишь!

Стрейндж кивал.

— Но ты звони мне,— великодушно предложила Фрэнсис.— В любое время звони. И заранее, чтобы мы могли условиться.

— Ладно,— заключил Стрейндж.— Так я и сделаю.

Он врал, ничего подобного делать он не собирался. Зато та ночь у них была самая жаркая и самая сладкая за все время. Фрэнсис потом плакала, Стрейндж тоже едва удерживался от слез. Но ехать в лагерь О'Брайер она не решилась.

Любопытно, думал Стрейндж, спускаясь по лестнице вместе с шофером, Уинч и словом не обмолвился о Фрэнсис. Он говорил только о Линде, его законной супруге. Любопытно и то, что если в нем,

Стрейндже, и шевелились остатки любовного чувства, то они были связаны с Линдой-Сью, а не с Фрэнсис Хайсмит. Если он кого и любил — допущение, которое он всей душой хотел бы отрицать,— так это Линду. Стрейндж не знал, почему и за что он ее любит. Но Уинчу-то откуда это известно?

Как бы то ни было, любовь не очень-то занимала Стрейнджа в лагере О'Брайер. Он был по горло занят приведением в порядок своего хозяйства и сколачиванием сколько-нибудь работящей кухонной команды. Когда они с Уинчем подыскивали ему место, тот высказал предположение, что в подразделении, которое подает заявку на заведующего кухней-столовой в звании сержанта, кормежка, как видно, поставлена из рук вон, потому что в противном случае они выдвинули бы своего, из первых поваров. Уинч как в воду глядел. Стрейнджев предшественник опрокинул на себя кастрюлю с кипящим жиром и получил серьезный ожог — вещь вообще немыслимая при элементарном порядке на кухне,— и Стрейндж застал после него развал и полнейшее запустение. Один первый повар был толстый, другой тощий, но оба никуда не годились. Ему пришлось уговаривать, улещивать, угрожать, и раза два дело едва не дошло до кулаков: надо же было привести их в чувство. Зато когда пришел приказ о подготовке к десятидневным полевым учениям, Стрейндж где лаской, где таской сколотил нормальную команду.

Уинч позвонил ему насчет Лэндерса за три дня до начала учений.

Стрейндж не переживал такого потрясения с тех пор, как увидел с судна раскинувшиеся перед ним Золотые ворота. Было десять часов утра. Сшибло Лэндерса примерно в восемь тридцать. Тело перевезли обратно в госпиталь, позвонили Уинчу в лагерь О'Брайер, и он тут же помчался туда. Поэтому не смог сообщить Стрейнджу раньше.

— Можешь сейчас приехать в гарнизонный дом торговли? — спросил Уинч хриплым придушенным голосом.— Я буду тебя ждать в баре старшего сержантского состава. Дневной пропуск в ГДТ есть? Нет? Хорошо, скажи, что ко мне идешь.

Положив трубку, Стрейндж увидел встревоженный, вопрошающий взгляд своего нового начальника, первого сержанта.

— Что случилось? На тебе лица нет. Как будто привидение увидел.

— Что? А... и правда привидение. Дружка моего по Тихоокеанскому только что убило. Здесь, в зоне.

Первый сержант оторопел.

— Как же это? Под стрельбы попал? Или гранатой?

— Да нет. Машиной сшибло.

— Ну и ну! — качал головой сержант.— Вы, фронтовики, друг за дружку как за родного переживаете.

— Будь человеком, подпишись здесь. Мне надо с моим старшим повидаться.— Стрейндж оторвал от пачки бланк дневных пропусков в гарнизонный бар. Сержант сначала заколебался — пропуска подписывали только офицеры, Стрейндж и сам это знал,— но потом вывел на листке неразборчивую завитушку.

— Я ненадолго,— заверил его Стрейндж.— На кухне полный порядок. Народ при деле.

Пропуск ему не понадобился. Никто не остановил его, никто ни о чем не спросил. Пропуска в гарнизонные заведения ввели совсем недавно, после того как развернулась подготовка к дню «Д» в Европе. За все время Стрейндж только второй раз пришел в ГДТ.

Народу было мало, и Стрейндж без труда разыскал Уинча. Тот сидел за большим круглым столом. Стрейндж сел рядом.

— Ну, рассказывай.

Уинч подробно пересказал показания женщины, которая утверждала, что происшествие смахивало на самоубийство. Они обменя-

лись мнениями на этот счет. Уинч отвергал возможность самоубийства, но Стрейндж колебался.

— Какого черта? — раздраженно доказывал Уинч.— Он же сам хотел уволиться, об этом и офицеру из роты говорил. Самоубийцы не ждут демобилизации.

— Он просто не знал, чего хочет, я так понимаю,— вдруг произнес Стрейндж, как будто это было начертано на картонной подставке под кружкой пива и он читал по писаному.— И уволиться хотел, и остаться. Одинаково хотел. А когда поровну хочешь разного — кончено дело.— Он оторвал глаза от кружки.

Уинч смотрел на него с изумлением.

— Ты полагаешь, его ничего бы не спасло?

— Не-а. Ничего.

— Вот оно что... А я старался...— добавил Уинч самому себе.

Кто-то опустил монету в высокий, переливающийся разноцветными огнями, словно подрагивающий изнутри музыкальный автомат. Просторный пустой зал заполнился щебетаньем сестричек Эндрюс.

— Воротит меня от этих поганых «вурлитцеров»,— зло прошипел Уинч.

— Ты его видел?

Уинч допил стоявший перед ним бокал вина и сделал знак бармену за стойкой, отделанной под красное дерево, чтобы тот подал еще. Лишь выпив два бокала подряд, он начал что-то мямлить насчет того, что полиции потребовалась еще одна подпись для подтверждения личности погибшего, помимо подписей госпитальных медиков. Не хотели сноситься с его частью — понятно, какая там часть, когда отчислен вчистую? И тогда кто-то припомнил, что он служил с ним, Уинчем...

— Так видел или нет? — опять спросил Стрейндж.

— Ну, видел — чего там смотреть-то? Покойник — он и есть покойник. Лицо серое, даже в зелень больше. Но цело, только на правой щеке ссадина.

— Что с телом будут делать?

— Домой, должно быть, отправят.

— Не ладил он с родичами.

— Знаю, мне он тоже говорил. Зато отделение Американского легиона может там военные похороны по первому классу закатить. Закопают его на городском кладбище, рядом с дедом и прадедом, пару залпов дадут.

— И прощальную какой-нибудь сопляк из бойскаутов на горне выведет.

— Ну и что? — возразил Уинч.— Ему уже безразлично, что с ним сделают.

— Родичам-то напишешь? — спросил Стрейндж.

— Не буду я ничего писать.

— И я не буду. Чего тут напишешь?

Уинч заказал еще вина.

— Ты чего не приходишь сюда? Заглядывай по вечерам, когда хандра или просто отвлечься.

— Послезавтра на учения выходим.

— Ну так когда вернешься,— заключил Уинч.

— Ладно. Это на десять дней всего.

В тот же вечер Стрейндж позвонил Преллу. Через Джека Александера Уинч разузнал, где находится его бригада. Но, почувствовав отношение Прелла, Стрейндж решил, что больше звонить ему не будет.

Десять дней в поле — это самое лучшее, что могло выпасть Стрейнджу в такое время. Прежде всего хороший повод встряхнуться после однообразного гарнизонного житья. Найдешь приличную поляну среди деревьев, расставишь чином палатки, разложишь хозяй-

ство, а через два дня снимайся с места и топай километров тридцать, а там снова разбивай кухню — тут думать некогда, разве что урывками. Да и в урывочные минуты всегда находились дела. С трех тридцати до полуночи Стрейндж был на ногах: проверял, как управляются его повара, кормил народ, перетягивал брезент, чтобы получше закрыть хозяйство от дождя, следил, чтобы палатки вовремя окопали ровиками и не залило пол. Работа и беготня целый день доставляли ему удовольствие.

Пока шли учения, как-то незаметно, разом пришла весна. В первые три дня моросил дождь, по-зимнему пробиравший до костей, потом потеплело, в лесу сделалось душно от влаги, и вдруг в один прекрасный день выглянуло солнышко. Оно грело целую неделю, на деревьях полопались почки, и все зазеленело.

Красотища была необыкновенная! И быстрота, с какой преобразилась местность, тоже была необыкновенная. Стрейндж выйдет, бывало, на луговину, чтобы проверить пластиковые мешки с питьевой водой, и остановится в липкой грязи, заглядевшись на фермерские домики, разбросанные то тут, то там среди холмов. Стоит, смотрит сквозь голые чернеющие ветви ясеня и дуба, и прямо на глазах разворачиваются из набухших почек листочки, и дома уже не видать за молодой зеленью.

Другим весна не весна — все едино. Дождь — ворчат на сырость и холод, проглянет солнце — ворчат, что развезло, шагу не ступишь. А Стрейндж радовался и дивился красоте. В первый раз за шесть лет он видел, как приходит весна. До войны он четыре года безвыездно служил на Оаху, где нет ни зимы, ни весны, потом, после нападения японцев, еще год там пробыл и потом еще один — в тропиках. Давненько он не видел настоящей американской весны.

Учения проходили на возвышенной пересеченной местности к западу от реки Теннесси. Здесь не было таких медвежьих горных углов, как в восточном Теннесси, но если забраться подальше, в глубинку, то обязательно наткнешься на бревенчатые домишки, крытые дранкой, колодец и отхожее место во дворе. Фермеры в высоченных резиновых сапогах настороженно, как лесное зверье, зыркали на чужих из-под обвислых шляп. У них можно было купить бутылку-другую «громобоя» — мутновато-желтого маслянистого варева; от одного вида этого адского зелья пробирало насквозь. В домах над дверью висели связки высушенных и скрученных табачных листьев с перевитыми черешками. Табак они не продавали, а давали связочку за так, попробовать. Стрейндж не жевал домашнего табачку с тех давних времен, когда подростком его носило по Техасу. У женщин были угловатые, грубые лица, тонкие губы плотно сжаты, зато глаза глядели душевно и жалостливо. Дочки на глаза почему-то не попадались.

Почти в каждом доме за перекошенной оконной рамой висели флажки с одной или двумя, а то и тремя синими звездами посередине — по количеству мужчин, забранных из семьи в армию.

Утром единственной субботы, выпавшей на время учений, вышел приказ с полудня предоставить личному составу суточный отпуск. Ближайший населенный пункт находился в трех милях — захудалый городишко под названием Максуэнвилл. Тем, кто не втиснулся в старый ротный грузовик, пришлось топать туда пехом по размытой грунтовке. В распоряжении Стрейнджа был хозяйственный джип, он кликнул клич, и вся его кухонная команда банановой гроздью облепила машину. Поставив джип на площади, Стрейндж первым делом пошел в гостиницу, единственную в городе, и предусмотрительно снял номер — на тот случай, если кто подвернется. Ему досталась последняя незанятая комната.

В городок собралась солдатня со всего района учений: пехотинцы, артиллеристы, квартирмейстеры, танкисты, связисты из других

частей и даже несколько развязных горлопанов из воздушного десанта. Кого тут только не было. Девочек в этой дыре явно не хватало, зато выпивки хоть залейся. Максуэнвилл был центром «сухого» округа, но на окраинах прилепились три забегаловки, где можно было раздобыть втихую настоящее бутылочное виски, а не только мощный вонючий «громобой». Хитроумные хозяева заранее запаслись спиртным, забегаловки были забиты, и хвост очереди тянулся от входа по глинистой обочине. Стрейндж прошел днем по Главной улице. То тут, то там уже завязывались пьяные потасовки. Машины военной полиции пачками свозили пьяных обмякших вояк на сборный пункт, где их подбирали патрульные из своих частей. Повсюду царила бесшабашная отчаянная удаль, как перед концом света; Стрейндж тоже расслабился.

Он больше не горевал из-за Лэндерса. Люди кончаются, как и времена года,— таков закон. Один так, другой иначе, но все равно кончаются. Весна каким-то образом поставила все на свои места.

Подвыпивший, благодушный, примиренный с этой разломанной, катящейся в тартарары жизнью, Стрейндж бродил по улицам, глазел, забрел куда-то подкрепиться. Около одиннадцати вечера на Главной улице его остановил один из ротных первых поваров. Он, задыхаясь, выскочил из какого-то темного переулка. Пот лил с него градом.

— Слышь, сержант? Верно, что ты снял номер в гостинице?

— Угу, снял. А что?

Этот толстяк был самым отъявленным горлодером в роте. Он, понятное дело, метил на должность Стрейнджа, так как считал, что давно заслужил ее. Стрейндж, со своей стороны, не упускал случая поставить поганца на место. В данный момент кашевар, видно, махнул на все рукой.

— Понимаешь, с двумя цыпочками познакомился. Могу уступить тебе одну за полкомнаты.

Стрейндж прикидывал, не сводя с толстяка глаз. Недолюбливал он его здорово. Благо бы выражал недовольство вслух и воевал почестному. Так нет же, все за спиной, втихую, незнамо что плетет и козни разные строит, других подначивает, а тем влетает будь здоров. Стрейндж намеревался при первой же возможности отделаться от него.

Девушки ждали в переулке. Не из города, видать, деревенские. На обеих были застиранные ситцевые платьица, едва доходившие до колен, и простенькие пальтишки — из-за ночного холодка. Как только Стрейндж разглядел их, сразу же понял, что отказываться не след.

Девчонки вовсе были не прочь пройтись по улице — теперь, когда они оказались не одни. Одну звали Донна, другую Руби, и им, как выяснилось, ничего не нужно. У Стрейнджа и его подчиненного было по бутылке, но обе отказались: не пьют. Стрейндж вспомнил, с каким шиком он обхаживал дам в «Пибоди», и пригласил всю компанию поужинать, но девушки сказали, что они сыты. Они ничего не хотели, кроме одного,— идти прямо в гостиницу.

В замызганном холле молодой человек подал Стрейнджу ключ из-за старой расшатанной стойки, старательно изображая, что не видит его спутниц.

Они прозабавлялись всю ночь, но в семь часов девчонки объявили, что им пора бежать домой, чтобы привести себя в порядок и поспеть в церковь, к утренней службе. Ночью снаружи, за стенами гостиницы, городок ходил ходуном от топота полчищ, почуявших конец света и лихорадочно старавшихся урвать напоследок от жизни что можно. Хохот, драки, ругань, звон разбиваемого стекла, залихватские песни нисколько не беспокоили ни девчонок, ни Стрейнджа с толстяком.

У Стрейнджа появился здоровый аппетит, ему виделись оладьи

с маслом и сиропом, поджаренная колбаска где-нибудь в уютном солнечном уголке, и он предложил позавтракать всем вместе, но девчонки отказались. Когда компания вышла из гостиницы, они коротко кинули «пока!» и, даже не поцеловав на прощанье своих кавалеров, потопали по тихой в этот час улице, залитой солнцем, потом взяли вправо, в переулок, и пропали в кустарнике, откуда вынырнули вчера вечером.

Стрейнджу ничего не оставалось, как завтракать в обществе своего поганца кашевара. На его аппетит это не повлияло, но настроение подпортило здорово. Тот, не переставая, трепался про то, какая им подвалила ночка и все такое прочее. Стрейнджу же просто хотелось молча поесть в свое удовольствие. Он понимал, что обязан толстяку, и это злило его. Наконец, не выдержав, он цыкнул на него.

— Ладно, Джон, молчу!

В первый раз за все время повар-толстяк осмелился назвать шефа по имени. Стрейндж поднял глаза и вперил в него такой убийственно-стеклянный взгляд, что тот съежился.

И все-таки болтовня толстяка повара не испортила Стрейнджу настроения до конца. У него было такое ощущение, будто все, что произошло,— и эта колдовская ночь, и девчонки, вышмыгнувшие из кустов, и хмельное веселье — какое-то языческое чудо, и обе девчонки — воплощение самой весны. Ему казалось, что если бы не весна, которая неслышными голосами так много говорила его сердцу, то не было бы и девчонок.

Обойдя все забегаловки и шумные компании, Стрейндж с помощью повара кое-как собрал свою кухонную команду. Солнце грело вовсю, солдаты поскидывали полевые куртки и тащили их в руках. В лагерь возвращались тем же манером, в том же переполненном джипе, мимо тех же лесов и полей, которые заметно позеленели за сутки. Впереди было еще четыре дня учений, а потом они возвратятся в военный городок. Всю обратную дорогу шел громкий обмен субботними впечатлениями. Стрейндж большей частью молчал.

В следующую же субботу, когда часть вернулась в казармы, он получил увольнительную на ночь и условился с Фрэнсис.

После того как прошел первый бурный приступ желания, они лежали обнявшись, спокойно, как два старых товарища. Стрейндж не задавал неделикатных вопросов о том, что она делала без него и с кем встречалась.

— Я давно хотел у тебя спросить...— начал он неуверенно, положив подбородок ей на голову.— Только не смейся. Говорят, что баловаться с бабой по-французски — это противоестественно.

Фрэнсис подняла голову.

— По-моему, ничего тут противоестественного нет. Послушай, ты в бога веришь?

Вопрос застал его врасплох. Он долго думал, прежде чем ответить.

— Не знаю,— сказал он наконец.— Сейчас уже не знаю.

— Но раньше верил? То есть воспитывался в вере, по-христиански?

— Да.

— То-то и оно. Я вот тоже. Христианское учение насчет секса — это дикость,— говорила Фрэнсис серьезно.— Не знаю, когда это началось. Скорее всего с тех первых поселенцев-пуритан, которых проклятые англичане переправили к нам в одна тысяча шестьсот двадцатом. Англичане ловко от них отделались.

— А вот мне скоро в Англию предстоит,— усмехнулся Стрейндж.— Может, там теперь малость по-другому.

— Еще бы! Конечно, по-другому, когда они от пуриташек избавились. Правда, викторианцы на такие вещи тоже строго смотрели.— Она возмущенно помотала головой. Стрейнджа разбирал смех.

Когда они распрощались и он покатил в военный городок, его не мучили никакие вопросы, он был в приподнятом настроении и решил заглянуть в гарнизонный бар, чтобы попросить Уинча о переводе.

Стрейндж давно подумывал о том, чтобы уйти из службы связи. Субботнее приключение с поваром и деревенскими девчонками подтолкнуло его к окончательному решению. Тот не переставал трепаться обо всех подробностях и упорно продолжал звать Стрейнджа по имени.

Однако повар оказался лишь последней соломинкой. Главное было не в нем. Главное — рота не по душе пришлась. Двух командиров перевели в другую часть. Убрали и двух других офицеров и на их место прислали новеньких. Двух сержантов — командиров отделений тоже куда-то перевели с повышением, и Стрейндж слышал, что один из них собирается податься в офицерскую школу. Когда Стрейндж прибыл в роту, дисциплина уже хромала, а сейчас и подавно разладилась. Что до чести подразделения и духа товарищества, так об этом тут и понятия не имели.

Все это обстоятельно и словно оправдываясь в чем-то он изложил Уинчу. Тот слушал со своей обычной недоброй усмешечкой.

— И куда же угодно Вашему Долболобому Величеству? — съязвил он, когда Стрейндж кончил.

— Лучше всего обратно в пехоту.

— Ну потом пеняй на себя. Сам в молотилку лезешь. А мне что— как хочешь, так и сделаю.

Было всего шесть часов, но просторный пивной зал был набит до отказа. Во всю мощь громыхали оба «вурлитцера». Они сидели не за большим круглым столом, а в сторонке, за столиком в углу.

— В настоящий момент у меня ничего нет,— продолжал Уинч.— Обе дивизии готовы к переброске в Европу. Одна отбывает через неделю, другая немного погодя. Личный состав уже прошел медицинское и прочие освидетельствования. Вакансий там нет.— Он замолк, потирая ухо. Раньше Стрейндж не знал за ним такой привычки.— Потом начнем готовить к отправке еще две дивизии, тогда и провернем.

— Это меня устраивает. Вот только я ограниченно годным признан — как тут быть?

Уинч съехидничал:

— Что, пофилонить решил?

Стрейндж помотал головой.

— Когда моя часть отбывает?

— Пока неизвестно. Приказа нет. Как только будет, я сразу же прикомандировываю тебя к себе.

— Ну и хорошо! — Стрейндж хотел было встать, но Уинч схватил его за руку.

— Чего насчет Лэндерса надумал? — спросил он.

Стрейндж помолчал.

— Ничего не надумал. На учениях в поле особенно не надумаешь. Все вроде куда-то отходит.

— Наверно.

— Знаешь, когда мы там были, все расцвело. Я лет шесть настоящей весны не видел,— сказал Стрейндж, словно бы смущаясь.

— Правда? — встрепенулся Уинч. В глазах у него вдруг пропала злая сумасшедшинка, и взгляд сделался прямым и открытым.

— Так или иначе помирать придется. Все помрем рано или поздно.

— Это верно, но в общем чем позднее, тем лучше.

— В общем-то оно так, а не в общем — не так,— возразил Стрейндж.— Честное слово, я считаю, что его никто бы не удержал. И ничто.

— Ты так полагаешь...— полувопросительно-полуутвердительно сказал Уинч, как бы себе самому.

— Именно так.— Стрейндж встал.— Ну мне, пожалуй, пора.

— Да погоди ты! — вскрикнул Уинч, и глаза у него снова как раскалились.— Выпей хоть пивка с моей шарагой. Я тебя познакомлю.

Стрейндж не имел никакого желания ни с кем знакомиться, но и обижать Уинча тоже не хотелось. Ему не понравились самоуверенные ухмыляющиеся физиономии сидевших за круглым столом. У него никогда не лежала душа к бывалым ухватистым служакам, которые зависли между солдатами и офицерьем.

Выпив несколько кружек, Стрейндж обошел стол и с каждым церемонно попрощался за руку.

— Ты заходи, Джонни-Страни, обязательно заходи! — кричал ему вслед раскрасневшийся от какой-то задиристой шуточки Уинч.— В любое время заходи. Хоть завтра!

Стрейнджу показалось, что старшой плохо выглядит.

Глава 31

Если Стрейндж хоть на секунду допускал, что его натянутость ускользнет от внимания Уинча или что тот не способен уловить настроение товарища, то он крупно ошибался.

С другой стороны, Уинч никак не мог взять в толк, зачем Стрейнджу понадобилось пускаться во все тяжкие. Надо же додуматься — просадить семь тысяч на номер в «Пибоди» и идиотские вечеринки. А рваться в Европу, где ты вовсе не обязан быть,— разве это нормально? Но только форменному психу взбредет в голову проситься из подразделения связи, где ты более или менее утвердился, обратно в пехоту.

Во всем этом было что-то сумасшедшее — желание делать себе во вред. Стрейндж, видно, совсем тронулся из-за своей дуры бабы. Он, Уинч, может, тоже немного не в себе и сам малость чокнутый, но не в такой мере, чтобы не видеть, до чего нелепо поведение приятеля. Оба ведь доподлинно знали по статистике, что у кухонного сержанта в пехотной роте больше шансов угодить под пулю, чем в подразделении связи. В силу самых разных причин.

Что до мнения Стрейнджа относительно Лэндерса, Уинч тоже не разделял его. Про весну что-то молол. Нечего Лэндерса к весне приплетать. Лэндерс был живой человек, с руками и ногами, хотя и со странностями и мозги набекрень. И можно было парня спасти, можно. Только он ключ к нему не подобрал, и Стрейндж не подобрал. Про весну городит и все прочее — это вранье себе в утешение.

Можно, конечно, сказать, что парень был просто-напросто ненормальный. Но и это не объяснение. А кто нормальный? Разве Стрейндж или Прелл нормальные, или оба эти врача-долболоба, или его прихлебатели в пивном зале? Он и сам тронутый, чтоб не сказать больше. И все из-за войны. А если не из-за войны, так тем более все они ненормальные.

Прохлопали они со Стрейнджем Лэндерса, если честно говорить. Не сумели удержать. Так же в точности, как Уинч не может удержать сейчас Стрейнджа. Должен будет вместо этого проворачивать его просьбу о переводе, как только начнется укомплектование двух новых дивизий. А не то Стрейндж взбеленится пуще прежнего.

Псих — он и есть псих, чего с него возьмешь. К психу особый подход нужен: выбить из него дурь, которую он вбил себе в голову. Но Уинч-то не псих, понимает, что такого тупого и упрямого осла, как Стрейндж, не переломишь.

Ни черта он не сможет сделать, Лэндерса и того не удержал!

За три дня до разговора со Стрейнджем в гарнизонке Уинч был у Джека Александера в «Клэридже» — игра там шла по-крупному.

Уинч снял двенадцать тысяч долларов. Он как с цепи сорвался, не прикупал, когда надо было прикупать, и сбрасывал при малой комбинации. Карта просто перла. Он назначал сумасшедшие ставки, и их принимали, думая, что он блефует. Партнеры по очереди выскакивали из игры, одни не желая рисковать, другие проигравшись в пух и прах. К двум часам ночи охотников больше не оставалось. Игра прекратилась — случай у Джека Александера небывалый. Он сцепился с Уинчем, когда еще сдавали.

— Кто же так играет, обалдуй ты несчастный? — кипятился он при всем честном народе, хотя сам карт в руки не брал. Его, осторожного во всем, коробили выходки Уинча.— Чего же ты их отпугиваешь? Играй по-людски, клиентов мне отобьешь.

— Плевать я на все хотел! — рычал Уинч, скалясь с веселой злостью и щуря зеленые глаза.

Александер, конечно, был прав. Когда народ уже расходился, между ними опять вспыхнул спор. Уинч не захотел брать выигранные деньги.

— Оставь их у себя, пустишь в дело,— бросил Уинч.

— Вот что,— твердо заявил Александер.— Если не хочешь держать такую сумму при себе, я готов взять часть... да и все могу... и запру в сейфе. Через пару дней заберешь. Не желаю я отвечать за твои деньги.

Уинч на всякий случай заглянул в спальню. Они были одни в двухкомнатном номере Александера.

— А я хочу, чтобы ты держал их у себя,— возразил он.— Как подвернется хорошее дельце, вложи их за меня. Мне они все равно ни к чему.

— Так дела не делаются. Что я тебе, маклак?

— А кто же? — щерился Уинч.

Александер покачал тяжелой головой.

— Нет, брат, ошибаешься. Вдобавок сейчас, насколько мне известно, ничего путного не предвидится. Забирай свои деньги, клади их в банк. Лучше в отдельный сейф. Как что объявится, я тебе свистну, и ты их снимешь. Так оно будет вернее. Сумма что надо.

Что верно, то верно. Денег был целый ворох, хотя Александер поменял как можно больше мелких бумажек на крупные. Уинч сложил их в толстую пачку, перетянул резинкой и бросил на игральное сукно, освещенное яркой лампочкой под зеленым колпаком.

— Вот таким путем. Бери! Мне они не нужны,— сказал он и пошел к двери, но обернулся.— Впрочем, если уж очень хочешь, можешь дать мне расписку.

Александер чертыхнулся и, нацарапав в блокноте расписку, оторвал листок.

— Держи! Так и быть, пусть лежат у меня. Но без твоего согласия я их никуда вкладывать не буду. Если что подвернется, я тебе звякну. А решать сам будешь. Только на таком условии.

— Прекрасно, условие принято.— Уинч взял расписку. У двери он обернулся и подмигнул.

Массивное неподвижное черепашье рыло смотрело на него безо всякого выражения.

— Удружил мне старик Хоггенбек, ничего не скажешь. Ты у меня во́ где сидишь,— резанул Александер рукой поперек горла.— Ума не приложу, чего ты бесишься? Ну, а теперь проваливай к чертям собачьим и не приходи, пока не научишься играть по-человечески.

Уинч негромко хохотнул. Выйдя на улицу, он вытащил расписку и чиркнул спичкой. Он держал листок в пальцах до тех пор, пока тот не сгорел до конца, и пустил пепел по ночному ветерку. Зачем ему расписка от Александера? Ведь Александер знает, что она у него,— значит, все в порядке. Даже если бы Александер узнал, что

Уинч уничтожил расписку, он вряд ли бы смошенничал. А вдруг бы смошенничал? Любопытно...

Глупость первостатейная, что и говорить, но не такая, какую учудил Стрейндж со своими семью тысячами. Он не спустит двенадцать тысяч на вечеринки для оравы остолопов, которые все равно ничего в этих делах не смыслят.

Уинч посмотрел на часы — три часа утра — и зашагал по Главной улице. Город продувало легким весенним ветерком, деревья покрывались молодой зеленью. По сравнению с вечерними часами улица была пустынна, хотя нет-нет да и попадались военные — кто с женщиной, кто один. В последние недели их прибывало в город все больше и больше. Хорошо бы посидеть часок в каком-нибудь ресторанчике или кафе, прежде чем идти к себе. Там сейчас Кэрол, в четыре она встанет и побежит домой. Он частенько теперь куда-нибудь уходил, чтобы поменьше спать при ней. Это было тяжело, он уставал, но ему не хотелось, чтобы она слышала, как он разговаривает во сне, и расталкивала его.

К сожалению, ночных заведений в центре почти не было — все они были разбросаны по бедным окраинным кварталам. Там негры жарили на вертеле баранину, которая ему уже в глотку не лезла, подавали пиво, а на заднем дворе под сенью развесистых вязов при особом желании можно было раздобыть и бутылочку-другую виски.

Уинча не тянуло в забегаловки такого сорта, а Кэрол их и подавно не любила. Постояв перед «Пибоди», он решил идти прямо к себе. Всего десять кварталов. Ничего с ним не случится, если прогуляется не спеша, к тому времени и Кэрол встанет.

Последнее время его опять начала беспокоить одышка, хотя он тщательно скрывал это от окружающих. Труднее всего было провести Кэрол, особенно когда они бывали вместе, а они встречались почти каждый день, если ему удавалось выбраться пораньше. Одолеть крутую наружную лестницу в квартиру — на это тоже требовалось определенное усилие. Ему приходилось останавливаться по два раза, чтобы отдохнуть. Если Уинч шел с Кэрол, он притворялся, что любуется красивым видом, тут было на что посмотреть. Хорошо, что сейчас он один...

После ухода Стрейнджа Уинч посидел еще немного, стараясь не слышать орущие вразнобой «вурлитцеры», потом отодвинул стул, встал и, улыбаясь, оглядел собравшихся за его столом сержантов. Хорошо бы шмякнуть парочку ручных гранат в эти ревущие ящики, вдруг пронеслось у него в голове. Вот оно, их будущее — пластик, хромированные поверхности и трубки, прыгающие слепящие огни и дергающаяся механическая музыка. А сейчас этот грохот, чтобы заглушить то, что говорит душа, когда люди идут в бой, идут умирать и убивать других, таких же взбесившихся и так же яростно сражающихся за свои дурацкие песенки. «Бред! — вдруг захотелось крикнуть ему на весь зал.— Липа!» Он с трудом сдержался. Уходить тоже было неохота, но он обещал Кэрол, что они поужинают в приличном месте.

— Мне жаль покидать столь блестящую компанию, друзья, но что делать! Предстоит еще кое-какая работенка.

— Ты чего, Март? — заорал один.— Знаем мы твою работенку. Работенка с бабенкой!

Стол загоготал, самое время смотаться. Уинч постоял у машины, вдыхая свежий вечерний воздух. Он знал, что рано или поздно ему придется показаться докторам и они будут решать, может он еще нести службу или нет, и от этого сознания на душе делалось паршиво. Но он не хотел сейчас ни о чем думать.

Так что Стрейндж был прав в одном: Уинчу в самом деле было плохо. Самоубийство Лэндерса потрясло Уинча. Ему не хотелось признаваться в этом никому, даже Стрейнджу, даже Кэрол.

Как-то вечером в их квартирке он раскололся и начал рассказывать Кэрол о Лэндерсе, о том, что́ с ним произошло и как он, Уинч, дал маху. Она слушала его, вытаращив глаза. Потом расплакалась. Ей было жалко Уинча, а не Лэндерса.

Напрасно он завел этот разговор, это ошибка. А может, и сам виноват, не смог объяснить как следует. Но скорее всего Кэрол не интересовало то, что интересует во всем мире таких, как он. Нормальные люди предпочитают видеть Уинчей крепкими, мужественными, веселыми. Зато он понял: объяснять им, что к чему — пустой номер.

Уинч подкатил на своем маленьком «додже» к дому. В окнах квартиры горел свет — значит, ждет. Он поднялся по лестнице и постоял минуту-другую перед дверью, чтобы отдышаться. Сегодня он чувствовал себя гораздо лучше, непонятно почему. Может, помогло вино, несколько бокалов принял.

Темнело, но Уинчу казалось, что он видит, как обливаются буйной зеленью ветви на деревьях. В садиках копались люди.

— Я уж думала, что ты вообще сегодня не придешь,— весело сказала Кэрол, встречая Уинча у двери. На ней было нарядное легкое платье, которого он еще не видел. Позади нее, где-то в уголке, незаметно стояли рядышком два дамских чемоданчика.

— Еще чего,— улыбнулся Уинч. Она крепко прижалась к нему, он обнял ее, поцеловал и снова почувствовал, как она молода. Он целовал ее еще и еще, и в горле поднимался знакомый комок. Но все равно она — не твоя. Это только кажется, что ты и твоя женщина — одно. Это близость только кожей. А ближе — невозможно.

— Может, мы сначала выпьем? — спросила Кэрол, высвобождаясь из его объятий.

— Обязательно выпьем,— сказал он.— Нам с тобой спешить некуда. Там у нас белое осталось?

— Сотерн? Есть в холодильнике. Я сейчас достану. А ты смешай мне виски с содовой.

Она отошла упругой девичьей походкой.

— У меня для тебя две новости,— сообщила Кэрол, когда он со стаканом расположился на диване, а она свернулась около него клубочком.

Он обнял ее за плечи, улыбнулся.

— Может, потом, а?

Уинч не торопясь раздевал ее. Ему нравилось, что она никогда не поднимает шума из-за помятого платья. И хорошо, что нет одышки. Хотя ее, как правило, не бывает ни до, ни во время, а только после. На этот раз одышки и после тоже не было.

Кэрол потрепала его по голове и, выскользнув из-под простыни, побежала, по своему обыкновению, в ванную. Уинч блаженствовал в постели, радуясь, что не надо вставать и ходить по комнате, чтобы восстановить нормальное дыхание. Удивительно, но сегодня он чувствовал себя почти здоровым.

Нет, что ни говори, с Кэрол здорово. Но тащиться сейчас куда-то ему не хотелось, хоть ты режь. Однако уговор дороже денег, и в конце концов они поспорили лишь о том, куда идти ужинать. Кэрол выскочила из ванной и начала собирать свои раскиданные вещи. Натягивая платье, она сконфуженно рассмеялась.

— Скоро я буду выглядеть, как те самые девицы...

— Тебя это волнует? — отозвался Уинч и, поднявшись, тоже начал одеваться.

— Так ты хочешь выслушать новости? — спросила она, пока они приводили себя в порядок.

— Может, после ужина? Не устареют же они?

— Ну хоть одну скажу, ладно? Ты чемоданы заметил?

— Заметил. Едешь куда-нибудь?

— То-то и оно, что никуда я не еду. Чемоданы — потому что я решила переехать сюда, к тебе, вот!

Уинч, честно говоря, и сам не знал: радоваться ему или печалиться. Чтобы выиграть время, он изобразил улыбку.

— Переехать? А как же родители?

Кэрол без особого успеха старалась разгладить перед зеркалом смявшийся подол. Она уставилась на свое отражение и, набрав воздуха, как на занятиях по художественному чтению, начала:

— Какой смысл вскакивать в четыре утра, умываться, и краситься, и мчаться домой, чтобы поспать еще часика полтора? Дома меня никто не ждет. Никого не интересует, когда я прихожу...

— Ну и?..

Она повернулась к нему.

— Ну и я выложила им все как есть. Позвала, усадила рядышком и сказала, что у меня есть возлюбленный. И что глупо недосыпать из-за этого.

— Ты рассказала им обо мне? [1]

■

Кэрол и Уинч едут ужинать в солидный дорогой ресторан при «Пибоди», где собирается респектабельная публика и где меньше всего военных. Официант, получив от Уинча щедрые чаевые, усаживает их за хороший столик.

Стоит прелестная апрельская ночь, они возвращаются из ресторана на такси. Дома Кэрол сообщает Уинчу вторую новость. Она думает поступить на летние курсы в Огайо. Ее новый знакомый — она уже рассказывала Уинчу о нем — хочет жениться на ней. Он ей нравится гораздо больше, чем ее люксорский жених, тот, который из-за нее тоже поехал под Кливленд. Она склонна согласиться, уже почти что решилась.

Так, в сущности, началось их расставание, которое произойдет в конце мая. Уинч давно этого ждал. Правда, он знал, что, если захочет удержать Кэрол, ему ничего не стоит убедить ее выйти за него замуж. Она по-своему любит его, и ей хорошо с ним, но она тоже понимает, что из их брака никакого толку не выйдет. К тому же он молчит.

Уинч встретил новость мужественно. В конце главы он представляет себе будущее без Кэрол — оно представляется ему уже окрашенным его приближающимся помешательством. Снова и снова размышляя над их отношениями, он приходит к выводу, что его пугает не потеря Кэрол, а мысль о том, как он будет бредить во сне, осаждаемый ночными кошмарами, и ей придется расталкивать и успокаивать его.

В конце главы мысли Уинча обращаются к Бобби Преллу. Джонни Стрейндж рассказал ему о телефонном разговоре с Преллом; судя по всему, Прелл — единственный из них четверых, кто еще до окончания войны обрел дома «мир» и «покой».

Глава 32

Ненадолго вернувшись в Люксор из своей первой поездки, Прелл старается не попадаться на глаза Стрейнджу и Уинчу. Он боится встречи с ними, боится, что оба высмеют его за то, что он сделался платным агитатором, шутом в водевильной труппе.

Все, что у него теперь оставалось,— это чуть ли не сыновняя привязанность к начальнику госпиталя, теперь уже бригадному генералу Стивенсу.

Далее следует эпизод встречи Прелла с генералом Стивенсом у него в кабинете. Из их разговора Прелл выносит огорчительное впе-

[1] Здесь рукопись романа обрывается. Далее идет текст, подготовленный редактором книги Уилли Моррисом по наброскам умершего писателя.

чатление, что Стивенс не способен проникнуться его сомнениями и чувством вины и вообще никогда не понимал его по-настоящему. Со своей стороны, ему не хочется объяснять Стивенсу, почему он считает себя не героем, а заурядным коммивояжером, мошенником и лицемером.

Прелл покидает кабинет, охваченный полнейшей безнадежностью. Он убежден, что только Стрейндж и Уинч могли бы искренне посочувствовать и помочь ему. И все-таки он не звонит ни тому, ни другому.

Уорент-офицер Джек Александер дает знать Уинчу, что Прелл прибыл на несколько дней в госпиталь. Александер, не отличающийся особой психологической проницательностью, говорит, что с парнем вроде все в порядке. Уинч надеется, что Прелл заедет в лагерь О'Брайер повидаться с ним и Стрейнджем, но после разговора с Александером понимает, что встреча не состоится.

Затем вместе с майором Курнцем и всей бригадой Прелла переводят на более или менее длительное время в Лос-Анджелес, где он снимает квартиру. Повздорив в Люксоре со своей беременной женой Деллой-Мэй и честолюбивой тещей, он не сообщает им ни адреса, ни телефона.

В Лос-Анджелесе Прелл проводит несколько выступлений с участием кинозвезд и звездочек. Но после первой же речи, вызвавшей всеобщее восхищение и восторг, он напивается пьяным и на роскошном лимузине, предоставленном в его распоряжение вместе с шофером-сержантом, пускается в путешествие по злачным местам и в конце концов попадает в какое-то третьесортное заведение, битком набитое пьяной солдатней.

Шофер ждет его в машине.

Прелла переполняет ярость, и ему до чертиков хочется подраться, но никто не желает связываться с калекой. Он пристает к каким-то солдатам, и те со злости бросаются на него. В последний момент, однако, кто-то увидел у него на куртке ленточку Почетной медали конгресса и узнал Прелла по фотографиям в лос-анджелесских газетах. «Эй, да вы же героя угробите!» — закричал солдат и разнял дерущихся.

Выяснилось, что на улице его ждет шофер-сержант. Пошли за ним. Солдат, узнавший Прелла, предупредил шофера: «Нечего ему в таких местах ошиваться!» Сержант отвез Прелла домой и не доложил майору Курнцу о случившемся, полагая, что тем покроет героя, и вообще со свойственной низшим чинам мудростью рассудив, что начальству ничего не положено знать сверх того, что ему уже известно.

Следующее выступление состоялось в Бейкерсфилде. Вся команда на машинах отправилась туда на вечернее шоу. После того, как Прелл отбарабанил речь, повторилось то же самое — только шофер был другой. Прелл попросил отвезти его в какое-нибудь злачное местечко.

Он сам вылез из машины и заковылял в зал. На его лице было выражение упрямой решимости. Бар оказался игорным заведением: сизый табачный дым, стук бильярдных шаров, пьяная галдящая солдатня, в углу режутся в покер. Пропустив стаканчик-другой, Прелл начал задирать окружающих. На этот раз его никто не узнал. Вспыхнула ожесточенная драка, на Прелла навалилось несколько человек, он в кровь измолотил одного, другой схватил кий и ударил его по голове.

Услышав шум, шофер-сержант кинулся внутрь. Прелл лежал на полу в луже крови. Он пощупал пульс. Прелл был мертв. Солдаты оторопели, когда сержант сказал им, кто это такой, но в один голос свидетельствовали, что он сам нарвался. Так оно и было.

Глава 33

Эта небольшая глава написана с точки зрения Уинча, узнавшего о гибели Прелла. Она показывает его постепенный распад. Март Уинч сходит с ума.

Мы уже читали о признаках приближающегося безумия Уинча — о том, как ему привиделась на ветровом стекле фигура убитого бойца из его роты и он съехал в кювет; о том, в какой сумасшедший азарт он вошел за покером в «Клэридже» и как сжег потом расписку Александера. Мы читали о его ночных кошмарах; о двух «вурлитцерах» в пивном зале, которые приводили Уинча в ярость, потому что он видел в них будущее — «пластик, хромированные поверхности и трубки, прыгающие слепящие огни и дергающуюся механическую музыку»; о его глубоких переживаниях из-за самоубийства Лэндерса. Психические стрессы усугубляются симптомами развивающейся болезни сердца. Когда в конце двадцать девятой главы Стрейндж прощался с Уинчем в гарнизонке лагеря О'Брайер, ему показалось, что «старшой плохо выглядит».

«Прелл, Лэндерс и Стрейндж — вот единственное, что оставалось у него в жизни»,— писал автор в двадцать второй главе. И вот Уинч узнает о смерти Прелла.

Действие этой главы, начинающейся с горестных раздумий Уинча над судьбой Прелла, происходит в мае 1944-го, незадолго до высадки союзников в Нормандии.

Уинч продолжает встречаться с Кэрол — она уедет из Люксора лишь в июне,— но настоятельно советует ей выйти замуж за друга из Огайо, а не за люксорского парня, то есть по сути сам торопит ее с отъездом, который и положит конец их связи.

В эти прощальные дни он частенько заходит на полигон в лагере О'Брайер, где проходят занятия с боевыми гранатами. Уинч на дружеской ноге с офицером и его заместителем, и они втроем вдоволь потешаются над зелеными мальцами, овладевающими приемами метания. Однажды он незаметно сунул себе в карман две гранаты и ушел как ни в чем не бывало. Дома он осторожно развинтил клещами корпус, высыпал взрывчатку в банку и убрал ее. Три ночи он спал, засунув разряженные гранаты под подушку.

Посидев как-то вечером в гарнизонном баре за стаканом вина под грохот «вурлитцеров», Уинч возвращается к себе и начиняет гранаты взрывчаткой. Он терпеливо ждет, пока военный городок уснет. В три часа он с гранатами в кармане крадучись подбирается к гарнизонному дому торговли.

Торцом гранаты он разбивает оконное стекло, затем не торопясь выдергивает чеки и рассчитанным движением кидает гранаты — одну, потом другую — в помещение. Гранаты подкатывают точно под музыкальные автоматы.

Уинч отбежал, пригнулся. Последовал оглушительный взрыв, развороти вший «вурлитцеры» и часть помещения. Повсюду стоял дым, валялись обломки.

Уинч подождал, пока осела пыль, потом заглянул в окно, полюбовался результатами операции и разразился безумным хохотом. По территории городка уже неслись машины военной полиции. Уинча настигли в кустах. Смеясь и что-то крича, он некоторое время бежал, глотая воздух, от преследовавших его патрульных, но потом вдруг остановился, схватившись за грудь. Его увезли в гарнизонный госпиталь и заперли в палате для арестованных.

Глава 34

В этой главе, завершающей пятую книгу романа «Конец всего» и вообще весь роман, события излагаются с точки зрения Джонни Стрейнджа, последнего из четверых, составлявших костяк их роты.

Между заключением Уинча в психушку и финальной главой проходит примерно полтора месяца. Сейчас конец июня, высадившиеся в Нормандии войска скоро перейдут с этого плацдарма в наступление. Стрейндж доволен, что Уинч устроил ему перевод в пехотную дивизию. Он без сожаления расстался с подразделением связи, и теперь его мысли и чувства целиком сосредоточены на пехотной роте, куда он попал, и на дивизии в целом. Он не ожидал, что так сильно привяжется к людям в новой части. Он не может без содрогания думать о том, что будет с этими молодыми необстрелянными ребятами,— они-то сами, неопытные и наивные, не знают, что их ждет. Здесь заключена кульминация линии Стрейнджа и всего романа.

В этой финальной главе мы застаем Стрейнджа и его подразделение на борту транспортного корабля, идущего в составе конвоя в Англию и дальше на континент. Солдаты понимают, что, как только они достигнут французского побережья, их сразу же бросят в бой.

Конвой войсковых транспортов находится в Атлантике, уже несколько дней как они вышли из Нью-Йорка. Приближается ночь, море застлано туманом, Стрейндж один бродит по судну. Перед его мысленным взором проходят картины недавнего прошлого. Он думает о том, как развалилась их прежняя родная рота, и о том, что сталось с людьми.

Прежде всего он подумал про Уинча. Ему вспоминается утро в лагере О'Брайер, когда кто-то из штабных рассказал ему о том, что́ Уинч сотворил с гарнизонкой. Стрейндж не представлял себе, чем он может помочь товарищу, и все-таки раздобыл пропуск, а затем долго ходил вокруг госпитального здания, где находилась палата для арестованных.

Потом он вспоминает, как на другой день пошел проведать Уинча. Шагая по коридору, он услышал, как Уинч выкрикивает то же самое, что кричал на Гуадалканале, когда они брали высоту 27: «Выводи людей! Выводи скорее! Не видишь, что ли, минометы нас в вилку берут?» Опечаленный Стрейндж понимает, что никакого смысла навещать Уинча нет, и отправляется к себе в часть, которую через несколько дней должны переправить в Нью-Йорк. Перед самым отъездом какой-то солдат рассказывает Стрейнджу, что видел Уинча: тот стоял, вцепившись в решетку на окне, и выкрикивал все те же слова.

Стрейндж бесцельно бродит по судну и думает о своей жене Линде, которую все еще любит, хотя знает, что сама она давным-давно позабыла о нем. Потом мысли его обращаются к Мариону Лэндерсу, потом он заново мучительно переживает известие о гибели Бобби Прелла в пьяной драке в какой-то паршивой пивной в Калифорнии.

Стрейндж вглядывается в беспредельность океана и в другие суда, движущиеся на восток, и в памяти его встает другой корабль — госпитальное судно, на котором их почти год назад везли с Тихого океана, и они сами, завидевшие издали «огромный голубой континент» — Америку. Так же, как это было с Лэндерсом, когда он за воротами военного городка шагнул под колеса автомобиля, Стрейндж точно во сне вспоминает белый пароход с огромными красными крестами на бортах, вспоминает, как он приходил к Преллу в главный салон с тяжелоранеными — «хранилище, или музей, где собраны все людские пороки и зло»,— и как, стоя у борта, вглядывался сквозь туман в проплывающие мимо берега Калифорнии.

От этих воспоминаний о том, что происходило много месяцев назад, Стрейндж возвращается в настоящее.

Далее воспроизводится то, что наговорил Джеймс Джонс в магнитофон буквально за несколько дней до смерти:

Здесь идет финальная сцена, кульминация книги, конец всего, что есть в романе...

Стрейндж выбирается из переполненного вонючего кубрика, поднимается на палубу и, подойдя к борту, опирается на шлюпбалку. На море туман, ночь промозглая, холодная, моросит дождь, хотя стоит июнь.

Стрейндж впервые осознает до конца, что у него не хватит сил пройти через все это еще раз. Попадет он в Европу и будет отсиживаться подальше от передовой — какая уж особенная опасность при кухне-то? — а на его глазах будут гибнуть или мучиться от ран и пропадать без вести вот эти самые молодые ребята. Он не выдержит, просто не сможет опять смотреть, как страдают от страха и боли люди, смотреть на увечья и кровь.

Теперь он отчетливо понимает, что сам попался в ловушку, когда настаивал, чтобы его отправили на фронт, в Европу, и обязательно в пехоте, а не с подразделением связи, где он уже и авторитет вроде имел, хотя и ни к чему он ему.

Все смешалось у него в голове, он вдруг ухватился за поручень, перекинулся через него и, будто кто позвал, плавно соскользнул вниз как был — в шинели и каске, в тяжелых башмаках и в толстых перчатках, потому что холодно. Никто ничего не видел и не слышал.

Ударившись о воду, он удивился: что он сделал? Все произошло так неожиданно, он и подумать не успел ни о чем.

Он не плыл, просто держался на воде, а пароход быстро отодвигался в туманную мглу. Ему не хочется звать на помощь... Глядя на уходящее судно, он не чувствует ни сожаления, ни страха — ничего. В полном обмундировании он просто держится на воде и смотрит, как пропадает во тьме корабль.

Он подумал, что теперь ему уже не отгадать, что означал тот сон, когда его два раза выводили из-под наркоза после операций. Ему было обидно, что он никогда не узнает, что́ они сделали с ним, эти древние римляне,— засудили или оправдали.

Солдатские перчатки набухли водой, у Стрейнджа мерзнут руки, его пробирает холод. И от этого у него начинается что-то вроде галлюцинации. Ему кажется, что он сам набухает, раздается вширь и растягивается и уже видит сверху уходящий транспорт. А он все растягивается, растет, делается выше и больше, больше, чем океан и весь земной шар, больше, чем солнечная система, больше, чем целая вселенная.

По мере того как он набухает и растет, этот простой пехотинец в шинели, каске и ботинках, в него словно входят боль, злоба и муки, которые выпадают на долю всех-всех солдат на земле, и потом выходят из него и рассеиваются по вселенной.

Потом Стрейнджу показалось, что он мало-помалу начинает сжиматься обратно — до солнечной системы, потом до земного шара, до океана, он возвращается в себя, едва держащегося на воде, один посреди безлюдного пространства. Но он продолжает сжиматься дальше, уменьшается до размера морского конька, потом крошечной амебы, пока, наконец, не делается невидимым и неделимым атомом.

Он не знал, захлебнется он сначала или замерзнет.

ПЯТЬ ПОГИБЕЛЕЙ ПОСЛЕ БОЯ

Я завидую всем, кто только что прочел эту книгу: перед ними открылась живая картина тяжких страстей Америки, ее лицевая сторона и ее подоплека. А я эту книгу уже давно прочел, уже испытал радость первооткрытия и могу только заново пережить собственное ликование и горечь.

Она очень современна, эта книга, и боль правды, заключенная в ней, касается всего человечества и каждого отдельного человека, потому что человечество, хотим мы этого или не хотим, есть единый организм, а каждый человек есть вселенная.

Эта книга трагична и беспощадна. Она о гибели четырех людей, удивительных в своей неповторимости.

Четыре героя этой книги погибли, но опыт их гибели встает знаком восклицания, как предупреждение всему человечеству.

В этой книге речь идет о минувшей войне, и автор всем своим талантом и солдатским опытом заявляет о том, что в современном мире литература о войне должна быть только антивоенной, антиимпериалистической — в этом ее великая беспощадная правда, ее убеждение и надежда.

Книгу написал Джеймс Джонс, известный американский писатель. Он родился в штате Иллинойс в 1921 году, а умер в 1977 году на Лонг-Айленде. С 1939 по 1944 год он служил в американской армии. За его плечами штурм японских укреплений на Соломоновых островах. Он был ранен и награжден медалями «Бронзовая звезда» и «Пурпурное сердце». Он мечтал о том, чтоб его «читала и понимала вся Америка», и досадовал на то, что «минувшие годы навели на события второй мировой войны глянец и отполировали их порой до неузнаваемости, ибо в Америке история пишется представителями высших классов исключительно для собственного употребления», поэтому она «дает широкий простор стратегам, тактикам и теоретикам, но лишь в самой минимальной степени позволяет судить о мыслях и чувствах обросших, немолодых, взятых в армию из бедняцкой среды солдат, волею командования брошенных на передовую линию».

Джеймс Джонс знал кровавый труд войны по собственным шрамам. Он умел жить по высшей категории человеческого доверия, по неписаному кодексу солдатского братства — способности прикрывать собой товарища по окопу.

Он понимал, что великое мужество растет только на благородной почве духовного мира человека.

Джеймс Джонс написал немало книг. Две из них переведены на русский язык и знакомы нашему читателю. Но в судьбе каждого художника есть вершинная книга, книга его судьбы, с высоты которой видно все возделанное художником поле, книга — крик надежды, обращенный в безответную бездну будущего.

Джеймс Джонс — гуманист. В своей последней книге он как бы продолжает разговор, начатый его старшими современниками — Хемингуэем и Дос Пассосом, Барбюсом и Ремарком, обнажая унизительно тяжкий солдатский труд, античеловеческий труд истребления себе подобных солдат, труд, исполненный горя и проклятия. Он замечает: «Военные специалисты всегда чувствуют себя удобнее и непринужденнее, если разговор о войне носит чисто профессиональный характер, без обращения к деталям социального, этического, религиозного и психологического характера, к тому, что определяет человеческую специфику военного конфликта... Тем не менее всегда находится кто-то, кто не довольствуется чисто внешним рисунком войны и идет дальше; только так и можно понять, что представляет собой война».

Изображение войны в книге Джеймса Джонса — не самоцель. Война здесь — кровавая почва души, мучительно ищущей выхода из древнего круга обреченности: «Кровь рождает только кровь!» И пусть писатель не находит этого выхода — он обозначает ступень на лестнице понимания существами, именуемыми людьми и убежденными в том, что они обладают разумом,— понимания того, что именно разумом освещается путь из бездны мрака и проклятия.

«Только позови» — так звучит на русском языке название книги. Это книга о гибели четырех великих в своей неприметности американских солдат, мужественных и честных, ценой гибели своей дающих нам понять процесс начавшегося в них трагического прозрения.

Когда было нужно, Америка позвала их, своих сыновей, в бой. Они верно исполнили свой воинский долг, а вернувшись домой, в Штаты, увидели, что дома нет. Транспорт с искромсанным пушечным мясом шел к Тихоокеанскому побережью, но огромный голубой континент отступал все дальше и дальше. Солдаты Джонса не нашли дома. Родина оказалась чужой, бесчувственной, богатеющей на войне страной. Она послала их в бой за демократию и обманула их, предала их надежды на спокойную нормальную жизнь. Тогда-то они и услышали трубный зов смерти.

Я читал эту книгу, и передо мной роилась, как кучевые облака, подсвеченные багровым закатом, фантастическая фантасмагория одного научно-популярного фильма о жизни термитов. Это был американский фильм. Цветной. Широкоэкранный. То, что я увидел, поразило воображение. Сначала был показан как бы социальный строй термитного сообщества. Оно состояло из королевы и короля, из больших и малых рабочих и больших и малых солдат. Королева и король занимались воспроизводством себе подобных, большие и малые рабочие ухаживали за королевой и королем, кормили потомство, убирали помещение, пасли стада молочных тлей, ремонтировали и переоборудовали свой термитник. Все они были в движении, и каждый досконально знал свои обязанности. А большие и малые солдаты лежали на своих нарах, ели подносимую рабочими пищу. Но вот на термитник обрушивается полчище хищных странствующих муравьев. И тут, по какому-то непонятному людям сигналу, поднимаются большие и малые солдаты по всем правилам мобилизационной готовности человеческих армий.

И начинается бой. Бой неправдоподобно жестоких чудовищ, увеличенных линзами до невероятных размеров. Те и другие действуют, строятся и атакуют, отходят и заманивают, разведывают и устраивают засады по всем правилам пехотной стратегии.

Бой идет. Смертельный бой. Трещат челюсти, таращатся ненавистью дьявольские глаза. Изгибаются полосатые тигрообразные туловища. Цепляются колченогие когтистые лапы.

Бой идет, и нет ему ни конца и ни края.

А в это самое время большие и малые рабочие с поразительной быстротой начинают заделывать входы и выходы своей крепости. И вот заделан последний вход, последнее повреждение.

Наконец полчище кочующих муравьев разбито и разгромлено. В мире наступает тишина. Самая страшная тишина на свете. Тишина после боя.

Но победители не ликуют, и никто не поздравляет их с победой. Большие и малые рабочие уже замуровали все входы в термитник. Победителям нет туда обратной дороги, и они умирают от голода на поле сражения. А король и королева начинают заниматься усиленным воспроизводством новых полчищ больших и малых солдат.

Я читал беспощадную книгу Джеймса Джонса, а память моя иллюстрировала ее кадрами американского фильма из жизни термитов.

Я читал эту книгу, вслушиваясь в ее тревожный ритм, как в звуки сигнальной трубы в спящей казарме перед рассветом. Я ликовал и плакал над ее страницами, как над собственной судьбой, которую я уже не в силах переделать. Ассоциативный строй этой книги захватывал и будоражил старый колодец моей еще не высохшей памяти, и буря, которая закипала в этом старом колодце, несла меня по моей судьбе и по судьбе мира на волне сочувствия, недоумения и гнева.

То, что книга посвящена «каждому, кто во время второй мировой войны служил в Вооруженных силах США — независимо от того, выжил он или нет, нажился или нет, сражался или не сражался, отсидел срок или не отсидел, спятил после всего этого или нет», не умаляет ее воздействия и, надеюсь, не помешает тому, кто будет читать ее, понять заложенную в ней общечеловеческую боль о безмерных тратах юной энергии мира.

А моя собственная солдатская память была даже чересчур назойливой, и ассоциативный ход ее движения непостижимо связывал жизнь и страдания, остроту прозрений и кислотный осадок ненависти героев книги с прозрениями и недоумениями моей души, обеспокоенной своим, совсем другим военным опытом.

Вместе с этими четырьмя солдатами я продирался через проклятые тропики, через чавкающую зловонную жижу забытых богом и дьяволом Соломоновых островов. Вместе с ними я лежал в засаде, выслеживая японского генерала. Вместе с ними, уходя из-под минометного обстрела, попал под прицел крупнокалиберного пулемета. Вместе с ними старался не стонать, когда их грузили на пароход и смрадный от разлагающегося человеческого мяса и раздробленных костей, стиснутых каменной хваткой гипса, ветер гулял по некогда роскошным салонам и палубам превращенного в ковчег страданий океанского лайнера.

У меня были на этот счет свои воспоминания, но вместе с четырьмя героями книги Джеймса Джонса я переживал и перелопачивал их заново. Эта книга стала для меня прожектором, с какой-то потрясающей остротой высвечивающим уже давно пережитое и перечувствованное на неопределенный экран возможного будущего.

...А лайнер шел, раскачиваясь на волнах Тихого океана, и чайки, встречаясь с ним, отваливали в сторону от вони, которая тянулась за ним.

Потом эти четверо искалеченных попали на конвейер реставрации, и так как они еще были молоды, их организмы стали быстро набирать силу жизни.

Они выздоровели. Все четверо. Но вместе с выздоровлением плоти у каждого по-своему шел процесс осмысления того, что с ним произошло, и великое мужество, с которым они воевали на этих забытых богом и дьяволом Соломоновых островах, оказалось на поверку осмеянным и обманутым, и перед каждым из них возникла своя пропасть и своя стена отчуждения между его душой и миром, ради которого он выкладывался до самой последней капли крови.

Сначала они пустились во все тяжкие, но кабаки и женщины не принесли облегчения ни выздоравливающей плоти, ни бушующему сомнениями духу. Фронтовое товарищество и верность были преданы, высшая категория человеческого доверия была оплевана самой жизнью, и перед каждым из них выросла своя непреодолимая стена отчуждения.

Вход в термитник был замурован.

Первый из четверых, самый юный, ушедший на фронт добровольцем считай со школьной парты, демобилизуется и в десяти шагах от госпиталя бросается под машину.

Второй, самый честолюбивый, мечтавший о славе и получивший высшую награду Америки — Почетную медаль конгресса,— вконец измученный операциями, на разбитых крупнокалиберным пулеметом ногах, затевает пьяную драку и падает замертво от удара бильярдным кием по голове.

Третий из них, боевой кадровый сержант, орет из-за решетки отделения для буйнопомешанных в армейском госпитале непотребные слова об отступлении и бьется окровавленной головой о железные прутья.

Четвертый попадает в новую часть и отправляется заканчивать войну в Европу. Он грустно смотрит в туман, за которым пропала Америка. Корабль окутывает ночь, беззвездная и сырая. И на душе у четвертого сыро и беззвездно. Он равнодушно подходит к борту и, перевалившись через край, падает в черную холодную воду; на идущем корабле никто не замечает этого.

Так гибнут четыре солдата.

Так гибнут после боя четыре человеческие души, четыре незаменимые вселенные.

Так гибнут четыре молодые жизни, каждая в своем тупике, каждая в своем одиночестве.

Но в этой щемящей душу книге Джеймса Джонса есть еще пятая погибель.

Джеймс Джонс уехал из Америки в Париж в середине 60-х годов. «В сущности, я уехал из Штатов,— говорит он,— только потому, что американскому писателю полезно посмотреть со стороны на свою родину и постараться с выгодной стороны оценить ее духовный климат».

Пятнадцать лет, которые Джеймс Джонс прожил в Париже, были годами глубоких раздумий, годами оценок и переоценок. В 1973-м он вернулся в Штаты, чтобы целиком отдаться главной книге. И последний его роман — это крик, обращенный к будущему. Предостерегающий крик влюбленной в жизнь души.

Три последние главы романа воссозданы другом писателя по его черновикам и наброскам. А заключительные страницы даны по магнитофонной записи, оставшейся от Джонса.

Он успел их продиктовать.

Продиктовал и умер от тяжелой болезни сердца — пять лет назад, восьмого мая.

Это пятая погибель после боя.

Джеймс Джонс был храбрым солдатом. Он умел воевать с войной даже в одиночку.

Он ушел за своими героями и остался вместе с ними в своей книге всей своей солдатской доблестью, всем умением умирать за других.

Он знал, что мины взрываются и после войны. Знал, но все-таки шел по минному полю, глядя в темное пустое небо.

А я, читая его книгу, шел за ним по его следу. И он меня на этом пути ненавязчиво убеждал в том, что великая победа человеческой души начинается с осознания своих неудач и умения их пережить.

МИХАИЛ ДУДИН

Ленинград

■

Критика

Анкета «ИЛ»

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ТАЛАНТА

СЛОВО — ПИСАТЕЛЯМ МИРА

В этом номере Алекс Ла Гума, Иван Скала, Август Кюн, Нгуен Динь Тхи, Хосе Мигель Варас, Тадеуш Голуй отвечают на вопросы нашей анкеты:

1. Как отражаются актуальные проблемы современности в Ваших творческих замыслах? Над чем Вы сейчас работаете?

2. Как может служить произведение искусства, литературы сохранению мира на земле?

АЛЕКС ЛА ГУМА (ЮАР)

1. Вы спрашиваете меня, какую книгу я сейчас собираюсь писать. Отвечу как обычно. Сделаю все, чтобы моя новая книга способствовала пониманию борьбы народа ЮАР против чудовищного апартеида, неотделимого от империализма, войны и разрушения.

2. Хоть есть еще писатели и читатели, которые необходимости мира не осознали, мысль о том, что литература должна быть заинтересована в его сохранении, очевидна. Ведь писателям нужен круг читателей: чем шире этот круг, тем больше спрос на книги — будь то проза, поэзия, драматургия или критика. Чтобы потребность литературы и аудитории друг в друге удовлетворялась, человечеству необходимы жизнь, образование, свободное время. Ему не нужен мрак могилы. Сделать так, чтобы жизнь на земле не оборвалась, чтобы она длилась долго, вечно,— важнейшая задача современности.

К сожалению, некоторые безответственно относятся сегодня к ее решению. «Есть вещи важнее, чем мир»,— сказал как-то мистер Хейг. Любопытное заявление. Что же может быть важнее мира? Те, у кого есть странное желание разрушать, а не создавать, убивать, а не сохранять жизнь, угрожают сейчас человечеству. По мнению этих людей, литературу, видимо, следует заменить военными уставами, а вместо библиотек строить пусковые площадки для ядерных ракет.

Но писатели всегда предпочитали библиотеки. Вот почему большинство литературных произведений, появляющихся на книжных полках, снова и снова рассказывают о страшных последствиях войны. Человечество благодарно Льву Толстому, Анри Барбюсу, Эриху Мария Ремарку и другим писателям за то, что их перо служило миру. Говорят, войны, которые нам пришлось пережить, породили свою литературу. Но это была литература мира, не войны. Новая война не оставит после себя никакой литературы: она уничтожит и писателей, и читателей.

Есть люди, которые выдвигают сейчас идею ограниченной ядерной войны, утверждая, что после нее кое-что уцелеет. Они даже рассуждают о том, какой процент населения может быть легко принесен в жертву, чтобы оставить за победителем право на продолжение существования своей экономической системы — капитализма, конечно! Другие тешат себя надеждой, что война не обязательно поразит Африку, Азию, Латинскую Америку.

Продолжение. Начало см. в «ИЛ», 1982, № 4, 5, 6, 7, 8.

Ни один здравомыслящий человек так думать не может. Литература рассказывает о жизни всего человечества, а не какого-то процента его; для нее неприемлема дискриминация отдельных географических районов. Писатели стараются быть «универсальными». Поэтому давайте сохраним вселенную! Давайте в наших книгах учить людей миру, а не войне. Трудно переоценить роль писателей в борьбе за мир. Пусть же идеи их произведений затронут самые тонкие струны человеческой души и наполнят сердца музыкой любви, как говорят поэты. Настоящая литература не может существовать без любви.

Но мир не означает негативного пацифизма. За мир нужно бороться, и писатели обязаны выступать против поджигателей войны, которых — кто бы они ни были: колонизаторы, расисты или фашисты,— объединяет дикое желание провести последние дни на грудах щебня, на останках своих сопланетян. Борьба за мир — это борьба против таких элементов, именно элементов,— ибо можно ли назвать их людьми? Пусть же наши книги, стихи, пьесы будут неразрывно связаны с борьбой за спасение всего человечества, за справедливый и прочный мир. Смысл этой борьбы — прогресс, счастье, безопасность.

Как пример произведения, безраздельно служащего миру, я хотел бы привести недавно прочитанную мной трилогию Леонида Брежнева — «Малая земля», «Возрождение», «Целина».

Читая описания человеческих деяний — на фронте, на строительстве Днепрогэса, на сталелитейных заводах Запорожья, в степях Казахстана, впервые узнавших, что такое плуг, приходишь к выводу, что за всем этим стоит главная для автора дума — о мире. Быть может, все эти испытания и способствовали формированию Леонида Брежнева как выдающегося борца за мир на земле.

Как политработник, генерал, играя значительную роль в Великой Отечественной войне, Л. И. Брежнев разделил с народом трагедию утраты жизней 20 миллионов сограждан. Помогая восстановлению народного хозяйства, катастрофически разрушенного в годы войны, участвуя в освоении новых земель для блага советского народа, он, наверное, не мог не посвятить себя борьбе за продолжительный и надежный мир.

ИВАН СКАЛА (ЧССР)

1. В античной легенде Прометей похитил у богов огонь, чтобы принести его в дар людям. В наше время некие «Прометеи наоборот» украли у человеческого гения огонь атомной энергии и стремятся подложить его человечеству под порог как зловещее проклятие, как предвестие всеобщей гибели.

Я не верю, что в этот момент найдется хотя бы один художник, достойный своего звания, который равнодушно пройдет мимо главной проблемы, определяющей судьбы всего человечества,— мимо проблемы сохранения и упрочения мира, потому что в этой проблеме заключены начало и основа всего, чего жаждет человечество, чего может оно желать в материальной или духовной, в социальной или культурной областях.

Разлад в современном мире неизбежно проникает в мои стихи, заставляет задуматься над судьбой человека в сегодняшнем мире, над судьбами всего человечества. Это нашло отражение и в новой книге моих стихов «Бермудский треугольник», которая сдана в печать. К ее созданию меня побудило происходящее как у нас, так и в странах, которые хоть и находятся на разных уровнях общественного развития, но ведут общую упорную борьбу за лучшее будущее человечества: в Советском Союзе, на Кубе, во Вьетнаме, Кампучии, Лаосе, Эфиопии... Я не очень люблю путешествовать, но эти страны с быстро развивающейся историей посетил в последние годы.

Совсем недавно я закончил поэму «В эту минуту», которая была опубликована в первом номере нового журнала Союза чешских писателей «Кмен» («Ствол») [1]. Необходимость сохранить мир и предотвратить войну для меня, испытавшего тяготы второй мировой войны, не просто литературная тема, а естественное выражение всей жизни.

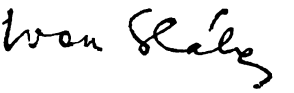
2. Как художественное и литературное произведение может служить сохранению мира на земле? Думаю, что в современном разделившемся мире — двумя способами.

[1] От редакции: одновременно с ответом Ивана Скалы на анкету мы получили текст поэмы «В эту минуту», которая публикуется в нынешнем номере в переводе Маргариты Алигер.

В странах социалистического мира — показывая ценности, жизненно важные для человека,— для его творческого поиска, его миссии, для воплощения его возможностей. Смысл жизни каждого отдельного человека — в борьбе за них. Разносторонне влияя на читателя, литература вооружает его для этой борьбы и одновременно укрепляет в сознании значимости и необходимости его собственной жизни и работы.

В тех же странах, где сознание людей искажено чудовищно огромным влиянием системы дезинформации и обмана (этому служат все буржуазные средства массовой коммуникации), важнее та сторона искусства, которая обнажает перед читателем правду о состоянии и развитии мира и человека в нем, раскрывает потенциальные возможности трудящихся в обществе, свободном от эксплуатации.

Весь комплекс этой деятельности укрепляет в людях сознание смысла, ценности и значения жизни и одновременно мобилизует и активизирует силы для положительного развития, а следовательно, и решительной борьбы за мир.



АВГУСТ КЮН (ФРГ)

В ФРГ непрерывно растет число безработных. Это в основном следствие перепроизводства, несбалансированности капиталистической экономики. Существующий кризис дает возможность имущим спекулянтам получать огромные доходы, например, от домов и землевладений, за счет арендаторов и квартиросъемщиков. Господствующие классы пытаются уйти от возникающих при этом проблем. В частности, они провоцируют и умело используют неприязнь к работающим у нас иностранцам, которая при содействии неофашистских групп и организаций перерастает в травлю.

Я как раз сейчас работаю над книгой о сегодняшнем неофашизме и фашизме времен нацизма. В поисках прототипов для главных героев романа я обратился к ныне здравствующей дочери Отто Биндера, бывшего бойцом Сопротивления и павшего жертвой нацизма в 1944 году, к ряду других товарищей. Настоящее — прошлое и вытекающие отсюда уроки — вот что меня занимает.

Моя последняя книга, появившаяся осенью 1981 года, «Пригород»,— исторический роман. Книга рассказывает о жителях одного пригорода, о семистах годах их угнетения и эксплуатации, о том, как они постоянно страдали от войн, которые вели господствующие классы. На многочисленных публичных чтениях этой книги, которые состоялись в разных местах Федеративной Республики, я много беседовал со слушателями о том, кто же в XX веке заинтересован в войнах. Это, конечно, военные промышленники, прежде всего в США, но и в нашей стране тоже. Я говорил о том, как эти наследники феодализма пытаются в нашем современном буржуазном обществе противостоять воле большинства к миру.

В другом романе, «Аферы господина Франца», я прослеживаю прямую связь между буржуазными политиками и военными инвестициями. Книга, видимо, нашла своих читателей, об этом говорят их отклики, но мне было важно, чтобы люди с помощью ее осознали эту жуткую взаимосвязь, угрожающую самому существованию мира. Не зря таким грубым нападкам подвергается эта книга со стороны ХСС. Но для меня, как писателя классового, важно и то, что борьба за сохранение мира может одновременно стать и борьбой против основы войны — капитализма.

НГУЕН ДИНЬ ТХИ (ВЬЕТНАМ)

1. Так уж сложились последние бурные и драматические десятилетия в истории моей страны, что актуальные проблемы — социальные, политические, нравственные — с особой силой, я бы даже сказал властностью, налагали свой отпечаток не только на творчество, но и на повседневное существование писателя, определяли не только тематику, форму, метод, но и все то, что можно условно обозначить двумя словами: «жизненный выбор».

Я начинал в пятидесятые годы с книг о войне — повести, стихов, рассказов (напомню, мы тогда сражались за независимость), но герои моих книг, так же как и сам

я, мечтали о мире, о той поре, когда человеческий труд и душевная щедрость залечат раны, нанесенные земле, и выправят искалеченные людские судьбы, когда можно будет наконец все силы свои посвятить созиданию новой жизни, новых, справедливых отношений между людьми. Во имя этого мои соотечественники принесли огромные жертвы. И заветной целью моей было и остается — внести свой, пусть малый вклад в дело построения нового общества и решения связанных с этим многообразных и сложных вопросов.

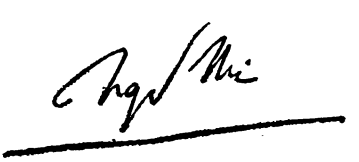
В последние годы я в основном писал пьесы (на современные и исторические темы) и стихи. Сейчас начал работу над романом. Время действия в нем — от Августовской революции 1945 года до освобождения Южного Вьетнама в 1975 году, когда были окончательно утверждены независимость и единство страны.

2. Я думаю, литература может сыграть немаловажную роль в деле сохранения мира. Она должна дать «маленьким людям» возможность осознать свои силы, поверить в них, поверить в то, что именно народ является вершителем истории, что он может и должен оказывать решающее влияние на судьбу человечества. Эта вера и сила простых людей могут стать непреодолимой преградой для тех, кто замышляет и разжигает войны.

Нам, писателям социалистических стран, пожалуй, легче опознать и разглядеть истинное обличье врагов мира; вот почему наши книги должны, подобно могучему очищающему ветру, рассеять дымовую завесу лжи, за которой поджигатели войны пытаются скрыть свои черные дела.

У читателей не должно оставаться ни малейших иллюзий насчет «миротворности» реакционных политиков и представляемых ими заправил так называемых военно-промышленных комплексов. Понимание расстановки сил в современном мире, ощущение реальности угрозы, нависшей над человечеством,— все это могут дать людям не только средства массовой информации и различные общественные движения, но и книги, пьесы, кинофильмы. Я имею в виду, конечно, честные гуманистические произведения подлинного искусства.

Сколько еще в мире людей колеблющихся, заблуждающихся, а то и, чего греха таить, просто безучастных. Я думаю, произведения литературы и искусства должны открыть им глаза на истинное положение вещей, помочь сделать единственно правильный выбор. И тогда силы борцов за мир, мощь противодействия агрессивным планам поджигателей войны вырастут во много раз.



ХОСЕ МИГЕЛЬ ВАРАС (ЧИЛИ)

1. Первой моей реакцией по получении анкеты «ИЛ» было замешательство. Почему мне? И что я могу ответить?

Как и большинство моих чилийских коллег, я очень неохотно называю себя писателем. Мы испытываем при этом чувство некоторой неловкости, потому что у нас литературные занятия принято считать всего лишь родом побочной деятельности. Неруда рассказывал, что однажды, много лет назад, заполняя вопросник в одном из отелей Сантьяго, в графе «профессия» написал: «Поэт». Администратор взглянул на него подозрительно, но, решив, что это всего-навсего шутка, спросил самым серьезным образом, какова в действительности его профессия, чем он зарабатывает на жизнь.

Конечно, можно сказать, что это буржуазный предрассудок, усвоенный обществом развивающейся страны,—считать творческую деятельность занятием ничтожным. Теми, кто стремится к прогрессивным социальным переменам, он в расчет приниматься не должен. Бесспорно. Однако так или иначе — в глубине сознания — предрассудок существует, и когда меня спрашивают о моей профессии, я, несмотря на то что давно уже начал заниматься литературной деятельностью и даже опубликовал несколько книг, всегда отвечаю: «Журналист». Это не ложь, хотя и не вся правда.

После военно-фашистского переворота 1973 года в Чили я отложил литературные замыслы и дела «на после» и всю свою энергию, все время и максимум творческих усилий посвятил журналистике, ибо именно она, вне всяких сомнений, дает возможность открыто сражаться с тиранией, что я считаю своим боевым долгом.

Быть может, однако, теперь наступает момент вернуться к прежним литературным планам. Не оставляя, разумеется, журналистики и ежедневной радиопрограммы. Мой основной замысел — пока еще туманный — написать книгу о начале XX века в

Чили. Ее главным персонажем, возможно, станет основатель нашего рабочего движения и нашей партии Луис Эмилио Рекабаррен.

2. На второй вопрос, мне кажется, следует ответить в обобщенном плане. Вклад, который писатели, творческая интеллигенция, деятели культуры вообще могут и должны внести в дело мира, станет действенным только в том случае, если будет самым искренним образом исходить из их глубоких личных убеждений. Одни вносят свою лепту, создавая стихи, романы, рисунки, другие — своим участием в мирных форумах, ассамблеях и других общественных акциях. От каждого художника, от каждого работника умственного труда мы ждем такого вклада, который лучше всего отвечает его творческой индивидуальности, свойственным ему формам художественного выражения.

ТАДЕУШ ГОЛУЙ (ПОЛЬША)

1. Я не только писатель, человек, который высказывается своими книгами, я и общественный деятель и, как таковой, неразрывно и глубоко связан с современными событиями. Я не просто «откликаюсь» на них, я хочу быть причастным к ним и поэтому помимо прозы и поэзии обращаюсь к публицистике — жанру острому и актуальному. Стараюсь не смешивать с ним художественное творчество, но, как утверждают критики, публицистичность все же присуща многим моим стихам. Поэзии свойственно быстрее откликаться на события, доносить свой идейно-нравственный заряд до читателя, в то время как восприятие прозаического произведения требует времени, дистанции и осмысления.

Вся моя сознательная жизнь посвящена борьбе за идеи коммунизма, и, я надеюсь, это подтверждают мои произведения, даже те, в которых рассказывается о прошлом моего народа, об истории нашего рабочего движения. Эти книги, по замыслу, тоже должны быть обращены в современность.

Как общественный деятель, я нахожусь в эпицентре актуальных проблем, область же моих писательских интересов — проблемы нравственные, не только узкополитические. Сейчас пишу мало, в основном стихи.

2. Я не верю, что в наше время литература, как это ей некогда приписывали, имеет такое влияние на судьбы человечества, чтобы решительно содействовать сохранению мира во всем мире. Она не является ныне единственным источником знаний о людях, об их судьбах. Средства массовой информации отобрали у нее эту монополию, а у писателей отняли ореол пророков. Это вовсе не означает однако, что литература вообще утратила власть над умами читателей, над их психикой и мышлением и что ее нельзя мобилизовать на борьбу за сохранение высшей ценности, которой обладает человек,— его жизни и жизни целых народов. У нее прежде всего есть могучая способность, животворящая сила, призванная формировать сознание людей, сохранять для них память поколений. Я говорю здесь о литературе во всей ее совокупности, включая теле- и киносценарии. Сейчас, когда происходит генеральная смена поколений, когда на наше место заступает молодежь, не знавшая войны, литература должна заменить ей наш опыт, показать, чем была последняя мировая война, чем были все последующие войны, что они несут человеку.

Литература имеет право (которым сейчас пользуется очень несмело) воспитывать человеческое воображение не только художественным описанием того, что было, но также того, что могло быть, и того, что будет, тревожить совесть, предостерегать. Но чтобы она могла быть наиболее эффективно использована для атаки против пропаганды войны, ей следует действовать в союзе со средствами массовой информации — тогда она достигнет самой широкой аудитории. Это относится как к литературе «памяти и предостережения», так и к литературе, рисующей будущее без войн, основанное на дружбе и мире.

Я говорю о литературе, но надо отметить, что в борьбе за мир и дружбу между народами большую роль могут сыграть и ее создатели — их международная солидарность и взаимопонимание.

Н. АНАСТАСЬЕВ

КАК СТАТЬ КУМИРОМ

Массовая беллетристика в США

Дискутируя о проблемах развития современной зарубежной литературы, мы, как правило, умозаключаем, имея в виду лучшие образцы и, напротив, оставляя в стороне многотиражные боевики, которые, раз появившись, тут же, в огромном своем большинстве, благополучно оседают на дно потока. Это как будто законно. Но вспомним известную мысль Пушкина: «Скажут, что критика должна единственно заниматься произведениями, имеющими видимое достоинство; не думаю. Иное сочинение само по себе ничтожно, но замечательно по своему успеху или влиянию; и в сем отношении нравственные наблюдения важнее наблюдений литературных».

Это соображение классика весьма поучительно и для наших дней. Массовая беллетристика, или китч, как сейчас принято говорить, точно, эстетически ничтожна, однако же оказывает немалое воздействие и на духовный климат общества, и на вкусы людей, и на самое литературу. Потому бывает полезно, не упуская из вида вершин (в сегодняшнем представлении — вершин), обращаться к популярному чтиву. Особенно ощутима потребность в таком взгляде, когда безликий и неподвижный, лишь в ширину раздающийся слой начинает колебаться, обнаруживая признаки качественных перемен. Именно такой момент мы наблюдаем сейчас, во всяком случае применительно к массовой беллетристике США, о которой и пойдет речь.

Относительно недавно, десять — пятнадцать лет назад, книжный рынок был густо насыщен сочинениями откровенно эротического свойства. Не слишком заботясь о связности изложения, а еще менее — об изяществе стиля, авторы бесхитростно нанизывали одно на другое любовные приключения, в которых если что изменялось, то только имена партнеров. В качестве гарнира предлагалось описание разного рода наркотиков, а также насилия (или, наоборот, насилие выдвигалось на передний план, а секс составлял плотный фон). Это было чтиво в наиболее откровенном выражении, словесная форма порноиндустрии. Оно выдвинуло своих кумиров, прочно удерживавших внимание публики,— Жаклин Сьюзен, Генри Саттон. Одновременно образовался и быстро набрал силу другой поток массовой беллетристики. Паразитируя на распространившихся в обществе настроениях социальной апатии, душевной неустроенности, книжный бизнес принялся тиражировать разочарованных персонажей, контрастно противостоящих победительным героям недавнего прошлого, многочисленным двойникам Джеймса Бонда. Даже традиционный happy end утратил обязательность. Соответствующим образом осуществлялась «эстетическая» перестройка китча. Отказываясь от элементарного жизнеподобия, натурализма, иные авторы принялись усердно эксплуатировать современную технику — внутренний монолог, поток сознания, контрапункт и т. д. Так что рецензентам подобного рода литературы приходилось в поисках аналогий обращаться к таким фигурам, как Беккет, Феллини, чуть ли не Достоевский.

Само собой разумеется, подлинные переживания на страницах массовых романов подменялись суррогатами чувств, а стилистика, при всей своей «усложненности», отдавала убийственным примитивом (это хорошо почувствовал Джон Гарднер, включив в свой роман «Осенний свет» злую карикатуру на китч). Впрочем, надо отдать должное авторам: они, в общем, и не стремились скрыть совершенную мнимость созидаемого мира, как не утаивали и того, что использование разного рода приемов — всего лишь дань моде, своего рода литературный манок.

АНАСТАСЬЕВ НИКОЛАЙ АРКАДЬЕВИЧ (род. в 1940 г.) Советский критик и литературовед, кандидат филологических наук. Автор книг «Фолкнер. Очерк творчества» (1976), «Разочарования и надежды» (1979), «Творчество Эрнеста Хемингуэя» (1981) и ряда статей о писателях США XX в.

Вот это легкое, даже циническое отношение к собственной деятельности, а равно к читающей публике было, пожалуй, той неизменной чертой, которая объединяла массовых беллетристов, на каком бы тематическом пространстве они ни упражнялись. Одни откровенно апеллировали к элементарным инстинктам, другие столь же откровенно — и жалко — мельчили реальные коллизии действительности, третьи, обнажая «социальный заказ» и ничуть не веря в истинность изображаемых картин, занимались промыванием мозгов в антикоммунистическом духе. Но ни у кого, в том числе у лидеров, не было и тени амбиций, социальных и творческих, никто не думал о сколько-нибудь заметном положении в обществе и литературе, вполне удовлетворяясь ролью потешников, развлекающих либо цинично обманывающих непритязательную и доверчивую аудиторию.

На наших глазах ситуация заметно меняется. Конечно, и ныне эротика сохраняется в арсенале дешевой литературной продукции. И с прежним усердием сочиняются антисоциалистические пасквили, в которых от романа — только титульный подзаголовок. Но осуществляется перегруппировка сил, в результате которой вчерашние шуты все чаще превращаются в идеологов, претендуя на роль властителей дум, духовных лидеров общества. Если раньше массовая беллетристика воздействовала, как сказал бы Фолкнер, на гланды, то теперь стучится в сердца. Если раньше действие разворачивалось на пятачке времени и обладало предельно актуальным характером — день, год,— то ныне оно вытягивается в историческую перспективу, захватывая века. Коротко говоря, массовая беллетристика явно стремится найти общественное признание как эпос народной жизни.

Подобный сдвиг объясняется, как нетрудно понять, внелитературными причинами: сегодня, как и всегда, массовая культура обнаруживает самую непосредственную зависимость от господствующих идей времени, в данном случае — от идеологии и практики неоконсерватизма. Тут нет ни возможности, ни нужды обсуждать это явление, его политические, экономические, иные аспекты сколько-нибудь подробно — существует обширная специальная литература. Обратим внимание лишь на одну особенность, имеющую прямое отношение к нашей теме. Решительно разрывая с либеральной традицией в американской общественной жизни, идеологи неоконсерватизма (публицист И. Кристол, редактор журнала «Комментари» Н. Подгоретц) конструируют положительную рабочую модель социального развития. Говоря об «инфекционном заболевании ненависти и презрения к самой себе», поразившем Америку в 60-е годы, Н. Подгоретц объясняет его тем, что «презрительное отрицание всего американского, любых ценностей среднего класса было ошибочно принято за некую форму идеализма» [1]. Задача, следовательно, состоит в том, чтобы преодолеть это заблуждение и, взамен ложных, сформулировать комплекс подлинных ценностей, которые имели бы долговременный характер. Социальная основа этих ценностей вполне недвусмысленна: «Неоконсерватизм начинается с отрицания социализма... А отрицая социализм, вы должны чем-то его заменить. Это не может быть феодализм. Полагаю, это должен быть капитализм» (И. Кристол) [1]. Иными словами, речь идет о том круге социокультурных идеалов, которые традиционно объемлются понятием «американская мечта». Исчезнув было из общественного оборота под напором леворадикальных эмоций, оно вновь передвигается в центр умственной жизни страны. Осуществляется коллективная попытка реанимации мифа, скомпрометированного ходом самой истории. В этой общей пропагандистской работе немалое место отводится массовой беллетристике, которая призвана художественно аргументировать теоретические тезисы социологии, философии, исторической науки.

Как, какими способами выполняется этот социальный заказ? Бросим сначала общий взгляд на массив китча с тем, чтобы впоследствии выделить в толпе статистов лицо кумира.

Легко заметить прежде всего, что изменился герой этой литературы. На место супермена, который, при всех своих исключительных свойствах, отличался столь кукольным характером, что ни малейшего читательского доверия вызвать не мог, на место магнатов, кинозвезд, детективов, разочарованных интеллигентов и прочая и прочая все решительнее выдвигаются герои, которые в представлении авторов могут стать образцом для нравственного подражания. Герои, казалось бы, надежно сращенные с непридуманной жизнью, наделенные высокими свойствами и бескорыстно служащие общественному благу. И, что немаловажно, люди, в соответствии с легендой, «сами себя сделавшие».

Можно сказать, что ничего нового в этом нет, в 50-е годы наблюдались сходные явления. Есть, однако, существенная разница: слишком остро ощущается в США общественное неблагополучие, чтобы публику можно было, как несколько десятилетий назад, одурачить изображением безупречных любимцев фортуны, чей путь стреловидно направлен к вершинам богатства и славы. Сегодня все делается не столь топорно. Нынешние персонажи — дельцы, фермеры, армейские офицеры, государственные служащие, университетские профессора и т. д.— лишены олеографической идеальности, им приходится терпеть неудачи, отступать, временно впадать в отчаяние, даже совершать не вполне благовидные поступки. Что, само собою разумеется, не разрушает их статуса подлинных героев современности.

Таких, например, как Чинк Петерс, центральный персонаж романа известного у нас автора В. Бурджейли «Мужская игра» (1980). Судьба была к нему немилосердна уже с самой колыбели — сын русских им-

[1] «The New York Times Book Review», 1979, Oct. 21, p. 50.

[1] «Esquire», 1979, Febr. 13, p. 41.

мигрантов, он ощущал себя изгоем в кругу сверстников — «стопроцентных» американцев. С тем бо́льшим упорством мальчик, потом юноша, наконец, зрелый мужчина пытается завоевать достойное место в обществе. Это вполне удалось. Еще в колледже он стал чемпионом по борьбе, что сразу (в совершенном согласии со стандартом американского героя) выдвинуло его в число уважаемых, во всяком случае, заметных людей. Затем, в годы войны, он показал себя как находчивый и умелый солдат, незаурядный разведчик (тоже престижная профессия). Гуманистическая суть борьбы народов с фашизмом, борьбы жестокой и трагической, остается при этом в густой тени повествования, но такая аберрация для массовой беллетристики закономерна: любое событие, независимо от его исторической значимости, жестко подчиняется схеме характера. Правда, уже в ту пору Чинка одолевают немалые сомнения морального свойства: задания разведывательной организации, судя по всему ЦРУ, мало согласуются с понятиями чести и гуманности. После войны сомнения усиливаются, и в конце концов герой уходит в отставку. Но жизнь не кончена. Минувшее, даже разрыв с возлюбленной, отказавшейся от замужества с человеком, у которого на совести не одна человеческая жизнь, напоминает о себе лишь редкими и слабыми уколами памяти, и герой, сохранив прекрасную спортивную форму, благополучно погружается в мирную жизнь. Сюжет завершается элегически: «Чинк Петерс встретил свое пятидесятилетие на ранчо в Португалии, где ему было поручено возглавить совместную советско-американскую программу по скрещиванию крупного рогатого скота».

Эндрю Андерсон, герой романа С. Уилсона «Величайшее преступление» (1980), не обрел даже и столь скромного социального положения, зато совестливостью одарен в большей мере, нежели его литературный двойник. Времена, повторяю, переменились, автор уходит от старых схем, опробованных им в некогда популярной книге «Человек в сером фланелевом костюме», где Уилсон выступал романтиком бизнеса, опровергая, кажется, распространенное убеждение, что поэтизировать можно любую страсть, кроме страсти к наживе. Нынешний герой, в отличие от давнего предшественника, едва обеспечивает себе маломальски сносное существование, ремонтируя яхты богачей и подрабатывая шкиперским ремеслом. Но тем рельефнее на этом фоне проступают черты морального благородства. Соблазнившись было баснословным барышом — платой за участие в «преступлении века» (контрабанда рекордного количества наркотиков). Андерсон в последний момент, отчаянно рискуя, расстраивает планы своего давнего патрона, вдохновителя всей операции, этой ненасытной «акулы капитализма».

Наконец, Джин Спано, героиня романа Р. Кондона «Тесная связь» (1980). Тут свой поворот темы, своя, с позволения сказать, проблематика. Наследнице миллионного состояния нет, естественно, нужды заботиться о хлебе насущном. Но это не значит, будто жизненный путь героини беспечален и усыпан розами. Поставив целью нарушить вековую социальную рутину, оставляющую за женщиной домашние, светские, в лучшем случае благотворительные дела, Джин с величайшим упорством делает политическую карьеру. И достигает высот — становится министром юстиции, затем кандидатом в вице-президенты. Причем деньги в этом возвышении роли, кажется, не играют, героиня всем обязана исключительно собственным качествам.

Даже из беглого пересказа становится видна некоторая вариативность судеб, поставленных в центр книг. Справедливости ради надо бы сказать и о несовпадении стилистического рисунка — одни (к примеру, С. Уилсон) пишут нехитро, твердо придерживаясь хронологии событий и тщательно соблюдая верность деталям, другие (например, В. Бурджейли) разнообразят повествовательную технику, располагая порой действие сразу в нескольких временных планах, совершая экскурсы в область психологии. Однако же эти и иные различия имеют сугубо внешнее значение. Ибо из того же поверхностного пересказа видно и другое: в отличие от подлинной литературы, которая формализации поддается с исключительным трудом, в которой главным неизменно остается непредсказуемый и свободный индивидуальный талант, массовая беллетристика всегда остается закованной в непробиваемую броню канона, колебания возможны лишь внутри строго определенных рамок. Потому и можно, собственно, без всякого насилия над материалом, рассуждать об этом слое культуры вообще, хотя, повторим, самые каноны могут и меняться.

Так, наряду с переменами в характере героя мы наблюдаем сегодня и, условно говоря, возросшую социальную остроту массовой беллетристики. Раньше, лет десять назад, какой-нибудь А. Коппел в романе «Немного времени для веселья» в героических тонах писал о «подвигах» американского солдата во Вьетнаме. Теперь герой В. Бурджейли переживает свое грехопадение в годы корейской войны — убив человека, он «так и не смог выяснить, был то противник или обыкновенный воришка». Раньше люди «во фланелевых костюмах» просто наслаждались благами богатства, теперь, как мы видели, мучаются нравственными проблемами. Раньше, по словам А. Хаузера, известного эстетика, автора фундаментальной «Философии истории искусств», считалось «неуместным рассматривать или даже затрагивать определенные вопросы — здоровые половые отношения, классовая борьба и рабочее движение, всякая критика существующего порядка или власти, все то, что ведет к религиозным сомнениям или оппозиции церкви» [1]. Теперь возникает полное впечатление того, что хотя бы некоторые из тематических табу сняты: авторы обращаются и к жизни социальных низов, и позволяют себе критиковать государственные институты, и иронически отзываются о религиозном ханжестве. И все-таки о конфликтах применительно к массовой беллетристике действительно можно говорить лишь в сугубо ус-

[1] A. Hauser. The Philosophy of art history, NY, 1965, p. 340.

ловном смысле. Тут только видимость противоречий, обманный облик реальности, привлекательная упаковка, скрывающая старую и надежную идею, которую лучше всего можно выразить известными словами вольтеровского Панглосса — все к лучшему в этом лучшем из миров. Только мысль эту авторы утверждают с полной мерою серьезности.

Иными словами — снова канон, твердый центр, контролирующий колебания огромной массы печатного слова. И если что и выделяется в этом необъятном потоке, то лишь такие сочинения, в которых правила игры, всеобщие признаки выдерживаются с наибольшей, можно сказать, экспериментальной чистотой. Так в круге безымянностей выделяется имя, кумир, лидер. Талант ему, как и другим литературным дельцам, не нужен — нужен нюх; не нужно и вдохновение — его с успехом заменяет расчет, точное знание потребностей рынка.

О том, кому отдать сейчас пальму первенства, за кем признать законодательную роль в американской массовой беллетристике, гадать не приходится. Это, бесспорно, Джеймс Миченер, автор целого ряда бестселлеров, чей общий тираж перевалил рубеж двадцати миллионов экземпляров. В его необъятных книгах густо сконцентрированы те черты содержания и стиля, которые в сочинениях статистов литературного театра выражены порой слабо и случайно. Иные позволяют себе заигрывать с публикой, вводя по старинке рискованные сцены, сюжеты насилия, погони и т. д. Миченер до этого не снисходит — идеологу и пророку, на роль которого он явно, хоть и невысказанно претендует, такие игры не к лицу. Другие, дабы придать фальши вид истины, бывает, как говорилось, критически (хоть и в строгих пределах, конечно) отзываются об американском образе жизни. Миченер работает чисто и взглядов своих не скрывает: Америка — венец цивилизации. И наконец, главное. Большинство удовлетворяется изображением летучей современности, отдельных фрагментов текущей жизни. Миченер создает якобы целостную, исторически глубокую и, соответственно, разомкнутую в будущее картину бытия.

Не этим ли и объясняется баснословный успех сочинений Миченера, даже отдаленно несоразмерный с их литературным качеством? А ведь даже самые горячие поклонники Миченера из числа критиков-профессионалов вынуждены признать, что «его стиль либо монотонен, как круги рабочей лошади, либо поразительно банален». И вообще «трудно рассуждать об эстетических свойствах творчества Миченера» [1].

Но бесстильность компенсируется «величием замысла»: показать людям, что жизнь их — не случайность, но необходимое звено в историческом развитии, во вселенском порядке. Впрочем, о причинах популярности позже, пока же займемся «творческой лабораторией» сочинителя.

Когда-то, еще в пору глубокой безвестности, Д. Миченер написал роман «Весенние огни» (1949), в центре которого стоит молодой человек, мечтающий о писательской карьере. В поисках образцов он тревожит тени великих: «Если бы можно было писать, как хочешь, всякий бы писал, как Бальзак». Имя найдено, и решение принято: «С утра он примется за дело — будет, в меру способностей, писать, как Бальзак».

Эти слова имеют программный характер не только для героя, который давно уже затерялся в толпе персонажей массовой беллетристики,— они стали поистине путеводной звездой для самого Джеймса Миченера. Подобно Бальзаку, он совершенно всерьез полагает себя «секретарем общества» — американского, заявляя без тени смущения: «Мои книги — американская история» [1]. В тон саморекламе звучит критическая реклама, создающая облик «доктора социальных наук»: «чувство общественной ответственности пронизывает большинство произведений Миченера» [2].

Действительно, посмотреть со стороны — вылитый Бальзак наших дней: сцены государственной жизни, военной, частной... Более того, если классик удовлетворялся по преимуществу описанием нравов ограниченного отрезка времени — Реставрация во Франции,— то его нынешний «последователь» уходит в глубины, порой в бездны человеческой истории. Скажем, действие последнего из романов Д. Миченера, «Договор» (1980), начинается прологом, где описан быт стариннейшего африканского племени. И это в его представлении не орнамент — сразу же налаживается связь времен: изобретенная некогда стрела «являла собой триумф человеческого разума; всякий, кому доставало способностей изобрести такую стрелу, мог со временем стать строителем самолета или небоскреба». Опять-таки если Бальзак оставался в пределах Франции, то современный автор, буквально воспринимая завет классика, хочет «проникнуться всеми нравами, обежать весь земной шар, прочувствовать все страсти!» Его сюжеты включают в себя Азию, Европу, Африку. Это, правда, особенного значения не имеет: о чем бы ни писал Миченер, где бы ни происходило действие его книг, он, того не скрывая, апеллирует к американскому опыту.

Такова видимость. А сущность?

В общем-то, для обнаружения ее можно взять любую из книг плодовитого сочинителя — они все принципиально сходны, все выстроены согласно единой схеме. Но есть все-таки в этой библиотеке чтива такая, в которой черты «творческой манеры» Миченера сказались с особенной отчетливостью. Это «Чизапик» (1978), роман, который, собственно, и закрепил за автором репутацию флагмана массовой беллетристики.

Захватывая в свою орбиту огромный резервуар времени объемом почти в четыре столетия, начиная с доколониальной, индейской эпохи и кончая нашими днями (дата обозначена точно — 1978 год), роман разворачивается как история трех семей, чьи прародители высадились некогда на берегах

[1] Pearl K. Bell. James Michener's Docudramas. Commentary, April, 1981, p. 71.

[1] C. Eron. James Michener: Life and Literature, American Style, Washington Post, 1976, Sept. 19, p. 3.

[2] Ibid.

бухты Чизапик, а потомки, в чреде поколений, выстроили богатую и процветающую страну. Представим их: Стиды, многоземельные плантаторы, выделяющие, впрочем, с ходом времени из своей среды и коммерсантов, и промышленников, и государственных деятелей; Паксморы — потомственные корабелы; Терлоки — некогда бездомные бродяги, голытьба, селившаяся на болотах, а ныне, в XX веке, обретшая и достаток, и известную респектабельность (при том, что некоторые члены семейства сохранили авантюристическую склонность к мелким правонарушениям и бродяжничеству).

Описывая жизненные приключения многочисленных представителей всех трех семейств (а также окружающих их теневых персонажей), Д. Миченер обнаруживает пристальный интерес к быту и острый, отдадим должное, глаз на детали, мельчайшие подробности семейной жизни, нравов, природы, географии, экономики, архитектуры, фауны здешних мест и т. д. Это вообще давний метод его работы, предмет скромной и тайной гордости, которая лишь изредка прорывается наружу: прежде чем сесть за письменный стол, автор штудирует научные фолианты, трудолюбиво и неспешно коллекционирует факты, которые нередко перемещаются на страницы книг в сырой, необработанной форме — в виде таблиц, документов и т. д. При этом изучение источников нередко сопровождается собственной изыскательской работой — Миченер действительно вдоль и поперек исходил края, примыкающие к чизапикской бухте, и следы этих путешествий вполне отпечатались на страницах романа.

Только, конечно, и этнография, и бытописательство — подсобные инструменты в возведении романной постройки. Семейная хроника с ее тщательно выписанными подробностями — лишь условная форма, в которую облекается история самой Америки, взятая в крупных порой переломных явлениях: укрепление национального самосознания в XVIII веке, Война за независимость, война с Англией 1812—1814 годов, рабовладение, экономический рост в последней трети прошлого столетия и т. д. Соответственно в кругу персонажей оказываются исторические фигуры — Вашингтон, Уэбстер, Кэлхун, Клей и некоторые другие. Однако, одолев колоссальную, в тысячу страниц, махину, с изумлением обнаруживаешь, что выстроенная историческая панорама буквально зияет многочисленными провалами. Об истреблении аборигенов сказано на редкость бегло, к тому же в несвойственной вообще-то Миченеру несколько мелодраматической манере: Гражданская война, да и в целом движение аболиционизма лишь упомянуты; первой мировой войне вообще не нашлось места, а вторая отозвалась частным и совершенно неправдоподобным сюжетом (один из Паксморов во главе делегации американских квакеров отправляется к главарям третьего рейха в надежде спасти от нацистских преследований еврейское население).

На первый взгляд такие умолчания кажутся странными. Опущены, правда, события трагические, более того, во многих случаях морально болезненные для национальной истории, нарушающие глянцевую чистоту мифической «американской мечты». И вообще говоря, от таких событий массовая беллетристика отворачивается. Но это именно вообще говоря, к тому же, напомним, и правила со временем меняются. А Миченер вроде бы и вовсе их ломает. Его романы лишены и тени благодушия, он, все на тот же первый взгляд, старается писать жестко, во всяком случае объективно, не отворачиваясь от мрачных сторон жизни, не приукрашивая ни жизненных реальностей, ни людей.

Начать с того, что уже у истоков все три семейства сталкиваются с драматическими трудностями. Стиды — католики, и основателям уважаемого впоследствии клана пришлось проявить немалую стойкость, чтобы преодолеть враждебное отношение протестантской в громадном своем большинстве общины. Паксморы и вовсе стартовали бедственно. Основатель рода, Эдвард, человек «с горящим взором, свидетельствующим о том, что он видел бога», примкнул к секте квакеров, которые в ту раннюю пору американской истории подвергались самым безжалостным гонениям, вплоть до физического истребления. И, надо признать, религиозный фанатизм изображен Миченером с предельной, даже натуралистической мерой достоверности. А Терлокам, как мы помним, пришлось вести долгую и изнурительную борьбу за место под солнцем.

Обращается Миченер и к иным темным сторонам американской истории. Немалое место в романе занимает изображение рабства и работорговли, причем и здесь, избегая идеализма и сентиментальной приторности, автор словно бы стремится сохранить верность правде. Он смело идет на снижение вполне положительного, по всем признакам, персонажа, показывая, как свои семейные неурядицы тот вымещает на безответной рабыне. Не жалея красок, изображает «колонию Клайна», этот далекий и примитивный прообраз концлагерей XX века, где «излечивают» невольников, выказывающих малейшую склонность к неповиновению. С другой стороны, и сами негры изображены в стиле, далеком от стереотипов массового сознания, не вполне изжитых и по сию пору (они с замечательным простодушием сказались в безымянном этнографическом справочнике 1835 года, который цитируется у Миченера: «Негры ленивы, подвержены предрассудкам, мстительны, глупы, безответственны. В любой момент готовы к бегству, но любят петь»). Им, щедро готов признать романист, свойственно и чувство собственного достоинства, и трудолюбие, и природная сметка, и ум, и даже способность к героическому самопожертвованию. Всеми этими качествами не обделен африканец по имени Куджо, проданный в рабство в начале XIX века и положивший начало еще одному семейному клану, судьбы которого тесно переплетаются с жизненными путями главных героев.

Словом, ни дать ни взять социальный романист доброй традиционной школы — впрямь новоявленный Бальзак или, положим, Драйзер. Только все это поза, маска беспристрастного летописца, за которой скрывается лицо конформиста, остающегося в пределах классических схем американизма

и даже опасно смыкающегося с расистской идеологией.

Успешно и, как выясняется, совсем не случайно, миновав одни рифы истории — вытеснение аборигенов, экономические кризисы и т. д.,— Миченер не смог избежать других. Иначе, понятно, сразу же рухнула бы даже видимость эпоса народной жизни, каким в честолюбивых замыслах виделся автору «Чизапик». Однако история маскарадов не признает, беспощадно разоблачая любые видимости, обнажая существо дела и заставляя тех, кто рискнул к ней прикоснуться, менять позу на позицию. Это правило не знает исключений, вот и нашему романисту пришлось в конце концов раскрыться.

Конечно, рассуждает Миченер (говорю — рассуждает, ибо в романе чрезвычайно сильно проявлено идеологическое начало), положение рабов бедственно и их порыв к свободе благороден и неизбежен, как благородны просветительские усилия тех, кто видит в неграх не просто инструмент для извлечения экономической выгоды, но таких же детей божьих, как и белые. Это — убеждение Паксморов. Но надо, настаивает автор, понять и плантаторов — Стидов, и даже Терлоков, выступающих в роли стражей «законной собственности» рабовладельцев, пусть «собственность» эта — живая плоть и живая душа. Лишь бы с неграми обращались бережно — это сообразно и с нормами гуманности, и с интересами материального преуспеяния, от которого и слугам кое-что перепадает. И вот Миченер посвящает десятки страниц текста изложению практической философии Пола Стида как выразителя идей «просвещенного» рабовладения. С тем же тщанием воспроизводится аргументация исторической личности — сенатора Кэлхуна, крайнего реакционера и, пожалуй, наиболее красноречивого адвоката плантаторского Юга. И он действительно изображен столь романтично, такую силу убежденности вкладывает писатель в его уста, что даже ревностная аболиционистка Рейчел Паксмор вынуждена признать: «Один из самых тонких умов, которые когда-либо знала эта страна» (правда, тут же добавляет: «И неправ во всем»). Заметим, что рассуждения Миченера о феномене рабовладения выдержаны в завидно академическом стиле, так, будто речь идет не о жизни, не о судьбе миллионов, но об интересной логической задаче, и даже помещены в поистине эпическую атмосферу: «Большинство наций в тот или иной период своей истории признавали и практиковали рабство — Греция, Рим, Индия, Япония... В этом кругу Америка демонстрирует «и лучшие (!) и худшие образцы рабовладельческой системы». Трудно поверить, что так можно говорить на исходе XX столетия.

И это не обмолвка — продуманная идея, которая в упомянутом уже новом романе Миченера «Договор» выразилась с полной определенностью. Того оглушительного успеха, что пришелся на долю «Чизапика», эта книга не имела. Она, правда, попала в список бестселлеров, но тут скорее действовала инерция массового мышления — от кумира ожидали нового откровения. Оно не состоялось, и возникший было интерес тут же угас. Это понятно, ибо, изменив место действия: взамен США — Африка, точнее ЮАР, взамен Стидов и Паксморов — Тьярты и Ван Доорны, бывшие голландцы, а ныне буры,— автор, по существу, продублировал проблематику и ситуацию «Чизапика»: строительство новой империи, возводимой руками простых людей. И тот же прием — изображение чреды сменяющих друг друга поколений, и та же общая конструкция — история народа и государства в зеркале частной жизни.

Но что касается расовых взаимоотношений, автор высказался более развернуто и недвусмысленно. По сути дела, правда оговариваясь и украшая идею виньетками пустословия, Миченер выступает в защиту апартеида. Он рассматривает чудовищную, средневековую систему как историческую неизбежность, сложившуюся в результате трудного и драматического развития цивилизации в Южной Африке. Массовое уничтожение коренного населения изображено в романе как необходимая мера защиты домашнего очага колонизаторов, а в историческом смысле — самого прогресса от дикарских покушений африканских племен зулу и хауса. Обильно цитируя документы, в которых дистанция между белыми хозяевами и черными работниками оправдывается ссылками на Библию, автор сочувственно комментирует: «Эти слова ближе к истине, чем что-либо иное, потому они и приобрели мировую известность». И лишь в одном отношении, полагает Миченер, правящее белое меньшинство допустило тактический промах, не использовав в XX веке возможность «протянуть цветным руку дружбы и предложить им достойное партнерство». Кажется, автор совершенно не чувствует, каким высокомерием, каким аморальным прагматизмом отдает эта идея.

Вернемся, однако, к «Чизапику». Южная Африка далеко, и поэтому автор мог высказать свои взгляды с достаточной прямотой, тем более что среди его соотечественников немало тайных, да и явных сторонников расистского режима. Что же касается собственных дел, то, хоть поворная традиция расового неравноправия в Америке все еще исключительно сильна, вряд ли широкая публика примет попытки оправдания рабовладельческого прошлого. Вот почему Миченер, не сумев вовсе уйти ни от самой проблемы, ни от ее интерпретации, всячески пытается задвинуть ее на периферию повествования.

А в центр ее, не считаясь с реальным состоянием мира, передвигается стройный, непротиворечивый образ буржуазного бытия, от которого тщательно отсекается все «лишнее».

Манифестацией его становятся семейные кланы. Сколь бы несимпатичны ни были иные из их представителей, в какие бы компромиссы с совестью ни случалось им вступать, в главном и целом это замечательные люди, подлинные герои. Преодолевая любые препятствия, они выстраивают собственные судьбы и одновременно судьбы державы, которой назначено нести свет всему человечеству. И пусть не смущает то, что от прямых характеристик автор, как правило, уходит, остается в тени, сталкивая персонажей с читателем вплотную, предо-

ставляя им свободу высказывания и поведения. Это очередная видимость. Ибо сами эпизоды планируются и осуществляются таким образом, чтобы у потребителя сложилась вполне определенная оценка увиденного и услышанного.

Матт Терлок превращает свою шхуну с поэтическим наименованием «Ариэль» в работорговое судно. Казалось бы, позорное занятие и бравый капитан должен быть автоматически исключен из списков человечества. Ничуть не бывало — он остается вполне положительной, более того, вызывающей восхищение автора личностью: незаурядный воитель, настоящий морской волк. Дотошно описывается, как Матту удалось ускользнуть от английских судов, патрулирующих африканское побережье. А при изображении бунта рабов на «Ариэле» в повествовании начинают звучать едва ли не трагические интонации: защищая свою жизнь, обрушивая на африканцев священный гнев, капитан неуловимо сливается с мелвилловским Ахавом, маниакально одержимым идеей мести Белому Киту (даже внешним видом Терлок напоминает классического героя, только что деревянная нога Ахава превращается в искусственный «серебряный кулак» Терлока). Так на месте преступника вырастает мученик. И судьба его достойна оплакивания и благодарной памяти, особенно если вспомнить одинокую войну героя с англичанами в пору вооруженных конфликтов 1810 года, когда он проявил себя как подлинный патриот Америки.

Конечно, огорчительно, что Пол Стид поначалу не самым гуманным образом обращается со своими невольниками (а впрочем, он скоро опомнился, превратившись в мудрого, рачительного и человеколюбивого хозяина). Но разве этими отклонениями запоминается он читателю? — ничуть, перед ним вырастает государственно мыслящий деятель, остро ощущающий потребности и собственного дела, и всей страны.

Наш современник, Пьюзи Паксмор, входил в круг доверенных сотрудников президента Никсона и вместе с шефом пережил позор Уотергейта. Но представлен он вовсе не политическим интриганом и мошенником, а истинным блюстителем интересов Америки, ибо, как он искренне убежден, в случае победы Макговерна ей «со всех сторон угрожали бы взрывы и разложение», и вообще «на карту были поставлены судьбы нации». Потому и обвинительный приговор Пьюзи, ничуть не поколебленный в своих взглядах, воспринимает стоически, а в глазах других персонажей и, своим чередом, читателей выглядит героем, о чем прямо и говорится.

Но автору важно убедить аудиторию не просто в личных достоинствах персонажей романа. Он стремится, сохраняя в неприкосновенности их подчеркнуто негероический облик, не форсируя интонации, выявить исторический масштаб всех этих Стидов, Паксморов, Терлоков.

Осуществляя подобную задачу, он придает повествованию явно эпический характер.

Отсюда временной размах действия.

Отсюда композиционное построение романа — смена поколений явлена не просто как естественное движение жизни, чреда рождений и смертей, но как постепенное формирование и укрепление нравов, взглядов, идей, традиции.

Отсюда и стиль — замедленный, намеренно неуклюжий, как сама жизнь.

И символика. Некогда, в пору первых экономических успехов и бурного наступления на природу, эти края были покинуты караванами гусей, до того всегда возвращавшимися сюда после зимовки. И теперь они, воплощая связь времен, вновь появляются в родных местах.

А финал романа звучит вовсе библейски: тот самый остров, на котором столь долго процветала плантация Стидов, где выстроили свои верфи Паксморы, осушили болота Терлоки,— этот остров оказывается погребенным океанскими волнами. Что вовсе не означает, однако, тщеты земных усилий героев — просто таков органический круговорот бытия. «Непрерывно накатывающие волны, которые тринадцать тысяч лет назад принесли сюда этот обломок суши и породили остров, вернулись, чтобы востребовать свой долг назад. Земля, которую они забрали, будет перенесена в другое место бухты Чизапик, где она устроится по-новому, быть может, на тысячу лет вперед, а потом волны опять заберут ее назад, вновь и вновь видоизменяя ее, пока, наконец, не придет назначенный день и великий мировой океан поглотит весь полуостров, где в течение нескольких столетий жизнь была столь прекрасна».

В таких эстетических условиях и персонажи, оставаясь сами собою — людьми земли и практического дела, вырастают в своем значении, словно бы приобщаются мировых истин и величин, обретают масштабы поистине легендарные.

Я уже говорил бегло, что, изображая личность одного из героев, Миченер эпигонски использует замечательное художественное открытие Германа Мелвилла. Это вообще характерная особенность массовой беллетристики — дабы заручиться кредитами у читателя, она более или менее откровенно обращается к высоким образцам творчества. Это может быть заимствование приема, стиля, сюжетной ситуации, даже идеи произведения как целого. В свое время, скажем, в Америке выходило немало книг о Голливуде — и нередко авторы, изображая современных кинозвезд, обращались к опыту «Сестры Керри», безжалостно измельчая, естественно, проблематику драйзеровского романа. Миченер и в этом смысле стягивает разрозненные линии в пучок: используя отдельные образы классики, он и весь роман строит в распространенном и дающем в иных случаях замечательные художественные результаты стиле — стиле мифологическом.

Однако же, как давно замечено, ложно избранная, навязанная произведению форма способна неожиданно для автора резко проявить все его содержательное ничтожество. Так и в нашем случае. У Габриеля Гарсиа Маркеса, положим, миф служит обнаружению исторической правды, в его атмосфере обломки частных существований складываются в завершенную картину мира. А у Миченера тот же миф, напротив, призван прикрыть историческую фальшь

книги. В результате за шелухой мифических напластований наглядно проступает подлинная сущность тех самых персонажей, которых автор столь настойчиво окружает героическим ореолом. Это не живые и органичные фигуры, но витринные муляжи, во всей их парикмахерской слащавости.

Но почему же эти муляжи, вернемся теперь к важному вопросу, оказали и продолжают оказывать заметное воздействие на публику? Одной лишь эстетической невоспитанностью известной части аудитории, одним лишь действием рекламного механизма (что тоже, как говорится, имеет место) этого факта не объяснишь.

Оправдывая свою беззаветную преданность Никсону, Пьюзи Паксмор ссылается на то, что видел в нем лидера, способного спасти страну от «катастрофы, на пороге которой она стояла в 1969 и 1970 годах». Это — общее место всего комплекса неоконсервативных взглядов и умонастроений. В пестром спектре идейных противников неоконсерватизма совершенно особое место занимает «новая левая», чьими концепциями и действиями определялся во многом социальный, интеллектуальный и эмоциональный климат американских 60-х. Совершенно очевидно, что нынешние критики «контркультуры» выступают с позиций реакционных и охранительных. Но следует в то же время признать, что бьют они по наиболее уязвимому месту. Ведь, как известно, в выступлениях «новой левой» буржуазная государственность, культура, семья и т. д. неуловимо сливались с формами человеческой цивилизации, как таковыми. И тотальному отрицанию соответственно подвергался не конкретный, действительно исчерпавший себя общественный порядок, но любые накопленные человечеством ценности. Подобного рода крайний нигилизм вел в пустоту, чего, впрочем, не скрывали и сами идеологи «контркультуры». Один из них, Л. Кампф, признавался, что не знает, как именно будет выглядеть, звучать, ощущаться радикальная культура. Но для начала призывал уничтожить Линкольн-центр.

Естественно, такая программа не могла долго удерживать умы и чувства людей. И действительно, уже в начале 70-х годов радикальные эмоции все слабее и слабее возбуждали общественное сознание. Критическое отношение к буржуазному мироустройству, конечно, не исчезло, но со всей остротой была пережита потребность в положительных идеалах. На эту потребность и откликнулась со своей обычной переимчивостью и оперативностью массовая беллетристика (как и иные виды массовой культуры). Потому та зависимость от господствующих идеологических течений времени, о которой шла речь в начале статьи, есть лишь промежуточная форма зависимости от общественных умонастроений.

И Джеймс Миченер, если вновь вернуться к нему, потому и обрел, при всей эстетической беспомощности своих произведений, такую популярность, что откровеннее и непосредственнее других откликнулся на запросы аудитории.

Понятно, это не механический отклик, не бесстрастное эхо. Массовая культура более или менее определенно контролирует социально-психологическое состояние публики, направляет ее интересы, по сути же извращает их, придавая им четко выраженный консервативный характер, уравнивая понятие идеала с понятием буржуазного идеала. Понятно, что это куда опаснее, нежели понижение эстетического вкуса, чем тоже, конечно, чревато распространение массового искусства.

Не считаться с подобного рода системой взаимозависимостей было бы наивно и нереалистично. Но, разумеется, и фатальной неразрешимости во всей этой ситуации нет. Сейчас и общественные деятели, и литературные критики, и сами писатели немало размышляют о месте искусства слова в нынешнем горячем и расколотом мире. Слова произносятся и пишутся разные, диапазон мнений широк, однако же есть в этом разноголосии и нечто неизменно общее: убежденность в том, что литература должна служить интересам мира, гуманизма, социальной справедливости (самый свежий пример — ответы писателей на анкету «Иностранной литературы» — «Ответственность таланта»). Конечно, одно дело — декларации, другое — реальная творческая практика. В литературах капиталистических стран, в том числе в литературе США, между этими величинами может возникать (порой действительно возникает) разрыв. В то же время и единство позиции и творчества — вовсе не просто умопостигаемый идеал. Скажем, американский роман межвоенного двадцатилетия — роман Фолкнера, Хемингуэя, Стейнбека, Вулфа, Фицджеральда — вдохновляющий пример замечательного художественного осуществления идей человечности.

Сегодняшняя американская литература тех высот не достигает — ни в плане эстетическом, ни в плане социальной зоркости и глубины. Но последние книги таких писателей, как Дж. Гарднер, Дж. К. Оутс, Н. Мейлер, Дж. Болдуин, К. Воннегут, Э. Л. Доктороу, убеждают в том, что никогда не прерывавшаяся традиция демократического искусства, искусства, стоящего на прочных реалистических основаниях, обретает новое дыхание. При этом важно подчеркнуть, что критический пафос этих книг неотделим от напряженных и целеустремленных поисков положительных основ человеческого бытия. И если, преодолевая трудности (в том числе и конкуренцию массовой культуры, которая и на творческое сознание оказывает разлагающее воздействие), прогрессивное искусство США и дальше будет двигаться на глубину, то на долю кумиров останется в лучшем случае однодневный успех. А подлинным, долговременным фактором воздействия будет, используя название известной книги Д. Гарднера, «нравственная литература».

■

ИРИНА РАКША

ТРИЕДИНСТВО ВРЕМЕНИ

В предисловии к повести известного болгарского прозаика Павла Вежинова «Барьер» Лев Озеров замечает: «Прочерчивая путь писателя от старых рассказов, повестей и романов к нынешним его работам, я не мог бы предположить и угадать такой острой психологической драмы, дерзко и свободно совмещающей условность и реальность письма». Автор предисловия прав: ранние произведения Вежинова, казалось бы, не предвещают появления «Барьера» и «Измерений»[1]—ведь далеко не всегда удается в настоящем угадать будущее. Но вот прочитаны эти две «странные» повести, и теперь нельзя не разглядеть нити, связующие их с более ранними вещами Вежинова. Так, прочитав «Мастера и Маргариту» М. Булгакова, уже непременно видишь, как «начинался» этот роман в повести «Дьяволиада». Павел Вежинов и сам словно бы призывает нас к ретроспективной оценке: его герои — Антоний из «Барьера» и Манолвнук из «Измерений»,— стремясь осмыслить собственный опыт, взаимосвязь поступков и явлений, постоянно обращаются памятью к событиям недавнего и далекого прошлого. В них — истоки и неразгаданные в свое время откровения. В них, уже умудренные жизнью, ищут они подступы к настоящему и, соединяя настоящее с прошлым, пытаются — через многие барьеры — шагнуть в будущее, воспарить над бытом.

Барьер у Вежинова — с этим мы не раз столкнемся, говоря о его произведениях,— понятие весьма многозначное. Нечто требующее преодоления. Но отнюдь не путем приложения мышечных усилий. Духовный мир человека, его нравственность, границы освоения им собственных возможностей: интеллектуальных, душевных, психических — вот что интересует писателя. И как вехи на пути вежиновских героев к совершенствованию и познанию окружающего мира стоят эти барьеры косности, рутины, неверия в силу человеческого духа, робости перед неведомым. Их преодоление требует отваги и победы над собой.

В начале 1975 года Вежинов закончил роман «Ночью на белых конях». Болгарской критикой он был назван лучшим романом последних лет и удостоен в 1976 году Димитровской премии. Очень тепло встретили его и советские читатели[1]. Это произведение посвящено более чем земной проблеме: его герои — ученые разных поколений — пытаются определить природу рака.

...Умирает старый академик Урумов. Сердце его, разорванное инфарктом, уже остановилось. Только мозг, отдаляя на краткие мгновения смерть, продолжает напряженно работать. В эти последние мгновения к Урумову, как итог его долгих и мучительных размышлений, приходит с неотвратимой очевидностью понимание триединства времени: «И последними остатками своего гаснущего сознания понял, что все, что случилось с того позднего вечера (более сорока лет назад.— Авт.) и до сегодняшнего дня,—было всего лишь бесконечно растянувшимся мгновением самообмана и надежды». И еще — старый академик давно знал: «...то, что связывает человека с прошлым, ничем не отличается от того, что связывает его с будущим. Обе эти связи одинаково крепки и надежны и — самое главное — одинаково реальны. Одни лишь слепцы верят в то, что только сегодняшний день — настоящий». (Сравним: в самом начале повести «Измерения» Павел Вежинов устами героя-рассказчика заявляет: «О прошлом можно сказать, что оно, по крайней мере, содержится в нас самих. А будущее? Что оно такое? Существует ли оно реально? В нас или вне нас? А может, оно всего лишь возможная и вероятная проекция нашего настоящего?»)

Манол-внук, в отличие от академика Урумова, уже ощутил существование в себе самом некоего барьера, отделяющего то, что под силу человеку, от того, что кажется невозможным,— его преодоление дает

[1] Павел Вежинов. Барьер. Повесть. «ИЛ». 1978 № 1.
Павел Вежинов. Измерения. Повесть. «ИЛ». 1981 № 2.

[1] Павел Вежинов. Ночью на белых конях. М., «Художественная литература», 1978.

РАКША ИРИНА ЕВГЕНЬЕВНА.

Советский прозаик публицист, сценарист. Автор ряда книг, в том числе повестей «Весь белый свет», «Утрата», «Далеко ли до Чукотки?», «Хозяин», сценариев фильмов «Бабье лето», «Веришь — не веришь» и др.

человеческому уму и духу необыкновенное могущество. Оно позволяет Доротее (повесть о ней так и названа «Барьер») оторваться от земли.

Сюжет повести «Барьер» несложен. Судьба сводит преуспевающего, довольного собой композитора, неплохого человека, доброго и отзывчивого, с Доротеей, девушкой, находящейся под наблюдением психиатра. Больна ли она? Пусть читатель сам решает это для себя. Во всяком случае, Антонию странным в Доротее кажется лишь ее способность, читая книги, воображать себя той или иной героиней и верить в реальность своего «перевоплощения». Но не умеют ли того же и дети? Правда, бесценный дар детства — искренность и свобода фантазии — постепенно исчезает по мере взросления, уступая место духовному прагматизму. Доротея же счастливо сохранила его. Более того, силой своего воображения она смогла увлечь и Антония в звездное небо.

Автор оставляет читателю возможность поверить и в физическую реальность ее полета. Доктор Юрукова, наблюдающая Доротею, например, говорит: «...это не так уж глупо или страшно, как вы полагаете. Мы все еще не знаем ни всех возможностей человеческого сознания, ни к чему может привести развитие мыслящей материи». Но гораздо важнее метафорический смысл этого сюжетного хода: преодоление психологического барьера эгоцентризма, страха перед всем, «на что сам... не способен», дает Доротее силу воспарить над обыденностью. Антоний же, почти переступив, все-таки спотыкается об этот барьер, не найдя в себе достаточно мужества, чтобы поверить Доротее. Его душевная слепота, робость мысли и скованность фантазии, столь распространенные среди людей нашего «делового» века, косвенно служат причиной гибели этой удивительной девушки, словно заглянувшей к нам из будущего.

Роман Вежинова «Ночью на белых конях» связан с его поздними повестями не только развитием одних и тех же философских и этических идей, но и поиском определенного образа. Он вполне явственно проступает уже в описании Кристы — одного из основных действующих лиц романа,— но художественно завершенно реализуется лишь в героине «Барьера». Криста в определенном смысле — эскиз к Доротее. В ней довольно точно найдены автором некоторые общие для них черты внешнего и внутреннего облика: утонченность и стремительность форм, душевная незащищенность и вместе с тем твердость характера, жертвенность, безыскусность поведения, способность к духовному прозрению — словом, та незаурядная человеческая привлекательность, которая открывается «подводящему жизненные итоги» Урумову, но не трогает его племянника Сашо — тот не ощутил еще связи времен, он скользит по поверхности жизни.

Образ Доротеи вызвал особенно много споров — и среди читателей, и среди критиков. В частности, Светлана Шерлаимова в первом номере «ИЛ» за 1979 год писала: «Мне представляется, что в нем (в «Барьере».— Авт.) многое идет не от сегодняшней жизни, а «от литературы», от Достоевского, например. Мне кажется, что образ Доротеи, данный в романтическом ключе, не вполне согласуется с попытками писателя объяснить его в плане приземленно-бытовом...» Заметим: значение Достоевского не представляется нам сугубо историческим. В познании сути и «сегодняшней жизни» феномен его творчества, так же как творчества Толстого или Чехова, служит инструментом современнейшим. А вот с утверждением С. Шерлаимовой, что образ Доротеи «не вполне согласуется с попытками писателя объяснить его в плане приземленно-бытовом», хотелось бы поспорить более основательно. Отчасти это уже и было сделано на страницах «ИЛ». Полемизируя с В. Гусевым, который считает «Барьер» романтическим произведением, Л. Озеров пишет: «Я берусь доказать, если потребуется, что произведение Вежинова в такой же степени, если не в большей, реалистично». Впрочем, В. Гусев вовсе не думает, что романтизм Вежинова идет «от литературы». В повести, пишет он, «явно выражен принцип романтизма. Причем романтизма «нынешнего», современного. В нем — пульс «научно-технической революции», рвущейся через физику к психике; в нем — актуальнейшие проблемы духа».

Так что, если между В. Гусевым и Л. Озеровым и существует расхождение в понимании этой повести, лежит оно скорее в области терминологии. Ибо и тот и другой считают «Барьер» плотью от плоти нашей сегодняшней жизни. Нам подобная позиция кажется единственно справедливой.

Подтверждает ее и не совсем обычный для литературоведческого исследования эксперимент, проведенный нами[1]. Опираясь на поступки и размышления героев, мы ответили за Антония и Доротею на вопросы сложной социометрической анкеты, разработанной советскими учеными. Методика изучения личности, положенная в основу этой анкеты, дает возможность достаточно полно описать типологические особенности человека, мотивировать его поведение.

К литературным персонажам такой метод исследования применяется впервые. И если бы герои Вежинова не были столь же социально и исторически достоверны, как реальные люди, наши современники, для которых анкета была создана, если бы они действительно были решены автором в условно-романтическом ключе, мы не смогли бы найти в повести достаточного материала, чтобы ответить за них на несколько десятков вопросов теста. Но этого не произошло.

И еще одно обстоятельство следует отметить, чтобы устранить сомнения в «чистоте» проведенного нами эксперимента. Дело в том, что каждый из нас зачастую оценивает себя несколько иначе, чем оценивают его окружающие. Скажем, вы считаете себя достаточно целеустремленным человеком, в то время как хорошо знающие вас люди склонны приписывать вам некоторое легкомыслие в поступках... Анкета и суще-

[1] В этом эксперименте мы воспользовались методикой, впервые, насколько мне известно, примененной к исследованию мотивировки поведения литературного героя критиком В. Магидсоном.

ствующая методика обработки полученных ответов ориентированы на «субъективные» самооценки человека, подвергающегося тестированию. Так что и за вежиновских героев отвечать на предложенные вопросы следовало именно от их «первого лица». Поскольку Антоний в повести и много действует, и постоянно занят самооценками, за него отвечать было достаточно легко.

С Доротеей, опасались мы, будет сложней. Ведь, следуя определению Л. Озерова, это образ, хоть и «выхваченный из реальности», но «вместе с тем он как бы ирреален». Мы верили в это «как бы» и не ошиблись. Оказалось, что Доротея «отвечает» на самые каверзные вопросы анкеты даже охотней и определенней, чем Антоний. Наверное, потому, что она много более цельный человек. Ее вера в жизненные ценности, ее нравственные оценки, отношение к самой себе, наконец,— все это лишено «комплексов». Поэтому-то в конечном счете ее самооценки удивительно совпадают с оценками окружающих: доктора Юруковой, Антония — всех, кто узнает ее ближе.

Уже сама легкость, с какой Антоний и Доротея «ответили» на вопросы, адресованные реальным людям, безусловно подчеркивает типичность вежиновских героев для нашего времени, их органическую связь с ним.

А вот индивидуальные характеристики личности наших героев, полученные на основе анализа их ответов:

Антоний. Человек данного типа обычно добросовестен, трудолюбив, организован. Он живет и поступает согласно выработанному кредо. Как правило, обладает сильной волей и пользуется уважением окружающих, хотя с близкими обычно жесток, так как подавляет свои чувства... Люди этого типа честолюбивы... Они замкнуты, холодны, нечутки...

Доротея. Довольно редкий и необычный тип людей. Человек этого типа настолько занят своими мыслями, настолько оторван от повседневной действительности, что окружающим кажется странным... Он очень непрактичен, его мало волнует материальный успех. Люди подобного типа часто подают идеи чрезвычайной важности, но настолько странные и глубокие, что они медленно воспринимаются и большинство из них может быть осуществлено лишь в отдаленном будущем... Такой человек часто поражается тому, что для других вполне обычно... Он обладает умением видеть больше, чем есть и что очевидно...

Каждому читателю, разумеется, предоставлено полное право принять либо отвергнуть эти типизированные характеристики. Нам же они показались достаточно убедительными и в значительной степени совпали с собственным восприятием героев повести Вежинова «Барьер».

Но самое поразительное, пожалуй, не это. После того как результаты анкетирования были обработаны и сопоставлены, оказалось, что Павлу Вежинову удалось выбрать ту единственную с точки зрения типологических особенностей личности пару, которая только и могла дать этот феномен достоверности недостоверного, реальности «ирреального». Дело в том, что у Антония и Доротеи при абсолютном несоответствии индивидуальных характеристик полностью совпадают доминантные и субдоминантные характеристики личности. Но совпадают так, как две стороны медали, как Южный и Северный полюс, как человек и его отражение в зеркале... Это соответствие несоответствий. И уже не кажется случайным после таких сопоставлений, что талантливый психиатр доктор Юрукова, считавшая, что для обретения душевного покоя живое воображение Доротеи следует «чем-нибудь населить, но ни в коем случае не химерами» и что в новой жизни за стенами клиники «ничто не должно резко нарушать ее внутреннего равновесия», доверила Доротею именно Антонию, человеку, который, по ее словам, никогда не перешагнет барьера обыденного.

Манол, герой повести «Измерения», проходит через сильное жизненное переживание. Испытав предчувствие будущего землетрясения и убедившись, когда оно на самом деле произошло, что обладает некой способностью, какой нет у других, Манол вспоминает семейное предание о бабушке Петре, которая тоже имела дар предвидения (и она в свое время предсказала землетрясение) и была наделена «сверхъестественными» возможностями, которые врач мог бы, наверное, объяснить особо тонкой нервно-психической организацией.

Все происшедшее с ним и размышления над тем, что в давние времена случилось с бабушкой Петрой, ставят перед Манолом множество проблем нравственно-этического характера и заставляют заново осмыслить некоторые аспекты своей жизни и жизни близких.

«...Приходит к нам великий день подведения итогов...» В этой фразе, оброненной Манолом-внуком после землетрясения, быть может, сокрыт ключ к пониманию не только повести «Измерения», но и «Барьера». Итог для Антония — безвозвратная потеря Доротеи, единственного существа, «которому было дано летать», и горькое сознание того, что он сам перешагнуть через барьер никогда не сможет. Жизненный же итог Манола-внука (а отчасти и академика Урумова) — как раз ощущение возможности и необходимости возвыситься духом и если не преодолеть, то хотя бы учиться преодолевать барьеры. «Отныне я никакой не профессор. Я снова становлюсь самым обычным учеником. Пока не научусь понимать э т о »,— так заканчивает свои размышления герой повести «Измерения».

(Кстати, ассоциативная связь «Манол-внук — академик Урумов» возникает вовсе не случайно: в воспоминаниях и одного и другого настойчиво присутствуют и варварские бомбежки американской авиации в конце войны, и эпизоды многолетней национально-освободительной борьбы болгарского народа... Не только обостренное ощущение триединства времени, но и то, что память их опирается на одни и те же события, роднит эти персонажи.)

...Подводит своими «странными» повестями итоги долгих размышлений Павел Вежинов... Заставляет он делать выводы и своего читателя.

Эти две повести, столь несхожие сюжетно и в то же время столь близкие внутрен-

не, на наш взгляд, вообще неразделимы в творчестве Павла Вежинова. К «Измерениям», например, очень точно подходит уже упоминавшееся нами определение, данное автором предисловия к повести «Барьер»,— «острая психологическая драма, дерзко и свободно совмещающая условность и реальность письма». Сближает их и особая пластика, лиричность, метафоричность авторского изложения...

Но в читательском сознании объединение этих повестей происходит не сразу и не легко. Дело в том, что в «Барьере», сколь в конечном счете ни была бы необычна эта повесть, присутствуют вполне привычные читателю литературные атрибуты: традиционное сюжетное построение, имеющее целью увлечь читателя, логическая последовательность действия, детализированные, скульптурной объемности образы героев — Антония, Доротеи, врача Юруковой... Необычное здесь подготавливается вполне обычными средствами, иногда, с точки зрения литературы, даже слишком обычными — достаточно вспомнить определенную «легковесность» композиционной завязки повести: выйдя из ресторана, Антоний обнаруживает незнакомую ему еще тогда Доротею в своей машине...

В «Барьере» автор, несомненно, проявляет немалую заботу о читателе, склонном к традиционному восприятию литературного произведения, и достаточно осторожно, шаг за шагом, подводит его к удивительному и тревожному открытию сути образа Доротеи. Процитируем еще раз доктора Юрукову, сказанное ею однажды о Доротее: «...вы сможете соприкасаться с ее душой. И вы сами поймете, какая у нее, в сущности, светлая душа. А это большое счастье. Человеческая душа — нечто более странное и невероятное, чем ее мог себе представить даже такой писатель, как Достоевский. Мы не ведаем ни ее настоящей силы, ни ее ужасающей слабости». Слова эти, обращенные в повести к Антонию, могут вполне быть адресованы и к читателю, ибо именно то, что Доротея, по выражению Л. Озерова, «метафора воспарения над бытом, а не бытием», привлекает его в повести, а вовсе не интерес к телепатии и парапсихологии. Здесь нам трудно не согласиться с С. Шерлаимовой.

В «Измерениях» внешне все иначе. Сюжет определяется здесь в сущности случайными событиями: вместо землетрясения вполне могло бы быть, скажем, наводнение. Тут важны, пожалуй, не определенные факты, а стихия, их рождающая. Характеры Манола-внука, его жены, да и Манола-деда — лишь обозначены беглыми штрихами. И только бабушка Петра, к воспоминаниям о которой герой-рассказчик возвращается с неизменной нежностью и удивлением, на страницах повести обретает живописную очевидность и законченную реальность — хотя она-то как раз и является самым «странным» героем произведения.

В повести «Измерения» Павел Вежинов уже не щадит традиционного читательского восприятия — он взрывает его прямым обращением к необычному, удивительному, что, по его мнению, заложено в каждом из нас и о чем — пока не «приходит к нам великий день подведения итогов» — мало кто из нас подозревает, разве что в пору детства, когда все возможно, когда мы еще не разучились удивляться и потому даже сказка оборачивается для нас явью. (Нам приходилось уже говорить об этом в связи с образом Доротеи.)

Детские воспоминания Манола-внука неизбежно будят детские же воспоминания читателя, рассказы бабушки Петры вызывают в памяти смутные, полустертые образы, навеянные некогда рассказами наших бабушек и дедушек. Размышления Манола-внука, уже вступившего в пору зрелости и мудрости, его попытка прорваться в мир, не ограниченный препонами обывательских представлений и научных знаний, быть может отставших уже от времени, заставляют заглянуть в себя и читателя.

А потому, если в повести «Барьер» Павел Вежинов предлагает своему читателю (во всяком случае — до определенного момента) быть лишь свидетелем противоборства двух различных душевных начал — Антония и Доротеи, то в повести «Измерения» ему предопределено быть уже не свидетелем, а с самого начала — участником. Поэтому, видимо, автор и не счел нужным придать образам Манола-внука и его жены ту художественную завершенность и скульптурность, которые вообще свойственны манере Вежинова-писателя. Его герои в определенной степени лишь маски-стереотипы. И маски эти — по своему вкусу и разумению — может примерить каждый из нас, став, таким образом, как бы участником действия. Надо лишь попытаться, подобно герою повести, связать воедино собственное прошлое со своим настоящим, задуматься над будущим и спроецировать его на эти два состояния.

Впрочем, намеренная бессюжетность «Измерений» (кажущаяся, не скроем, порой просто сюжетной рыхлостью) наводит и на другую мысль. Если в романе «Ночью на белых конях» автор выступает в первую очередь как писатель, владеющий философскими категориями в системе художественных образов и решений; если в повести «Барьер» он явно стремится уравнять писательский и философский опыт в подходе к жизненным явлениям, ставшим предметом его изучения, то в «Измерениях» Вежинов-писатель, как нам кажется, «пропускает вперед» Вежинова-философа, оставаясь сам на втором плане. И не без неизбежно вытекающих отсюда художественных потерь. Думается, именно этим следует объяснить отход от литературных приемов и форм, которыми обычно с такой изящной свободой и непринужденностью владеет писатель. Тем же объясняется и нарочитая исповедальность, эссеизм повести. Хотя — и автор, возможно, к этому стремился — бессюжетность «Измерений» значительно глубже вовлекает читателя в размышления и оставляет ему больше надежд на взлет собственного духа.

Трудно избавиться от ощущения, что в «Барьере» духовный крах Антония определяется во многом его рациональностью, выверенностью поступков в жизни и в творчестве, проще говоря — «математическим» складом ума и эмоциональной неразвитостью, что и делает в конечном счете

«вполне порядочного человека» эгоистом. Умение же летать обретает Доротея, наделенная непосредственностью ума, чувств, поведения, безграничной преданностью в любви, необыкновенной чистотой...

В повести «Измерения» в роли Доротеи (если иметь в виду сферу чувств, «художественное» начало) выступает Манол-внук, который в значительной степени выдает желаемое за действительное, рассуждая о собственной «рациональности», пытаясь в своих поступках «поменьше рассчитывать на воображение, предпочитая ему здравый рассудок». И это лишь доказывает, насколько человеку трудно (и необходимо!) познать самого себя. Духовную же линию Антония продолжает жена Манола-внука — женщина, как сообщает о ней рассказчик, с умом, который «работал безупречно, словно электронная машина».

И что же? К Маноло-внуку и его жене, людям столь различным, с одинаковой очевидностью и неотвратимостью приходит сознание вероятности того, что можно назвать и полетом, и чудом и что, в сущности, не является ни тем, ни другим. Пусть герой одной из повестей Вежинова летает в пространстве как птица, а в другой герой путешествует во времени, мыслью проникая в будущее,— разве противоречит это принципам реализма? Много уж говорено о том, что реализм не есть правдоподобие, и мы не будем в защиту его снова призывать на помощь ни гоголевского майора Ковалева, ни булгаковские фантасмагории, ни «сказочные» и «фантастические» мотивы книг Айтматова или Распутина. Напомним лишь, что в наши дни критики обращают внимание на интенсивное освоение современным реализмом новых форм и средств выражения, на все более широкое использование им красок художественной условности.

Творческой манере Вежинова — автора «Барьера» и «Измерений» — тоже свойственна художественная условность, окрашенная повсеместным ныне интересом к неизученным пока психо-биологическим возможностям человека.

Кстати, когда Манол-внук неожиданно для себя прозрел будущее, увидев в нем и скорое землетрясение, и рухнувший дом, а потом, не умея понять и объяснить эту свою способность, усомнился в физической реальности случившегося и испугался, что будет обвинен в склонности к метафизике, именно жена его, вполне реально мыслящий человек, высказывает здравое суждение: «А тебе не приходила в голову простая мысль, что метафизика — это, в сущности, неизученная часть физики. Вроде обратной стороны Луны, о которой мы совсем недавно ничего не знали». Что же, если под «метафизикой» подразумевать то, что непознано, но познано быть может,— тогда это не только изящный, но и достаточно веский аргумент в пользу того, что кажется пока невероятным.

И такой подход к описанному в повестях Вежинова подводит нас к признанию если не самого существования чего-то по ту сторону барьера духовных и психических возможностей человека, то хотя бы вероятности этого и таким образом исключает всякие сверхъестественные толкования поступков героев. Кстати, именно об этом вполне определенно, на наш взгляд, заботится и сам Павел Вежинов, заставляя героя-рассказчика «Измерений» рассуждать о триединстве времени. Обостренное авторское ощущение этого триединства — неизбежной и органической связи прошлого, настоящего и будущего, существующей всегда, в каждом мгновении,— свидетельствует как раз о материалистическом мировоззрении Павла Вежинова. Ну а если, вслед за героями повести «Измерения», вспомнить, что и современная физика не отрицает принципиальной возможности заглянуть в будущее, окончательно, как нам кажется, прояснится авторская позиция: Павел Вежинов зовет своего читателя вперед по пути познания себя и окружающего мира, верит в принципиальную возможность (и необходимость!) для человека преодолеть барьер обыденности, силою знания и духа вознестись над ним, обрести счастье полета.

«Думаю, что мало кто из писателей, берясь за перо, знает свою истину до конца,— рассуждает Манол-внук.— Как и у прочих смертных, в их сознании немало глупостей и предубеждений. И все они приходят к истине за работой, воссоздавая действительность по законам гармонии и красоты». При желании в этом можно найти и некоторую аналогию с развитием собственных художественных и философских идей Вежинова, начиная от романа «Ночью на белых конях» и кончая «Измерениями».

Между повестями «Барьер» и «Измерения» существует, несомненно, определенное тематическое сходство: в обеих речь идет об обстоятельствах, пока еще с трудом воспринимаемых нашим сознанием. Но, повторим, не экстрасенсорные возможности человека в центре внимания писателя. Его беспокоит, что «в наше время... слишком много лиц, событий, зрелищ тянут в разные стороны душу человека, ставшую разреженной, как атмосфера на Марсе, которая не может удержать в себе ничего живого».

В духовной и интеллектуальной инертности, отсутствии в человеке цельности и окрыленности, в недостатке смелости, чтобы поверить в то, что большинству людей кажется несбыточным,— в этом видит писатель барьер, стоящий на пути нравственного, эмоционального и умственного совершенствования личности. Последовательно и настойчиво подводит он своих героев к мысли о том, что преступно перед своей природой отказываться от попыток шагнуть за этот барьер. Да, преодоление его необычайно трудно, порой мучительно и не каждому доступно, но, честно предупреждая об этом, писатель не лишает нас надежды. Он убежден, что нужно дерзать, нужно освободиться от душевной разреженности, очистить дух свой и помыслы от муравьиных забот, прислушаться к себе, понять свои истинные чувства. Наконец, обрести достоинство. Ведь «в сущности оно, быть может, костяк человеческой нравственности».

ДЕТЕКТИВ: «ЗА» И «ПРОТИВ»

В прошлом году на страницах венгерского литературно-теоретического журнала «Критика» развернулась оживленная дискуссия, посвященная проблемам популярного в наши дни жанра — детективной литературы. В дискуссии приняли участие известные писатели, критики и литературоведы.

Детектив, как всякий литературный жанр, обретя новые черты, присущие своему времени, рождает и новые точки зрения, новые аргументы в старой дискуссии о его достоинствах и недостатках, его социальной функции.

И у нас в стране вспыхивают подобные споры: так в начале 70-х годов дискуссия о детективе развернулась на страницах «Литературной газеты». Тогда выяснилось, например, что детективом увлекаются 75% научных работников и 65% специалистов с высшим образованием.

Вот как перекликаются точки зрения Аркадия Адамова и венгерского теоретика-литературоведа Тибора Кестхейи. Адамов пишет:

> «Я считаю, что причина поразительного успеха детектива заключается в том, что человеку во все времена было свойственно любопытство, волнующее, необоримое стремление к разгадке таинственного, всего непонятного, загадочного...»

Тибор Кестхейи утверждает в своей книге «Анатомия детективных историй»:

> «...С той поры, как человек перестал быть животным, он нуждается в духовной пище, и она так же, как и пища физическая, может и должна быть разнообразной».

Необходимо оговорить следующее. Участники дискуссии в журнале «Критика» как бы «вынесли за скобки» произведения ряда крупнейших современных писателей, использующих элементы детектива в своих книгах для вскрытия важнейших социальных процессов внутри буржуазного общества. Не касаются они и серьезных политических детективов, созданных Г. Грином, Ч. Сноу, А. Мердок, К. Абэ и другими современными писателями. На страницах «Критики» рассматривались более «легкие» произведения этого жанра.

Начало дискуссии в «Критике» было положено подборкой материалов, которые подготовил литературовед Карой Вёрёш. Эти материалы прослеживали эволюцию жанра, родившегося в апреле 1841 года, когда Эдгар По напечатал свою знаменитую новеллу «Убийство на улице Морг». Для понимания отношения писателей и литературоведов социалистических стран к этому жанру нужно помнить, как широко он используется в буржуазном обществе для отвлечения читателей от насущных проблем сегодняшнего дня.

> «Сегодня,— пишет А. Адамов в своей книге «Мой любимый жанр—детектив»,— ...детективный роман превращается у нас, как он давно превратился на Западе, именно в силу своей неслыханной популярности, в эффективное средство идейного, нравственного и эстетического воздействия на людей, в острейшее оружие идеологической борьбы... И мы, кстати, все чаще начинаем вступать в сражение с нашими идейными противниками на их собственной территории...»

Напомним, что к серьезному изучению детективного жанра призывали Антонио Грамши. Бертольт Брехт, Анна Ахматова. В книге венгерского литературоведа Пала Коложа «Путешествие в страну Детективию», изданную в Будапеште в 1964 году, приводятся любопытные сведения об интересе ряда классиков венгерской литературы к детективу.

Так, например, замечательный поэт, романист, эссеист и переводчик Михай Бабич (1883—1941) в интервью, данном им в середине 30-х годов, говорил о том, что очень любит читать детективы в часы досуга: они дают ему необходимую разрядку, выполняя роль логического кроссворда.

Фридьеш Каринти (1887—1938), выдающийся венгерский писатель-юморист, любил детективы по иной причине: они играли для него роль своего рода стимулятора для его собственной литературной деятельности; читая детективы, он чувствовал потребность писать. Ф. Каринти даже написал сатирические романы-пародии «Шерлок Холмс в Будапеште» и «Труп в газовой трубе».

Венгерский романист и литературовед Антал Серб (1901—1945) в своих статьях и книгах исследовал возможности детективной литературы. Он написал полупародию—полусерьезное произведение «Легенда Пендрагона». Это одновременно и юмористический роман, и детектив, и пародия, и сатира на английскую буржуазную демократию.

Пал Колож в своей книге призывал внимательнее отнестись к неоднородности этого жанра: за 150 лет его существования было создано немало шедевров.

Бертольт Брехт писал об интеллектуальном удовольствии, которое дает читателю попытка «установить причинность человеческих поступков»; оценивая жанр детектива, он призывал «учитывать страсть людей к приключениям, к напряженному сюжету...». Он говорил: «Детективный роман — особый срез вполне реальной жизни».

В своей подборке в журнале «Критика» литературовед Карой Т. Вёрёш рассматривает мнения венгерских ученых, теоретиков об этом жанре. В частности, он приводит слова критика и историка литературы Ивана Витаньи, который в своей книге «Легкий жанр» (1965) писал:

«Среди большого количества низкопробных произведений в этом жанре встречаются высокохудожественные книги. Если же мы признаем за детективом свойства логической игры, то нам нет никакой необходимости «изгонять» его из литературы. Литературная практика показывает, что традиционный детектив ныне изжил себя, на смену пришел иронический, детектив-самопародия. Они же пишутся уже на гораздо более высоком профессиональном уровне...»

Действительно, в последние годы в венгерской детективной литературе появились произведения, как бы пародирующие детектив, основных его героев: сыщика, рассказчика (вспомним Холмса и Уотсона), многие традиционные для детектива ситуации. В качестве примера можно привести многочисленные книги Аттилы Кристофа с главным героем Адамом Дер (криминалистом по профессии). Эти книги выходят в необыкновенно популярной у читателей серии «Альбатрос». В них А. Кристоф подтрунивает над своим героем и строит сюжет так, что на передний план выступает комический эффект.

Но вернемся к дискуссии в журнале «Критика». Эрвин Дьертьян, как нам кажется, справедливо замечает:

«Бесспорно, внутри детективного жанра существует своя шкала ценностей. Было бы нелепо подходить к детективу с критериями большой литературы. Естественно, что мы по-разному оцениваем произведения Дюма-отца и Стендаля, Агаты Кристи и Хемингуэя. В оперетте есть свои классики, но все же музыка Легара — одна категория, а Бартока — совсем другая...»

А Тибор Кестхейи, например, утверждает:

«Жизнь образованного, интенсивно работающего современного горожанина предполагает стремление к легкому чтиву, дающему возможность на какое-то время отвлечься от сложных забот и трудной работы. И в таких случаях в чтении детективов нет ничего позорного».

Известный венгерский прозаик Антал Ber на страницах журнала «Критика» высказывает следующее опасение:

«Я не боюсь за взрослых, образованных людей, читающих детективы. Но я боюсь за своих сына и дочь... Я — решительный противник детективной литературы, хотя я и понимаю, что не совсем прав, как и всякий, огульно отрицающий ее. Но издательства во всем мире непрерывным потоком выпускают детективы. Это книги разные по качеству. Одни лучше, другие хуже. Но даже если эти книги просто-напросто отвлекают детей от настоящей литературы, от классики, они уже наносят невосполнимый урон».

Еще менее «сбалансированно» подходит к книгам этого жанра другой маститый венгерский прозаик — Михай Гергей. Он не отрицает права на существование детективной литературы. Однако замечает:

«И у нас в стране тираж подобных произведений колеблется от 50 до 120 тысяч экземпляров [1]; подобно морскому валу, они захлестывают читателя. Скажем прямо: издание подобных книг отнимает бумагу, которая могла бы пойти на издание книг классиков, современных серьезных писателей».

Правда, кроме подобных высказываний в журнале «Критика» были опубликованы и высказывания защитников детектива.

Популярный писатель-фантаст Петер Куцка в своей статье отстаивает право на существование детектива. Как и многие другие, он считает:

«Детектив нужен для умственной разрядки, миллионы читателей хотят отвлечься, забыть о мировых проблемах: о загрязнении окружающей среды, скученности населения в больших городах, угрозе атомной войны».

Писатель и литературовед Дёрдь Немеш сравнивает детектив с «магическим кубиком Рубика», завоевавшим в невиданно короткий срок большую популярность во всем мире. Дёрдь Немеш пишет:

«Нельзя мерить детектив критериями большой литературы. К нему, по-моему, надо относиться как к головоломке, логической игре, как к магическому кубику, который дает возможность нашему мозгу разрядиться, отдохнуть от бомбардировки внешними раздражителями, средствами массовых коммуникаций».

Дёрдь Боднар, известный литературовед и критик, также придерживается того взгляда, что нельзя отождествлять детектив с псевдолитературой. Это особый жанр литературы, задача которого — развлекать читателя. Литературовед Дёрдь Шандор считает, что сама по себе детективная литература не страшна, но—

«проблема начинается тогда, когда эстетическое решение этих произведений не отвечает необходимому уровню». Именно тогда, считает и Ференц Таллар, «детектив превращается из средства успокоительного в средство убаюкивающее...».

Никто из участников дискуссии не отрицал прав детектива на существование, однако многие выражали заботу, даже тревогу по поводу влияния книг «легкого» жанра на подрастающее поколение.

Изучение «особого среза реальной жизни» продолжается.

С. ФАДЕЕВ

[1] Обычный тираж прозаических произведений в ВНР — 20—25 тыс. экземпляров.

Публицистика

НИКОЛАЙ ФЕДОРЕНКО

ТОКИЙСКИЕ РАЗМЫШЛЕНИЯ

Литераторы Японии в антиядерном движении

Весна на японских островах... Неповторимы, неистребимы ее краски, зримые даже в Токио — чудовищном порождении урбанизма, над которым постоянно нависает свинцовый смог. Тем отраднее оказаться в традиционном саду, раскинувшемся в пятнадцати минутах ходьбы от Гиндзы, наиболее оживленной улицы города, в шумном центре делового Токио, всегда наводненном людскими потоками.

Всю Гиндзу будто захлестывают волны человеческой реки. Здесь великое множество людей, но все кажутся одинаковыми. Все в погоне за субботним вечером. В молчании и затаенности. Они, похоже, не замечают ничего. Заняты только собой. Никто ни на кого не смотрит. Ты предоставлен самому себе, ты посторонний. Все здесь словно чужие друг другу...

КОРНИ И КАМНИ

И вот совсем рядом — сад Отани, занимающий площадь в десять акров, покрытых зеленью и цветами. С живописным водопадом, окрашенными киноварью традиционными изогнутыми мостиками, легкими, почти воздушными чайными домиками, что притаились под густыми кронами лиственных и хвойных деревьев. Не без причины считается в Японии, что сосна с самой молодой зелени «тревожится» о том, как превратиться в могучее дерево... О деревьях, их устремлениях и таинствах мы знаем, кажется, не так много.

— Старые деревья, говорят у нас, мудрый садовник не пересаживает,— замечает мой собеседник, давний знакомый Охара сэнсэй, с которым мы снова встретились в саду Отани.

— Не потому ли, что старые деревья оживляют пейзаж? — припомнилось мне изречение, прочитанное на каком-то иероглифическом свитке.

— Лучше, пожалуй, сказать: «Даже высохшие деревья оживляют пейзаж»,— с деликатной учтивостью поправил Охара.

— Лучше эстетически?

— Нет, почему же... И символически. Образ дерева — древнее олицетворение человека. Он символизирует мужество, целеустремленность, неустрашимость перед ненастьями природы. Сколько его ранили, ломали, гнули, а оно выстояло и готово встретить новые испытания. Разве людям, подобно деревьям, не важны стойкость и прочность корней, которыми все мы связаны с жизнью и смертью? Нет, непросто вырвать или хотя бы расшатать дерево, у которого глубокие корни.

Устремив взгляд на вознесшиеся ввысь сосновые ветви, Охара продолжал:

— Не символично ли, что дерево всегда обращено своими побегами к солнцу, а само образует тень, которая также не лишена значения для природы и человека. Скажу вам о себе — летом прохлада сосны укрепляет меня...

— Примечательна и другая особенность,— заметил я,— дерево редко растет одиноко. Чаще — в окружении других деревьев.

— И эта черта таит в себе нечто символическое. Образ дерева, даже старого и сухого, удивителен своей емкостью и глубиной. Заметьте, два стоящих рядом дерева будто все время стремятся сблизиться, но не могут, хотя уже давно тесно переплелись невидимыми корнями, неразрывны...

Так в реальном мире, так в легендах, так порой и в жизни человека. А. М. Коллонтай писала в свое время: «Деревья! Старые, серьезные, много пережившие, ставшие мудрыми! Они никогда не причиняют зла! И как они прекрасны! В юности... я поверяла деревьям свои тайны...»

— Взгляните на дерево зимой,— прибавил Охара.— Высохшие, голые ветви. Оно будто мертвое. Кажется, оно застыло. Но даже в зимнем убранстве внутренне живо, грациозно, торжественно. И не устаешь им любоваться. А с приходом весны дерево преображается. Одевается в красочный наряд, снова являя нам чудо природы.

И человек, подумал я, призван постигать природу, ее глубокие таинства, а не хвататься за топор, который при неосторожном обращении способен уничтожить и корни, и само дерево. Нужно ли доказывать, сколь опасны «лесорубы», стремящиеся ныне срубить древо сознания и ответственности за безопасность жизни, загубить не только нерукотворное чу-

до — природу, но и само существование людей на земле. Они готовы все положить под топор...

— Слишком часто люди прибегают к смертоносному топору... Слишком многое пытаются решить силой. Можем ли мы, японцы, забыть чудовищные последствия американского «атомного топора», который с беспримерной жестокостью сразил сотни тысяч человеческих жизней? — с едва сдерживаемым гневом произнес Охара.

У японского народа нет более острой, больной темы, чем ядерная трагедия, постигшая Хиросиму и Нагасаки. Ни одна важная дискуссия, ни один политический митинг, ни одна откровенная беседа не обходятся без упоминания о том, что пришлось пережить простым людям Японии не только в день атомного кошмара, но и в течение последующих лет. Жертвами ядерного удара стали целые поколения японцев, пораженных лучевой болезнью и обреченных на мучительную смерть. Разве могут они забыть об этом? Нанесенная травма обернулась вечным проклятием и гневом японского народа против атомных преступников.

Взрывом атомных бомб в Хиросиме и Нагасаки была открыта новая эра — американцы начали ядерное разрушение нашей планеты и жизненной ее среды. Такого еще не было в истории Земли. И не должно никогда повториться!

Но сегодня существуют совершенно определенные силы, которые хотели бы предать забвению трагедию Хиросимы и Нагасаки, стереть ее из памяти народа. Причем наблюдается это, как ни странно, не только далеко за океаном, в Соединенных Штатах, но и в самой Японии. Иначе чем объяснить, что в выступлениях официальных представителей и сообщениях официальных средств массовой информации Японии все реже упоминается простая истина: на Хиросиму и Нагасаки были сброшены именно американские атомные бомбы, притом не случайно, не по ошибке, а по прямой команде Белого дома? Или почему в японских школьных учебниках все чаще замалчивается факт ответственности правящих кругов Вашингтона за беспримерное в анналах истории преступление, величайшее злодеяние перед человечеством?

— Разве не парадоксально, что американские стратеги всячески пытаются обвинить Советский Союз, будто он жаждет первым применить ядерное оружие? Но ведь это США первыми применили атомное оружие, причем дважды — в Хиросиме и Нагасаки! — не без возмущения говорит Охара сэнсэй.

— Вряд ли им отказала память,— заметил я.— Историческая летопись игнорируется намеренно. Налицо попытка перечеркнуть эти позорные страницы. На бумаге Хиросиму можно, конечно, стереть, но над памятью людей не властен никто.

Известно, что некоторые правительства, как и отдельные властители, способны предать забвению опыт прошлого, поучительные уроки истории во имя оправдания своих нынешних бредовых планов и доктрин. Где же при этом, вправе спросить мы, «независимые» средства массовой информации Запада, движимые самыми якобы «гуманными» и «демократическими» целями? Чего стоят их циничная демагогия о духовных и нравственных ценностях западной цивилизации, их претензии поучать другие народы, какой образ жизни им избрать, какими руководствоваться идеалами?! Мы должны задать вопрос: разве можно верить тем, кто уже сбрасывал атомные бомбы на японский народ, что они снова не принесут в жертву другие народы?

— Страна, дважды сбросившая атомные бомбы на японские города без оправданной военно-стратегической необходимости, такая страна и ее властители лишили себя всякого права поучать других, претендовать на роль законодателя нравственности и морали,— добавил Охара сэнсэй.

В памяти народов неотступно живет тот страшный день, когда под грибовидным облаком были сожжены в ядерном огне сотни тысяч жителей Хиросимы и Нагасаки. Эта бесчеловечная жестокость приобретает особый смысл сегодня, когда мир вновь подошел к зловещему рубежу, а пентагоновскими «лесорубами» занесен над человечеством чудовищный ракетно-ядерный «топор» неизмеримо более пагубной войны. Достаточно сказать, что разрушительная сила одной крылатой ракеты, которых в США насчитывается несколько тысяч, в десять раз превышает мощность бомбы, уничтожившей Хиросиму.

Весьма показательны данные, с которыми познакомил участников конгресса врачей в Кембридже академик Л. А. Ильин. Предположим, на Европу обрушилась тысяча ядерных бомб мощностью в одну мегатонну каждая. Пятьсот взорвались на земле, пятьсот — в воздухе над крупными городами. Что случится с 671 миллионом мужчин, женщин, детей, проживающих от Атлантики до Уральских гор? 167.7 миллиона убитых, 146 миллионов раненых...

Поэтому на пути осуществления этих зловещих планов в Западной Европе нарастает могучая волна антивоенного движения, народы не желают мириться с ядерным закланием.

Необходимо срочно обуздать гонку вооружений, принять меры по устранению угрозы ядерной войны, заявил директор службы печати и изданий ООН Дж. Силлс. Человечество живет сейчас словно на пороховой бочке, сказал он, выступая в совете международных дел Сан-Франциско. Разрушительная сила накопленного в мире ядерного оружия в миллион раз превышает мощность атомной бомбы, сброшенной на Хиросиму.

Миллионы людей на нашей планете страдают от голода, нищеты и болезней, а на производство вооружений в мире ежегодно расходуется свыше 600 миллиардов долларов. В этих условиях, отметил Дж. Силлс, особую опасность для дела мира представляют безответственные заявления отдельных политических

деятелей о возможности так называемой «ограниченной» ядерной войны и перспективах одержать в ней победу. Однако для любого здравомыслящего человека очевидно, что любая попытка применить ядерное оружие неизбежно приведет к мировой катастрофе и уничтожит жизнь на земле.

Поражает в этой связи ответ главы вашингтонской администрации на вопрос представителя «Вестингауз бродкастинг компани», почему он в своих выступлениях столь редко употребляет слово «мир»? «Ни у кого не должно сложиться впечатление,— ответил Р. Рейган,— что мы готовы отступать ради того, чтобы купить мир любой ценой. Нет, все должны знать, что существует такая цена, которой нельзя расплачиваться». В унисон президенту прозвучало заявление государственного секретаря А. Хейга: «Есть вещи, более важные, чем мир», а вслед за ним и военный министр США К. Уайнбергер поспешил объявить, что «есть вещи и похуже войны».

Наступит, однако, час, когда с ядерных фанатиков, провозглашающих эти безрассудные сентенции, спросится в полной мере. Они не первые. Известна судьба их воинственных предшественников, которые сначала провозглашали свои безумные доктрины, а потом занесли над человечеством меч войны, чтобы огнем и железом утвердить в мире господство фашизма.

Здесь уместно напомнить признание бывшего министра обороны США Р. Макнамары, который, сославшись на свой меморандум президенту Кеннеди, сказал, что ему «сегодня страшно даже читать его». Вот что в нем говорилось: «ВВС в общем склоняется к поддержке такого развития вооруженных сил, чтобы оно обеспечило Соединенным Штатам потенциал первого удара (разрядка моя.— Н. Ф.), в применении которого Советский Союз не сомневался бы благодаря нашей способности ограничить ущерб для Соединенных Штатов и наших союзников уровнем, приемлемым с учетом обстоятельств и возможных вариантов».

О чем шла речь уже тогда? ВВС, оказывается, поддержали увеличение американских вооруженных сил в таких масштабах, чтобы они получили возможность при первом ударе уничтожить значительную часть советских ядерных сил и у русских не осталось бы достаточно оружия для того, чтобы ответный удар с их стороны мог вызывать у американцев какую бы то ни было тревогу. «Бог мой,— продолжает Макнамара,— если русские считают, что такова наша цель, то как, по-вашему, они должны были реагировать? По-моему, это объясняет многие их действия. Я как-то выступал в Сан-Франциско, не помню точно когда, кажется, в середине 1967 года, и сказал, что «действие и противодействие», внутренняя динамика гонки ядерных вооружений объясняют многое из того, что делают русские».

Но и теперь, спустя десятилетия, проводя авантюристическую политику, Белый дом готов «спустить с цепи» чудовище ядерной войны, принести в жертву своим гегемонистским амбициям сотни и сотни миллионов жизней, в том числе граждан США. Разве не поразительны рассуждения сотрудника Гудзоновского института, некоего Колина Грея, выступившего недавно на страницах журнала «Форин полиси», что, хотя в ядерной войне сгорят миллионы людей, зато Соединенные Штаты смогут выйти победителем, «уничтожив Советскую власть и установив послевоенный мировой порядок, совместимый с ценностями Запада».

Справедливо еще несколько десятилетий тому назад писал Дж. Сельдес в своей обличительной книге «Лорды прессы»: «Все этические нормы журналистики в прессе и на радио теряют силу, когда речь идет о России. Тут мы можем делать все что вздумается. Границ нет. Говори что угодно, лги как хочешь — никто тебя не остановит... Ложь будет принята благосклонно».

Известный американский промышленник Арманд Хаммер (смею напомнить эту историю, изложенную в «Правде» В. Корионовым в статье «Отвратить угрозу») во время встречи с В. И. Лениным преподнес ему бронзовую статуэтку обезьяны, восседающей на фолиантах Ч. Дарвина и рассматривающей человеческий череп. По словам Хаммера, В. И. Ленин по-своему истолковал символику этого образа. Он сказал, что понимает эту аллегорию следующим образом: скульптор как бы пытается предупредить, что орудия войны с каждой новой войной становятся все более разрушительными. Если человечество не научится жить в мире, если мы не достигнем мира на земле, то цивилизацию может постигнуть катастрофа и человечество в конечном счете уничтожит само себя. Оставшиеся на земле обезьяны будут с удивлением рассматривать череп человека — что, мол, это такое и откуда это взялось...

Вдоль дорожки, по которой мы шли, простирался ковер из мха и травы, от которых исходила живая свежесть озона. Дикие растения, травы... Даже в толще городского асфальта травы пробивают себе щели. Неистребима их жизнестойкость. Кажется невероятным, что самые нежные растения прокладывают себе путь сквозь жесткую землю, через трещины скал.

Иному все это покажется деталями, частностями, мелочами... Возможен, конечно, и подобный взгляд. Все же, если иметь в виду художественную деталь, то значение вещей и понятий существенно меняется.

Вспомним прославленную книгу Л. Н. Толстого «Что такое искусство?». Главная задача искусства, утверждал автор «Войны и мира»,— это заражение читателя мыслями и чувствами художника. И цель эта «только тогда достигается и в той мере, в какой художник находит те бесконечно малые моменты, из которых складывается произведение искусства». Заметим, «только тогда... и в той мере»!

Прогулка в японском саду приносит познавательное и эстетическое удовлетворение. Она располагает к тому, чтобы всматриваться в творимое природой чудо, вникать в его красоту, сопереживать. Вознаграждает свежими впечатлениями, будит мысль, тревожит чувства. Природные красоты мира обладают особо важным значением для современного человека. Возвращение из реальности сверхскоростей и суровых тревог нашей помешавшейся на оружии эпохи, возвращение, хотя бы на мгновенье, в мир естественной уравновешенности и гармонии, в атмосферу прекрасного обновляет человека, делает его лучше, гуманнее. Сознание мудрой природы внушает ему — необходимо жить рядом и вместе, ценить доброе соседство, выше всего ставить миролюбие, понимание между людьми и народами.

Небезынтересно отметить, что в древних памятниках нашей отечественной истории содержатся свидетельства того, что «поляне, яже ныне зовомая Русь» были «мужи мудры и смыслени», почитали озера, источники и священные рощи. И город они построили на том месте, где был «простор для охоты и... обилие трав и деревьев».

Верно говорится, что у прошлого свой узор, своя патина. И диалог человека с природой имеет древнейшие корни, уходящие во тьму веков. Этот диалог в наши дни превратился в одну из острейших глобальных проблем — проблему экологии.

В Токио наглядно видишь, что большие города стали одной из составных частей этой проблемы. Пока человеческие сообщества не нарушали естественного порядка, их физическая и биологическая стабильность в значительной мере обеспечивалась процессом саморегулирования природы. Однако его прогрессирующее нарушение, достигшее апогея в сегодняшних городских конгломератах, ослабило эту взаимосвязь с природой до крайнего предела.

Но ясно, что теперь требуется не «возврат к природе», а разработка совершенно новой модели взаимоотношений человека с окружающей средой. Когда-то человек был лишь учеником в школе природы; сейчас власть его над ней — на беду или на счастье, сказать трудно — стала безграничной. Нет ни одной экосистемы, которая не испытала бы на себе в той или иной степени воздействие человека в его стремлении получить личное удовлетворение или немедленную выгоду. Поэтому как зеницу ока следует беречь любое бескорыстное проявление любви к природе...

На территории сада Отани расположено множество необычных камней различного размера, конфигурации, оттенков. Они привлекают внимание, тоже образуя своеобразный сад. Помня, что взаимный разговор следует вести так, чтобы каждый из собеседников извлек из него пользу, приобретя больше знаний, я поинтересовался у Охары, каково предназначение этих камней.

— Всего необычней в японском саду, пожалуй, роль камней. Они обрели поразительное значение — художественное, философское, аллегорическое. Японцами камни извечно почитались как живые творения, с которыми человек может общаться: к ним он способен испытывать приязнь, желание добиться взаимной симпатии. Естественно изменяющиеся камни японцы склонны рассматривать как нечто равнозначное художественному творению человеческого гения. Потому при виде необычного камня они переживают то же, что европейцы при любовании высокими образцами искусства.

Наибольший интерес у меня вызвали огромные округлой формы каменные глыбы красно-бурого цвета, массивно расположенные у входа в сад. Удивительна их естественная текстура, редкостный колорит, контрастирующий с зеленью травы. Какой-то загадочностью окутаны эти горные пришельцы. Все указывает на то, что эти удивительные творения природы — не местного происхождения.

Вскоре мне удалось приблизиться к черте разгадки, узнать о необыкновенной судьбе безмолвных созданий с их вечно живыми свойствами. Акадама иси — название этих темно-красных камней, которые встречаются только на острове Садо, в северо-западной части Японии. В этот сад, который около четырехсот лет назад был собственностью феодалов, переходил от одного владельца к другому, камни были специально доставлены с далекого острова Садо и теперь оказались бесценным достоянием коллекции Отани, доступной каждому. Они здесь — своего рода художественный эпицентр, привлекающий безыскусственностью, строгостью, высшей простотой... Камни эти несут дыхание священных гор.

Посетители сада, особенно японцы старшего поколения, подолгу задерживаются у этих каменных глыб. Их завораживают камни, в которых запечатлелось нечто живописно-прекрасное от природы, воспринимаемой в ее естественных качествах. Живописные аспекты, как известно, играют существенную роль в формировании у японцев образного постижения мира.

Многие из посетителей подходили к каменным глыбам и нежно к ним прикасались, гладили их поверхность, отполированную человеческими руками. И у меня инстинктивно возникло желание сделать то же самое, непосредственно испытать ощущение от соприкосновения с этим созданием, безмолвным собеседником человека. Людям нравится ласкать рукой камень, гладить прочные и долговечные вещи.

Как объяснить все это? Как понять внутреннюю жизнь камней? Может быть, в их жилах и сплетениях затаилось молчание всех тех, кто не способен более говорить? Какой-то отзвук бесконечности? Ведь мерой прекрасного выверяет человек свое настоящее и будущее. Разве это мало, если человек может ощутить в камне беззвучную, но столь красноречивую музыку природы, которая олицетворена в ее зримом образе, в эстетически воспринимаемой естественной реальности?

Ведь любование красотой камней — тоже по-своему эстетическое освоение жизни. Ищи пытливо прекрасное, и камни ответят.

Интересны наблюдения, содержавшиеся в старинной энциклопедии китайских художеств «Слово о живописи из Сада с горчичное зерно»: «В оценке людей необходимо исходить из духа и костяка. То же и в камнях, они — костяк неба и земли, обители духа. Поэтому их порой называют корнем облаков. Камни, лишенные духа, становятся бездумными, подобно тому как кость, лишенная духа,— всего лишь прогнившая оболочка.

Не постигнув душой... суть камней, невозможно приниматься за живопись...»

И далее: «Для деревьев существует определенный вид взаимосвязанности, то же и для камней. В деревьях это называется характером строения ветвей, в камнях воплощается «кровеносными сосудами».

Таковы эстетические представления о камне в дальневосточной живописи. Антологии древних текстов об искусстве донесли до нас сведения о поэтике камня, своеобразии взглядов художников кисти и слова, которые высоко ценили то прекрасное и значимое, что таится в природном камне.

Люди в этом саду отдыхают душой, испытывая благость и умиротворение, исходящие от каменных пришельцев с далеких гор. Любуясь естественным ландшафтом японского сада, проникаясь его эстетическим и философским очарованием, восхищаясь метафорической выразительностью растений и камней, их поэтической неповторимостью, думаешь о мудрости природы, сотворившей этот удивительный мир. Кажется, сколь же совершенной и справедливой могла бы быть вокруг человеческая жизнь! Но, увы, уродливое социальное развитие частнособственнического общества привело к тому, что смертельная опасность уничтожения в ядерном огне нависла над миром, всей неповторимой красотой природы, самим человечеством.

В БЕСЕДКЕ ПРОЗРАЧНОГО ИСТОЧНИКА

Встреча с японскими писателями, моими давними знакомыми, происходила в глубине сада, в чайном домике, напоминавшем круглую беседку, едва заметную среди зарослей деревьев и кустов. И в этом тоже проявляется особенность традиционной парковой архитектуры Японии. Вблизи беседки — множество цветов, яркими красками пылающих круглый год, от зимы до зимы. Чарующее зрелище возникает осенью, когда в здешних прудах распускаются редкой красоты бутоны бесподобной черной лилии, которая, кажется, встречается лишь в Японии. Любование лилией и лотосом привлекает множество людей. По времени это зрелище совпадает с «цуками» — любованием луной, принадлежит к древнейшим народным обычаям. Когда-то было принято сочинять в это время стихи, особенно «хайку», устраивать танцы, предаваться мечтаниям и размышлениям.

Беседка Прозрачного источника — поэтическое название, связанное с местным ручьем, который вытекает из родникового ключа. Подобные названия и имена в Японии распространены весьма широко. Мне приходилось бывать в Павильоне соснового шума, расположенном у подножия горы среди «касамацу» — зонтиковых сосен с веерообразными кронами, посещать Дворец дракона на морском побережье, Салон бронзовой тени в живописной местности, Приют подлинного чуда, Небесный мост в Миндзу, неподалеку от порта Майдзуру. Здесь же стоит Памятник поэзии, изваянный из камня по воле известной поэтессы Сикибу Идзуми, жившей в VIII веке в Киото. Предание гласит, что Сикибу Идзуми с большим сочувствием относилась к творчеству других литераторов, особенно тех, кто, несмотря на их талантливость, оставались в безвестности. Ею были собраны многочисленные стихотворения, не получившие признания, и помещены в специальное сооружение из камня, чтобы сберечь для потомства, которое должно будет беспристрастно оценить творчество поэтов по их достоинству. Так был воздвигнут Памятник поэзии из горного красного камня, который как бы говорит: пусть и сила, и слабость дарования станут видны всем, кто посетит этот край в грядущие времена. Такое общение поколений действует на людей вдохновляюще. Встреча с поэзией может что-то подвергнуть сомнению и переоценке, обострить творческие ощущения, способствовать сближению людей разных времен и взглядов.

Примечательна и другая традиция — оставлять здесь свои сочинения, приносить их в дар Памятнику поэзии, как бы вынося их на суд современников и потомков. Так продолжается череда поэтического общения людей, духовного сближения и художественного постижения жизни. Так связываются творческое вдохновение и движение времени.

В Японии и Китае крупнейшие художники создавали целые живописные и поэтические циклы, посвященные природе камня. Существует и своеобразная поэтика природного камня. Примечательны в этой связи наблюдения академика В. М. Алексеева: «Яшма... чиста и струиста, тепла и влажна, мягка и тверда, не грязнится, блестит, сверкает; белая, обладает чистым звуком... влажна, но не потеет; угловата, но не убьет; вечерняя мгла струит яшму; яшма пребывает в руке поэта... Яшма и ее отвлеченная образность».

Запомнились мне когда-то прочитанные строки: малахит — зеленый. Исключительный камень... И его зелень ни с чем не схожа: ни с хвоей, ни с листьями, ни с весенней травой. Она единственная, теплая, согревающая: словно где-то в непостижимой глубине этой зелени полыхает невидимое пламя. Будь огонь зеленого цвета, он выглядел бы малахитом.

В старинных монастырях Киото, древней столицы Японии, где мне приходилось

бывать много раз, существует давняя традиция: новичок приходит в монастырь пешком с сумой на плечах. В ней — платье, записка с домашним адресом, немного денег на оплату похоронных расходов, если в пути случится несчастье, и несколько чашек. Распростершись ниц перед дверью настоятеля монастыря, он просит принять его в общину. Его умышленно грубо прогоняют, чтобы испытать, насколько серьезно его решение. Если, однако, он настаивает на своем и смиренно ждет ответа, то через три дня ему разрешают войти и заставляют еще четыре дня просидеть лицом к стене. Это — последнее испытание.

Постоянное возвращение к народной традиции в искусстве и ремеслах, что с особенной силой ощущается в Киото, не препятствует эстетическому прогрессу. Напротив, высокая взыскательность, предъявляемая ко всем видам искусства, воспитывает в народе художественный вкус. Даже самые современные технические изделия электроники и оптики отличаются в Японии неоспоримыми эстетическими достоинствами. Чем больше техницизм проникает в нашу жизнь, тем более человеку необходимо искусство, вдохновляющее, облагораживающее чувство прекрасного.

КУЛЬТУРА, СУДЬБЫ, ВРЕМЯ

В токийской встрече приняли участие крупнейшие художники слова современной Японии, имена которых столь же широко известны в своей стране, сколь и далеко за ее рубежами. Знакомы всему читающему миру Ясуси Иноуэ, которому в 1957 году за его произведение «Бой быков» была присуждена высокопрестижная премия Акутагава. Вскоре завершится издание его 32-томного собрания сочинений. Советскому читателю Ясуси Иноуэ известен по книге «Сны о России» и новелле «Охотничье ружье». Кобо Абэ — автор изданных на русском языке романов «Женщина в песках», «Чужое лицо», «Сожженная карта», «Человек-ящик», повести «Четвертый ледниковый период», пьес «Охота на рабов», «Призраки среди нас», «Крепость». Кэндзабуро Оэ, перу которого принадлежат опубликованные у нас романы «Опоздавшая молодежь», «Футбол 1860 года», «Объяли меня воды до души моей...», «Записки пинчраннера» и некоторые рассказы. Во встрече также участвовали руководители издательства «Гундзося» Содзо Асакава и Сёити Миядзава.

Беседа наша не была обычным «круглым столом» с заранее определенной повесткой дня. Она представляла собой свободный обмен мнениями по самым различным вопросам творчества, положения дел в мире, жизни литераторов. Встреча проходила непринужденно, дружески, каждый высказывал свое суждение, не обязательно рассчитанное на согласие всех остальных. Круг затрагиваемых нами проблем не был ограничен, и участники высказывались по собственному усмотрению о тех вопросах, которые их больше всего интересовали. Разговор шел о необходимости поисков путей к лучшему взаимопознанию и сотрудничеству, о том, что народы должны жить в мире как добрые соседи и стремиться к взаимопониманию. Но разве существует иной путь? Никто не считал себя обязанным соглашаться или не соглашаться с высказываемыми мнениями и точками зрения. Каждый уважал принципы и убеждения других, стараясь лучше понять участников встречи. И поэтому атмосфера беседы неизменно оставалась сердечной, отличалась взаимной учтивостью, тактом. Ведь такт — это разум сердца.

Мы отдаем себе отчет, что проблемы противоборства идей в сфере культуры, противоречивые судьбы интеллигенции в капиталистических странах представляют собой вопросы чрезвычайно сложные. Они должны рассматриваться с особой осмотрительностью и объективностью, с позиций ленинского учения о социально-классовом подходе к культуре, о существовании двух культур в каждой национальной культуре антагонистического общества.

Большая правда доходит до сердец самых разных людей, как бы ни были противоположны и несовместимы их взгляды. Это особенно существенно в условиях, когда так неспокойно на нашей планете, и человек должен знать истину в ее неразъятом виде. Давно уже ни для кого не секрет, что, к слову сказать, от незнания действительного положения в Советском Союзе проистекают многие недоразумения и ошибочные выводы. Преграды неосведомленности — досадные помехи. Мы должны преодолевать их всеми доступными средствами.

Великий Альберт Эйнштейн констатировал в связи с открытием термоядерной цепной реакции: «Высвобожденная мощь атома изменила все, кроме нашего мышления. В результате мы движемся к беспрецедентной катастрофе. Если человечество хочет выжить, то ему необходима совершенно новая система мышления». Пагуошское движение ученых в своем основном документе, Манифесте Рассела-Эйнштейна, провозгласило: «Мы должны научиться спрашивать себя не о том, какие шаги надо предпринять для достижения военной победы тем лагерем, к которому мы принадлежим, ибо таких шагов больше не существует; мы должны задавать себе следующий вопрос: какие шаги можно предпринять для предупреждения вооруженной борьбы, исход которой должен быть катастрофическим для всех ее участников?»

Хорошо известно, что, прикрываясь лицемерными лозунгами о «свободе печати» и «информационном плюрализме», западная реакционная пресса нагнетает антисоветизм, который используется для подрыва разрядки, гонки ядерного вооружения, поддержки действий наиболее агрессивных кругов империализма, чья гегемонистская цель — покорение других стран и народов. Буржуазная пропаганда, ссылаясь на пресловутую «независимость» средств массовой информации Запада, не перестает обливать грязью Со-

ветский Союз, все его усилия и инициативы по упрочению мира.

Бывший глава внешнеполитического ведомства США множество раз подчеркивал, что все действия нынешней администрации преследуют цель «создать такую международную структуру, которая была бы благоприятной для американских ценностей и идеалов». «Мы должны осуществлять международное руководство, оправдать ответственность, возложенную на наши плечи историей».— высокопарно заявлял он не так давно. Судя по его высказываниям, Вашингтон намерен добиваться этого путем мобилизации всех реакционных сил в мире под американской эгидой во имя расшатывания социалистической системы и подавления национально-освободительной борьбы народов. Президент США Р. Рейган пошел еще дальше: выступая в Лондоне перед депутатами английского парламента, он призвал начать «крестовый поход» против коммунизма.

Госсекретарь А. Хейг не скрывал, что администрация США намерена опираться прежде всего на грубую военную силу, шантаж и угрозы по адресу народов. Одной из главных «опор» внешней политики США он называл наращивание военной мощи, которая нацелена на ликвидацию сложившегося равновесия сил в мире и обеспечение американского военного превосходства.

Однако никакие угрозы в адрес Советского Союза и стран социалистического содружества, никакая политика с «позиции силы» не могут нас запугать. Тщетные старания. Море пыли не боится, гласит народное речение.

Таков был, так сказать, международный «контекст» нашей встречи в Токио. В центре внимания участников, естественно, оказалось Обращение японских литераторов с призывом против ядерной войны, подписанное многими видными писателями Японии и получившее широкий национальный и международный резонанс. И в этом, несомненно, главная действенность и эффективность писательских начинаний, стремящихся пробудить сознание и ответственность людей за сохранение жизни на земле.

Необходимо сказать несколько слов об истории возникновения этого значительного документа. В начале января 1982 года в Японии сформировалась группа писателей, выступающих с позиций борьбы против ядерной войны. Инициаторами этого начинания стали известные литераторы Накано, Конака, Ода, Ито, Одзаки, Есиюки и другие, всего более тридцати человек. Характерно, что в их число вошли писатели, ранее в движении против ядерной войны не участвовавшие.

Напомню, что начатое японскими писателями движение за ядерное разоружение явилось первым в истории литературы Японии. Его организаторы заявили, что намерены развивать и расширять в дальнейшем это движение, установить связи с профсоюзными и другими демократическими общественными организациями страны.

Инициативная группа подготовила и разослала писателям страны текст Обращения, призывающего бороться против ядерной войны. Вскоре Накано, выступая на пресс-конференции в токийском отеле «Симбаси дайити», ознакомил журналистов с содержанием Обращения, которое к тому времени уже подписали десятки видных литераторов Японии. Позиция японских литераторов привлекла внимание своей острой актуальностью. Она свидетельствует о том, что ядерному оружию смерти — место на погосте истории.

Проблема мира нерасторжима с судьбами культуры, потому что война и культура несовместимы. Ядерному безумию должен быть положен конец во имя спасения духовных и культурных ценностей человечества.

«В настоящее время,— говорится в Обращении,— в мире накоплено столько ядерного оружия, что его хватило бы для многократного уничтожения всей жизни на земле. Параллельно с разработкой нейтронной бомбы, новых типов ракет, крылатых ракет и т. п. открыто выражается ужасная мысль о возможности ядерной войны.

Мы — противники подобных идей и действий. Нельзя вести «ограниченную» войну с помощью ядерного оружия. Такой категории, как «ограниченная» война, ведущаяся с применением ядерного оружия, вообще не может быть. Совершенно ясно, что, как только будет пущено в ход ядерное оружие, произойдет немедленная эскалация войны — она перерастет в тотальную ядерную войну и приведет к гибели человечества и всего живого на земле».

«Ради сохранения человечества,— сказано далее в Обращении,— мы призываем руководителей и ответственных лиц во всех странах мира стать выше национальных, расовых, социальных и идеологических барьеров и немедленно прекратить новую гонку вооружений, поставив целью уничтожение ядерного оружия.

Одновременно мы требуем, чтобы японское правительство неукоснительно придерживалось трех принципов, гласящих, что оно не станет обзаводиться ядерным оружием, не будет производить его и не допустит, чтобы на территорию Японии было ввезено какое-либо ядерное оружие.

Мы, прошедшие через испытание Хиросимой и Нагасаки, считаем своим долгом перед человечеством сделать все, что в наших силах, чтобы не допустить опустошения нашей планеты ядерной войной.

Мы призываем все народы земли немедленно перейти к действиям в защиту мира. Не следует в отчаянии опускать руки. Напротив, мы должны удвоить наши усилия, направленные на сохранение мира».

Можно сказать, что за всю историю Японии не было в этой стране движения более массового, более организованного и целеустремленного, чем движение борцов за мир, против ядерной войны. Над японской землей все громче раздается голос поднявшегося народа: «Нет —

ядерной войне! Хиросима не повторится! Никогда, никогда более!»

Убедительны и неоспоримы успехи японского антивоенного движения, у которого свои давние традиции.

Еще жива память о том, как в 1954 году в связи с трагедией на рыбацкой шхуне «Фукурю Мару-№ 5», экипаж которой пострадал от американских ядерных испытаний в районе атолла Бикини, японские сторонники мира собрали тридцать три миллиона подписей под требованием о запрещении ядерного оружия. Трем выдающимся борцам за мир — первому председателю Японского комитета защиты мира Ояма Икуо, руководителю движения «Поющие голоса» Сэки Акико и председателю Всеяпонского совета по запрещению ядерного оружия Ясуи Каору — были присуждены международные Ленинские премии «За укрепление мира между народами».

И вот сегодня антивоенное движение вновь, как степной огонь, охватило всю японскую землю. Около тридцати четырех миллионов человек поставили подписи под воззванием за запрещение оружия массового уничтожения. Кампания по сбору подписей организована по инициативе Японского совета по координации народных движений за полное запрещение ядерного оружия и разоружение. В этот совет, созданный в ноябре 1981 года, вошли представители двадцати четырех массовых общественных организаций и политических партий. По призыву Генерального совета профсоюзов, совета связи независимых профсоюзов, социалистической и коммунистической партий, Всеяпонского совета за запрещение атомного и водородного оружия, других организаций по всей стране на улицах городов, на промышленных предприятиях и в учреждениях японцы подписываются под воззванием за запрещение подхлестываемой Вашингтоном гонки вооружений, против ядерной угрозы. Они заявляют о решимости не допустить превращения Японии в ядерный плацдарм, выступают против милитаристских приготовлений японского правительства.

Ответ Л. И. Брежнева, руководителя Советского государства, на взволнованное Обращение японских писателей был воспринят в стране с огромным вниманием, вызвав широкий резонанс в различных общественных кругах.

С глубоким пониманием японские трудящиеся отнеслись к словам Л. И. Брежнева о том, что он вполне разделяет тревогу по поводу все возрастающей ядерной угрозы: «Только наивные, далекие от реальности люди могут полагать, что пламя термоядерной катастрофы не опалит смертоносным огнем их дом, если он находится вдали от источника пожара. Долг каждого, кому дорого будущее жизни на нашей планете, внести свой вклад в устранение опасности ядерной войны, в поиски путей укрепления мира».

Советский Союз, указывается в ответе, «предлагает заключить конвенцию об укреплении гарантий безопасности неядерных государств и соглашение о неразмещении ядерного оружия на территории тех государств, где его нет в настоящее время. Советский Союз со всей определенностью заявляет, что никогда не применит ядерное оружие против тех государств, которые отказываются от производства и приобретения этого оружия и не имеют его на своей территории. Более того, Советский Союз готов заключить на этот счет и специальное соглашение с любым из неядерных государств».

Не однажды уже делались заявления, что Советский Союз не видит препятствий к тому, чтобы начать с Японией переговоры о заключении соглашения о неприменении ядерного оружия, если Япония откажется от производства и приобретения этого оружия и не будет иметь его на собственной территории.

Утвердить мир, действуя разрозненно, трудно, если не невозможно. Эта грандиозная задача по плечу подлинно всемирной коалиции антивоенных сил. Такая коалиция в наши дни не утопия. Страна Советов готова к широкому и конструктивному сотрудничеству с государствами иной социальной системы, со всеми, кто намерен искренне действовать во имя прочного, справедливого и демократического мира.

Японские средства массовой информации, хотя и сдержанно, комментировали высказывание Л. И. Брежнева о том, что «в нынешней осложнившейся международной обстановке, когда США разрабатывают и внедряют в производство качественно новые виды оружия массового уничтожения, затягивают возобновление переговоров об ограничении стратегических вооружений, занимают обструкционистскую позицию в отношении советских предложений, направленных на оздоровление международного климата, особо важное значение приобретает активизация действий всех миролюбивых сил планеты. В этой связи не могу не поддержать ваш призыв к немедленным действиям в защиту мира. Весьма ценно, что японские сторонники мира полны решимости внести свой вклад в это благородное дело, решительно выступают против размещения на территории своей страны как собственного, так и иностранного ядерного оружия».

Показательно, что после обнародования ответа Л. И. Брежнева к инициаторам Обращения присоединилось еще несколько сот японских писателей и общее число подписей под ним превысило пятьсот. «Ответ Генерального секретаря Брежнева на Обращение писателей придает новые силы не одному лишь антиядерному движению литераторов, — подчеркнул писатель Накано Кодзи. — Теперь еще активнее и шире станет борьба всей японской миролюбивой общественности за уничтожение ядерного оружия.

Как море не отталкивает от себя ни одной реки, так и движение японских писателей — Обращение подписали уже свыше пятисот человек — вобрало в себя литераторов разных жанров, подчас

противоположных политических пристрастий и творческих взглядов».

В Японии хорошо известна последовательная позиция Советского Союза в отношении ядерного оружия, заявил профессор токийского университета «Тюо» Ито. СССР постоянно выступает с инициативами, способствующими упрочению мира, разрядке международной напряженности. «Огромное значение имеет выдвинутое на XXVI съезде КПСС предложение создать авторитетный международный комитет с участием виднейших ученых из различных стран,— сказал он, — который довел бы до сознания широких народных масс всего мира правду о том, к каким губительным для человечества последствиям привела бы ядерная война».

Крайне симптоматично, что, несмотря на прямое Обращение японских писателей с призывом не допустить ядерной войны, адресованное всем странам мира, в первую очередь тем из них, кто обладает ядерным оружием, никакого ответа от них, кроме ответа главы Советского государства Л. И. Брежнева, не последовало. Гробовым молчанием отделалась и администрация Белого дома, которую обычно вряд ли можно заподозрить в малословии. На этот раз — ни единого звука. Будто США вовсе не касается взволнованный призыв японской интеллигенции. Будто это Обращение, выражающее тревогу мира перед угрозой ядерной катастрофы, относится к кому угодно, но не к главному источнику этой чудовищной угрозы.

И вот группа инициаторов Обращения, добившись встречи с премьер-министром Японии Д. Судзуки, лично вручила ему текст этого документа. Литераторы потребовали от премьер-министра, чтобы он, будучи главой правительства единственной в мире страны, подвергшейся атомным бомбардировкам, выступил на второй специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН по разоружению с инициативами, способствующими ядерному разоружению. Они передали Д. Судзуки ответ Председателя Президиума Верховного Совета СССР Л. И. Брежнева на их Обращение, где подчеркивается, что «Советский Союз был, есть и всегда останется решительным борцом за предотвращение ядерной катастрофы, за мир во всем мире, за разрядку и разоружение».

Японский премьер, однако, с ответом не поторопился, следуя, видимо, примеру хозяина Белого дома, который Обращение японских писателей вовсе не удостоил вниманием. Во всем этом, разумеется, прослеживается своя логика.

Между тем и в среде правящей партии Японии есть трезво мыслящие люди. Запретить ядерное оружие, не допустить развязывания ядерной войны призвал депутат парламента от правящей либерально-демократической партии, председатель ассоциации депутатов парламента за содействие разоружению Оиси Буити. На пресс-конференции в клубе японских журналистов в мае этого года он заявил, что главная цель этой организации, объединяющей 230 депутатов парламента от различных политических партий,— бороться с растущей угрозой ядерной войны. В последнее время Председатель Президиума Верховного Совета СССР Л. И. Брежнев и другие советские руководители выступили с новыми инициативами с целью предотвращения ядерной катастрофы. По моему глубокому убеждению, сказал японский парламентарий, Советский Союз, заявляя о готовности прекратить гонку ядерных вооружений и приступить к ядерному разоружению, действительно стремится к миру, поскольку хорошо знает, что такое война. Наша главная задача, отметил он далее, положить конец порочному кругу гонки ядерных вооружений. Другого пути к миру и безопасности нет.

Японская весна нынешнего года ознаменовалась особенно широким подъемом движения за права трудящихся, за мир, против ядерной войны.

Уместно напомнить, что военный альянс США с Японией строится на глубоко своекорыстном умысле со стороны Соединенных Штатов. Япония, как отмечается в книге «Анализ положения в оккупированной Японии», выпущенной в свое время ЦК КПЯ, «обладает опытом ведения войны, особенно опытом войны против СССР... и армейским командным составом. Япония имеет самую передовую в Азии промышленность (особенно военные заводы) и квалифицированную рабочую силу». Япония с ее населением может дать «пушечное мясо» — несколько миллионов здоровых мужчин призывного возраста. «Япония — очень удобный плацдарм для нападения на Советский Союз... и может выполнять роль «непотопляемого авианосца».

В этой связи весьма показателен один из фактов поведения Японии и США в ООН. На завершившейся недавно XXXVI сессии Генеральной Ассамблеи ООН подавляющее большинство стран — членов этой организации поддержало предложение Советского Союза объявить тягчайшим преступлением против человечества применение первым ядерного оружия и проголосовало за внесенную по инициативе СССР резолюцию о запрещении производства нейтронного оружия. Нашлись, однако, государства — среди них Япония и США, — правительства которых выступили против этих гуманных предложений.

Антивоенное движение в Японии минувшей весной характеризовалось не только своей массовостью, но и многообразием форм. Прошло шествие двухсот тысяч людей в Хиросиму, состоялись марши мира, были организованы передвижные экспозиции, воспроизводящие трагедию атомного кошмара. Устраивались встречи ученых, предупреждающих о непредсказуемых последствиях ядерной войны, о необратимости процессов, вызываемых термоядерной радиацией, которые ведут к невозможности существования живых организмов. По сообщению печати, в последние

месяцы 860, то есть почти четверть всех органов местного самоуправления страны, в том числе 33 из 47 префектурных собраний, одобрили резолюции и декларации с требованием об отказе от ядерного оружия и полном его запрещении, с призывом принять меры к скорейшему разоружению.

Размах весенних антивоенных манифестаций вызвал явную озабоченность японского правительства, которое решило прибегнуть к по меньшей мере странному маневру. Используя на свой лад обстановку, под надуманным предлогом того, что движение против опасности ядерной войны «может быть использовано Советским Союзом и левыми силами в собственных целях», премьер Судзуки разослал строгую директиву членам и депутатам правящей либерально-демократической партии в различных органах местного самоуправления «воздерживаться» от участия в сборе подписей под требованиями о запрещении ядерного оружия и «быть более осмотрительными» при обсуждении резолюций и деклараций на эти темы в городских и префектурных собраниях. Что касается позиции Советского Союза, то в заявлении на этот счет нет никакой точности. Не проявлено в отношении нашей страны и элементарного такта. Премьера не смущает, что при этом искажается истина.

Не странно ли, что глава правительства единственного на земле народа, ставшего жертвой американского атомного оружия, с холодным цинизмом пытается укротить огонь ненависти и протеста против повторения трагедии. Разве все это не за пределами здравого смысла? Заявления, с которыми теперь выступает японское правительство, говорится в редакционной статье газеты «Токио симбун», лишь усиливают подозрение, что идет подготовка к тому, чтобы наши порты стали пристанищем американских боевых кораблей с ядерными ракетами на борту.

Но если правящие сферы Японии не желают признавать, откуда в действительности исходит угроза миру, то отдельные известные американские деятели открыто об этом говорят. Так, например, в издательстве «Бэнтам букс» вышла недавно книга американских сенаторов Э. Кеннеди и М. Хэтфильда «Замораживание: как вы можете помочь предотвратить ядерную войну». В случае обмена ядерными ударами между Соединенными Штатами и Советским Союзом, пишут ее авторы, губительный пожар войны неизбежно распространится на весь земной шар. Разглагольствования официальных лиц в администрации Рейгана о возможности «выживания» в термоядерной войне — это абсурд. «Во всеобщей ядерной войне не будет ни победителей, ни побежденных. Более того, она неизбежно приведет к гибели человечества», — считают они.

Подвергая резкой критике милитаристский курс администрации Рейгана, сенаторы решительно опровергают утверждения высокопоставленных руководителей США, будто «усиление гонки вооружений якобы необходимо для того, чтобы «догнать» ушедший далеко вперед Советский Союз». Их заявления полностью лишены оснований, пишут авторы книги. «Соединенные Штаты всегда лидировали в области производства и развертывания основных видов стратегического оружия». США первыми создали и первыми применили ядерное оружие против Японии, они же первыми приняли на вооружение стратегические бомбардировщики, баллистические ракеты, запускаемые с подводных лодок, и так далее. «Советский Союз лишь восстанавливал нарушаемое США равновесие в этих видах оружия»,— пишут Э. Кеннеди и М. Хэтфильд.

В настоящее время администрация США приступила к форсированному осуществлению целого ряда военных программ, которые призваны снова нарушить имеющееся примерное равновесие сил между двумя государствами. В этих условиях, заявляют сенаторы, чрезвычайно важно принять, пока не поздно, конкретные меры для обуздания гонки стратегических вооружений.

Тревогу американских сенаторов разделяют трезво мыслящие американцы. В предисловии к их книге видный политический и общественный деятель А. Гарриман пишет, что «слишком многие сегодня со всей серьезностью говорят о возможности ведения «ограниченной» ядерной войны».

В этом же духе выступил видный политический деятель США, заместитель лидера демократической партии в сенате А. Крэнстон, заявивший президенту Р. Рейгану, что тот либо «вводит общественность в заблуждение, либо сам серьезно дезинформирован», когда утверждает, что в ходе переговоров с СССР по ограничению стратегических вооружений США якобы «в одностороннем порядке разоружались», а СССР добился «стратегического превосходства».

В послании, направленном президенту, А. Крэнстон выразил полное несогласие с оценкой Рейганом нынешнего баланса сил США и СССР: «Я глубоко озабочен тем, что несколько заявлений, сделанных вами на последней пресс-конференции, не только вводят в заблуждение, но и свидетельствуют о том, что политика США в области контроля над вооружениями следует новым, опасным курсом».

...Я счастлив, что вновь, как прежде, увидел изумительное цветение сакуры и безудержное шествие весны по японским островам, убедился в том, что вместе с могучим ее дыханием стремительно ширится неостановимое народное движение против ядерной опасности, угрожающей истреблением жизни на земле. Словно весенние травы, жадно поглощающие почвенные соки, отмечала газета «Акахата», народное движение пустило глубокие корни. Их никому не удастся затоптать, ибо это движение служит благородной цели — освобождению всего человечества от ядерной катастрофы. Японский народ, продолжает газета, исполнен решимости вместе с

другими народами мира добиться исполнения памятного завещания радиста шхуны «Фукурю Мару-№ 5» Кубаяма Айкити, успевшего перед смертью произнести слова: «Боритесь за то, чтобы я был последним, кто погиб от ядерной бомбы».

ВИДЕТЬ ЗЕМЛЮ, ЖИВУЩУЮ В МИРЕ

Борьба против ядерного оружия началась в Японии сразу же после трагедии Хиросимы. У нее своя драматическая летопись. Весь мир склонился перед руинами и пепелищами Хиросимы и Нагасаки — городами вечной тревоги, городами страшного горя, которые всегда будут служить напоминанием о величайшем преступлении сил зла против человечества.

Мир помнит, не может не помнить пепел Хиросимы. Об этом говорят сегодня писатели разных континентов и стран. «Кровью и пеплом, — пишет южноафриканский литератор Алекс Ла Гума, — навечно начертано, что чудовищный эксперимент, поставленный американским империализмом на живых людях, не оправдать ничем и никогда. Катастрофа, постигшая два японских города, должна служить предостережением — новая попытка применить ядерное оружие будет концом света...

Я верю: в наших силах дать отпор безумцам, отвести от мира угрозу уничтожения, а затем избавиться от атомного проклятья навсегда». Да, борьба за мир началась не вчера и вряд ли закончится завтра. Мир, по слову Л. И. Брежнева, — не дар небес, его сохранение и упрочение требуют каждодневной и упорной борьбы.

Японцы особенно глубоко испытывают чувство тяжело и мрачно надвигающейся зловещей угрозы ядерной катастрофы. В ходе встречи с японскими писателями мы вновь и вновь возвращались к теме судьбы Хиросимы и Нагасаки, погибших от атомных бомб американской авиации. Кэндзабуро Оэ, вручая мне выпущенный в апреле 1982 года крупнейшим издательством «Иванами сётэн» специальный буклет с текстами речей и других материалов, где освещается антиядерный митинг японских литераторов в марте этого года, а также вопросы антивоенного движения, поделился впечатлениями о том, как потрясла его одна из сцен документального фильма, запечатлевшего бомбардировку Хиросимы. Перед нами, говорил писатель, проходят кадры с обезображенной келоидом спиной ребенка и руками японского врача на фоне американских военных летчиков, совершивших атомное преступление.

Кэндзабуро Оэ, которому принадлежит книга «Хиросимские записи», рассказывал о самоотверженном поведении японских врачей, спасавших жертвы лучевого поражения, о враче хиросимской больницы для пострадавших от атомной бомбы Фумио Сигэто, о котором он писал в своей книге. Встреча Кэндзабуро Оэ с жертвами атомной бомбы, которая состоялась восемнадцать лет назад, оказала сильнейшее воздействие на творчество писателя.

— Я пишу романы, — продолжал Кэндзабуро Оэ, — но продолжаю заниматься и публицистикой. Основная тема моих публицистических работ — необходимость сделать общенациональной идею борьбы за предотвращение возможности новых Хиросимы и Нагасаки. Именно эта главная мысль побудила меня включиться в движение за то, чтобы заставить власти принять «Закон о помощи жертвам атомной бомбардировки» и обеспечить всех пострадавших необходимыми материальными средствами и лечением. Участники движения возлагают ответственность за трагедию Хиросимы и Нагасаки на американское правительство. Равным образом мы считаем и тогдашнее правительство нашей страны повинным в развязывании второй мировой войны. От нынешнего правительства Японии мы требуем выступить за уничтожение ядерного оружия на всей планете.

Кэндзабуро Оэ подчеркнул, что сегодня главный долг литератора — активная позиция в нарастающей борьбе против ядерного безумия.

— Я полагаю, что присоединение к движению солидарности с жертвами атомной бомбардировки и борьба за превращение его во всеяпонское и всемирное как раз и могут стать наиболее конкретным и эффективным вкладом японских писателей в дело мира на земле. — И добавил: — В ядерной стратегии Соединенных Штатов, направленной против Советского Союза и грозящей привести к третьей мировой войне, японское правительство играет роль пособника, пренебрегая той очевидностью, что, если начнется ядерная война, погибнет все человечество. А ведь эта очевидность опирается — увы, вполне реально — на то, что уже пришлось пережить людям в Хиросиме и Нагасаки. В Европе и Америке антиядерное движение, движение за мир приобретает сейчас общенародный характер. Так же широко разворачивается оно и в Японии, и писатели участвуют в нем наравне со всеми. Вот почему, хотя опасность катастрофы велика, благодаря мощи антивоенной борьбы, ситуация все же не представляется мне безнадежной.

Волшебство человеческого диалога... Если диалог насыщен смыслом и предметностью суждений, то он может стать полезным при сопоставлении различных взглядов и оценок явлений общественной жизни, обсуждении актуальных проблем современности. Верно говорится: если все время будешь говорить в одиночку — всегда будешь прав. Но подлинный, заинтересованный диалог — это один из прямых, надежных путей к истине, к поискам взаимопонимания.

— Для активного участия в общественной деятельности, — сказал в своем выступлении Ясуси Иноуэ, — писатель отнюдь не должен покидать письменного стола, откладывая в сторону перо, ибо оно — его главное оружие.

Дело, конечно, не в том, чтобы художник непременно выходил на улицы и площади с лозунгами и транспарантами в руках, хотя это тоже одна из форм участия в общественной деятельности.

— Я стремлюсь прежде всего к тому, — продолжал он, — чтобы в своих произведениях звать людей к миру, разоблачать угрозу войны, показывать ее ужасы. Не без чувства удовлетворения скажу, что в известном смысле именно мы, писатели, имеем отношение к той масштабности, какую приняло ныне антиядерное движение в нашей стране.

Отсюда ясен вывод: литературное творчество так же неотделимо от политики, как неотделимо оно от самой жизни. Белинскому принадлежат меткие слова, сказанные о А. И. Герцене: «У него политика — поэзия, а поэзия — политика, у него жизнь — поэзия, а поэзия — жизнь». Именно такая литература делает взгляд человека на жизнь шире, обогащает его мировосприятие. Нет ни одной человеческой боли, общей или чьей-то личной, которая не затрагивала бы сердце настоящего художника.

— Убежден, что каждый литератор, на каком бы языке он ни писал, обязан всеми силами отстаивать мир и отвергать войну. Я презираю войну, потому что на мою долю выпали ее тяжкие испытания. В наше время ни один деятель культуры не может заботиться лишь о своем собственном благополучии или даже только о счастье своей страны. Он не должен забывать, что в современном мире каждодневно гибнут люди, гибнут от нищеты, насилия и голода... Мы, писатели, обязаны делать все, чтобы облегчить участь людей и — главное — отвести от них угрозу ядерного уничтожения.

— Главный смысл требований широкой японской общественности, — заявил японский литератор Накамото Набуюки, — сохранить жизнь на нашей планете, не допустить, чтобы атомомания лишила ее будущего. Исторический процесс ясно указывает, в каком направлении суждено развиваться человечеству.

Иногда удивленно спрашивают, — продолжает Накамото, — почему в Японии, где война объявлена конституцией вне закона, антивоенное, антиядерное движение обретает столь колоссальный размах. Мы — единственная страна в мире, которая уже испытала на себе варварское действие атомного оружия, заплатив за этот скорбный опыт дорогой ценой. Ядерная смерть и сейчас продолжает уносить жизни японцев. Тем более чудовищно, что на этой обожженной, отравленной земле находятся силы, которые хотели бы стереть из народной памяти горькое прошлое, заставить забыть, какие причины привели нас к трагедии. Эти силы в основном ориентируются на молодежь, которая не знает ужасов войны.

Определенные японские круги, — добавил он, — предпринимают изощренные попытки возродить самурайский дух, шовинистические и милитаристские настроения, оправдать присутствие американских войск на наших островах, что превращает их в источник угрозы для соседних стран и автоматически — в мишень для ответного удара. Особую тревогу вызывают усилия навязывать подобные опасные взгляды художественными средствами: в литературе, театре, кино с их могучим даром эмоционального воздействия на сознание людей.

Своим творчеством мы можем и обязаны защитить человечество, великое культурное наследие наших предков, чтобы, приумножив, передать этот бесценный дар будущим поколениям. Не сомневаюсь, что перо в руке честного писателя осилит любое оружие. И потому верю в человека, в жизнь, в победу разума над ядерным безумием.

Касаясь ответа Л. И. Брежнева на Обращение японских писателей, Ясуси Иноуэ сказал:

— Мы испытываем чувство радости, что Л. И. Брежнев оказал поддержку нашему движению. Мы весьма благодарны за эту большую честь. Антиядерное движение в Японии, на мой взгляд, может быть охарактеризовано как весьма внушительное и слаженное. Ряды наши тесно сплочены.

— Следует упомянуть, — добавил Кэндзабуро Оэ, — что впечатление от ответа главы Советского государства Л. И. Брежнева было чрезвычайно сильным. Некоторых писателей оно поистине потрясло своей неожиданностью. Они просто не думали, что их дело приобретает значение большой политики в международном плане.

Кэндзабуро Оэ рассказал о митинге писателей — участников антиядерного движения, состоявшемся в марте этого года.

— Примечательно, — сказал он, — что выступления литераторов были содержательны и разнообразны. В их твердых по духу и волнующих речах звучали тревога и предостережение. И если, к примеру, мое выступление было посвящено судьбам двух городов — Хиросимы и Дрездена, то Иноуэ сэнсэй выразил свои мысли в поэтической форме.

— Верно, — продолжал Ясуси Иноуэ, — на митинге антиядерного движения литераторов мне захотелось прочитать стихотворение, которое было написано тринадцать лет назад и названо «Начало Нового года». В этих строках — моя душа, жаждущая мира и отвергающая войну. Причем не только моя душа, но и, надеюсь, души всех японцев, всех людей.

По просьбе участников встречи Ясуси Иноуэ прочел это стихотворение, переложенное затем на русский язык Анатолием Мамоновым:

В ушедшем году
многие люди на свет появились
и умерли многие.
Рожденье у всех одинаково,
но из жизни уходят —
каждый по-своему...
Вот в этом году опять прозвучат
новорожденных крики
и предсмертные вздохи...

У прозрачной озерной воды
в горном краю Тэндзан,
согласно последней воле,
покоится в мире исследователь
девятнадцатого века.
В том нет ничего необычного,
потому что и жизнь, и смерть
того человека
не распались на части,
а скреплены в единое целое,
словно красивой булавкой сколоты.

Пусть же в Новом году
наши жизни, и наши смерти,
и мгновения каждого дня
станут настолько значительны,
чтоб и они отразились
в зеркальной поверхности озера
в горном краю Тэндзан.
Одоленный единственной жаждой,
я хочу одного —
видеть землю, живущую в мире,
землю, спасенную от войны!

ВОСТОК И ЗАПАД: ГЛОБАЛЬНЫЙ ГНЕВ ПРОТИВ ЯДЕРНОЙ УГРОЗЫ

Нынешнюю международную ситуацию Л. И. Брежнев сравнил с развилкой дорог, указав таким образом на великую ответственность выбора, перед которым оказалось человечество. Либо оно изберет путь, который ведет прочь от войны, к миру. Либо пойдет дорогой дальнейшей гонки вооружений и конфронтации. И выбор этот касается всех, каждого человека без исключения.

Свой выбор Советский Союз сделал давно. Наша страна никогда не сворачивала и никогда не свернет с пути мира и сотрудничества, проложенного В. И. Лениным. Для нас это — вопрос кровных интересов народа и страны, принцип нашей внешней политики.

Вряд ли на Западе неизвестно о сугубо оборонительном характере советской военной доктрины, которая исключает превентивные войны и концепцию первого ядерного удара. Советской дипломатии чужды стремления шантажировать другие народы угрозой применения военной силы, тем более ядерным оружием.

Не только СССР, но и главные страны капиталистического мира, включая США, казалось, тоже сделали этот выбор, прошли опасную развилку в начале семидесятых годов, руководствуясь всем опытом предшествующих десятилетий. Опытом, ясно показавшим, что разумной альтернативы мирному сосуществованию нет, что «холодная война» и гонка вооружений бесперспективны, а война «горячая» неотвратимо обернется для человечества трагически.

Кошку, по выражению французов, нужно называть кошкой. Общеизвестно, что гонка вооружений начата и продолжает форсироваться не Советским Союзом, а Соединенными Штатами. Именно в США создали первую ядерную бомбу. Именно в США впервые разработали и построили водородную бомбу. Точно так же США первыми создали флот подводных лодок, оснащенных ядерным оружием, стратегический бомбардировщик с ядерным оружием, баллистические ракеты с разделяющимися ядерными боеголовками индивидуального наведения, приступили к производству нейтронной бомбы и крылатых ракет.

Естественно, возникает вопрос: могли Советский Союз, на который, как и на США, Уставом ООН возложена главная ответственность за сохранение мира между народами, лишь созерцать все это, а священный свой долг, собственную безопасность, — оставлять на произвол судьбы и милость противников?

Вот как, по-своему, отвечает на этот вопрос Бернт Энгельман, председатель Союза писателей ФРГ, автор «Белой книги о мире»:

«Писателям, деятелям литературы во всех ее многообразных жанрах принадлежит особая роль в решении главного вопроса современности — обеспечения прочного мира на земле, — пишет он.— Писатель и публицист — носитель определенной морали. Именно художественная литература и публицистика способны пробудить души людей, их чувства, что чрезвычайно важно сегодня, перед угрозой ядерной катастрофы.

В сегодняшнем мире, таком сложном и противоречивом, писатель помогает человеку разобраться в жизни. Особо я хочу сказать о ситуации в Федеративной Республике Германии. Дважды с немецкой земли начинались мировые войны. Чувство вины налагает отпечаток на наше национальное самосознание. Думаю, что писатели глубоко пережили это потрясение. И, заметьте, у нас практически не стало «правых» писателей. Даже если очень упорно искать, то можно найти лишь нескольких стариков, да и те стараются отречься от нацизма. Подлинный писатель не может быть в лагере реакции...

В ФРГ деятельность писателей связана также с необходимостью преодоления предрассудков и предубеждений. «Русские идут!» — сколько можно пугать этим западных немцев?! Если они и были последний раз на Эльбе, то кто, в конце концов, вынудил их сюда прийти?.. Репортер американской телекомпании Эй-би-си спросил, чьих ракет я больше боюсь — американских или советских? Я ответил ему, что американских. Потому что США переступили черту, которую никто не смел перейти: они поставили вопрос о допустимости ядерной войны в Европе. Это значит, что американские стратеги, которые занимаются такими планами, могут попытаться и осуществить их.

Что касается Советского Союза, то не думаю, чтобы он собирался на нас нападать. А вот об обороне ему приходится думать всерьез при огромной протяженности его границ, при агрессивных замыслах некоторых соседей и в сплошном окружении американских военных баз. Кроме того, я знаю сдержанность Советского Союза».

Слишком суровой и поучительной оказалась для нашей страны недавняя история империалистических войн, чтобы СССР не проявлял должной ответственности за судьбы своего народа и международного мира. Это, конечно, понимают и за рубежом люди здравомысля-

щие и непредубежденные. «По своему возрасту, — пишет американский писатель Элтон Фэкс, — я почти ровесник века. Мой жизненный опыт вмещает многое, но нет в нем, как и у всех американцев, одного: никто из нас не видел, как на глазах рушится от бомбы его жилище, погибают под обломками родные, никто не прочувствовал сполна на себе горя и боли того момента, когда война обрушивается на землю его страны, врывается в его собственный дом. Судьба была благосклонна в этом отношении к Америке — разрушительные войны обходили ее стороной.

Вот почему очень многим американцам трудно понять, какой глубокий, сокровенный смысл вкладывают советские люди в каждый построенный ими новый дом, завод, электростанцию, канал — все это создается с надеждой никогда не увидеть разрушенными плоды своих рук и ума».

В исторической борьбе против угрозы ядерной катастрофы Советский Союз не одинок. На стороне правого дела мира — страны социалистического содружества, братские коммунистические партии, международное рабочее движение, народы неприсоединившихся стран. Во имя мира и международной безопасности в битве участвуют широчайшие народные массы всех континентов, всех стран, включая Западную Европу, Соединенные Штаты, Японию.

«В то время как количество ядерного оружия все растет и оно становится все совершеннее, — заявил Р. Макнамара, бывший министр обороны США, — все больше внимания уделяется разработке планов ведения ядерной войны и победы в ней. Это безумие: в ядерной войне не может быть победителя».

Усиление милитаристских тенденций во внешней политике администрации Рейгана, курс Вашингтона на резкую эскалацию производства вооружений представляют серьезную опасность для международного мира. Против этой авантюристической, безответственной политики нарастает широкий протест даже в самих Соединенных Штатах.

По сообщениям прессы, более ста шестидесяти преподавателей и студентов медицинского факультета Гарвардского университета передали недавно группе сенаторов и членов палаты представителей конгресса США петицию с требованием предпринять энергичные усилия по предотвращению ядерной войны и обузданию гонки вооружений. Выступая на состоявшейся в здании конгресса процедуре передачи петиции законодателям, профессор биохимии Гарвардского университета Дж. Эдсолл подверг резкой критике позицию администрации Р. Рейгана и, в частности, заявление о возможности победы в «ограниченной» ядерной войне.

Принимая петицию, А. Крэнстон заявил, что в настоящее время наблюдается невиданное пробуждение Америки перед лицом опасности ядерной войны. Если бы такое массовое движение наблюдалось в период обсуждения в конгрессе крайне важного для обуздания гонки ядерных вооружений советско-американского договора ОСВ-2, то, без всякого сомнения, этот документ был бы ратифицирован.

А. Крэнстон решительно заявил, что абсолютно убежден в положительном отношении Советского Союза к любым американским действительно искренним усилиям по достижению контроля над вооружениями. Однако, по его мнению, президент Рейган продолжает упорно игнорировать призывы американской общественности.

Ежегодное собрание Национальной академии наук США в апреле месяце 1982 года приняло большинством голосов обращение, в котором призывает администрацию Рейгана и конгресс США активизировать усилия по предотвращению угрозы ядерной войны. Обращает на себя внимание, что члены Национальной академии наук США высказались за осуществление эффективных мер для достижения справедливого и контролируемого соглашения между США и СССР по ограничению стратегических вооружений и значительному сокращению ядерного оружия и средств его доставки. Американские ученые призывают президента США предпринять необходимые практические шаги по блокированию дальнейшего распространения в мире ядерного оружия и уменьшению риска случайного развязывания ядерной войны.

Современная наука, говорится в принятом обращении, не может обеспечить миру каких-либо эффективных средств защиты от беспрецедентной в истории человечества угрозы массового уничтожения. Члены академии считают, что нельзя говорить о возможности ведения каких-либо «ограниченных» ядерных конфликтов. Они призывают отказаться от всех военно-стратегических доктрин, рассматривающих ядерное оружие как обычное средство ведения войны.

Сотни миллионов людей, выступающих в различных странах, в том числе и в США, против военной угрозы, видят в миролюбивых внешнеполитических акциях СССР, таких, как одностороннее введение моратория на развертывание ядерных ракет средней дальности в европейской части Советского Союза, пример и яркое доказательство того, что разоружение — дело вполне возможное, практическое. «Избавить нашу планету от грозящей ей опасности, сохранить мир, — подчеркнул Л. И. Брежнев в своем ответе на обращение второго международного конгресса «Врачи мира за предотвращение ядерной войны», — высший долг руководителей государств перед своими народами, перед человечеством».

Принципиально новым и важным является то, что на сторону нового движения становятся многие видные общественные и политические деятели США. Осознавая всю опасность нынешней внешней политики администрации Рейгана, а также прислушиваясь к голосу широких кругов американской общест-

венности, они выступают с резкой критикой Белого дома.

«Феноменальным подъемом борьбы за мир во всей стране» назвал антивоенное движение рупор военно-промышленного комплекса США журнал «Ю. С. ньюс энд уорлд рипорт». Долгое время официальная Америка, ведущие буржуазные издания пытались игнорировать выступления американского народа за мир, но ныне они приняли такие масштабы, что их уже просто невозможно не замечать. По всей стране, от Восточного побережья до Западного, проходят митинги и демонстрации, участники которых требуют от администрации Рейгана покончить с гонкой вооружений, грозящей человечеству катастрофой, расходовать средства не на создание новых видов оружия, а на удовлетворение насущных нужд народа.

В Таксоне, Чикаго и многих других городах США на площадях и в парках установлены макеты ядерных бомб. Вокруг них толпятся тысячи людей. Активисты организации «Эпицентр взрыва» рассказывают, что случится, если в этом месте взорвется атомная бомба. Собравшиеся гневно протестуют против политики Белого дома, которая может привести к этим ужасным последствиям. «Наше движение уже охватило миллионы людей, которые никогда раньше не принимали участия в антивоенных демонстрациях», — говорит представитель организации Эллис Вудард.

В Вашингтоне, где разработана доктрина «ограниченной» ядерной войны и «превентивного» ядерного удара, провокационно заявляют, что полем новой термоядерной войны избрана Европа, отделенная от США океаном. Представления об «ограниченной ядерной войне», о «контролируемом» ядерном опустошении какой-либо части света — по самой своей сути маниакальны, крайне безответственны. Они рассчитаны на то, чтобы постепенно «психологически» подготавливать народы к мысли о неизбежной термоядерной катастрофе человеческой цивилизации. Этого не понимает только тот, кто не желает этого понимать.

Бывший посол США в СССР Дж. Кеннан ясно объяснил, почему он выступает против применения первыми ядерного оружия. «Число единиц ядерного оружия в арсенале США и СССР настолько велико, что риск стал неприемлемым. Развязать ядерную войну, пусть даже в небольших масштабах, — значит идти на слишком рискованную авантюру. Ущерб в результате эскалации того или иного конфликта в направлении всеобщей ядерной войны не поддается исчислению — по всей вероятности, он был бы чрезвычайно велик. Западная цивилизация превратилась бы в руины. С такой опасностью шутить нельзя. А между тем, цепляясь за возможность «применить первыми ядерное оружие», мы, по существу, именно так и поступаем. Пора уже окончательно отказаться от этой идеи».

Об этом говорит и Томас Уотсон, в прошлом посол США в СССР, который отмечает, что «усилившиеся требования общественности положить конец гонке ядерных вооружений наконец приводят Америку в чувство». В США сейчас набирает силу «громадное и обнадеживающее движение: страна меняет свои представления о ядерном оружии, — сказал он во время выступления, посвященного проблеме контроля над вооружениями. — Мы стали жертвами специалистов, мыслящих теоретическими категориями, которые убеждали нас, что преимущество в ядерном потенциале якобы обеспечивает большую безопасность... Оглядываясь назад, я сказал бы, что наша политика была крайне неудачной. Более того, в ретроспективе она выглядит чистейшей воды безумием. К счастью, сейчас простые граждане нашей страны быстро приходят к таким же выводам».

Симптоматично и заявление известного американского религиозного деятеля. «Мир переживает сегодня самый критический момент в своей истории, — констатировал проповедник-евангелист из США преподобный Билли Грэм, участвовавший во Всемирной конференции «Религиозные деятели мира против ядерной катастрофы» в Москве. — Никогда раньше человечество не держало в руках столь чудовищного оружия. Из какой бы страны мы ни прибыли, каждый из нас должен сделать все во имя того, чтобы спасти священный дар жизни от ядерной катастрофы».

Международная гонка вооружений «должна быть осуждена как безрассудная и преступная. Мы должны быть вместе. У нас есть общий враг — война!» — декларировал в своей речи на конференции Билли Грэм. «Выступать против войны сейчас. Завтра будет поздно», — призвал Сикх Гопал Сингх из Индии.

Суровым осуждением явилось выступление на Всемирной конференции Генерального секретаря Реформаторской церкви в Америке Ари Р. Брауэра, подчеркнувшего, что церкви в США оценивают гонку вооружений как оскорбление национальной чести, как чудовищную безнравственность, как источник отчуждения американцев от семьи людей.

Человеческий разум не может не восстать против ядерного безумия. В тревожное наше время проблема войны и мира приобрела всеобъемлющее значение, сохранение мира стало главнейшей задачей всех людей земли, независимо от их мировоззрения, идеологических взглядов и религиозных убеждений. Масштабы глобального уничтожения всего живого на нашей планете не могут иметь никаких ограничений. С такой катастрофой разум человеческий примириться не способен «Мы выбрали единственно правильный путь, необходимый всему человечеству, — путь жизни!» — провозгласил Пимен, патриарх Московский и всея Руси.

Как же в господствующих сферах Запада отнеслись к выступлениям духовных лиц на Всемирной конференции «Религиозные деятели мира против

ядерной катастрофы»? Реакция Вашингтона была крайне раздражительной. Американские средства массовой информации поспешили объявить конференцию «очередной пропагандистской» затеей Москвы, «коммунистической инспирацией» и т. д., и т. п. На религиозных церковных проповедников, которых еще вчера боготворила буржуазная пропаганда, обрушилась лавина всяческих оскорблений, обвинений в отступничестве и перерождении. Правда, следует отметить, что и в США нашлись люди, которые с пониманием восприняли призыв религиозных деятелей к миру, к спасению жизни на земле.

Когда задумываешься сегодня обо всем, что происходит в мире, то понимаешь, какую огромную роль приобретает писатель. Его творчество, главное его оружие — искусство слова — способно «заразить» миллионы людей идеалами мира, прогресса и справедливости.

«Я встал в ряды защитников мира,— говорит известный пакистанский поэт Фаиз Ахмад Фаиз, — потому что убежден: бороться против войны — наипервейший долг поэта. Война и культура — понятия несовместимые. Какие бы заговоры ни плели империалистические поджигатели войны, фабриканты оружия и международные монополии, я верю в окончательную победу сил мира; история идет вперед, и ее никому не повернуть вспять...

В идеале все человечество сможет обрести свободу и справедливость лишь тогда, когда будет избавлено от насилия и войн, грозящих сейчас самому его существованию...» И это оружие становится еще действеннее, если художник не замыкается в стенах своего кабинета, а вместе с другими литераторами считает своим долгом говорить об истинной сути волнующих человечество проблем. Поэтому весьма актуальным представляется создание авторитетного международного органа писателей, куда вошли бы выдающиеся художники слова, которые возвысили бы свой голос против грозящей всему человеческому роду опасности ядерной катастрофы. Творческим своим участием литераторы должны помочь народам отстоять первейшее свое право на священный дар природы и общества — право на жизнь.

Нет нужды доказывать, что в мире существует идеологическое противоборство — борьба коммунистического и буржуазного мировоззрений. Однако «идеологическая борьба не должна использоваться как средство вмешательства во внутренние дела государств и народов или вести к политической и военной конфронтации, — предупреждает Л. И. Брежнев. — Иначе этот идеологический спор может обернуться катастрофой, в которой вместе с миллионами людей могут, так сказать, погибнуть и их концепции».

Сражение против смертельно опасной гонки вооружений, за спасение человечества от ядерной катастрофы приобретает все более широкий размах. Складывается всемирная коалиция миролюбивых сил. Неукротимость воли народов к миру, которая нашла свое выражение в бурной волне маршей мира и манифестаций протеста против ядерного безумия, стала одним из величайших международных факторов современности.

Советский Союз вновь проявил высочайшую ответственность за судьбы планеты. В послании товарища Л. И. Брежнева второй специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН по разоружению провозглашено: «Руководствуясь стремлением сделать все от него зависящее, чтобы отвести от народов угрозу ядерного опустошения и в конечном счете исключить из жизни человека саму его возможность, Советское государство торжественно заявляет: Союз Советских Социалистических Республик принимает на себя обязательство не применять первым ядерное оружие». Это ли не благороднейшее, ярчайшее доказательство искреннего стремления нашего народа к миру, его твердой веры в этот гуманный идеал. «Советский Союз, — говорится далее в послании, — принимает на себя обязательство не применять ядерное оружие первым, будучи уверенным в силе здравого смысла, с верой в возможности человечества избежать самоуничтожения, обеспечить мир и прогресс для нынешнего и грядущих поколений».

Наш народ убежден, что так и будет!

■

Встреча с японскими писателями затянулась. Давно уже угас свет дня. Промелькнул весенний закат, который здесь неповторимо прекрасен. Гигантские тени развесистых сосен, казалось, заполнили все пространство земли. Неясный свет фонаря рассеивался в ночной тьме, опустившейся над садом Отани.

Мы расстались поздно ночью. И каждый остался наедине с собой, со своими размышлениями и заботами.

Ранним утром меня посетил в отеле Содзо Асакава. В руках у него был традиционный цветной платок — фуросики, служивший ему сумкой. Принеся извинения за то, что не позаботился о живых цветах, которые подарил мне вчера, Асакава развязал фуросики, взял ножницы, ловко подрезал концы цветов, стоявших в графине, и поместил их в керамическую вазу, которую принес с собой. Затем быстрыми движениями пальцев создал из цветов нужную композицию.

— Видите ли, я должен был это сделать еще вчера, но не сделал. И вот всю прошлую ночь меня неотступно преследовала мысль, что нарушил элементарный канон икэбаны — эстетический принцип аранжировки цветов, — с улыбкой произнес Содзо Асакава.

Только это и сказал. Ничего другого. И, склонившись на прощание в почтительной позе, покинул мою комнату.

■

ЧЕМ ЖИВ ПИСАТЕЛЬ

**Французские зарисовки:
интервью нашего специального корреспондента
ЕВГЕНИИ СТОЯНОВСКОЙ**

Монтаржис, близ «Харчевни у шлюза»

Эрве Базен

Как вы знаете, еще недавно я жил тоже в сельской местности, как, впрочем, и всегда,— но в другом доме, в двадцати пяти километрах отсюда. Там у меня была настоящая небольшая ферма, с овцами, курами, голубями, утками, кроликами и т. п. Но мой персональный моторчик (*показывает на сердце*) потерпел аварию — я перенес тяжелый инфаркт, так что пришлось перебраться в меньший дом, мириться с мыслью, что трактор больше водить не придется, заниматься физической работой — тоже. Ну и я решил переселиться в виллу, где уже не будет нужды ею заниматься. Это очень огорчительно, потому что я всегда любил физический труд. По утрам, например, любил возиться по хозяйству — слесарничать, работать в саду, а во второй половине дня писал.

Теперь с этим покончено. Правда, литература моя должна на этом выиграть: теперь я посвящаю ей и утро, и остальное время. Утро отвожу главным образом на газеты, журналы, а после обеда, как и прежде, работаю над очередным романом, эссе или стихами. Словом, свой прежний дом я оставил, как говорится, не от хорошей жизни, а потому, что просто не было другого выхода: находиться я теперь должен поближе к железнодорожной станции — водить машину врачи мне запрещают; случись новый сердечный приступ, когда буду за рулем, это может оказаться опасным для других. Жить нужно поблизости от своего врача, лаборатории, где проверяют кровь... Короче говоря, причин для переезда набрался целый букет; хотя вы, может быть, скажете, что выгляжу я вовсе недурно, вполне здоровым, однако вид обманывает, болезнь снаружи не всегда заметна. Так что этот дом — как бы мера предосторожности, к тому же он обходится дешевле, требует гораздо меньше хлопот и расположен рядом со всеми учреждениями «скорой помощи»... Словом, пришлось отказаться от многого, к чему я привык, что составляло повседневный уклад моей жизни. Переезд это вынужденный, повторяю, я был привязан к своему прежнему дому. Впрочем, я вообще больше люблю старые дома, чем современные, вроде моего теперешнего, хотя есть в нем и преимущество: его размеры и расположение в принципе отвечают моим потребностям, короче говоря, жить можно, и не так уж плохо. Не особенно ведь он и мал, верно? Есть как-никак сад в 0,4 гектара, и город, можно сказать, рядом. Я как бы по-прежнему живу в деревне и одновременно в восьмистах метрах от всего необходимого.

Сейчас главная моя забота — довести до конца начатое. Я получил весьма серьезное предупреждение, более чем серьезное — два с половиной квадратных сантиметра омертвевшей сердечной ткани, можно сказать, на волосок от смерти побывал; когда меня отправляли в больницу, я слышал, кто-то рядом со мной сказал: вряд ли он вернется домой. Так что живу с ощущением, что получил отсрочку. Как говорят у нас на арго: дали добавку. Будем надеяться, что отсрочка не окажется слишком короткой (*смеется*)... Хотя бы даст мне возможность дописать книгу. Она может продлиться пять дней, пять лет или все пятнадцать — сердечник никогда не знает, сколько времени ему отпущено. Сейчас вроде бы все хорошо. Значит, можно строить планы...

Есть в чем-то и польза — когда смерть подбирается так близко, легче видишь, что в твоей жизни важно, а что пустое. Я понял, что моя жена, мои дети, с одной стороны, то, что я пишу, главное из того, что я защищал в сфере идей, с другой, — это существенно, а остальное, бог мой, право же, остальное не имеет особенного значения. Итак, первая моя забота — завершить начатое. Я наметил себе программу, не слишком обширную, но все же в ней значатся пять — восемь книг, в зависимости от времени, которым я смогу распорядиться. Прежде всего, хочу закончить цикл романов о семье Резо, начатый «Гадюкой в кулаке»... Хотел бы написать книгу о «третьем воз-

Продолжение. Начало см. в № 8, 1982.

расте», о старости, — это будет четвертая, давно запланированная часть цикла о семье Резо. Назвать ее я собираюсь «Старый краб». Затем хотел бы написать вторую часть книги «Супружеская жизнь». Здесь речь пойдет о семье с детьми в возрасте до десяти лет. Дети, проблемы воспитания — это уже новый этап жизни семьи, когда за спиной супругов немало совместно прожитых лет. Назову я ее «Школой родителей». Для меня это очень важная книга, начал я ее много лет назад, но бросил на полпути, потому что в ту пору многое оставалось еще неясным для меня самого, теперь хотел бы довести ее до конца.

Ну и книга, которую я пишу сейчас, дневник, выстроенный по алфавиту,— отсюда и ее скромное название «АБВГД»; дневник довольно необычный, смею сказать, нечто вроде словаря, где мои собственные суждения, чувства, воспоминания, зарисовки людей расположены в алфавитном порядке. Такая вот книга, довольно твердый орешек. На сегодня уже написаны триста — четыреста страниц, точно не скажу, но какую-то часть из них, которая меня не удовлетворит, я выброшу, что-то, возможно, добавлю.

Если хотите, могу показать вам кое-что из готового текста. Это уже второй этап работы (вначале я пишу от руки), первая перепечатка, которую я обычно делаю сам, чтобы прояснить текст для самого себя. Когда книга будет завершена, жена перепечатает ее — она выполняет для меня всю секретарскую работу, выверяет тексты, держит корректуру и т. п. Когда-то это было ее профессией, она работала литературным сотрудником в издательстве «Сёй».

По совести говоря, моя книга не совсем уж первая в своем жанре, нечто в этом роде представлял собой «Философский словарь» Вольтера, он тоже выстроен в алфавитном порядке; но, пожалуй, никто еще из пишущих по-французски не обращался к этому жанру, чтобы написать дневник. Что касается меня, то я просто не знаю, как можно было бы иначе расположить то, что я хочу уместить в него. Хронологическое изложение меня не привлекает, оно кажется мне банальным, повторить композицию «Остановившегося времени» Клода Мориака тоже не хочется. Я решил, что проще всего объединить эти совершенно разнородные тексты, не имеющие между собой ничего общего, по принципу словаря. Хотите услышать несколько абзацев?

Возьмем, например, слово «абсурд».

«Мне всегда казалось абсурдным считать мир абсурдным за невозможностью его себе объяснить. Проблема помутнения разума по причине непознаваемости мира не мучила обезьяну. Неужели человек способен избавиться от этого чувства потому только, что он идет от открытия к открытию? Это по меньшей мере наивно, даже если человек знает теперь, что он не является ни центром вселенной, ни ее целью, ни мерой, как верил еще недавно его прадед. Да, боги мертвы... Человек не будет отныне создан по их образу и подобию, он не более чем просто скромное животное, которому благоприятствовала эволюция»... И дальше: «...абсурд, мне говорят справа, заключается уже в том, что мы смертны, оставляя себе при этом притязания на бессмертие. Но не находите ли вы такое положение нормальным для нашего близкого родственника, шимпанзе? Абсурд, мне говорят слева,— в том, что организующий материю физико-химический закон безразличен к идее справедливости. Да здравствует свобода! Неужто? Но я нахожу восхитительным, что хотя бы эта забота оставлена нам!» И так далее...

Или вот слово «воспоминание»...

«Воспоминание — это, во всяком случае, не то, на что можно положиться. Это вовсе не то же самое, что память. Я унаследовал от своего отца способность схватывать содержание с одного прочтения, но если любое воспоминание можно уподобить швейцарскому сыру, где половину составляет масса и половину — дырки, то в моем воспоминании атрофирован целый кусок. Двадцатилетний юноша сидит в ванне и видит другого юношу в смежной ванне, отделенной от него слегка запотевшей стеклянной перегородкой; лицо соседа ему как будто знакомо, но ситуация его удивляет. Что это за совместное купание в ваннах-близнецах? Будучи хорошо воспитан, он делает приветственный жест в сторону соседа как раз в тот момент, когда тот делает то же самое,— в один и тот же миг оба одинаковым движением стараются протереть запотевшее стекло и оба разражаются смехом. Нет. Разражается смехом только один, по одну сторону. Да это же зеркало! Что же я тут делаю?

Взгляни налево, мой друг. За открытой дверью, в том, что кажется коридором, стоят двое в белом, мужчина и женщина, и как будто внимательно смотрят на него. Берегись! Юноша ощупывает себя со всех сторон, он невредим, по крайней мере в той части тела, которая погружена в воду, а в остальной части, в голове что-то, как видно, не так. На лице глупейшее выражение, словно у лампы в те дни, когда нет тока. Но вот ток дают снова, юноша приподнимается в ванне. Извините, говорит он. Три минуты назад я находился за рулем отцовской машины. Мне кажется, я не так повернул. Фельдшер и медсестра переглядываются с понимающим видом. «Все верно, говорит медсестра, все точно, кроме одной детали: не три минуты назад, а три месяца назад...»

Эта история приключилась со мной, когда мне было двадцать лет. Моя голова пробила ветровое стекло отцовской машины и ударилась о ствол придорожного платана; в течение трех месяцев я находился в полном беспамятстве.

Как видите, в эту книгу войдут и философские материи, и мои рассуждения и мнения, и эпизоды из жизни, есть, разумеется, и зарисовки каких-то эмоций, и воспоминания, связанные с моей семьей, друзьями и знакомыми, размышления о проблемах мира, творчества и многое другое. Там будет пространный фраг-

мент на тему о мире, но пока он еще не доведен до кондиции. Политические тексты тоже еще не готовы. Так что я не могу сейчас дать вам возможность составить полное представление об этой книге, ибо, по моим расчетам, треть ее еще не написана. И, повторяю, вовсе не все тексты, имеющиеся сегодня, непременно войдут в окончательный вариант.

Не далее как вчера я вернулся к тексту о теоретиках, которым поначалу был доволен, и основательно переработал его, нашел, что в нынешнем виде это еще не совсем отвечало бы характеру жанра. Главная его особенность, я думаю, в том, чтобы показать одновременно цельность личности писателя и в то же время разнообразие, богатство составляющих ее компонентов. Конечно, непростое дело — так распределить материал, чтобы не обойти все буквы, ведь на некоторые из них приходится сравнительно мало слов, но можно выйти из положения, если два соседних эссе, которые должны следовать одно за другим, озаглавить таким образом, чтобы отдалить, разместить их подальше друг от друга, — словом, помудрив, можно все это выстроить в виде словаря. То есть собрать под одной крышей, рядом, единство и дробность, цельность и разнообразие. В общем, это поиск, совсем новый для меня опыт...

В чем-то он, конечно, продолжает книгу моих эссе «Во что я верю» — вы ее знаете, даже печатали фрагменты у себя в журнале. Но она была несколько уже, замкнута на теме, более ограниченной. Сейчас я хочу выразить себя намного полнее — сказать буквально все, что хочу. Я вспоминаю, когда праздновали 80-летие Мориака, он отвел меня в сторону и сказал: «Вы, вероятно, спрашиваете себя, почему я иногда бываю теперь таким язвительным, резким... Видите ли,— продолжал он,— я получил уже все, что жизнь могла дать мне, теперь мне от нее нечего ждать, никто не властен ни причинить зло, ни принести добро, поэтому я могу говорить все» (с м е е т с я).

Вот это-то равновесие как раз нужно и мне сейчас — чтобы ни одна форма, ни один сюжет не выпирали, не главенствовали. Ведь в жизни каждый день перемешиваются и малые будничные проблемы, и большие общие — вот и читатель должен почувствовать, что на моих страницах они сосуществуют рядом — как в жизни. Не знаю, удался ли мне этот замысел, пока это неясно еще мне самому. Наверно, придется еще повозиться с рукописью — перечитаю все насквозь, отброшу часть текстов, если обнаружу вдруг, что слишком увлекся философией или воспоминаниями... Словом, я еще должен все это сбалансировать. Вы меня застали в самый разгар работы — совсем для меня непривычной; повторяю: я впервые взялся за подобное...

Соотношение факта и вымысла... Я думаю, самую существенную истину о человеке, о личности — во всех ее проявлениях: повседневных и более общих, в идеях и страстях — заключает в себе проза, роман. В здании литературы это, так сказать, несущая балка, опора.

Различить в моих романах, пожалуй во всех — стоит ли за персонажем сам автор,— довольно трудно, скорее решишь, что он целиком вымышлен.

Между тем на самом деле я всю жизнь писал прозу, в которой вымысел граничил всегда с автобиографией. Неправы и те, кто причисляет меня к чистым автобиографам: будь я в самом деле автобиографом, я избрал бы не роман, а мемуары, я избрал бы принцип воспоминаний, как Сен-Симон и другие. Выбрав роман, я выбрал вымысел. Но вымысел в романе «Гадюка в кулаке», например, на 50—60 процентов опирается на личный опыт, а в «Анатомии одного развода» на 85—90 процентов, так что этот последний роман наиболее аутентичен. «Супружеская жизнь» тоже отчасти написана на материале моей собственной жизни. Почти во всех моих романах содержится что-то от пережитого мною лично, даже там, где это и незаметно.

Вот мы с вами только что говорили о Мориаке. Мориак не написал ни единого романа от первого лица, и тем не менее он ни разу не смог оторваться ни от родного ему мира окраины Бордо, ни от среды католической буржуазии, в которой вырос. Следовательно, сам того не желая, Мориак всю жизнь писал автобиографию от третьего лица. Можно, наоборот, от первого лица вести повествование, полностью вымышленное. Например, «Адольф» Бенжамена Констана написан от первого лица, хотя все прекрасно знают, что в действительности с автором все происходило как раз наоборот. Тут уж проблема авторской воли.

Я, как вы знаете, принадлежу к так называемым «гиперреалистам». Я не считаю себя ни натуралистом, ни даже реалистом, я предпочитаю термин «суперреалист». Сегодня во Франции мы наблюдаем совсем иное. Последняя мода предвещает торжество интеллектуализма, абсолютно оторванного от социальных проблем. Я же отношу себя к тем, кто продолжает традиции Золя, Флобера или Бальзака, я не вижу ни возможности, ни смысла в работе писателя, если он не погружается с головой в бытие тех, кто его окружает, в проблемы общественного развития. Тут я раз в жизни готов согласиться с Сартром, который сказал: писатель пишет для того, чтобы бить тревогу. То есть в конечном итоге — чтобы изменять мир к лучшему.

Конечно, он всего лишь скромный писатель-одиночка и прекрасно понимает, что рассчитывать в одиночку изменить мир было бы сущей нелепостью. Но хотя бы гомеопатическую дозу в общее дело внести ему под силу, в конечном счете на этом пути он не окажется одиноким.

Движение идей и движение общества — связь тут самая прямая. В творчестве она реализуется далеко не всегда прямолинейно. Правда, обдумывая тему романа, писатель нередко исходит из некоей заданной идеи. Но, знаете, лично

я никогда не пишу романов «с идейной программой» — слишком легко в них угадывается, куда клонит автор. Я предпочитаю роман ситуации. Такой роман подводит читателя к самостоятельным выводам. На мой взгляд, это гораздо важнее, гораздо плодотворнее — приходя к выводу сам, считая его итогом своих размышлений, он, уж конечно, легко от него не отступится. Правда, в известном смысле читатель, можно сказать, попадает в расставленную автором ловушку. Но таково уж мое ремесло — подспудно вести читателя к тому, что потом станет его собственной мыслью.

В «Отверженных» Гюго есть песенка: «Не удалась моя карьера, / И это по вине Вольтера. / Судьбы сломалось колесо, / И в этом виноват Руссо» [1]. В шутливой форме эта песенка точно передает мысль о том, какой огромной может подчас оказаться сила воздействия писательского слова. Сегодня она не столь велика — фактам нужно смотреть в лицо. Сегодня она меньше. Факел, указывающий путь к новому, в основном перешел к науке: теория Эйнштейна, например, куда заметнее повлияла на формирование современного склада мышления, чем десяток писателей, вместе взятых. И все же мы по-прежнему остаемся «изобретателями идей», в каком-то смысле движителями эволюции. Теперь нам приходится действовать сообща, объединяясь по сто или больше, но если мы окажемся неспособными отвечать этому своему назначению, тогда вообще во имя чего мы существуем? Искусство для искусства? Кое-кто избирает своим прибежищем эту башню, я нахожу эту позицию просто смехотворной. Некоторые писатели удаляются туда именно потому, что слишком очевиден для них нынешний приоритет зрительного образа — наступление телевидения, кино, всех аудиовизуальных средств, в дополнение к конкуренции со стороны науки. Но разве наличие конкуренции — причина, чтобы сдаваться? Я всегда буду отстаивать идею литературы, приносящей пользу...

Как сверяешь задуманное с получившимся? Не столько с помощью критики, да, в известном смысле с помощью не ее, а читателей, в частности, молодых читателей, которые присылают мне массу писем. Сегодня утром, например, я получил из одного колледжа целый вопросник — расписано в нем буквально все: почему я пишу, как... Там на бюро лежат два моих письма, ожидающих отправки, — одно по поводу «Гадюки в кулаке», другое по поводу книги «Счастливцы с Острова Отчаяния». Так я узнаю, что та или иная книга дошла до адресата, чему-то способствовала.

Вы не читали «Счастливцев...»? Там рассказана подлинная история жителей Тристана, крохотного островка в южной Атлантике, которых изгнал из родных мест проснувшийся вулкан. С клочка земли, затерянного в океане южного полушария, где они жили понятиями 1800 года, им пришлось переселиться в Англию, то есть очень далеко, в северное полушарие. Так что они разом открыли для себя не только автомобиль, но и велосипед, и радио, и все прочее. И вот неожиданно для самих себя эти люди отвергают новую для них цивилизацию, потому что рядом с ее преимуществами они увидели в ней и власть денег, о которой не имели представления, увидели нечто вроде индустриального рабства, о котором не подозревали, так? Они привыкли к мирному уединению рыбалки, к совместному труду при полном равенстве, — короче говоря, они отвергают Англию и возвращаются на свой остров, несмотря на вулкан.

И там эти молодые, вкусившие от благ современной техники, убеждают старших в необходимости осваивать ее достижения, но... но с одним условием. Тому, что позволяет им подчинить себе природу, — да! Тому, что ведет к порабощению человека, — нет! Далекие от понятий идеологии, никогда не слышавшие, как делают политику, они изобретают свою доморощенную форму социализма: объединяют собственность, преобразуют остров в некое подобие крупного кооператива, где все работают — женщины по три — пять часов в день, — где каждый получает сообразно своему труду, где все блага первой необходимости продаются по себестоимости, а на то, что не относится к предметам первой необходимости, установлены повышенные цены и доход поступает в пользу общества.

Вы скажете мне, что пример этот не совсем «честный», — да? На Тристане, дескать, всего 350 жителей, к тому же они получают помощь извне, что их опыт пригоден лишь для 500—600 человек, а для миллионного населения он неприменим? И при всем том история эта очень интересна — и как пример стихийного, «самодеятельного» социализма, и как пример успешного решения экологической проблемы, и как поразительный пример всеобщего братства. Все это оказалось необычайно привлекательным для молодежи, книгу перевели во многих странах. Вот сегодня утром, например, я подготовил ответ на коллективное письмо. Я собирался уже его отослать, но для вас открою пакет, это очень занятно. Письмо подписали учащиеся целого класса, которых интересует дальнейшая судьба островитян. Тут целый список вопросов, под которыми стоит девять, десять, одиннадцать... всего двадцать пять подписей...

Какой из вопросов я нахожу самым важным? Вот: каково, на ваш взгляд, значение эволюции острова? Я ответил на это: хозяйство острова было разумно модернизировано, специализировано на рыболовстве и производстве консервов, притом, что доходы распределялись между всеми жителями. Один из забавных вопросов: случались ли там разводы? Я ответил, что на Тристане, учитывая малое число жителей, разводы немыслимы. Меня спрашивают также о том, как я работал над книгой; какими документами располагал, побывал ли на острове

[1] Перевод В. Левика.

или в Англии перед тем, как писать ее, читали ли мою книгу островитяне и как они на нее реагировали? Да, читали, и благодарили, в частности губернатор Тристана, который пригласил меня приехать и лично встречал на пристани...

Не знаю, есть ли среди моих книг такая, которую я предпочитаю остальным; я пишу, повинуясь внутренней потребности, а как только работа закончена, она занимает меня уже гораздо меньше. Больше всего интересует та, которую я пишу сейчас. Самая любимая всегда последняя. Это как в семье: младший ребенок особенно дорог.

Как складывалась творческая судьба? По правде сказать, мне повезло. С двадцати двух лет, когда я начал заниматься журналистикой, и до тридцати семи никто меня не знал. Целых пятнадцать лет. Известность пришла ко мне поздно — в тридцать семь лет. В тридцать семь, после выхода в свет романа «Гадюка в кулаке», на меня точно шквал обрушился, я совсем этого не ожидал, с тех пор он длится уже три с половиной десятилетия. Самое важное, что дает слава,— она обеспечивает свободу. Тот факт, что у меня достаточно много читателей, позволяет не связывать себя обязательствами перед издателями, я не должен, как приходится стольким моим коллегам, зависеть от издательств, газет, подрабатывать подсобными занятиями, мешающими полностью отдаться литературе. Мне же это доступно. Я действительно делаю то, что хочу, что я намерен делать. Это очень важно в жизни. Воссоединить призвание и труд — лучшее, что может дать нам судьба. Я долго этого ждал — до тридцати семи лет, но в конце концов я это получил и не променял бы свою профессию ни на какую иную.

Как справлялся с феноменом славы? Конечно, вначале испытал что-то наподобие шока. Ведь если кто и родился с первородным грехом, так это именно я. Я — сын влиятельного юриста, внук сенатора крайне правых убеждений и правнук банкира. При всем том, однако, воспитывали меня не родители, а бабушка по линии матери, весьма небогатая, хотя она и была писательницей. Она вела регулярную хронику в газете и была сестрой романиста Рене Базена. Так вот, воспитала меня бабушка, родителей я узнал много позже. Когда они, после ее смерти, вынуждены были вернуться во Францию, для меня это были незнакомые люди, и эти незнакомые люди вовсе не желали заниматься своими детьми, так как теряли из-за этого прекрасное положение, которое занимали в Китае. Словом, мои родители не любили своих детей, и дети платили им тем же. Ситуация в семье была неслыханной, чудовищной, я особенно хорошо понимаю это сейчас, когда у меня самого есть дети и внуки, которых я обожаю. А сам я рос с самого раннего детства в обстановке ненависти. В таких случаях ребенок ощетинивается против понятий тех, кто его произвел на свет, тем более что мои родители, принадлежавшие к среде крупной буржуазии, отличались лицемерием, напускным благочестием. С самого начала я сказал себе: все это ложь, я не могу с этим смириться. Но это были, так сказать, стихийные вспышки протеста, осознанного в нем еще было мало.

Восемнадцати лет я покинул дом, терпение мое кончилось. К тому времени я уже имел степень бакалавра, но высшего образования не получил. Я отправился в Париж, поступил в университет, и мне пришлось сразу искать работу, потому что помочь мне было некому, рассчитывать на стипендию я не мог — да их и не существовало в те годы.

И вот я стал рабочим: в это время в Париже снимали трамвайные пути, считалось, что рельсы представляют опасность для велосипедистов, ночью они застревали на них. Некоторые бригады состояли из студентов, которых устраивала возможность работать ночью, а днем ходить на лекции. Конечно, они недосыпали и долго вести такую жизнь не могли. Так работал и я. Потом я уехал в Шибернье и поступил там на завод: изготовлял ящики для смолы. Учиться и оставаться на довольно тяжелой работе было трудно, к тому же я хотел иметь немного больше свободного времени. В конце концов я бросил завод и нашел место метрдотеля; находясь на этой должности, я сумел сдать экзамены первого университетского цикла. Продолжая ученье, ухитрился скопить немного денег, купил столик и навес и стал торговать носками на рынке (с м е е т с я). Вот так-то! Через некоторое время мне удалось все же проникнуть в газету — как говорится, через боковую дверь: я стал писать в субботнюю страничку для детей. В течение нескольких лет писал для детских изданий «Пьеро», «Лизет», «Гиньоль».

Я начал с детских рассказов, но в то же время я вошел в группу «Гермес», объединявшую поэтов, и стал публиковать стихи в авангардистских журналах. А потом вспыхнула война; естественно, мое продвижение в литературе сильно задержалось. Окончание войны — я сокращу рассказ, иначе нам разговор не закончить — застало меня в небольшой газете, и одновременно я вместе с группой друзей издавал собственный журнал, где печатались молодые неизвестные авторы...

Вас интересует мое участие в Сопротивлении? Да, в этот же период я входил в группу Картье. Итак, в моем журнале сотрудничали никому тогда не известные Арман Лану, Робер Сабатье, Ле Кентрек, Бернар Клавель... четверо из них (с м е е т с я) сегодня члены Академии Гонкуров. С 1945 по 1958 год я издавал скромный журнальчик «Ла Кокий», а в 1947 году за первый сборник стихов был удостоен премии Аполлинера; собственно, он был первым, который я выпустил под своим именем, до этого публиковал стихи под псевдонимами. Я долго колебался, не взять ли в качестве псевдонима имя, которое носил в Сопротивлении,— Никола д'Озанс, но в конце концов решил подписываться своей подлинной фамилией.

Итак, в 1947 году мне присудили премию Аполлинера за сборник «День». Это придало мне сил, ибо я начинал уже сомневаться, добьюсь ли когда-нибудь признания, и как раз в конце 1947 года я закончил «Гадюку в кулаке» — на самом деле это был уже не первый мой роман, написаны были уже целых три — я их считал разминкой, ну, примерно как гаммы на рояле, словом, я полагал, что нужно сначала приобрести настоящую сноровку, прежде чем пускаться в плаванье.

Написав «Гадюку в кулаке», я решил, что это уже примерно то, что надо, но, бог мой, я и вообразить не мог, что этот роман ждет такой огромный успех. Когда я пришел в редакцию для заключения контракта — кстати сказать, на процедуру ушли сутки, хотя обычно подготовка контракта тянется несколько месяцев, — у меня сохранилась переписка с издательством, так вот, я отнес рукопись к Грассэ в пять часов вечера, а назавтра в шесть часов подписал свой первый десятилетний контракт. Вернувшись домой, я сказал жене: что ж, я думаю, триста — четыреста экземпляров удастся продать. Никому и в голову не могло прийти, что общий тираж этой книги достигнет к сегодняшнему дню цифры в два миллиона экземпляров во Франции и два миллиона за границей и что для одних только французских школ ее будут издавать ежегодно тиражом в сто тысяч экземпляров!

Никто даже представить себе не мог что-либо подобное: я до сих пор, можно сказать, в себя не могу прийти — думаю, нет, в один прекрасный день все это, вероятно, рухнет, и теперь каждый раз поджилки трясутся, когда приносишь издателю очередную книгу. И каждый раз он ворчит: ладно-ладно, знаем, как ты трясешься. Мне же самому кажется, что это хорошо — сохранить способность волноваться, не верить, что успеха можно достигнуть раз и навсегда. Не знаем же мы, что скажут о наших книгах завтра, сгодились ли они, так сказать, по гамбургскому счету.

Чем занят помимо забот авторских? Дорожу своей принадлежностью к критическому цеху, сотрудничеством в Национальном Центре литературы, занятом хлопотами о собратьях по перу, радуюсь тому, что вот уже лет тридцать, не помню точно, сколько именно, так давно это началось, я участвую во всех конгрессах Движения борьбы за мир.

Привлек меня к Движению — много лет назад это было — Жолио Кюри. Первый конгресс, на котором мне довелось присутствовать, состоялся в Вене, туда приехали Арагон и Эльза Триоле, участвовали также Пабло Неруда, Фернан Леже, Илья Эренбург, Мишель Лерис и другие. Конгресс произвел на меня сильное впечатление — он собрал поистине цвет интеллигенции Европы: все, что было создано значительного в те годы в сфере культуры, было представлено здесь. Между прочим, участвовал в нем также и Сартр. Мне вспоминается характерная деталь: на всех границах чинились препятствия, не мне, конечно, я был тогда новичком, а видным деятелям — таким, как Арагон или Сартр.

Как я уже говорил, вначале бытие класса, к которому я принадлежал, его излишества, его несправедливости вызывали во мне чисто эмоциональную реакцию: я сравнивал все это, например, с жизнью старой служанки нашей семьи — она, вырастившая моего отца, вырастившая всех нас, получала пятьдесят франков в месяц, ютилась в каморке под лестницей и принадлежала себе лишь во второй половине воскресного дня. Это было самое настоящее рабство, я не мог этого переносить, меня это возмущало до глубины души. Потом, по мере того как взрослеешь, мало-помалу понятия справедливости, равенства, свободы, лежащие в основе идеи социализма, укореняются в нас уже всерьез — не как какие-то всплески эмоций — это уже пропущено через твое сознание, интеллект.

Вы хотите знать, что я думаю о современных проблемах французского общества... Прежде всего, само оно чрезвычайно неоднородно, чрезвычайно раздроблено. Политических направлений разного толка даже сейчас, когда у власти стоят левые силы, все же многовато, к тому же и они распылены на еще более мелкие группы. Ну, и ни для кого не секрет, что в настоящее время у власти находятся по меньшей мере четыре партии, несогласные друг с другом в каких-то частностях, хотя, к счастью, начинающие объединяться в главном.

Что касается проблемы мира, я сознательно позволю себе преувеличение — но проблему мира я считаю сегодня еще более важной, чем проблему социализма. Ведь прийти к социализму мы можем успеть, а предотвратить войну можем и не успеть. Если она вспыхнет, гибели человечества не избежать. Это очевидная истина, и я не могу взять в толк, почему она еще не стала для каждого человека проблемой номер один нашего повседневного общего бытия. Ведь всем известно, что накопленный на сегодня запас атомных бомб в четыре или пять раз превышает количество, достаточное, чтобы уничтожить всю Землю целиком. Просто невозможно допустить мысль, что порода существ, имевшая неслыханно прекрасные возможности, дожившая до наступления разумной эпохи, способна уничтожить сама себя в тот момент, когда наука дает нам все надежды, все шансы — нет, это слишком нелепо, слишком глупо! А следовательно, да здравствует социализм! Но прежде: да здравствует мир! То есть сначала мир, но лишь для того, чтобы установить социализм. Если бы мне предстояло определить очередность, я был бы вынужден сначала назвать мир, а затем социализм. Хотя, повторяю, в сущности, эти два понятия для меня неразделимы...

О значении культурных контактов. Я считаю, что у нас неоправданно мало переводят советских авторов. Разумная пропорция тут нарушена. Сам я совершил, уж не помню, семь или восемь путешествий по Советскому Союзу, конеч-

но, всю страну посмотреть не удалось, да это и невозможно, слишком она необозрима, я полагаю, что и среди советских граждан нет ни одного, кто знал бы страну целиком. И все же я побывал в Москве, Ленинграде, на Кавказе, в Сибири, Средней Азии. Думаю, не так уж много ваших соотечественников видели все эти места. Меня поразил общий высокий уровень культуры вашего народа. Вот, положим, шофер такси, читающий книжку в ожидании пассажира. Заглядываю в его книгу: Пушкин. Вряд ли отыщется много французских таксистов, читающих Гюго. Беседуя с разными людьми, я обнаружил, что в целом обучение иностранным языкам распространено у вас гораздо шире, чем во Франции. Те, кто владеет иностранным языком, говорят значительно лучше, чем у нас. Дело в том, что в вашей стране образование бесплатно, у нас же этого нет. Во Франции рассчитывать, что государство возьмет на себя содержание студента, не приходится. Но особенно поразили меня в разговорах с самыми разными людьми их начитанность, кругозор, привычка бывать в музеях. В советских музеях всегда полно посетителей, в то время как у нас едва ли увидишь перед картинами три с половиной человека. В Пушкинском музее я с большим удивлением наблюдал, как люди толпятся перед картиной, подолгу ее обсуждают. Все, что относится к области культуры, в вашей стране неизменно привлекает к себе большой интерес.

У нас, к сожалению, не так; конечно, Франция обладает богатой художественной культурой, она дала миру много писателей, художников и прочее. Но она не обладает равноценной «культурой потребления». Потребление у нас, к несчастью, нацелено на возбуждение чувств, достаточно примитивных, оно склоняет людей скорее к дешевым радостям, чем к изысканным.

С другой стороны, сами масштабы наших культурных связей я нахожу недостаточными. Именно по этой причине я высказался за то, чтобы Академия Гонкуров [1] (она была создана в свое время вовсе не просто ради присуждения ежегодной литературной премии, как полагают некоторые,—это скорее приложение к главной ее функции) занималась бы сферой общественных проблем и отношений, в том числе связями с зарубежными литературами. Именно с такой целью мы добавили к ее составу несколько новых членов из числа иностранных писателей, чтобы упрочить контакты между литераторами разных стран, сделать их постоянными: до сих пор они носили нерегулярный характер.

Нам следовало бы действовать более сплоченно, выработать общую программу, с тем чтобы привлечь к этой деятельности больше писателей, не довольствуясь энтузиазмом нескольких — одних и тех же — добровольцев. В этом смысле мы пытаемся что-то делать, но далеко еще недостаточно. В теперешнем составе Академии восемь членов — иностранцев. И десять французов. Я бы желал, чтобы было поровну — десять и десять...

Что касается наших отношений с американцами, то в области культуры они осуществляются только в одном направлении, то есть мы принимаем то, что идет от Америки... Еще лет пятнадцать — двадцать назад можно было издаваться в Америке в переводах. Сейчас это стало делом очень трудным. Американцы практически перестали переводить иностранных авторов. В этом отношении они все заметнее становятся на позиции автаркизма. Преодолеть барьер очень трудно, ведь они часто обездоливают и тех, кто у них читает на иностранных языках.

Нечего и сравнивать это положение с тем, что осуществляет ваше издательство «Прогресс» или ваш журнал «Иностранная литература». Картина прямо обратная: у вас переводится огромное количество зарубежных писателей, представителей самых разных языков и культур. Таким образом, в результате то, что нам часто пытаются внушить, оказывается прямым искажением истины. Тут я могу выступить свидетелем, поскольку я видел это своими глазами. Впечатление, скажу я вам, сильное, весьма сильное. Выходит множество книг: помню, как во время поездки в Баку я остановился у витрины книжного магазина и, разбирая букву за буквой — в кириллице я ориентируюсь с трудом,— был поражен, обнаружив, что передо мной «Дневник» Жюля Ренара, а рядом томик Моруа. Поскольку соответствие между алфавитами неполное, я не сразу сообразил, но, в общем, понял, что выставлено в витрине. В другой раз во время выставки, которую мы устроили в Москве, обратил внимание, что из десяти членов Академии Гонкуров девять издавались на русском языке...

Словом, западная цивилизация превратилась в цивилизацию потребления, цивилизацию потребления развлечений, я бы так ее и назвал — цивилизация удовольствий. Я, конечно, не против того, чтобы люди имели то, что им необхо мо, но если цивилизация скатывается уровня цивилизации развлечений и перестает быть цивилизацией идей, значит, она отступила назад по сравнению с тем, чем была прежде. К сожалению, примерно так и обстоит дело: мы отступаем назад. Надеюсь, рано или поздно перемены произойдут, какую-то часть нашего народа такое положение перестает устраивать...

Признаюсь, стоит мне только включить радио или телевизор, как меня охватывают чувства сильнейшего отвращения, даже негодования — иной раз просто ощущение скандальности происходящего на экране или в эфире. Неужели французская культура, французская цивилизация имеют с этим что-то общее — нет, нет и нет! Ведь только и слышишь о сексе, об удовольствиях, и притом зачастую язык настолько груб, что ему позавидовали бы кучера нашего детства! Очень сожалею, но я против та-

[1] Эрве Базен — президент Академии Гонкуров.

кой подмены понятия «близости к народу».

Поговорите с подлинным человеком из народа: его речь пристойна — этот дикий язык, эта тематика ему чужды. Людей из народа интересуют темы, непосредственно затрагивающие их жизнь: повседневные трудности, заботы о материальном достатке, о том, как дать детям образование, как отогнать призрак войны. Вот о чем с ними нужно говорить, а вовсе не об эротике, не о сексе, плевать он на них хотел. Кто все это определяет? На каком основании? Свободу смешивают с распущенностью, впрочем, я остановлюсь, пожалуй; не хотел бы создать у вас слишком дурное представление о моей стране. Есть в ней, слава богу, и много хорошего, французский народ еще дает немало талантливых мастеров и художников, работающих во всех областях жизни, пусть только кое-какие политики перестанут внушать нам, что этот вот стиль, это бесстыдство представляют именно то, чего желает народ. Это неправда. Народ не желает, чтобы посягали на его достоинство!..

Что я мог бы сказать, заключая нашу беседу?

На мой взгляд, самое важное — ясно представить себе, что человек сегодня как бы держит экзамен, окончательный экзамен. Мне думается, что на планете, в безбрежности миров их много, но на каждой конкретной планете племя разумных существ, которые ею управляют, должно в какой-то момент сделать окончательный выбор между силой и нравственностью. В наше время человек достиг значительного могущества. Менее чем за два столетия он достиг уровня научного знания, при котором все или почти все становится ему доступным.

К несчастью, равновесия между силой и нравственностью еще не установлено! И, возможно, именно сейчас судьба человека поставлена на карту. Судьба мыслящего племени, которое могло бы стать племенем межпланетным, покорителем пространств, исследователем других миров. Однако прежде люди должны выдержать экзамен, они должны доказать, что не станут злоупотреблять своим могуществом. Вот чему мы с вами являемся сегодня свидетелями.

В сущности, все сводится к главной проблеме — мира между народами. Без прочного мира между людьми рано или поздно разразится пожар атомной войны, который приведет к гибели человеческого рода. Следовательно, самой главной становится проблема выживания. Тут речь идет даже не о том, чтобы знать, кто прав и кто неправ. Разумеется, — да ведь вы знакомы с моими взглядами на этот счет — сам я считаю, что именно социализм способен дать наилучший ответ на вопрос о судьбе человека, об его истинных нуждах. Но прежде, даже прежде, чем мы смогли бы с уверенностью повторить, что социализм — это будущее Земли, мы должны отвести от нее угрозу пожара всемирной атомной войны, которая оборвала бы движение человечества вперед, длящееся уже как-никак три миллиона лет...

Вот эта мысль не дает мне покоя. И именно поэтому я сотрудничаю с различными организациями, озабоченными проблемой сохранения мира, — в течение вот уже тридцати двух лет, начиная с того времени, когда я впервые примкнул к этому Движению и был избран делегатом сначала от районного, затем от общефранцузского, а потом и в президиум Всемирного Совета Мира. Я занимаюсь всем этим даже не ради торжества определенной точки зрения, которую я нахожу правильной, не для того, чтобы обеспечить победу пути, который сам я считаю наиболее справедливым из всех: я верю, что победа ему обеспечена.

Но потому, что в первую очередь необходимо помешать людям уничтожать друг друга. И, следовательно, необходимо вооружить их моралью, которая окажется могущественнее их собственной силы...

После ужина с бомбой

Грэм Грин

Последние несколько лет я был занят проблемами личными, к писательству они не имеют отношения. Живу я в Антибе, на побережье, неподалеку от Ниццы, и здесь мне пришлось столкнуться с преступным миром, «мильё» Ниццы... Дочь моего большого друга вышла замуж за человека, который оказался связанным с этими кругами. С тех пор, вот уже три года, мы живем в постоянной тревоге за нее. Угрозы и преследования «мильё», коррупция какой-то части администрации Ниццы — очень много ушло на это душевных сил... За все это время мне удалось закончить лишь одну книгу — она выйдет в свет в сентябре...

Да, это роман — «Монсеньор Кихот», что-то вроде комедии, комедии грустной... Сеньор Кихот — приходский священник, благодаря забавной случайности он становится епископом и отправляется странствовать по дорогам Испании в сопровождении бывшего мэра местечка Олтобузо, коммуниста. Они путешествуют, беседуют друг с другом, спорят, попадают в разные переплеты — как Дон Кихот и Санчо Панса... Словом, отвлекся слегка от своих неприятностей — все-таки комедия...

Больше всего меня волновали в последние годы события в Центральной Америке, кое к чему я был даже лично причастен... У меня там был близкий друг в Панаме — генерал Омар Торрихос, он оказывал помощь сандинистам в Никарагуа. Через него я познакомился с ними и даже с несколькими партизанами, которые сражались в Сальвадоре. Увы! Он погиб в авиационной катастрофе, не знаю, случайной ли... Это произошло прошлым летом, в августе,

я как раз паковал чемодан, собирался к нему, в четвертый раз...

Что привлекало в нем? Он был... Он был мечтатель, ничем не походил на типичного генерала... Романтик... Мечтал о будущем своего континента, о социализме какого-то особого вида, о надежном мире для всего этого региона, когда он обретет независимость от Соединенных Штатов... Я ездил к нему в гости каждое лето и по нескольку недель проводил в Панаме — влияние его в этой крохотной стране было необычайно велико, очень много он сделал для ее блага... Он был другом Фиделя Кастро, другом Тито... Он встал на сторону революции в Никарагуа... Тяжелая потеря для всего региона...

Я следил за событиями не как сторонний наблюдатель, все происходящее там по-настоящему меня волновало, это были для меня, если их можно так назвать, счастливые тревоги. Такое несчастье для всех там его гибель! А для меня и личная утрата... Огромная личная утрата — целый кусок моей жизни, можно сказать, обрублен...

Как соприкасается с творчеством реальная жизнь самого писателя?.. Что мне кажется любопытным — бывает, иной мотив из книги писателя повторится позже в собственной его биографии. Например, у моего друга Ивлина Во в трилогии о войне был комический персонаж, которому приходилось таскать что-то вроде переносного клозета — он называл его «грохочущий ящик»... Представьте, смерть настигла Ивлина Во в туалете ... Много лет назад я написал книгу «Брайтонский утес» — о гангстеризме в Брайтоне. Теперь вот я сам сражаюсь с гангстеризмом в Ницце, в конце своей жизни... Очень любопытно... Или Золя... Помните «Жерминаль», шахтеры там погребены в шахте. Сам он умер, задохнувшись угарным газом в собственной спальне...

Гангстеры Ниццы... В прессе сообщалось, что свой памфлет, посвященный единоборству с ними, Грин по примеру Золя намеревается назвать «Я обвиняю»...

Работу я почти закончил — осталось кое-что исправить по замечаниям юристов; к концу марта — началу апреля[1] книжка появится в Англии, на английском и французском языках одновременно...

Трудно сказать, почему в одном случае берешься за прозу, в другом — за памфлет... Думаю, никто не мог бы на это ответить точно. Вы упомянули «Тихого американца»... Я ездил во Вьетнам, потому что влюбился в эту страну — сразу же, едва оказался там впервые. Я не собирался писать о Вьетнаме: просто мои финансовые дела обстояли неважно, пришлось стать корреспондентом одной газеты. Две или три зимы подряд я летал во Вьетнам. А потом вдруг подумал о романе. И понял, что еще недостаточно хорошо знаю страну, чтобы писать о ней. И тогда поехал снова...

Мои романы вообще часто вот так и настигают меня — внезапно: куда-то я еду и что-то вдруг случается, что-то срабатывает — иной раз год спустя. Так было, например, с «Комедиантами» — книгой о Гаити. Поехал потому, что хотелось увидеть, что там происходит при диктатуре Дювалье. В более мирные времена я несколько раз бывал на Гаити и хотел посмотреть, что там делается при нем, но о романе не думал. И вдруг — случайная встреча в отеле с четой пожилых американцев, и словно толчок — мысль о романе. В отеле кроме меня и этой пары жил еще один итальянец — владелец казино. Обстановка была тревожная, тонтон-макуты буквально терроризировали город...

Если вы помните, супруги-американцы стали действующими лицами романа — не главные герои, но началось все именно с них, все пошло от них... А почему — объяснишь разве? Почему, скажем, не выходят в моих романах живыми герои, главные герои, когда пытаюсь писать их с натуры, особенно если знаю хорошо прототипа? Я начал роман о Панаме, героями его должны были стать генерал Омар Торрихос и главный его телохранитель — тоже незаурядная личность, профессор, читал курсы философии марксизма и математики в Панамском университете. Философ, математик и при этом сержант службы безопасности, отлично говорит на нескольких языках — немецком, французском, английском, испанском... Мы с ним очень подружились — ни на кого он не был похож, такой неожиданный, в чем-то потешный... Идею моего романа мы с ним обсуждали вместе, возможность оказаться одним из персонажей явно его привлекала. Я начал писать, но, написав с десяток тысяч слов, увидел, что ничего из этого не получается: такие живые, яркие — не выходят они в книге живыми! В чем тут секрет? Наверно, это как с ребенком — он должен быть зачат у тебя во чреве... Значит, этого не было?.. Видимо, не было. Не всегда это удается...

У меня много недописанных книг — таких, которые пришлось бросить, не получались... Начать роман — для меня это как в самолете, когда он разбегается перед взлетом. Только оторвавшись от земли, веришь, что долетишь — допишешь книгу. Бывает, взлет надолго затягивается! Когда я писал «Почетного консула» (не знаю, читали ли вы этот роман, действие там происходит на границе Аргентины с Парагваем), думал, так никогда и не дождусь этого ощущения — что уже в воздухе. Знал, каким будет конец книги, последние страницы стояли перед глазами, а вот оторваться от земли, казалось, так и не смогу. И все же дописал, в конце концов получилось — на самом деле я уже давно «летел», только сам не знал этого... (Смеется).

Идея «Доктора Фишера»? Тоже родилась внезапно...

[1] Беседа происходила в начале марта.

На рождество, в Швейцарии, мы обедали с дочерью и двумя внуками. И вдруг, задержавшись взглядом на конфетах-хлопушках на столе, я подумал: что, если в одной из них окажется заряд, этакая бомба? А когда уже сел писать, обнаружил, что во все это вторгаются те самые личные проблемы, связанные с уголовным типом из Ниццы. Правда, в отличие от него доктор Фишер держался с известным достоинством, но оба равно презирали всех, у кого нет денег. Презирали и были уверены, что за деньги можно купить всех и вся.

Да, доктор Фишер держался с эдаким дьявольским достоинством, в то время как этот — просто мелкий уголовник. Но каким-то странным образом он «витал» над книгой. Мелкие личности куда опаснее. В Ницце всегда существовали преступные круги. Прежде их возглавляли «каиды» — шефы, имеющие отношение к «нефтяным королям». Но шефы перебили друг друга или поумирали в больницах от ран. Сейчас подвизается мелкая сошка, и она куда опаснее для окружающих — шефы были заняты главным образом междоусобной войной и сторонних не впутывали в свои распри, а эта нынешняя шатия куда опаснее...

Три года мы не знали покоя из-за столкновений с «мильё». Ясно было, что нарыв придется вскрывать. И вот я бросил свою небольшую бомбу — напечатал письмо в «Таймс». Я и представить не мог, какой это будет взрыв. Небольшого взрыва, конечно, ожидал, но уж никак не такого. Серьезный взрыв, отозвался, по-моему, чуть ли не во всех странах, докатился до самых верхов...

Чем это может кончиться? Трудно сказать. У меня все-таки есть надежда, что нынешняя администрация примет какие-то меры. Поможет в этом сражении? Надеюсь, что да...

Какой будет следующая работа? Хотел бы написать небольшую книжку воспоминаний об Омаре Торрихосе, рассказать о его идеях и замыслах. Назову ее просто «Генерал»; у меня остались четыре дневника, которые я вел в Панаме, там очень много материала: и его политические взгляды, и записи бесед с ним, его высказывания, шутки, сны — о снах я специально его расспрашивал. Он сам и его сержант-профессор, тот самый сержант, о котором я только что рассказывал. Занятно получается: пытался написать роман, где они были бы слегка замаскированы, выступали бы под вымышленными именами,— и не смог, люди, действительно существовавшие в жизни, они в романе живыми не получались. Теперь хочу написать книгу в жанре документальной прозы — без вымысла. Надеюсь, в ней они оживут. Магия «нон-фикшн»?[1] В данном случае да. (Смеется).

Но разве не живет полнокровной художественной жизнью в романах Грина, к примеру, фигура самого автора, такая ему знакомая, кажется...

Конечно, в главном герое что-то твое непременно есть — как в ребенке непременно есть что-то отцовское. Но есть в нем и свое, от отца независимое. Какие-то мои идеи, мысли можно найти у моего героя, а в чем-то они могут с моими спорить — бывает ведь, и сын бунтует против отца. Что во всяком случае необходимо, когда пишешь,— это перевязать пуповину. Расстояние между автором и героем должно обязательно ощущаться, хотя родство, конечно же, все равно сохраняется, как сохраняется оно между родителями и ребенком. И в то же время они стараются, чтобы ребенок обрел самостоятельность. Я тоже стараюсь, чтобы мои герои зажили самостоятельной жизнью...

Когда, почему возникает мысль о том или ином персонаже — как на это ответить? Скажет ли женщина, когда именно был зачат ее ребенок...

По поводу Пайла из «Тихого американца», впрочем, могу кое-что вспомнить. Пайл — вымышленная фигура. В журналисте Фаулере действительно много от меня самого. Правда, никаких сцен ревности с моим участием в реальной жизни не происходило, и никакого романа с вьетнамской девушкой я не заводил — это сочинено. От моего личного восприятия вьетнамской войны против французов в какой-то мере — мысль Фаулера о необходимости объективно освещать события, не отдавать заведомо предпочтение одной из сторон. Я с огромным сочувствием относился к Вьетнаму и все же при том, как все там сложилось, немного сочувствовал и французам — к американцам, которые пришли им на смену, сочувствия никогда не возникало.

Да, в Фаулере есть кое-что от меня. А с Пайлом... Однажды я поехал к приятелю, полковнику французской армии, у него была небольшая вилла к югу от Сайгона. И встретил там одного американца, мы провели потом вместе весь вечер, он назвал себя представителем какой-то миссии, связанной с поставками продовольствия. На обратном пути в Сайгон он всю дорогу доказывал мне, что необходима некая «третья сила» — не коммунисты, не французы, а националисты — видимо, тогда впервые и пришла мне в голову мысль ввести в свое повествование такой вот персонаж — молодого, в чем-то наивного американца, который носится с идеей «третьей силы»...

Газетная хроника и импульс к творчеству... Я добросовестно слежу за прессой. Каждый день прочитываю одну французскую и одну английскую газету и по три — в воскресные дни. Не знаю, как Достоевский, но сам не припомню, чтобы почерпнул из них сюжет для своей книги. Однако как знать... На что-то, быть может, они меня еще натолкнут...

Пожалуй, больше я уповаю на подсознание... Как оно участвует в работе?

[1] Non-fiction *(англ.)* — документалистика, проза без вымысла.

Бывает, что-то не дается в тексте — пишу я всегда по утрам, потом после обеда просматриваю и правлю написанное и, если не ладится, бросаю работу, иной раз даже посреди абзаца. Проходит ночь, на следующее утро садишься за письменный стол, как правило, с решением, уже найденным...

В подсознание я очень верю... Был даже такой случай (я писал тогда роман «Ценой потери») — в одном месте застрял, думал, совсем безнадежно, никак не мог выбраться. Лег спать. Приснился мне сон — такой, что он должен был присниться не мне, а моему герою. Я его от начала до конца вставил в текст — в то самое место, где завяз накануне...

Знаете, у меня бывают полосы, когда совсем не работается,— бесплодные полосы, в такую пору я обычно веду дневники своих снов, самым тщательным образом расписываю их по сюжетам, предметам, лицам — так, чтобы, когда понадобится, сразу найти то, что нужно... В шестнадцатилетнем возрасте мне пришлось пройти курс лечения у психоаналитика: я должен был читать ему подробное описание своих снов, и он распутывал клубки ассоциаций, учил меня разбираться в самом себе. Сейчас я самоанализом не занимаюсь, но интерес к снам остался, несколько моих рассказов обязаны своим появлением именно этим записям — в сущности, в них просто ничего не пришлось менять...

Как смотрю на перспективы международной ситуации? Большого оптимизма она мне не внушает (с м е е т с я), и все-таки — как бы не сглазить — надеюсь на лучшее, без особой, впрочем, уверенности.

Никак не найду ответа на один вопрос: допустим, Америка и Россия смогут договориться об уничтожении ядерного оружия, как его уничтожить практически? Где его можно захоронить — не отправлять же в космос? Такая нелепость — вся эта гонка, кто кого перещеголяет в средствах сверхубийств... Каждой из двух держав под силу уничтожить мир, какая разница, кто лучше вооружен — одна или другая? Одно только утешает: нет, кажется, сейчас в мире безумца, как во времена Гитлера...

Против американцев я в принципе ничего не имею, у меня там много друзей, только их внешнюю политику почти всегда я находил скандальной — и во Вьетнаме и сейчас, в Сальвадоре, американский народ здесь ни при чем, все дело в администрации... Питал я какие-то надежды на Картера, но он их не оправдал... Особенно меня возмущает их нынешнее вмешательство в Сальвадоре — по-моему, то, что они творят там, — попросту бесчестно. Не знаю, читали ли вы на днях в газетах сообщения по поводу фотоснимка, сделанного Хейгом и опубликованного во французском «Фигаро магазин». Было сказано, что на этом снимке — трупы индейцев-мескито в Никарагуа, якобы убитых и сожженных сандинистами. На самом же деле — теперь это знают все — фотографии относятся ко временам гражданской войны в Никарагуа, и жертвами оказались как раз сами сандинисты — это их тела сожгли подручные Сомосы. Д'Эското, министру иностранных дел Никарагуа, я доверяю гораздо больше, чем словам генерала Хейга. Я не верю, что Никарагуа снабжает Сальвадор оружием — моральную поддержку, возможно, и оказывает, но это другое дело, а всем этим сообщениям западных корреспондентов о захваченном оружии не верю...

Что еще мог бы сказать об Америке? Слишком уж много меркантилизма, потребительства в их обществе... С другой стороны, не всеобщее ли это сейчас поветрие? Только, может быть, у вас, в России, иначе... Возможно, я чересчур оптимистичен на этот счет, но все-таки, мне кажется, в России духовность в большем почете, чем в Соединенных Штатах или Англии...

Часто ли навещаю свою родину?

Четыре-пять раз в году... Откровенно говоря, два последних лейбористских правительства не вызывали у меня восторга, не слишком в большом восторге я, конечно, и от миссис Тэтчер — разве что она откровеннее, это, конечно, не значит, что лучше...

Настроения молодежи... Думаю, очень трудные сейчас для них времена. Боюсь, им грозит опасность превратиться в циников. Вы правы, это — их способ самозащиты, реакция на неуверенность в будущем: в работе, в завтрашнем дне...

Что тут меняет время? Детство — мое, например, и детство сегодняшних детей сравнивать очень трудно. Мой отец был директором школы, зарабатывал две тысячи фунтов в год, держал целый штат прислуги — повара, горничную, няню... Сегодня это все похоже на сон из каких-то далеких времен: на такие деньги семья никак не проживет, прислугу найти почти невозможно, дети — на руках родителей... И все-таки, если не считать ядерного оружия и всего, что с ним связано, я предпочитаю сегодняшний мир — по самому существу его, предпочитаю сегодняшний мир тому прежнему, довольно привилегированному, в котором вырос сам, хотя тревог за будущее молодых, кажется, больше...

Культ насилия... Это ужасно, прежде такого не было. Мы играли в войну, в солдатиков, у нас были игрушечные ружья, но это была только игра — мы не стремились выскочить на улицу, чтобы ударить кого-то, убить... Нынешние девицы в джинсах или киноковбои не кажутся больше героями воображаемого мира, за чьими подвигами на экране мы когда-то с увлечением следили. Жестокость, насилие, которые дети видят сегодня на экране, приучает их, мне кажется, спокойно проходить мимо жестокости и насилия в жизни. Когда я встречаю на улице малыша-«ковбоя», у которого за поясом игрушечный ре-

вольвер, мне делается не по себе... Да, я и сам так же разгуливал в детстве, но сейчас, мне кажется, это выглядит както иначе, тревожнее...

Правда, все это, взятое вместе, немало меня смущает: с одной стороны, довольно неприятна самая мысль о цензуре, с другой — противишься тому, что предлагает экран. Могут сказать: не только экран, вообще этот мир — уже не твой, не для тебя. И все-таки не хотелось бы мне оказаться отцом кого-то, кто испытывает наслаждение от кровавых кинозрелищ... Когда моя дочь была маленькой, она терпеть не могла ходить в кино, самые невинные ковбойские подвиги приводили ее в содрогание. Мне кажется, это у нее на всю жизнь осталось...

Бываешь ли счастлив, когда пишешь книгу... Быть может, раз или два, пока работаешь над книгой, чувствуешь себя счастливым, когда вдруг понимаешь, что какой-то эпизод удался. Несказанную радость, помню, я испытал однажды в театре. Шла моя пьеса — комедия — и зал вдруг прямо взорвался от хохота. Реакция была мгновенная и совершенно точная — в том самом месте, где ей полагалось быть... Это действительно подарок автору, с романом такого не переживешь — как узнать, улыбается твой читатель над этой страницей или плачет, а тут такой искренний, от души, смех всего зала... Это было мгновение настоящей радости...

В молодости радовался, конечно, неожиданному хвалебному отзыву на свою книгу за подписью кого-то, кем восторгался, например Франсуа Мориака. Когда — я был еще совсем молод в ту пору — я увидел одну из своих книг с его предисловием, почувствовал себя так, словно некто, перед кем я преклоняюсь, вручил мне орден (с м е е т с я)...

Какую из своих книг больше всего люблю? Ни одну не люблю — ни одна книга не получается такой, какой хотелось бы ее видеть... Наиболее удачным с точки зрения литературных достоинств — не в смысле коммерческого успеха — считаю, пожалуй, роман «Почетный консул», тот самый, где действие происходит на аргентино-парагвайской границе, вышел он в 1973 году. В иных моих книгах характеры действующих лиц от начала и до конца остаются неизменными, знаете, вроде героев пьес Элизы Битон, такой-то у нее — сама ревность, другой — воплощение гордыни, третий — чего-то еще. В «Почетном консуле» герои по ходу действия меняются, добиться этого, мне кажется, непросто, тут мне, видимо, что-то удалось, потому я и выделяю эту книгу. Как это получается — сам не знаю. К тому же не всегда это необходимо — в более позднем романе «Человеческий фактор» от начала действия до развязки проходит совсем немного времени, длинных отступлений в прошлое тоже нет, потому не должны меняться и характеры персонажей...

Читательская почта... Чаще всего эти письма наивны, и когда книгу хвалят — тоже довольно наивны...

Напоминаю Грэму Грину некогда высказанную им мысль, что самый лучший читатель — тот, о ком думает писатель, работая над книгой, — как правило, писем автору не пишет.

Наверно, так оно и есть. Но вот на днях я получил необычное письмо, оно и взволновало меня, и обрадовало. Прислала его семидесятилетняя англичанка, мать молодого писателя, он живет в Америке. Несколько лет назад он написал замечательный, по-моему, роман «Благородный враг» и прислал мне гранки. Я ему ответил, что хотел бы сам оказаться его автором — такая это сильная книга.

И вот семь лет спустя — письмо от его матери. Оказывается, в ту пору, когда он писал эту книгу, его разбил паралич — отнялась вся нижняя половина тела, и в довершение, не успев закончить книгу, он стал терять зрение. Издателям все это пришлось не по вкусу, и он решил, что все кончено, что других книг не будет. Вот тогда-то, рассказывает его мать, он получил мой ответ, и он так его окрылил, что произошло почти чудо — зрение начало восстанавливаться, и хотя передвигаться он может только в коляске, жизнь его с тех пор более или менее наладилась, во всяком случае сейчас он полон оптимизма, энергии, снова пишет. Такое по-настоящему трогает...

Кто из писателей особенно близок? Если говорить о русской литературе, конечно же, классики — Тургенев, Чехов, Толстой... Современных — совсем не знаю. Самая большая моя любовь — Чехов. Достоевский? Гораздо меньше... Чехова читаю, перечитываю, вот смотрите на полки — это все его книги: рассказы, пьесы, в переводе, по-моему, хорошем, покойной Констанс Гарнет. (Собственно, без знания языка о переводе судить, конечно, трудно, но по-английски звучит хорошо)...

Очень понравился мне ваш фильм «Дама с собачкой» — по-моему, он превосходен, очень чеховский.

Чем больше всего притягивает Чехов? Переплетением смешного и печального... И еще... Погружаешься в мир, который далек от тебя, и, читая, начинаешь чувствовать себя чуть ли не русским...

Из современных писателей что-то чеховское я нахожу у Нарайана. Я их, конечно, не сравниваю, Чехов — великий писатель, но традицию его, это качество — комедия жизни, сплавленная с грустью, с горечью жизни, — по-моему, Нарайан унаследовал... Мы сдружились с ним за минувшие годы, давно переписываемся, я всегда с удовольствием читаю его книги — смешные и грустные. Теперь хорошо бы снова нырнуть в эти страницы (с м е е т с я)...

Величайших писателей дала миру Америка — Генри Джеймса, Мелвилла, Марка Твена... Фолкнер? Некоторые его книги меня восхищали — не могу сказать, правда, чтобы я боготворил их, как Мелвилла и Джеймса или отчасти

Твена. После них ничто уже не доставляло мне такого удовольствия...

Современные английские писатели... Люблю Ивлина Во — любил его как друга, люблю как писателя. Очень нравятся многие книги Брайана Мура, это североирландский писатель, сейчас он живет в Америке...

Очень интересовал меня прежде кинематограф — лет десять я даже выступал как кинокритик... Сейчас редко, крайне редко хожу в кино, здесь, в Антибе, совсем не бываю, разве что иной раз в Париже или Лондоне, но вообще к экрану охладел, не знаю, в чем тут дело — может быть, возраст...

Из живущих сегодня мастеров никто, пожалуй, не восхищал меня так, как в свое время Фриц Ланг — в конце жизни он работал в Америке, а ранние его фильмы сделаны в Германии. Это был большой художник, после Гриффита, наверно, крупнейший...

Из теперешних впечатлений... Запомнился один австралийский фильм — «Объездчик Морант», я видел его несколько лет назад, речь там идет об англо-бурской войне. Сильная, волнующая картина, отлично сделана — особенно сцена приговора виновным в уничтожении пленных. Австралийская кинопромышленность сейчас вообще, мне кажется, интересна... Я думаю, у вас в России «Объездчик Морант» понравился бы...

Изобразительные искусства... Если говорить об английском — люблю Генри Мура, очень люблю Грэма Сазерленда, нравится мне ирландский художник — его уже нет в живых — Джек Йитс, брат знаменитого поэта... Конечно, очень люблю французских импрессионистов, люблю Брака... Пикассо? Далеко не все. Вы не были здесь в музее Пикассо? Непременно побывайте, это совсем рядом — вот, смотрите, с балкона виден дворец на берегу моря, спуститься до конца улицы и направо — он там работал. А уезжая из Антиба, все созданное здесь оставил в дар. Сейчас это все выставлено — и керамика, как раз здесь он начал ею заниматься. Интересная коллекция, не самые знаменитые его работы, но интересные...

Как отношусь к «новому роману»? Тоже принимаю, но с оговорками. Очень мне нравился роман Роб-Грийе — не помню сейчас названия, кажется, «Ревность». Но, понимаете, я рассказчик и предпочитаю рассказчиков... А «новый роман»... начинаешь читать и через какое-то время ловишь себя на мысли, что текст тебя утомляет, как-то не берут меня за душу эти книги...

Начавшийся в Париже разговор наш подходит к концу...

Над чем сейчас размышляю? В данный момент, можно сказать, пуст. Мелькают время от времени мысли о том, с чего начну книжку об Омаре Торрихосе, как будет строиться первая глава — и все... Других замыслов пока нет, полоса отлива...

Планы поездок? Их тоже нет. Получил на днях приглашение приехать в Сан-Сальвадор — но, пожалуй, слишком я уже стар для такого путешествия (смеется)... И потом, не хочу, чтобы меня убили...

Я очень люблю Антиб. У меня здесь много друзей, особенно среди мелких коммерсантов... Окончить свои дни мне бы хотелось здесь... Как получится — будет видно, борьба, которую я сейчас веду, зашла далеко... Но дни свои я хотел бы закончить здесь...

Я говорю о том, что единоборство Грэма Грина с мафией гангстеров в каком-то смысле напоминает подвиг Альбера Швейцера,— в частности, его сражение с проказой в Африке...

Его сражение имело гораздо более позитивные цели, я борюсь только против отрицательных явлений... Он возвращал надежду тем, кто ее навсегда утратил, да и сам рисковал куда больше меня...

Как с годами менялись мои взгляды? Не сказал бы, чтобы годы особенно меня изменили. Пожалуй, всегда мной руководило желание принять сторону жертв — среды ли, обстоятельств или политики...

Как писатель может сегодня участвовать в борьбе за сохранение мира на земле? Не думаю, что в его силах заметно повлиять на дела в мире... Разве что в самой малой степени.

Контакты в области культуры... В той мере, в какой другу необходимо встречаться с другом, пожалуй, важны...

Когда бываешь несчастлив... Чаще всего, когда не ладится работа. Правда, я научился переступать через это состояние — любой ценой, как говорится, удерживаться на плаву... Конечно, случалось встретиться в жизни и с настоящим несчастьем — хуже всего, я думаю, когда источником твоей боли оказывается тот, кого ты любишь... Любопытно, как действует несчастье на человека... Измена, разочарование, предательство со стороны жизни одного способны превратить в исчадие ада, другого — чуть ли не в святого, в зависимости от реакции... Ну, а счастье... Насладился ли им сполна кто-нибудь? По-моему, счастье — хорошее лекарство, которое принимаешь в малых дозах, потому-то оно и хорошо (смеется)...

Что мне больше всего нравится в людях? Я люблю глаза (смеется)... И еще... Наверно, простоту и честность...

Сказать о своих внуках...

В младшем нахожу сильное сходство с собой... И очень за него тревожусь... Боюсь, ему еще труднее будет справляться с жизнью... Старший? Тот куда устойчивее меня... Но, признаться, будь мне сейчас тридцать, я бы, пожалуй, не решился заводить детей... Мне кажется, их не ждет ничего хорошего...

А как же ваш оптимизм? Видите ли, я делаю большое различие между надеждой и верой... От надежд с годами отступаешься, а вера говорит: «Ты неправ»... (смеется).

Оптимизм — осознанный выбор

Андре Стиль

Взять детство — таким, каким оно могло быть,— полное нерастраченной энергии, полное жара, каким его могла напитать жизнь вроде моей,— и перенести его в наш реальный мир, мир, нередко жестокий, разорванный, но и несущий в себе надежду, мир борьбы и сражений, которые с самых первых лет стали моей судьбой, — а потом подвести итог. Так я поступил в своей недавней книге «Оптимизм по доброй воле», о которой вы меня спрашиваете.

В сущности, это моя автобиография — то есть какие-то факты моей биографии вошли в книгу и размышления о них, размышления о всей жизни, поделенной с самого начала между политической борьбой за прогресс, за счастье людей, и писательством, устремленным, собственно говоря, к тем же целям. Я объединил в книгу ряд бесед с одним журналистом и дал ей слегка ироническое название «Оптимизм по доброй воле». Возможно, этот цикл следовало бы продолжить, хотя кто знает, что из этого получилось бы...

Так или иначе, но направление моего творческого поиска здесь обозначено: стремление к письму более уравновешенному, чем порой это имело место в прошлом, когда я тут же реагировал на события, будь то начало войны в Индокитае, война в Алжире, снова война в Индокитае, Сопротивление или борьба рабочих в пятидесятых годах, когда я писал книги вроде «Первого удара».

Потом — это продолжалось до последних нескольких лет — казалось — так, во всяком случае, я полагал — кое-каких перемен в этом смысле добиться удалось: повествование мое как будто обретало характер более зрелый, более углубленный. Но жизнь все это опрокинула: страшная болезнь и немногим более года назад смерть моей жены, и как писатель я оказался в положении, которого никогда прежде не мог даже представить себе,— когда потребность писать сделалась просто условием самого моего существования.

Конечно, работа над книгой всегда жизненно важна для писателя, достойного так называться,— даже когда пишешь о внешних событиях, даже когда пишешь, например, о далекой войне. Это всегда поиск ответа на какие-то вопросы, насущные и для тебя самого. Тут было совсем другое. Речь шла о решении проблем жизни и смерти в самом буквальном смысле этого слова, моих личных проблем. Проблем самых мне близких людей. Так увидел свет мой роман «Врач-чародей». Для нас, для моей жены и меня, эта книга была средством борьбы против болезни, оружием сопротивления, оружием в нашей битве с болезнью и смертью.

С тех пор — в действительности болезнь унесла жизнь моей жены гораздо быстрее, чем предполагали медики,— я еще не в состоянии выйти за пределы проблем такой степени насущности.

Понимаете, работа писателя может быть насущной по самым разным причинам. Работа писателя или работа читателя. Чтение тоже способно вторгаться в вашу жизнь очень глубоко или скользить по поверхности. Я могу вполне точно обозначить, например, различие между тем, что́ в моем детском или юношеском чтении было жизненно важным, а что́ — развлечением.

Ну, скажем, как все дети и подростки, я читал Жюля Верна. Но для меня это было скорее развлекательное, а не серьезное чтение. А вот маленькая книжка Мориса Женевуа «Ящик рыболова» оказалась необыкновенно важной — по причине, в сущности, пустяковой и даже смешной: я был лицеистом и жил в интернате, далеко от пруда, возле которого прошло мое детство, в котором я так часто ловил рыбу. И благодаря этой книжке мне легче было терпеть свое школьное существование, у меня возникала иллюзия, будто на ее страницах я вновь встречаюсь со своим детством, с животными, с рыбами, с природой... Так что и писательство, и чтение могут иногда оказаться в сцеплениях причин и следствий самого разного порядка.

Но вот прошло несколько лет с тех пор, как я окунулся в свои мучительные проблемы, и уже иного уровня размышлений требует их решение, и уже больше года, как умерла моя жена, а я все еще не вижу по-настоящему, как в своем творчестве я могу переключиться на что-то другое.

Писательская работа стала для меня сейчас главным, что позволяло существовать. При всем том, что после смерти Муны меня мало что привязывало к жизни, я понял, что это немногое я могу сохранить и укрепить, только продолжая писать, если буду в силах.

И я начал работать над книгами, которые, мне казалось, писать было... ну, как бы это сказать?.. легче. Впервые в жизни я написал книгу для детей. По совету одной издательницы я написал эту небольшую книгу — мне казалось, что работать над ней будет легче, чем, например, над романом. И еще я написал книгу, которая вышла месяцев пятьшесть назад. Довольно большую. Ее название — «Вагонетки в цвету», и, в сущности, она представляет собой исследование, историю развития кипучего края, моего родного Севера — районов Нор, Па-де-Кале,— на протяжении жизни писателя, который был ее свидетелем. Вехи почти что полувекового пути — такую книгу мне, конечно, было написать легче, чем роман. И по сути она очень помогла мне преодолеть ощущение, что я больше не могу писать, которое владело мною год назад, и попытаться взяться опять за роман. Сейчас этот роман уже написан. Я писал его примерно с прошлого сентября и кончил

совсем недавно. Скоро он выйдет в издательстве «Грассэ». Называется он «Сердечный человек».

По правде сказать вам, роман этот удивляет меня самого — как, впрочем, удивлял и «Врач-чародей», — потому что представляет собой попытку писателя ответить на неожиданный для него вопрос, на вопрос, который жизнь поставила перед ним, когда он совсем этого не предвидел: испытав тяжкое потрясение, пережив огромное горе, он вдруг обнаруживает, что не только сам становится в чем-то черствее, жестче, хотя всегда считал себя мягким, сердечным человеком, но и приходит к мысли о том, что порой эта жесткость необходима. Что на суровость, на жестокость жизни нельзя отвечать только цветами и улыбками, некоторая жесткость необходима, хотя иногда — это бывает тоже — она может и переродиться в душе человека, превратиться во что-то совсем другое. Именно эта проблема — в центре книги. Именно с ней сталкивается добрый, сердечный человек, который всегда, всю жизнь старался быть еще лучше — стремился, что называется, превзойти самого себя. Всю жизнь — в этот наш век, еще такой жестокий и часто такой дремучий, что невозможно закрывать глаза на то, как далек путь до настоящей человечности, когда нормой станет личность Человека с большой буквы, достойная называться этим именем. Это — наша цель, но осуществление ее — задача не легкая и не близкая. И мы сами понимаем, какие еще огромные трудности необходимо преодолеть...

Название книги «Сердечный человек» не иронично, я искренне считаю, что ее герой,— конечно, это не я, ведь это роман, и герой собирательный образ, хоть я и наделил его многими собственными чертами,— так вот, я считаю, что герой книги — действительно добрый, действительно сердечный человек. И все же в нем, как и в других добрых людях, не говоря уж о недобрых, нужно многое изменить, чтобы можно было говорить о подлинной человечности.

Иначе говоря, в этой книге, которую я написал после «Вагонеток в цвету» и книги для детей, в этой книге я вновь занимаюсь проблемой первостепенной для себя жизненной важности. Какой будет следующая, еще не знаю. Не знаю, буду ли я исследовать вопросы, для меня насущные, или вернусь к, так сказать, истинным романам, то есть к романам «романическим», где все вымышлено, где все — воображение, а потому — бог мой, кажется, это гораздо легче и дает больше свободы... Не знаю, совсем не знаю. Просто пытаюсь найти способ обрести какое-то равновесие после ужасной потери, ужасного удара — восстановить равновесие в творческом и общественном смысле, как писатель, как человек, которого тревожат проблемы века.

Мое впечатление о нынешней ситуации в стране? Это очень сложный вопрос: собственно говоря, он содержит в себе множество других вопросов. Но если ответить совсем кратко, могу сказать, что современное положение во Франции я нахожу весьма обещающим. И в то же время — всегда находится какое-то «и в то же время»,— чем больше оно обещает, тем больше и потенциальная опасность возвращения к прошлому, хотя политика, особенно внутренняя политика, проводившаяся во Франции до десятого мая прошлого года, была наихудшей политикой, какую только можно для Франции вообразить, даже при том, что в плане внешней политики кое-что и представлялось приемлемым: агрессивных курсов политики Франция вообще традиционно избегала, каким бы ни было правительство, глубинным склонностям нации они не отвечают. Но вот внутренняя политика, особенно условия существования трудящихся, перспективы экономического, социального, нравственного характера — для такой страны, как Франция, все это было катастрофично...

У того, что началось десятого мая, есть, конечно, и некоторые, отчасти негативные, стороны, но главное, что началось десятого мая,— это отрицание прежнего, устремление к чему-то во всех отношениях лучшему, включая и культуру. Это подъем, хотя и очень трудный, очень медленный. Тем не менее такой подъем, такое продвижение существует. И в конце концов оно решит все. Его успех или его поражение должны решить все.

Я думаю, что большинство французских интеллектуалов — не обязательно те, кто больше всех говорит и производит больше всего шума, но большинство подлинных французских интеллектуалов ощущает то же самое. Определять точнее это ощущение я не стану — мне кажется, это значило бы опережать события,— но ощущение такое, что начались определенные изменения, хотя не исключено, что они могут и не привести к успеху. Многие негативные моменты продолжают существовать. Все может сорваться, но ставка велика — без громких слов речь идет о судьбе Франции, и нужно изо всех сил бороться за то, чтобы начавшееся движение вело к успехам. Пусть поначалу небольшим, но неуклонным. Именно этим, по-моему, более всего заняты помыслы всех моих друзей, каковы бы ни были их политические взгляды. Даже у некоторых из тех писателей и интеллектуалов, которые заявляют, что придерживаются правых взглядов, я замечаю те же настроения — конечно, если они не сторонники насилия, если они не фашисты, одним словом, если девиз их — порядок в стране. Я чувствую, как даже у них зарождается такого рода надежда — наряду, конечно, с сомнениями, наряду с колебаниями, с тревогой.

Иначе говоря, мы переживаем этап исключительно живой, исключительно богатый, совсем не похожий на ту атмосферу сонливости, оцепенения, в которую погружалась Франция,— я говорю

о ситуации в культуре и вообще во всем укладе жизни в последние годы предыдущего режима. Так что наш общий долг — сделать ставку на будущее Франции. Что до меня, то я трезво — жизнь научила меня быть трезвым и не заноситься, как говорят у нас во Франции,— с полной, мне кажется, ответственностью могу сказать, что я эту ставку сделал и надеюсь на лучшее...

Антисоветизм и антикоммунизм... Что касается лично меня, я нахожу эти кампании просто кощунственными. То есть от них необходимо отмежеваться самым резким, самым решительным образом — каковы бы ни были попытки эти тенденции оправдать, под каким бы соусом их ни подавали. В социалистических странах, естественно, могут быть трудности — мне приходилось об этом говорить,— но дело не в этом. Да, бывали ошибки, бывали нарушения законности: этим фактам надо смотреть в лицо, чем честнее мы будем смотреть им в лицо, тем лучше будет для нас всех. Но ни при каких условиях это не может служить предлогом для твердолобого, слепого антикоммунизма и антисоветизма.

Разве не очевидно, что вдохновителей этого антисоветизма, тех, кто разглагольствует о трудностях в социалистических странах, меньше всего волнуют эти трудности, с высокой горы им плевать на них. Единственное, что их интересует,— это заведомо, любой ценой противостоять всему, что может способствовать прогрессу рабочего класса и всего народа их собственной страны. И перед лицом этого разгула слепого бешенства антисоветизма мы, я убежден, должны прежде всего столь же яростно, с порога его отринуть, бескомпромиссно и решительно против антисоветизма и антикоммунизма выступать. И уж потом открывать глаза на все остальное. Но начинать надо, так сказать, с тотальной атаки на антисоветизм и антикоммунизм, без каких-либо оговорок, без каких-либо колебаний.

Только потом, только на этой основе следует смотреть в лицо проблемам, которые в международном плане еще не решены социалистическими странами,— впрочем, эти проблемы внимательно изучаются в самих социалистических странах, которые прилагают все усилия для их разрешения, для преодоления своих трудностей, своих узких мест.

Вот почему я всегда, не считая тех лет, когда личные проблемы несколько отстранили меня от всего, поддерживал — и особенное внимание уделяю этому сейчас — любые усилия, направленные на улучшение отношений — в частности, между писателями социалистических стран Советского Союза и капиталистических стран. Это было, собственно говоря, одной из главных составляющих моей общественной деятельности последнего десятилетия.

Без ложной скромности могу сказать, что за эти годы я по мере сил участвовал во всем, что предпринималось для укрепления отношений между советскими писателями и писателями других стран, в том числе и Франции, не раз имел случай поддержать в этом отношении инициативы советских писателей. Вместе с моими советскими друзьями я стою у истоков многого из того, что было достигнуто в Софии, и я горжусь этим. Все это слишком существенно, чтобы позволить себе что-либо обходить молчанием. Многого добившись за десять лет, меньше всего, по-моему, уместно сейчас почивать на лаврах, успокаивать себя тем, что какие-то сдвиги к лучшему удалось осуществить: сейчас, мне кажется, такая опасность наметилась. Международные писательские контакты, движение за мир в целом нуждаются, на мой взгляд, в новых толчках, в новых импульсах. Достигнутым, хотя бы и самым лучшим, не следует удовлетворяться. Тонус во всех этих сферах необходимо поддерживать все время. Лично я вновь, как и десять лет назад, озабочен тем, как восстановить ослабленные контакты, и очень хочу, чтобы меня услышали. Я хотел бы передать моим советским друзьям, что, по-моему, нам следует вместе поразмыслить и выступить с новыми инициативами. Надеюсь, как и десять лет назад, мы сможем этим важнейшим процессам придать новое ускорение...

Нынешнее международное положение — оно меня очень тревожит. Нам доводилось переживать периоды серьезного международного напряжения, войны и того, что стали называть «холодной войной». Но, пожалуй, с таким нарастанием угроз, как сейчас, еще дела иметь не приходилось. Конечно, перед их лицом все надежды возлагаешь на силы более могучие, чем прежде, на новые силы, обеспечивающие мир. И все же, повторяю, за всю мою, уже долгую, жизнь вряд ли я был свидетелем столь бурной эскалации агрессивности, и особенно агрессивности правящих кругов Соединенных Штатов, такой гонки вооружений, таких темпов накопления средств ведения войны и, соответственно, столь серьезного риска, что рано или поздно соблазн пустить это оружие в ход окажется неотразимым... Конечно, нельзя поддаваться на шантаж империализма, не следует принимать за чистую монету попытки застращать нас. Но хотя то тут, то там, успешнее и чаще, чем в прошлом, удается пресекать опасные авантюры, необходимо тем не менее со всей серьезностью считаться с вполне реальной, объективно существующей опасностью для мира...

Вот почему я и теперь считаю, как считал всегда — хотя изменились и условия моей работы, и мое общественное положение,— что ни в коем случае нельзя утрачивать интереса к тому, что происходит вокруг нас, в частности в сфере международных отношений. Трудности существуют всюду. Порой они порождают озабоченность — и в социалистических странах тоже. Но между тем, какие решения, какие пути находят социалистические страны, когда они сталкиваются с трудностями, и изначальной

агрессивностью, заложенной в поведении наиболее агрессивных капиталистических стран, нет ничего общего. Все эти моменты надо постоянно держать в поле зрения...

На мой взгляд, весьма симптоматично, что именно за последние годы у интеллигенции во всем мире в иных условиях, в иных формах, но вновь возрождаются те настроения, которыми был отмечен этап формирования Движения за мир. Потом наступил довольно долгий период, когда Движение за мир стало, так сказать, чем-то будничным и само собой разумеющимся, когда к нему попросту привыкли. Его присутствие в нашей жизни вошло в обиход, стало повседневностью, и вот почти во всех странах вдруг поднялась новая могучая волна, особенно, повторяю, среди интеллигенции. Мы с вами вспоминали Софию. Софийские международные встречи. Да, в Софии нам действительно удалось приблизить этот момент — нам, писателям Советского Союза, Франции, Англии, США и многих других стран, не говоря уж о болгарах, организаторах встречи. В первые годы резонанс этой акции не был везде еще так заметен, но год от года идея все более набирала силу и, несомненно, способствовала новому мощному всплеску, о котором я говорю и который так насущен и важен.

Вы знаете, конечно, что во Франции опубликовано письмо писателей, поддержавших Воззвание, принятое по инициативе литераторов ГДР и ФРГ, с призывом осудить нейтронную бомбу, принять активное участие в борьбе за мир. Характерно, что и те деятели культуры, кто в последние годы не считал своим долгом выступать на подобные темы, вновь ощутили, насколько обязательны для них такие выступления.

Речь идет о том, как необходимо нам всем участвовать в этом, быть бдительными, внимательно следить за тем, что происходит вокруг. Нельзя с головой уходить в свою работу, отключившись от всего остального. Человеком своего времени можно себя чувствовать только в том случае, если твое собственное дело тесно связано со всем этим и в какой-то мере отражается, в какой-то мере влияет на это. Только в том случае, если известность, пусть небольшая, которую можно заслужить работой интеллекта, сама в свою очередь помогает понять другим, насколько для нас самих важно этим заниматься. Вот почему я, как вы знаете, посвятил себя политической борьбе: с ней связана значительная часть моей жизни, вся моя писательская деятельность.

Когда я работал над своими книгами, нередко меня главным образом заботило, как бы не оказаться в стороне от событий в мире, в стороне от борьбы, которая велась как внутри разных государств, так и на международной арене. Опыт моей работы научил меня, что именно в ту пору, когда я оказывался наиболее полезен, наиболее нужен, в частности Движению борьбы за мир, не только моя писательская деятельность, но и сама моя жизнь менялась, я обретал новые источники вдохновения. Особенно я ощущал это в шестидесятые годы. Иначе говоря, борьба и общественная деятельность питали дополнительной энергией мое творчество, а само оно никогда не служило средством ухода от действительности, бегством от того, что представляется насущно важным писателю, избравшему тот путь, какой выбрал я. И теперь я надеюсь, что они помогут мне оправиться после тяжкого потрясения, вернуться к полноценной творческой жизни, которая получит свое воплощение в моих новых книгах. И что моя работа для телевидения — ведь я пишу еще и сценарии телефильмов,— что она с помощью особых средств, творческих, литературных, позволит мне держать руку на пульсе нашего бурного мира, нашего разорванного, и все же обещающего в будущем лучшее, мира, полного тревог и энтузиазма...

Что касается вашего вопроса об избрании меня в Академию Гонкуров — прежде всего, в определенном смысле оно счастливо увенчало то, чего мне удалось достичь в творчестве на протяжении жизни. На пороге шестидесяти лет оно ознаменовалось книгами, которые, пожалуй, заметно отличаются от прежних: такими, например, как «Бог — это дитя» — возвращением к моему собственному детству, или «Оптимизм по доброй воле» — как я говорил, представляющей собой ряд бесед с журналистом, вроде нашей теперешней беседы с вами, которые сложились в книгу.

Эти книги в определенной мере представляют собой итог. «Бог — это дитя», можно сказать, подводит итог в сфере писательского ремесла. Я постарался использовать все, чему научился почти за сорок лет писания романов, для того чтобы вернуться в детство и поместить его, такое, каким оно было, со всеми его иллюзиями, со всем, что было в нем прекрасного, в жестокий мир, в мир, который я знал сам, когда был ребенком, в мир угольных шахт. Я перенес в него детство таким, каким оно могло быть, детство, пережитое вновь и увиденное совсем близко, с разных точек обзора... То есть со всем, что может дать ребенку иллюзию счастья даже в таком мире. Ведь и моим детям — а у меня их пятеро — удается иногда быть счастливыми или считать себя счастливыми...

(Окончание следует)

Среди книг

Издано в СССР

ПЕСНЬ ВЕЛИКОЙ ЯРОСТИ

Мануэль Скорса. Траурный марш по селению Ранкас. Гарабомбо-Невидимка. Бессонный всадник. Сказание об Агапито Роблесе. Перевод с испанского Н. Трауберг и Р. Сашиной. Предисловие В. Силюнаса. Москва, «Прогресс», 1981.

Мануэль Скорса — перуанец. И его творчество посвящено теме, остающейся актуальной и для сегодняшнего Перу: индеец и национальная жизнь. В эпоху, когда некоторые перуанские авторы поспешили объявить эту тематику исчерпанной, а произведения, ее разрабатывающие, заведомо устаревшими, романы М. Скорсы заставляют задуматься над ограниченностью как самого деления литературы на сельскую и городскую прозу, так и попыток утвердить приоритет литературы городской над «литературой о земле», тем более что многие важнейшие для национальной действительности проблемы яснее всего проглядываются именно в сельском Перу.

Весь цикл, состоящий из пяти романов (последний из них — «Могила зарницы», 1979,— еще не переведен на русский язык), публиковался в течение 70-х годов. Повествование строится на материале реально происходивших событий, искусно растворенных в фольклорно-мифологической атмосфере произведений. Наследуя реалистическую традицию М. А. Астуриаса, А. Карпентьера, С. Алегриа, Х. М. Аргедаса, во многих художественных решениях автор предстает новатором. Вовсе не склонный развивать идею огульного противопоставления индейцев белым, как и туземного прошлого — современной цивилизации, Мануэль Скорса последовательно ищет и находит способы выявить не только расовую, но и социально-политическую основу деления людей на угнетенных и угнетателей.

Увлекая читателей мастерски реализованными эстетическими возможностями «чудесного», автор неожиданно подводит нас к серьезнейшей мысли: тысячи и тысячи индейцев, замкнутых в созданном их воображением иллюзорном мире, лишенных возможности реально оценить свое положение, до тех пор не найдут выхода из него, пока не научатся отличать ложь от правды, фантазию от реальности. Пока не осмыслят чудовищную явь: насильственно включенные в орбиту западной цивилизации, они веками насильственно же удерживаются на самых ее задворках. Пока не воспылают священной яростью к виновникам своего унижения.

Страстный поборник интересов коренного населения страны, писатель в то же время прекрасно осознает, что никакими благодеяниями извне положения индейцев не изменить, что они сами должны научиться защищать себя. Поэтому так много внимания уделяется раскрытию сложностей перестройки первобытного сознания, преодоления устаревших фетишей, поисков средств и целей борьбы. Романы пенталогии едины в своей героико-эпической основе, но далеко не сходны по внутреннему эмоциональному настрою. Три первых называются балладами, а два последних — песнями. Действительно, преобладающие в «Траурном марше по селению Ранкас» и «Гарабомбо-Невидимке» мотивы трагической безысходности, почти фантастического всемогущества злого начала, локальной замкнутости и обреченности персонажей в заключительных романах уступают место целостному видению мира, свойственному классическим героическим поэмам,— растущей вере индейцев в свои силы, в торжество справедливости. Вначале — восхищение стоическим долготерпением перед лицом кажущегося непобедимым зла; в конце — прославление героики самоотверженной борьбы с угнетателями, утверждение перспектив ее общенационального размаха.

Неспешно, как бы согласуя свой рассказ с монотонным, сомнамбулическим ритмом общинной жизни, М. Скорса показывает и ту обескураживающую безысходность, которая столетиями была свойственна индейцам, и ту нечеловеческую жестокость, с помощью которой правители стремились уничтожить в них всякие надежды на свободу. Поэтому не случаен вопрос, сформулированный в первом романе и остающийся важным для всего цикла: «Что бывает, когда на пределах своей беды, поверженный в ужас, словно загнанный хищник, человек должен выбирать: превратиться ему в животное или обрести искорку величья?» Ответом станет утверждающееся из романа в роман чувство человеческого достоинства коренных обитателей сьерры.

В «Траурном марше по селению Ранкас» зловещие властные силы, наиболее выразительно воплощены в личности ставшего некоронованным царьком провинции судьи Монтенегро и в поглощающей все новые и новые общинные земли Ограде, которой американская компания «Серро-де-Паско корпорейшн» обносит захваченные территории. Кажется, что эти силы подчинили себе даже природу. Однако ни многовеко-

бое феодальное иго, ни деспотизм судьи, ни могущество компании не погасили неистребимого пламени человеческого свободолюбия. Его зажигающие искры — в неслыханной дерзости Эктора Чакона, поклявшегося убить того самого Монтенегро, который десятилетиями казался индейцам неприкосновенным и бессмертным. Они — в стойком мужестве, духовной несокрушимости Фортунато, не отступившего перед «Серро-де-Паско корпорейшн». Этот же неистребимый огонь вспыхнул в отчаянном бунте селения Ранкас, жестокое подавление которого родило только новых борцов.

Также лишь трепетной мимолетной искрой дает о себе знать в первом романе только-только зарождающееся сомнение в непреложности того, что вселенная разделена на белых и цветных, что одни рождены править, а другие — быть рабами, что между белым и индейцем не может быть ничего общего, кроме извечной ненависти. Пока еще непривычно то чувство взаимного уважения и доверия, которое сопутствует встрече посланцев Ранкаса с молодым учителем Хенаро Ледесмой, только что избранным алькальдом города Серро-де-Паско. Единственный из облеченных властью людей, он внимательно отнесся к нуждам общинников, искренне и бескорыстно встал на их защиту, чем навлек на себя гнев «приличного общества», лишился работы. В последующих романах мы увидим Ледесму адвокатом индейцев, навсегда связавшим свою судьбу с их борьбой. Увидим также, что он будет не одинок на этом пути объединения сил трудящихся разных рас.

«Гарабомбо-Невидимка» открывается предуведомлением автора, где сказано: «Через восемнадцать месяцев после расправы с селеньем Ранкас община Янауанки под водительством Фермина Эспиносы, прозванного Гарабомбо, заполонила и вернула себе почти бескрайние земли поместий Учумарка, Чинче и Пакойян. Так занялось утро великой эпопеи, которой суждено покончить с феодализмом в самом сердце Перу!» Воплощая эти реальные события в романе, Мануэль Скорса прежде всего стремится показать духовный рост участников новых выступлений, уже способных на нечто большее, нежели стихийная вспышка в Ранкасе.

Прослывший Невидимкой, Фермин Эспиноса отнюдь не обладал волшебными качествами. Просто он острее других ощутил несправедливость окружающей действительности, где индеец, если он не нужен как рабочий скот, вроде бы и не существует. «Его не видели, потому что не хотели видеть,— вдруг открывает он суть происходящих с ним странностей.— Его не замечали, как не замечали жалоб, требований, беззаконий». А поняв это, Гарабомбо решает использовать это качество в борьбе с теми, по чьей злой воле он невидим, становится вездесущим и неуловимым организатором совместного выступления всех селений общины Янауанка.

В «Бессонном всаднике» глава общины Янакоча дон Раймундо Эррера предстает еще более цельной, осознавшей свои возможности и задачи личностью. В его мозгу чудесным образом сохранилась память о страданиях и надеждах, обо всех важнейших событиях трагической истории индейской общины предшествующих десятилетий, даже столетий. Он способен вспомнить о том, свидетелем чего в действительности никак не мог быть, он спорит с людьми, давно ушедшими в мир теней. Преданный делу соплеменников, Эррера не только сконцентрировал в себе опыт предшественников, но и оказался способным трезво оценить его, соотнести с сегодняшним днем, увидеть беспомощность ряда патриархальных мечтаний. Таких, например, как старое желание скрыться от притеснителей в дикой сельве и основать там свободную колонию или бесконечно продолжать судебную тяжбу, надеясь законным путем вернуть себе отнятые помещиками земли. Накануне смерти он завещает односельчанам выстраданную истину:

«— Я доказал то, что хотел доказать.

— Что же вы доказали?

— Что мы ничего доказать не можем. И когда все наши люди поймут, как бесполезно доказывать, что мы правы, тогда вспыхнет Великая Ярость. Я оставляю вам в наследство все, что имею: мою ярость».

На смену застойному времени Великой Печали приходит эпоха Великой Ярости. Уже в самом начале «Сказания об Агапито Роблесе» центральный персонаж романа, наследник завещанной Эррерой ярости, недвусмысленно скажет: «Янакоча может вернуть свои земли только силой... И решил Агапито Роблес: отныне Янакоча никогда ни о чем не будет просить». Идеи сплочения, коллективизма, вера в победу, которые из дома в дом, из селения в селение несет Агапито Роблес, становятся все более популярными благодаря также активизации объективных процессов, ведущих к уменьшению социальной изоляции коренного населения. Автор показывает, что современное развитие национальной действительности вырывает многих индейцев из феодальной общины, приобщает их к новым занятиям, к ритмам больших городов, к жизни пролетариата. В самые отдаленные уголки сьерры радио доносит правду острова Свободы, и слушатели начинают осознавать, что идеалы кубинской революции близки их собственным устремлениям. Магическая пелена одиночества, столетиями окутывавшая жизнь индейца, постепенно развеивается, его взор постепенно обращается к будущему.

В романе много внимания уделено раскрытию сложностей этой переориентации, живучести старого, привычного. Бремя страха, примитивных верований, утопических видений, религиозных иллюзий, доставшихся от дня вчерашнего, отягощается непрестанно усиливающейся жестокостью сегодняшних хозяев. Тем не менее уже не они диктуют ход событий, из среды индейцев появляются личности, как Агапито Роблес, которых боятся недавно казавшиеся такими всесильными чиновники и помещики. «Жажда свободы,— говорит Роблес,— что корни дерева, под землей путь себе находит. Дважды поднималась провинция Паско, и дважды нас расстреливали. Поднимемся же в третий раз. В тысячный, если придется... мы добудем землю, мы уничтожим все на свете поместья».

Вскоре произойдет это третье восстание, и в третий раз оно будет расстреляно регулярной армией. Но прежде чем подоспеют каратели, индейцы организованно займут поместье «Ураутамбо» — проклятое гнездо ненавистного Монтенегро, а заняв, сделают непредвиденное и важнейшее для себя открытие. Повстанцы, оказавшись хозяевами положения, впервые в полной мере осознают, что судья вовсе не какое-то исключительное, богоподобное существо, а самый заурядный, трусливый и жалкий старик. Ликующий народ пустится в пляс, празднуя первую победу Великой Ярости: победу над рабским страхом, покорностью судьбе, над безысходностью. Пули солдат, ранее обращавшие в паническое бегство, не способны рассеять общинников. Они будут продолжать танец, пока пламя, зажженное огненным пончо Агапито Роблеса, не охватит всю равнину.

И. ЛАПИН

ЗНАКОМСТВО С HOMO AUSTRIACUS

Австрийская новелла XX века. Переводы с немецкого. Составление и вступительная статья Ю. Архипова. Москва, «Художественная литература», 1981.

Если спросить любого человека, что он знает об Австрии, об австрийском складе характера, об австрийской литературе, то этот человек, вероятно, пожмет плечами. Разумеется, он знает, что столица Австрии — Вена и что через Вену протекает Дунай. Он может вам сказать, что с Веной у него ассоциируются вальсы Штрауса, может поделиться некоторыми сведениями о Тироле, о зимних олимпийских играх, проведенных недавно в Инсбруке, и о зальцбургских фестивалях, ежегодно устраиваемых в городе, неразрывно связанном с именем Моцарта. Но об австрийской литературе, о специфической австрийской ментальности, нашедшей в ней отражение, ему в 99 из 100 случаев решительно нечего будет вам сообщить. Даже если он читал книги Рильке и Кафки, С. Цвейга и Хорвата, Хандке и Бахман. Ибо, что уж греха таить, наше сознание всех этих писателей автоматически относит к немецкой литературе.

А между тем австрийская литература имеет свой, совершенно неповторимый облик и по меньшей мере вот уже полтора столетия существует как значительная культурная традиция, которая во многом отлична от немецкой культурной традиции, не говоря уж о романской, славянской и других европейских культурах. Антология австрийской новеллы XX века дает нам возможность ближе познакомиться с австрийским феноменом в литературе, со своеобразием австрийского характера, мироощущения, духовного склада, или, говоря иначе, с homo austriacus — с австрийским человеком, визитной карточкой коего и следует ее рассматривать.

«Австрийская новелла» объединяет 42 сочинения 37 авторов, самому старшему из которых — П. Альтенбергу — через два года можно было бы устроить 125-летний юбилей, а младшему — П. Хандке — нет еще и сорока. С некоторыми из писателей, как, например, Р. М. Рильке, Ф. Кафка, Ф. Т. Чокор, Э. фон Хорват, Г. Леберт, С. Цвейг, Р. Музиль, Х. фон Додерер, И. Бахман, П. Хандке, советский читатель уже встречался, другие переведены на русский язык впервые. За малым исключением, новеллы расположены в хронологическом порядке, что дает нам возможность проследить развитие австрийского повествовательного искусства на протяжении семи десятков лет. Несмотря на обилие имен, нельзя сказать, что антология представляет всю австрийскую литературу. Не говоря уж о второстепенных авторах, в ней отсутствуют такие значительные писатели, как М. Мелл и Э. Канетти, Э. Фрид и Х. Лавант. Но от визитной карточки и не требуется исчерпывающей полноты, ей вменяется всего лишь заявить о ком-то, кого она представляет, а более близкое знакомство — дело будущего.

С самого начала нужно предупредить читателя, что ежели он надеется благодаря рассказам, собранным в антологии, познакомиться с «типичным австрийцем» в чистом виде, его ждет явное разочарование. Ибо при всем желании среди действующих лиц ему не удастся найти того самого «австрийского человека», на встречу с которым он рассчитывает. Тут есть немцы, чехи, кроаты, хорваты, венгры, даже французы, испанцы и итальянцы, но нигде и в помине нет австрийцев. Впрочем, подобная разноплеменность в Австрии явление отнюдь не новое. Еще в 1813 году уроженка Ганновера Доротея Шлегель по прибытии в Вену сетовала по поводу того, что город полон «ганаками, стараками и бог весть еще какими аками и маками», которые чувствуют себя тут как дома, в то время как ее, немку, в этой древней резиденции немецких императоров однажды было даже приняли за иностранку.

Объясняется это исторически. Со времен реформ, проведенных Марией Терезией и ее сыном Иосифом II, Австрия превратилась в централизованное многонациональное государство, политическая власть которого в отдельные периоды распространялась от Нидерландов до Средиземного моря и от Испании до устья Дуная. Причем в границах этого государственного образования этнически совершенно разнородные культуры довольно плодотворно взаимодействовали друг с другом, способствуя рождению того самого духовного склада и того характерологического типа, который сегодня принято называть «австрийским». Тут «сумрачный германский гений» «под влиянием романского изящества и блеска, славянской глубокой душевности и темпераментного венгерского жизнелюбия предстает значительно просветленным» (Ю. Архипов).

Наиболее типичное явление современного австрийского повествовательного искусства — это, пожалуй, так называемая «венская школа», зародившаяся в богемной атмосфере литературных кафе столицы Австро-Венгерской монархии. Ей присущ нарочитый интерес к «золотому веку» Марии Терезии, к жизни дворцов и аристократических салонов, к утонченным лю-

бовным интригам и пикантным, порой загадочным приключениям. Вместе с тем прозу венцев характеризует необычайно острое ощущение художественной формы, изысканность стиля, способность в нескольких словах выразить тончайшие нюансы душевной жизни и почти неуловимые впечатления. В нашем сборнике «венская школа» представлена прозой П. Альтенберга, А. Шницлера, Г. фон Гофмансталя и Р. Шаукаля. По настроению тесно к ней примыкает и ритмизованная новелла Р. М. Рильке «Песнь о любви и смерти корнета Кристофа Рильке». На первый взгляд при всем восхищении художественным мастерством названных писателей во время чтения их сочинений поражает отрешенность от социальных конфликтов, раздирающих Европу на стыке веков, и изолированность предстающего нашему взору мира. Но впечатление это обманчиво, и прав автор предисловия, когда обращает внимание читателя на таившееся в глубине изящных покровов этих рассказов предчувствие надвигающейся катастрофы. Разумеется, и Шницлер, и Гофмансталь, и Шаукаль, и Рильке необычайно остро ощущали грядущие катаклизмы европейской истории, но вместо того, чтобы активно противодействовать порокам современного им общества, они стремились укрыться от назревающего бедствия хотя бы в «башне из слоновой кости».

Еще в 1906 году Александр Блок в связи с изданием пятитомного собрания сочинений Шницлера отмечал: «Пока пишет Шницлер, его читают, критикуют, представляют на сцене, а перестанет писать — и забудут. Открывались для Шницлера какие-то «возможности»... ибо «сын красавицы Вены» от талантливости чуток, а всем чутким людям в Европе теперь ясно, что под ногами — горячие угольев. Но чтоб ходить по ним, Артур Шницлер приобрел себе венские ботинки из толстой кожи и действительно продефилировал в них под гром аплодисментов, да так, что и публика осталась довольна, и писатель себе ног угольями не повредил». Ниже Блок говорит о «невыстраданности, легковесности и неодухотворенности» прозы Шницлера.

Было бы несправедливо в этих же грехах упрекать Рильке и Гофмансталя, а также и некоторых других представителей «венской школы», но порой они действительно норовили пройтись по горячим угольям в башмаках из толстой кожи.

В не меньшей мере относится упрек, высказанный Блоком, и к «пражской школе» писателей, с ее склонностью к мрачной фантастике, религиозной мистике и гротеску, соседствующему порой с чуть ли не натуралистическим бытописательством. Пражане в сборнике представлены рассказами Ф. Кафки, Г. Майринка, Ф. Верфеля, И. Урцидиля и Э. Вайса. Фантастическая линия «пражской школы» нашла свое отражение и в творчестве Ф. Набля и Л. Перуца, первый из которых в антологии представлен жутковатым рассказом о человеке, у которого по ночам вырастает третья рука, умерщвляющая всех его соперников, а второй — не менее ужасающей историей многовековой вражды некоего бретонского рода с луной. Будучи зачастую не в состоянии объяснить исторические причины надвигающегося кризиса, пражские писатели, так же как и венцы, уходили от действительности. Но если в первом случае преобладала фривольная игра красками и цветом, любование возможностями формы, то пражане тяготеют скорее к темной символике, аллегории и иносказанию. И то и другое самым непосредственным образом было связано с тем анахроническим государственным образованием, в котором феодализм, патриархальность и бюрократизм новой буржуазной чеканки существовали рядом друг с другом, а расщепленность как общественного организма, так и индивидуального сознания превратилась чуть ли не в основную примету «национального бытия».

Но можно ли это назвать «австрийской спецификой»? По мере чтения антологии мы все больше убеждаемся в том, что «австрийская специфика» хотя и всюду присутствует, но невыделима в чистом виде и что по сути дела являет собой сугубо литературный феномен, что он совершенно немыслим вне Австро-Венгрии как некоего конгломерата наций, взаимно влияющих друг на друга. Поэтому-то и неудивительно, что с крушением прогнившего государственного колосса, удерживавшего самые разнородные этнические группы в одном административном целом, homo austriacus как бы лишился питающей его почвы, и должно было пройти много лет, чтобы он смог переварить, осмыслить и осознать происшедшую катастрофу. «Самым сильным переживанием моей жизни,— писал Йозеф Рот,— была гибель моей отчизны, единственной, которой я когда-либо обладал: Австро-Венгерской монархии». Вместе с Ротом распад империи Габсбургов если не как трагедию, то во всяком случае как большую личную утрату воспринимали Ф. Т. Чокор и Р. Музиль, Х. Додерер и А. П. Гютерсло. Можно даже смело утверждать, что австрийский роман XX века в основном только тем и занимался, что анализировал, осмыслял, изображал и оценивал имперскую катастрофу. О привязанности к историческому прошлому Австрии свидетельствуют и многие рассказы сборника, написанные уже после крушения монархии. Это и «Человек с тремя башмаками» Ф. Герцмановского-Орландо, и «Смерть во славу традиции» Э. фон Хорвата, и «Марези» А. Лернет-Холения, и забавная история Ф. Кайна «Как мой отец Габсбургам добром отплатил».

В послевоенной австрийской прозе эта проблематика заметно ослабевает. Для И. Айхингер и Г. Айзенрайха, Т. Бернгарда и П. Хандке, И. Бахман и Б. Фришмут вряд ли еще существует типичный homo austriacus. Их взгляд направлен отнюдь не в прошлое, а пытается постичь настоящее под знаком будущего. Австрийский писатель Фриц Хабек, пришедший в литературу уже после войны, как-то писал: «Нынче принято говорить, что Австрия благодаря своему расположению и своей посреднической роли многое восприняла от других культур: от турок — фатализм и кофе, от чехов — музыкальность и мучные блюда, от итальянцев — чувственную жизнерадостность и вино, что ее жители народец

приветливый, не расположенный к войне и преданный музам...» Но и Хабек находит одну типично австрийскую черту — иначе ведь он и не был бы австрийцем: это — фантазия, по словам Хабека, «средоточие всего того, что обычно приписывают австрийцам». Знакомство с рассказами, объединенными в антологии австрийской новеллы XX века, убеждают нас в том, что фантазии у homo austriacus более чем достаточно. А ведь это всего лишь его визитная карточка.

Р. КАРАЛАШВИЛИ

Издано за рубежом

ИСТОРИЧЕСКАЯ ТРАГЕДИЯ И ТРАГИЧЕСКИЙ ФАРС

Colin Johnson. Long Live Sandawara! Melbourne, Quartet Books, 1979.

Колин Джонсон. Да здравствует Сандавара! 1979.

На суперобложке этой небольшой книжки во весь рост снят широко улыбающийся молодой человек спортивного вида, в очках и ковбойке — Колин Джонсон, австралиец-абориген, писатель, историк, научный сотрудник университета штата Виктория. Издательская аннотация сообщает, что за тринадцать лет, прошедших со времени выхода первой его повести, «...автор много путешествовал по Юго-Восточной Азии, жил в США и Лондоне. Семь лет он был монахом-буддистом и поныне состоит членом индийского религиозного общества Маха Боди». В немногих этих строчках спрессовано немало любопытных фактов, общий смысл которых, казалось бы, должен обнаруживаться в новой книге Джонсона, появившейся после долгого перерыва.

«Да здравствует Сандавара!» — действительно, роман с четко выраженной мыслью, авторская позиция ничуть не зашифрована, как ни скуп романист на авторский комментарий. Однако если есть свойства, менее всего этой книге присущие, то к ним следует отнести отрешенность от дел мирских и стремление к нирване. В дела мирские писатель погружен полностью, правда, неизменно поддерживая дистанцию между собой и происходящим. С первых же страниц он, без лишних слов, втягивает читателя в свое повествование, разворачивающееся словно кадры черно-белого кинофильма. Вся стилистика романа кинематографична, он читается как сценарий, и не только потому, что с начала до конца выдержан в настоящем времени. Кинематографична сама повествовательная манера К. Джонсона, дробно описательная и резкая, подчеркнуто плоскостная, даже когда речь идет о движениях душевных. Впрочем, психологические сложности здесь, как правило, остаются за кадром. Крупным планом даны лишь ведущие, направляющие линии характера, вернее, характеристики персонажа, его склонностей и поведения.

Все это сказано совсем не в умаление достоинств романа Колина Джонсона — книги бесспорно сильной, тревожащей, часто горько-юмористичной и жестокой. Мы говорили о кинематографической технике повествования. Фактически в нем заключен не один, а два фильма, созданных в одной и той же манере, но существенно различающихся между собой. И не только сюжетами — разные времена, другие события, иные люди,— но и самой тональностью. Суровый, лаконичный, напряженный рассказ о делах давно минувших. И столь же сжатый, фабульно напряженный репортаж о делах нынешних. В обеих историях главное действующее лицо носит имя Сандавары. Сандавара первый, или настоящий, в самом начале нашего века поднял и возглавил восстание племени аборигенов Западной Австралии против белых колонизаторов и несколько лет подряд, в кровавых набегах и стычках, изматывал силы местной полиции и карательных отрядов. Рассказ о деяниях Сандавары и его соратников, начатый стариком-аборигеном Нооораком, давно уже ютящимся в городе Перте под железнодорожным мостом, подхватывает автор, но его повествование все время переплетается с воспоминаниями Нооорака, которому в детстве довелось встретить Сандавару, ныне живущего в памяти аборигенов как легенда. Легендарны его воинственная предприимчивость, неуязвимость, почти мистическая связь с родной землей, которая много раз чудесным образом спасала его, укрывала в огромных лабиринтах-пещерах, где на помощь приходили тени предков и всемогущие духи — покровители племени... И все же в конце концов все они погибли — и Сандавара и его люди,— кто в бою, кто на виселице, кто на каторге. Восстание было обречено на гибель, чужеземцы остались на землях коренных жителей края. Все это Нооорак, сам в прошлом бывший вождем и «хранителем Закона» своего племени, понемногу рассказывает, сидя у костра, шестнадцатилетнему Алану, нунгарцу, которого в детстве увезли в Перт из родной деревни. В Перте он и рос, сначала в приюте, откуда упорно сбегал, а потом — на городских улицах.

Этот австралийский Гаврош — строптивый, неунывающий, энергичный — стал признанным вожаком группки безработной аборигенской молодежи, обосновавшейся на окраине Перта в трехкомнатной «хазе»; домик принадлежит самому благополучному среди них, англоиндийцу Гари, который прячется от своих респектабельных родителей. Компания живет в этом пристанище в постоянном разгроме и грязи (вся обстановка — засаленные матрацы и портреты революционных вождей, в том числе и Сандавары), живет в бездействии, беззаботности и безразличии к миру, нарушаемом лишь краткими эмоциональными взрывами местного значения. Едят стряпню увлеченного кулинара Роба, пускают бутылку по кругу, балуются наркотиками, поворовывают продукты, поют под

гитару (кое-кто мечтает о собственной поп-группе). Но более всего и длительнее всего занимаются «любовью» — в разных сочетаниях и в самых малоприспособленных помещениях. (Надо заметить, что этот род деятельности автор описывает, пожалуй, с излишней скрупулезностью.)

Вот эта хипповая коммуна юнцов, австралийский вариант таких же сообществ, еще в середине 50-х годов возникших в Америке и Западной Европе, и призвана стать воинством Алана, нового Сандавары. Жадно слушая клочковатые, туманные рассказы Ноорака (старика требовалось «завести» с помощью бутылки дешевого вина), Алан не просто переносится в прошлое, он перекидывает мостик из прошлого в настоящее и ощущает себя тем самым человеком, которому суждено соединить два края пропасти, возродить героические традиции предков. Стратегия и тактика Сандавары была проста: убивать белых, отбирать оружие, обращать его против врага. Новому Сандаваре и его приспешникам (все они получают соответствующие имена) нет нужды убивать, чтобы раздобыть оружие, да и не убийцы они по складу,— достаточно произвести ночной налет на оружейную лавку. «Коллективное сознание» воинов Сандавары было естественным, оно скреплялось Законом племени, его верованиями, примитивной и незыблемой системой этических представлений. Нарушение Закона каралось жестоко, но даже сам нарушитель не сомневался в справедливости кары. И вот Алан без долгих размышлений (они у этой молодежи не в чести) решается на трансплантацию духа и деяний архаичного прошлого в современность. Правда, он при этом черпает идеи и из других источников: вспоминает беседы с неким мистером Миллером из книжной лавки (видимо, радикалом), не меньшее впечатление оставила и встреча с мистером Роулингом — умеренным лидером аборигенов, который собирается пройти в парламент...

Словом, программа нового Сандавары достаточно сумбурна, одно он знает твердо, вернее, чувствует всем своим существом: их окружает враждебный мир. Алану кажется, что он нашел современную форму для того единства, которое было присуще воинам Сандавары. Надо устроить молодежный Центр для нунгарцев Перта, настоящую коммуну человек на пятьдесят. Дать им не только общую крышу над головой, но и общий дом с собственным Законом и там готовить их к предстоящим боям. Один лишь Алан да преданная ему Сю, чуть более «образованная», чем прочие, строят какие-то далеко идущие планы и произносят фразы, звучащие лозунгами. Для остальных: кулинара Роба, пылкой Риты, боязливого Гари, ревнивого Грега, музицирующего Чарли, пьянствующего Тома и совсем зеленых Салли и Джейн (Алан увел их из дома для несовершеннолетних правонарушителей) — Центр представляется лишь большой и более комфортабельной «хазой», где каждый может жить в свое удовольствие. Но как бы там ни было, для создания Центра нужны средства. Поскольку на банковский кредит эти юные граждане Перта рассчитывать не могут, Алан задумывает экспроприацию. Проще говоря, предлагает ограбить банк. Есть у него в запасе и подходящая к случаю историческая ссылка... Впрочем, люди нового Сандавары и без всяких исторических примеров не возражают против этого предприятия, сомнениями мучается только Том (ныне именуемый Капитаном) — он старше всех и уже побывал в тюрьме. Операция, продуманная и простая, намечена на канун муниципальных выборов. Оружие припасено, есть и машина — отремонтированный драндулет того же Гари, который, как и Чарли, вскоре выбывает из игры и возвращается в семейное лоно...

На штурм банка идут семь человек — трое парней и четверо девушек, в том числе Салли и Джейн (теперь их зовут Вандара и Теравара), которых это приключение приводит в щенячий восторг. Грабители («Нет, не грабители — городские партизаны»,— с горьким юмором комментирует автор) подкатывают к банку перед закрытием в комбинезонах и карнавальных масках, в машине, разрисованной предвыборными лозунгами. И через несколько минут выбегают с добычей: стрелять не пришлось, все послушно легли на пол... А у дверей банка их ждут уже две машины с полицейскими. Блюстители порядка бросаются на землю и тут же открывают прицельный огонь по налетчикам. Привел полицию Рой — фигура зловещая, давно околачивающийся вокруг «хазы» бродяга, сексуальный маньяк, который семнадцать лет пробыл в психиатрической больнице. Ребята питали к нему живейшую антипатию, вечно гнали прочь, и мстительное чувство, как и желание выслужиться, толкнуло Роя на донос. Чудом спасся один лишь Алан; прихватив пачку денег, пролив — как скупо сообщает автор — последние слезы своего детства над изрешеченными телами товарищей, он вместе с Нооракой покидает город: оба намерены отправиться в буш...

Таков кровавый финал и жестоко-иронический итог попытки нового Сандавары поднять свое мини-восстание против сегодняшних колонизаторов. Еще один вариант исторической трагедии, повторившейся как фарс,— тоже трагический, но и жалкий, и мучительный. Колину Джонсону, разумеется, бесконечно жаль этих запутавшихся, темных, уже основательно подпорченных, но по сути еще далеко не преступных ребят. Это дети насилия, дискриминации, растленной субкультуры, ограбленные с рождения не только социально, но и духовно. Вероятно, каждый из них в нормальных условиях мог бы стать человеком — нет в них (пока) ни злобы, ни подлости. Но Колин Джонсон не очень-то верит в то, что нормальные условия в современной Австралии — реальная возможность. И поэтому его финальная эпитафия над могилами убитых детей убийственно кратка: мертвые, они гниют в земле, как скорее всего сгнили бы, оставшись в живых. «Да здравствует Сандавара!» — безиллюзорная, горькая книга, ее мажорное, воинственное заглавие звучит жестокой насмешкой. Колин Джонсон-историк тщательно и любовно воскрешает прошлое своего народа, его мифы, верования, обычаи, все это ему близко и дорого. И все же он не склонен подменять олеографией историческую

правду — война, которую Сандавара вел со столь неравными силами, война, обреченная на поражение, предстает не только в своем героическом, но и в свирепом, варварском облике. Однако у нагих воинов Сандавары была четкая цель, чувство почвы, чувство единства. Все это совершенно недоступно джинсовому воинству Алана. По сути именно они-то и могут быть названы «голыми людьми на голой земле». Все это звучит достаточно безнадежно. И, вспоминая широкую веселую усмешку Колина Джонсона, невольно думаешь: что же питает его надежды? Что же именно? Быть может, об этом мы узнаем из новых его книг.

И. ЛЕВИДОВА

СКАЗКА-ЛОЖЬ

Eric Segal. Oliver's Story. New York, Harper and Row, 1977.
Eric Segal. Man, Woman and Child. New York, Harper and Row, 1980.

Эрик Сигел. История Оливера. 1977. Эрик Сигел. Мужчина, женщина и ребенок. 1980.

Эрик Сигел, преподаватель античной литературы из Новой Англии, прославился не своими работами об искусстве слова в Древней Греции и Риме. Успех — а с ним и почести, какие оказываются разве что звездам экрана или королям эстрады,— пришел к нему в 1970 году, когда профессиональный читатель и объяснитель литературы Сигел выступил в роли беллетриста. За перипетиями «Истории любви», затаив дыхание и роняя слезы, следили читатели в Америке и за ее пределами, экранизация романа в 1972 году отозвалась очередями у кинотеатров и внушительными прибылями фирмы, выпустившей диск с музыкой из фильма. Оказалось, что специалист по античным архетипам неплохо знаком и с мифологемами современного сознания американцев. Ведь сочинить бестселлер — это значит угадать. Угадать чаяния, хотения, иллюзии, страхи, мифы, владеющие заказчиками, потенциальными читателями,— и вернуть им их чудесно преображенными в виде сказки, настойчиво претендующей на то, что она — быль.

Первый успех такого рода к Сигелу пришел еще в 1968 году, когда по его сценарию был сделан полнометражный мультфильм «Желтая подводная лодка», но тогдашний триумф был, так сказать, косвенным, неявным: на фильм стремились прежде всего из-за участвовавшего в нем ансамбля «Битлс». «История любви», однако, показала, что скромный соавтор «великих битлов» умеет понравиться публике и в одиночку, без поддержки этих признанных кумиров. Стратегический ход Сигела-беллетриста был ошеломляюще прост. Он не стал копировать ходячие образцы молодежной прозы с ее «пощечинами общественному вкусу» — курением марихуаны, легкостью связей и прочими изюминками и клубничинами. История любви двух студентов —Дженнифер Кавиллери, дочери бедного итальянца-кондитера, и Оливера Барретта, сына крупного магната-финансиста, была рассказана очень просто — без потоков сознания и экскурсов в область психопатологии, очень сдержанно — без назойливых постельных довесков, и очень сентиментально — в традициях доброй старой мелодрамы. Книга с печальным концом — героиня умирала от лейкемии — стала счастливой в писательской судьбе Сигела, который, однако, не торопился вновь публиковаться. Только семь лет спустя состоялось ожидаемое миллионами поклонников Сигела «возвращение Оливера».

В «Истории Оливера» те же интонации и приемы, что и в «Истории любви». Герой напорист, остроумен, временами грубоват, даже хамоват, но, словно предупреждает автор,— это все от искренности и непосредственности. Впрочем, и предупреждать не надо: в американской культурной традиции издавна живет недоверие к изящному слову и гладкой фразе как к орудиям лицемерия, а посему получается, что грубость герою не в укор, а даже в похвалу. Но если в первом романе влюбленный Оливер был в гармонии с самим собой и в разладе с миром деловых отношений, олицетворяемым Барреттом-старшим, упорно не желавшим признать Дженни (без гроша за душой, итальянка, католичка), то в «Истории Оливера» все наоборот. Отношения с родителями и деловым миром кое-как налажены (Оливер получил адвокатскую практику), но зато внутренней гармонии и умиротворенности как не бывало. Жизнь без Дженни ему в тягость, все опротивело и осточертело. Друзья, и самый близкий среди них — отец Дженни, уговаривают его жениться, но благие советы герой пропускает мимо ушей, хотя иные — например, рекомендации психоаналитика доктора Лондона — обходятся ему недешево. Впрочем, без психоаналитика, иронично напоминает автор, интеллигентному американцу в наши дни сложно разобраться в путанице чувств и переживаний и отыскать верный путь к желанной «адаптации».

Над специалистами по подсознанию в американской беллетристике подшучивают часто и охотно. Настоящим мужчинам — истинным американцам — психоаналитические няньки ни к чему: они сами кузнецы своего счастья. Так и Оливер: пусть растолковывает ему его же душу доктор Лондон, пусть суетятся друзья, знакомя его с идеальными, на их взгляд, девушками,— свое счастье он постарается отыскать сам. Счастливый случай сталкивает его с Марси Нэш, которая заставляет его забыть тоску и скорбь. Марси юна, хороша собой и загадочна — тщательно скрывает свой адрес, род занятий, а временами таинственно исчезает, оказываясь то в одном, то в другом городе. Оливер заинтригован. Оливер мучим приступами ревности. Оливер влюблен. Вскоре разгадывается и «инкогнито» Марси Нэш. По профессии она оказывается миллионершей, точнее сказать владелицей сети магазинов готового платья по всей стране — отсюда и таинственные исчезновения-командировки. Дела магазинные идут неплохо, а вот с делами сердечными — беда. Марси разочаровалась в людях. Слишком многих из тех, с кем сталкивала судьба красавицу миллионер-

шу, привлекали к ней только деньги — например, ее бывшего мужа, женившегося не на Марси, а на ее капиталах. В былые времена Золушки мечтали стать принцессами. В наши дни принцессы начинают всерьез подумывать о том, как прекрасно быть Золушкой. Несчастные и внутренне одинокие магнаты, кинозвезды и прочие баловни судьбы, которых обожают за их деньги и славу, а не за неведомые миру замечательные личные качества — давняя тема американской массовой литературы, которая, похоже, стремится «восстановить равновесие», резко нарушенное теми американскими художниками слова, кто в свое время, забыв «сильных мира сего», рассказал сочувственно и с симпатией о «маленьком человеке». Миллионеры — тоже люди, полюбите их, богатство и власть — не роскошь, а тяжелое бремя — так и несется со страниц таких защитников «обиженных богачей», как С. Шелдон или Г. Роббинс.

Марси Нэш вроде бы, наконец, повезло. Появился человек, которому нет дела до ее миллионов, которому нужна только она. Марси нравится Оливеру, нравится его друзьям, нравится его родителям. До свадьбы рукой подать, и молодые отправляются в предсвадебное путешествие в Гонконг, где у невесты опять какие-то дела. Очередной случай — и Оливер оказывается на фабрике рубашек, которой владеет его возлюбленная. На этой фабрике в обход всех существующих законов о труде работают — в ужасных условиях и за нищенскую плату — маленькие дети. Потрясенный жених уговаривает невесту решительно пересмотреть свою экономическую политику. Или детский труд, ставит он ультиматум, или семейное счастье. Ни минуты не колеблясь, Марси выбирает детский труд да еще напоминает Оливеру, что капиталы его семьи сколачивались весьма похожими методами (увы, она права, Барретты одними из первых в Америке XIX века пользовались детским трудом на своих фабриках). Любовь и счастье рушатся, как намекает автор, по социальным обстоятельствам. Но в это, впрочем, верится с трудом. «Социальные обстоятельства» привлечены к развязке исключительно в силу «беллетристической необходимости». Массовая литература — чтобы оставаться массовой — не может не учитывать настроения недовольства социально-политической реальностью Америки и отражает эти настроения в мистифицированном виде. В нынешней атмосфере Америки с обилием политических скандалов и разоблачений откровенную апологетику читать не станут. Массовая литература теперь охотно «бичует», «разоблачает», «негодует». Не все подряд, конечно, есть стандартные мишени — дурной капиталист, жулик-полицейский, продажный политик. Эпилог «Истории Оливера» выполнен в лучших традициях нравоучительной литературы: пороку противостоит добродетель. Любовь к Марси оказалась вытесненной у Оливера (прямо как и у самой Марси) любовью к делу. Оливер совершает то, о чем его тщетно просил на протяжении двух романов Барретт-старший: сменяет отца на посту руководителя финансово-промышленного треста. Подойдя к работе с чувством социальной ответственности, он добивается и прибылей, и подлинных, человеческих отношений с подчиненными, что, внушается читателю, важнее всяких прибылей. Впрочем, читатель-то соглашается, но насколько серьезен сам автор, поддерживая популярные в умеренно-консервативных кругах США лозунги «сотрудничества» и «конструктивной деятельности» в противовес огульной критике левых нигилистов, сказать трудно. Слишком откровенно порой проглядывает его остраненно-ироническое отношение и к своим героям, и к своей роли «сказочника», чтобы не заподозрить его в желании не только быть услышанным и одобренным миллионной аудиторией, но вдобавок к тому же еще и посмеяться над теми, кто принимает его истории за чистую монету.

В романе «Мужчина, женщина и ребенок» Сигел решил расстаться — надолго ли? — с Оливером, но остался верным удачно найденной однажды мелодраматической модели. Главный герой Роберт Беквит — отличный специалист и прекрасный семьянин. Его обожает жена Шейла, любят дочери — девятилетняя Паула и двенадцатилетняя Джессика, уважают коллеги и ценят друзья. Одним словом, образцовая семья, какую нынче нечасто встретишь на страницах американской прозы. И вот как гром среди ясного неба — катастрофа. Известие о смерти в автомобильной катастрофе некой Николь Герен. Она умерла в далекой Франции, оставив девятилетнего сына. Теперь единственный близкий человек для него — Роберт Беквит, который ему... отец. Мимолетный, почти забытый роман десятилетней давности грозит теперь «идеальному мужу» Роберту Беквиту непредвиденными осложнениями. С одной стороны, надо как-то устраивать судьбу Жан-Клода, с другой, для этого надо посвятить в случившееся Шейлу. Новость вносит в упорядоченный и гармоничный мир супружеских отношений Беквитов разлад. Шейла сбита с толку, не знает, как себя вести и что делать. Рухнула ее вера в мужа, в искренность его любви, в будущее их отношений. Тем не менее она мужественно соглашается принять Жан-Клода в их доме, разумеется, как гостя, а там, мол, видно будет.

Очаровательный и воспитанный, Жан-Клод приходится по душе ничего не подозревающим сестрам. Но случай — мощный двигатель сюжета у Сигела, и в один прекрасный день Паула и Джессика узнают тщательно скрываемую от них правду. В доме разражается настоящий скандал, семья на грани распада. Жан-Клоду приходится собираться в обратный путь. Но вместо самолета он попадает на больничную койку с перитонитом. Его жизнь на волоске. Несчастье примиряет и сближает членов распавшейся семьи: они понимают, как необходимы друг другу, каким близким и родным стал для них Жан-Клод. Его просят остаться и стать членом семьи, но мальчик не хочет менять принятого решения об отъезде, и не потому что не прощает нанесенной ему обиды: во Франции его родина, там жила мать и хотела, чтобы там жил он. «Я люблю тебя, Жан-Клод. Не забывай меня!» — бормочет про себя отец, посадив сына на самолет.

Вот, собственно, и весь роман, вернее,

его фабульная сторона. Не следует забывать, однако, что у бестселлеров массовой литературы за внешними положениями нетрудно обнаружить второй план, благодаря которому внимательный читатель может узнать немало любопытного о психологии если не самих персонажей, то уж во всяком случае читателей, общества, где производятся и потребляются подобные произведения. Вторжение «незаконнорожденного» Жан-Клода нанесло удар семейной гармонии Беквитов. Но, познакомившись поближе с этими «типичными средними американцами», совсем не просто решить, счастье ли рухнуло или разбился вдребезги «public image» — «публичный образ» счастья, тот самый фасад, который должен быть обращен к миру «других» и уверять их, что все в порядке. Слишком многое в речах и поступках вроде бы симпатичных Беквитов заставляет усомниться в глубине осознания ими человеческого драматизма случившегося. Слишком многое указывает на то, что неверность Роберта возмутила его жену и дочек своими опасными последствиями для материально-утилитарной стороны их союза: как же теперь их комфорт, их благополучие, их уютный, от всего чужого и постороннего прочно отгороженный мир? Как же, иными словами, все то, что составляет святую святых буржуазной благопристойности? Можно, конечно, сказать, что Сигела «подвело перо»: при всей точности деталей быта и достоверности диалогов люди в романе выглядят какими-то «картонными». Но даже если это следствие упущений автора, то и тут, парадоксальным образом, восторжествовала некоторая художественная справедливость. Слишком многие реальные представители тех самых социальных слоев, о которых рассказывается у Сигела, носят в себе эту «картонность» и «нечеловечность».

Массовая литература приносит прибыли. И не только, заметим, коммерческие. За незамысловатыми героями и стандартными положениями скрываются вполне отчетливые — в духе правящей идеологии — уроки поведения в обществе. Важной и давней особенностью культуры Нового Света является нелюбовь американцев к принуждению, в том числе и к наставлениям представителей правящей элиты, как смотреть на мир. Ну а если то же самое сообщается задушевно, конфиденциально, да еще с долей иронии к официальному, то соответствующие рекомендации усваиваются не в пример лучше. Личное мнение свободного художника (в данном случае автора рецензируемых романов) слишком часто выказывает удивительную близость идеологии «стопроцентного американизма», хоть и подчеркивает при всяком удобном случае коренное от нее отличие. Американцам надоело читать про неврозы, распад и разобщенность, нещадно эксплуатируемые в литературе США последних лет. Сигел пишет о прелестях семейного очага, чистой и преданной любви, о необходимости «дело делать», а не критику наводить. О том же твердят и штатные пропагандисты американского образа жизни, ратуя за «семейный очаг», но предлагая понимать его и шире. Единая семья — это Америка, где — что правда, то правда — есть плохие капиталисты (Марси Нэш), но есть и хорошие (Оливер Барретт), где все может быть очень плохо, если не уймутся левые радикалы, и где все может стать замечательно, если не только Оливер Барретт, но и другие осознают необходимость служения обществу — именно в том смысле, в каком понимает это герой Сигела. Знаменательно, что свободная фантазия Сигела-беллетриста аккуратно соблюдает правила американского хорошего тона. Он позволит умереть от лейкемии Дженнифер Кавиллери — итальянке и католичке, но не посмеет тронуть отвечающего классическим признакам «стопроцентного американизма» Оливера Барретта — белого, англосакса, протестанта. Он устроит автомобильную катастрофу Николь Герен — и вовсе не просто потому, что так нужно по сюжету. Это будет ей наказанием за пренебрежительное отношение к институту брака — она не верит в святую необходимость семейных уз и легкомысленно надеется воспитать сына одна, отчего будут только неприятности и ему, и верившему в супружескую любовь Роберту Беквиту (даже тогда, когда он позволил себе поддаться очарованию Николь). Вот так и получится, что страдания хороших американцев вроде Барретта и Беквита во многом вызваны вторжением в их жизнь «чужестранцев» (а беды Америки, стало быть, оттого, что она слишком носится с разными «посторонними», норовящими побольше урвать от нее, открытой и щедрой).

Оливера Барретта настораживала способность его возлюбленной Марси Нэш нравиться всем без исключения. Это профессиональное качество бизнесмена. Эрик Сигел как писатель вполне последовательно придерживается правила своей же героини: автор бестселлера тоже бизнесмен, не имеющий права позволить себе роскошь индивидуальной позиции, интересной одним, но, увы, способной отпугнуть других. Никого не отпугнуть, угодить всем — таков девиз общественного сервиса и массовой литературы. Разумный в первом случае, он оказывается далеко не столь безобидным в приложении к сфере духовной. Издавна существовало искусство как откровение, как плод личных наблюдений и убеждений. Картины мира, им рождаемые, могли различаться по степени истинности и совершенства, но так или иначе отличались искренней и бескорыстной работой ума и сердца. XX век узнал расцвет искусства, где личное начало — мнения, убеждения, симпатии — не нужны и мешают. Стремясь обслужить возможно большее число потребителей, оно дразнит видимостью подлинности и, оставаясь на деле холодно-безучастным к реальной жизни, умело имитирует то искренность, то цинизм, то нигилизм, то «идеалы» — в зависимости от обстоятельств — и не в последнюю очередь от того, как щедро будет оплачен заказ.

СЕРГЕЙ БЕЛОВ

■

Из месяца в месяц

АВСТРИЯ

АВТОБИОГРАФИЧЕСКИЙ РОМАН ТОМАСА БЕРНГАРДА

Зальцбургское издательство «Резиденц» выпустило роман Томаса Бернгарда «Ребенок». Эта пятая, завершающая книга цикла его автобиографических романов возвращает нас к раннему детству писателя.

Детство это было полно горечи, боли и унижений. Отца мальчик не знал, даже имя его в семье запрещалось произносить. Ребенок родился в голландском монастыре, воспитывался сначала на рыбацком хуторе, затем в Вене потом в деревне у бабушки с дедушкой, оттуда попал в маленький провинциальный городок и наконец помещен был в интернат в Зальцбурге. Уже этот перечень дает представление о неустроенности и одиночестве, о неуверенности и страхе, которыми были отмечены ранние годы героя Бернгарда.

Мать по-своему любила его, но для нее ребенок был символом собственного жизненного крушения. «Сын дьявола»,— услышал он однажды убийственные слова, глубоко запавшие в его душу. В результате он начинает чувствовать себя «преступником», отождествляет себя поневоле с обманщиком-отцом и, «как он», становится противником матери.

Один из самых светлых образов в книге, как и в предыдущих романах цикла,— дед героя, провинциальный писатель и философ Иоганнес Фроймбихлер, гордый, презирающий аристократию, вводящий внука в высокий мир духовных ценностей. В то же время в нем открываются черты эгоистичного «патриарха», навязывающего всей семье свои взгляды. «Он тоже несет свою долю ответственности за одиссею ребенка в море отчаяния»,— пишет рецензент швейцарского еженедельника «Вельтвохе» Алиса Виллон.

Противостоять этому отчаянию писателю во многом помогает юмор. «Жизнь — трагедия, в лучшем случае мы можем сделать из нее комедию»,— пишет Бернгард. «И это ему удается,— замечает в газете «Франкфуртер альгемайне» критик Томас Анц.— Он комедиант, его юмор отвоеван у жестокой действительности и, оказывается, над пережитым страхом можно посмеяться». Бернгард и в этом романе подтвердил свою репутацию писателя-философа, заключает рецензент.

ВЕНГРИЯ

ПРАЗДНИК КНИГИ

Праздник книги порадовал венгерских читателей многими новинками художественной литературы. Прежде всего это книга Ласло Дюрко «Эскиз портрета на историческом фоне», посвященная жизни и деятельности Яноша Кадара.

Читатели приобрели традиционные ежегодные антологии: поэтическую — «Лучшие стихи года», рассказов — «Панорама», пьес — «Авансцена», социографии — «Глазами писателей».

Порадовали любителей книги и современные писатели своими последними произведениями. Это книги авторов, чьи имена знакомы и советским читателям: сборник очерков, эссе, воспоминаний Эндре Иллеша «Магия», трехтомник пьес Иштвана Эркеня «Драмы», романы Эндре Фейеша «Юноша, у которого было лицо ангела», Эмиля Коложвари Грандпьера «Предыстория одного супружества», Анны Йокаи «Лестница Иакова», новые сборники стихов Андраша Фодора «Литография», Маргит Сечи «Джип розового цвета», социографический сборник Дёрдя Молдовы «Небесная колесница» и много других книг.

По их тематике можно судить, что волнует сегодня венгерских писателей.

О том, что получается, когда кто-то из молодых прямо, невзирая на обстоятельства, не учитывая времени и места, «рубит с плеча», не умея уступить в малом во имя важного и принципиального, — повествует в своем романе Эндре Фейеш. Он показывает и будни молодежи, стремящейся сегодня быть похожей на славную плеяду коммунистов 30—40-х годов, составивших в свое время поколение «светлых ветров».

Как современная эпоха сказывается на характерах, на взаимоотношениях людей, составляющих «микроячейку общества» — семью, — тема новых романов Эмиля Коложвари Грандпьера и Анны Йокаи.

О жизни современной художественной интеллигенции рассказывается в своеобразном романе «Кто ручается за безопасность?» очень популярного сейчас писателя Петера Эстерхази. Книга «Идеология и культура в 70-е годы» известного венгерского эстетика, критика, литературоведа Иштвана Германна, занимающегося философскими проблемами литературы, является продолжением его исследований: «Проблемы буржуазного декаданса» (1967), «Проблемы социалистической культуры» (1970) и «Проблемы современной культуры» (1974). В новой книге Иштвана Германна, отмечается на страницах книжного обозрения «Кеньввилаг», автор рассматривает общественно-экономические отношения и их влияние на идеологическую и культурную жизнь.

По повести Гюнтера де Бройна «Бранденбургские изыскания» (см. ее перевод в журнале «Иностранная литература», № 1, 1982), на студии ДЕФА создан фильм с тем же названием. Рецензенты отмечают удачную работу режиссера Роланда Грэфа, сумевшего показать на экране на первый взгляд «некинематографичный» сюжет, сохранив все особенности интересной, проблемной повести.

На снимке: Герман Байер и Курт Бёве — исполнители главных ролей в фильме «Бранденбургские изыскания».

(Газета «Берлинер цайтунг»).

По мнению рецензентов, удались автору и другие персонажи романа: старый коммунист Херцауге, отец Вуттке, батрак Меннерих. «Вогацкий рассказал о трудном периоде нашей истории, — отмечает газета «Нойес Дойчланд».— Роман написан с большим юмором, он легко и весело читается, вызывая у читателей добрую улыбку. Но это безусловно очень серьезная и умная книга».

ДАНИЯ

ХУДОЖНИК ВСЕГДА В СТРОЮ

Выдающемуся художнику Херлуфу Бидструпу исполнилось семьдесят лет. Каж-

На снимке: рисунок Херлуфа Бидструпа. Надпись под ним гласит: «Атомные ракеты должны быть уничтожены до того, как они уничтожат народы Европы».

(Газета «Ланд ог фольк»)

ГДР

НОВЫЙ РОМАН БЕНИТО ВОГАЦКОГО

«Шутовской наряд» — так назвал свой новый роман известный писатель Бенито Вогацкий (о нем см. «ИЛ», 1977, № 5; 1979, № 11).

Действие романа охватывает небольшой период недавнего прошлого с 1948 года до середины 50-х годов. Главный герой романа — слесарь Улли Вуттке. Его посылают на руководящую работу в деревню. Он с готовностью берется за дело, но излишняя торопливость с внедрением новых методов часто приводит к неудачам, которые он мужественно переносит. К Вуттке многие относятся очень настороженно, не понимая, что под внешней беспечностью и балагурством скрывается человек, болеющий за общее дело, человек с щедрым сердцем...

«Вуттке — истинно народный герой, — пишет рецензент газеты «Берлинер цайтунг». — Он учится на своих ошибках, постепенно добиваясь успеха в порученной ему работе».

дый раз, когда перед народами в послевоенное время вставали новые проблемы — борьба против атомного оружия, против разгула «холодной войны», против агрессии США в Корее, во Вьетнаме, в Латинской Америке или на Ближнем Востоке,— прогрессивное человечество было уверено, что Бидструп не останется равнодушным. В его рисунках вскрывается суть проблемы. Он всегда ставит к позорному столбу виновников международной напряженности, тех, кто готов ввергнуть мир в пучину ядерной войны во имя своих корыстных целей, кто стремится во что бы то ни стало помешать дальнейшему продвижению народов к свету и счастью — к социализму.

Присуждение Херлуфу Бидструпу международной Ленинской премии «За укрепление мира между народами» явилось справедливой оценкой его участия в борьбе за мир и прогресс.

ЕГИПЕТ

НОВЫЙ РОМАН ФАТХИ ГАНЕМА

Как сообщает журнал «Аль-Хиляль», известный египетский писатель Фатхи Ганем выпустил новый роман под названием «Слоны». Роман вышел в каирском издательстве «Роз эль-Юсеф».

Фатхи Ганем (род. в 1924 г.), впервые вступивший в литературу в начале пятидесятых годов,— автор нескольких сборников рассказов и романов. В своих произведениях он затрагивает острые социальные проблемы современного Египта. Наиболее известен его роман «Человек, потерявший тень» (1961), который был переведен на английский язык. По этому роману в Египте поставлен фильм.

ИТАЛИЯ

ВСПОМИНАЯ МАНЬЯНИ

Видимо, только теперь итальянцы в полной мере осознали, какой великой актрисы театра и кино они лишились,— девять лет спустя после смерти Анны Маньяни вновь вспыхнул интерес к творчеству актрисы, ее жизни, ее личности. Почти одновременно с показом ретроспективы фильмов с ее участием по римскому телевидению создан и специальный телефильм, посвященный актрисе, в котором о Маньяни вспоминают ее друзья и коллеги по искусству — актеры, режиссеры, журналисты, общественные деятели, художники, в том числе Эдуардо Де Филиппо, Ренато Гуттузо, Антонелло Тромбадори. Одна за другой вышли две книги: «Маньяни. Роман одной жизни» Патриции Каррано

На снимке: Анна Маньяни.

(Газета «Унита»)

в издательстве «Риццоли» и «Наннарелла. Роман об Анне Маньяни» Джанкарло Говерни в издательстве «Бомпиани» (Наннарелла — ласкательное уменьшительное от Анны, так римляне называли свою любимую актрису). Обе книги привлекли внимание печати, в журналах и газетах в связи с их публикацией, показом телефильма и ретроспективы появилось множество статей и рецензий и об этих работах, и о творчестве самой Маньяни, воспоминания о ней, попытки анализа отдельных этапов и моментов ее творчества.

Как видно из самих названий обеих посвященных Маньяни книг, это скорее романизированные биографии актрисы, чем исследования или воспоминания о ней.

Со страниц обеих книг, так же как из телефильма о Маньяни, встает яркий образ актрисы и человека. Трудное, нищее детство, первые шаги еще в довоенном кино, затем стремительный взлет в первые послевоенные годы, когда имя Маньяни неразрывно связывается с неореализмом: простая римская женщина Пина — роль, которую Маньяни сыграла в 1945 году в фильме Роберто Росселини «Рим — открытый город»,— один из самых сильных женских образов в послевоенном западном киноискусстве. Одновременно Анна Маньяни выступала на сцене ревю и варьете (часто в дуэте с прекрасным итальянским комиком Тото) с острыми сатирическими куплетами и песенками, неизменно носившими политическую и социальную окраску. В кино Маньяни работала с такими мастерами, как Лукино Висконти, Жан Ренуар, позднее Пьер Паоло Пазолини, создавший для нее фильм «Мама Рома».

Вся деятельность Маньяни в кино и театре была связана с новой, демократической и антифашистской итальянской культурой и искусством; когда же в итальянском кинематографе вновь одержало верх коммерческое, чисто развлекательное зрелище, Анна Маньяни все чаще отказывалась от ролей и почти перестала сниматься. Эту трагедию крупнейшей итальянской актрисы послевоенного периода освещают и авторы обеих книг, и все авторы воспоминаний и статей об Анне Маньяни. Актриса на короткое время вернулась на театральную сцену (в частности, турне в Советский Союз с труппой Дзеффирелли в 1965 году, когда Маньяни играла главную роль в пьесе Дж. Верги «Волчица»), затем предприняла попытку выступать по телевидению.

На киноэкране в последний раз Анна Маньяни мимолетно появилась в финале фильма Федерико Феллини «Рим» (1972). В 1973 году весь Рим провожал свою Наннареллу в последний путь — такие многотысячные толпы итальянская столица видела только на массовых митингах и демонстрациях.

КАНАДА

ТРЕТЬЯ КНИГА ДЭВИДА РИЧАРДСА

Издательство «Оберон» выпустило роман Дэвида А. Ричардса «Краткие мгновения жизни». Это третья книга молодого прозаика, известность к которому пришла с публикацией романов «Близилась зима» (1974, русский перевод — М., «Прогресс», 1980) и «Кровные узы» (1976).

Действие книг Ричардса происходит в «глубинке» восточной провинции Нью-Брансуик, где родился сам писатель. Герой его новой книги — фермер Джордж Терри, вынужденный вести отчаянную борьбу с крупными американскими землевладельцами, которые бесцеремонно заявляют свои права на исконные земли канадских фермеров.

По форме роман представляет собой поток размышлений - воспоминаний Джорджа о прожитой им нелегкой жизни, о драматической судьбе его детей и тяжелых жизненных испытаниях, выпавших на долю старика отца. «Энциклопедический размах в изображении действительности, которым отличается новая книга Ричардса, — пишет еженедельник «Маклинз»,— таит в себе немалую опасность для начинающего прозаика: ведь «семейная сага» лежит в основе великих романов Толстого и Фолкнера. Впрочем, — делает вывод еженедельник, — Ричардс, взяв на себя смелость соперничать с классиками, добился большего, нежели многие сегодняшние канадские романисты, рабски подражающие чужеземным образцам...» Журнал утверждает, что в канадской литературе появился новый, поистине уникальный художник.

КНР

ПОКАЯННОЕ ПИСЬМО БАЙ ХУА

Китайский поэт, писатель и киносценарист Бай Хуа подвергся в КНР критике за сценарий фильма «Горькая любовь». Главный герой киносценария, художник-патриот Линь Чэньгуан любит свою отчизну, но любовь оказывается «горькой»: художник побывал в тюрьме и при гоминьдановском реакционном режиме, и при Мао Цзэдуне. По сценарию был снят фильм, который заканчивается гибелью главного героя.

Критика обвинила Бай Хуа в том, что в его работе не проведена грань между «бандой четырех», которую в КНР критиковать официально дозволяется, и самим Мао Цзэдуном, критика которого запрещена. Бай Хуа обвиняют в том, что его сценарий приносит «вред родине». Негативные упоминания о Мао Цзэдуне в киносценарии привели китайскую печать в ярость. «Доверие и почитание массами председателя Мао нельзя примитивизировать и сводить исключительно к культу личности,— негодует «Жэньминь жибао».— Киносценарий оскорбляет нормальные чувства доверия и почитания революционного вождя народными массами». В полном согласии с официальной установкой газета называет допущенные Мао Цзэдуном «ошибки» не иначе как «ошибками великого пролетарского революционера».

Негодование газеты вылилось в поток обвинений против киносценария Бай Хуа. В нем обнаружили «заданность», «художественный просчет», высокомерие автора, стремление к индивидуальной исключительности и прочее. Высказывания писателя против Мао Цзэдуна квалифицированы как проявление «идей анархизма».

Полгода Бай Хуа отчаянно сопротивлялся, отказываясь признать свою вину и раскаяться в содеянном, но давление на автора стало слишком сильным. Кампания критики приняла общекитайский масштаб и стала похожей на прежние проработочные кампании, проводившиеся в китайской общественной жизни при Мао Цзэдуне. И вот основные органы китайской центральной печати поместили «Открытое письмо» Бай Хуа. В покаянном послании писатель вынужден сказать, что проработочная кампания против его произведения «исполнена любви и заботы обо мне»; на него не было оказано никакого давления, он чувствовал-де только одну «заботу»; ему «предоставили время для размышлений»... Признав собственное произведение «вредным», Бай Хуа подробно перечисляет допущенные в нем «ошибки»: «культурная революция была изображена как следствие культа личности товарища Мао Цзэдуна», киносценарий «повредил глубоким чувствам народных масс к революционному вождю», «неправильно изображать культ личности виновником оглупления народа»... Бай Хуа просит прощения, что сравнил Мао Цзэдуна с Буддой и заверил, что он еще раз понял «всеобщее руководящее значение выступлений Мао Цзэдуна по вопросам литературы и искусства в Яньани в 1942 году». Это заявление со стороны писателя оказалось «своевременным», поскольку в этом году в КНР отмечается 40-летие этих выступлений. «Открытое письмо» переполнено самых уничижительных выражений, напоминая и формой и духом покаяния китайской интеллигенции в период «культурной революции», который на словах называют в КНР «годами великого погрома».

Бай Хуа был морально сломлен, но наказание все же далеко уступило прежним расправам над китайской интеллигенцией. Писателя удалили из столицы, убрав с глаз иностранных журналистов. Теперь ему разрешили создавать новые произведения, которые обязательно должны быть «правильными».

КУБА

«КОМУ МЫ ОБЯЗАНЫ ЖИЗНЬЮ...»

Под таким заголовком опубликовала газета «Хувентуд ребельде» рецензию на новый роман Луиса Рохелио Ногераса, кубинского прозаика, сценариста и поэта, лауреата премии «Каса де лас Америкас» в жанре поэзии за 1981 год («ИЛ», 1981, № 9).

Название книги «Мы, оставшиеся в живых» не случайно повторяет строку известной поэмы Роберто Фернандеса Ретамара: оба произведения, столь разные по жанру, объединяет одна актуальная тема — защиты завоеваний кубинской революции от агрессивных посягательств американского империализма.

«Луис Р. Ногерас счастливо избежал в новом романе опасности, подстерегающей авторов, создающих на протяжении сравнительно короткого промежутка времени несколько произведений одного жанра,— повторения не только сюжетных схем и образов предыдущих книг, но и банальных штампов, которыми грешат детективы, преследующие чисто развлекательные цели. Одно из главных достоинств нового детектива Ногераса — его политическая направленность»,— отмечает литературный обозреватель га-

---

Музыкальный театр Гаваны поставил пьесу по повести Н. С. Лескова «Сказ о тульском косом Левше и о стальной блохе» в сценической редакции В. Константинова и В. Ратцера. Пьеса под названием «Тайна блохи» стала первой режиссерской работой Росы Маритсы Родригес, завершившей недавно свою учебу в Ленинградском институте театра, музыки и кинематографии.

Кубинская пресса и зрители с интересом встретили эту дипломную работу своей соотечественницы. Рецензент журнала «Боэмия» Марио Родригес Алеман отмечает яркость режиссерской трактовки знаменитой лесковской повести, выразительность сценических диалогов, динамичность действия. Высокой оценки, по мнению рецензента, заслуживают исполнители главных ролей: Росендо Хеада — в роли Левши, Марио Агирре — в роли царя. «Великолепной» названа музыка, написанная специально для этого спектакля В. Дмитриевым.

На снимке: сцена из спектакля.

(Журнал «Боэмия»)

зеты «Хувентуд ребельде».

Сюжетную основу романа составила история жизни-подвига кубинского разведчика, который, проникнув в специальные службы США, содействовал срыву агрессивных планов этой страны против социалистической Кубы. Писатель ставит своего героя в трагическую ситуацию: ему суждено испытать горечь осуждения членов своей семьи и близких друзей, поверивших в его предательство, в чем особую роль сыграло ЦРУ США, оболгавшее патриота, вся жизнь которого, как это выясняется в конце книги, была отдана делу революции и национального процветания кубинского народа.

«Роман Луиса Р. Ногераса «Мы, оставшиеся в живых» — заметное явление в жанре политического детектива». — подчеркивает рецензент.

ЛИВИЯ

«СРАЖАЮЩАЯСЯ ЛИТЕРАТУРА»

Редакция журнала «Аль-Фусуль аль-арбаа» — органа Ассоциации литераторов и деятелей искусства Ливийской Джамахирии — посвятила специальный номер состоявшейся недавно в г. Триполи международной встрече арабских поэтов «Сражающаяся литература».

В этом большом поэтическом форуме приняли участие 54 поэта — представители Сирии, Ливана, Йемена, Туниса, Алжира, Ирака, Египта, Ливии, борющегося палестинского народа, а также «Алексо» — арабской организации по вопросам образования, культуры и науки. Встреча была приурочена к празднованию годовщины ликвидации американских военных баз на территории Ливии.

Журнал публикует стихи поэтов — участников встречи, а также их выступления, в которых подчеркивается необходимость крепить боевое единство арабских литераторов в борьбе против империализма и внутренней реакции.

ПОЛЬША

«СЛОВО О БРОШКЕВИЧЕ»

Под таким заголовком газета «Трибуна люду» поместила статью, посвященную шестидесятилетию известного польского писателя Ежи Брошкевича. (Его роман «Долго и счастливо» был опубликован в журнале «Иностранная литература». 1972, № 6—8.)

Многолетняя работа в литературе, пишет автор статьи, явилась не только подтверждением таланта писателя, но и его удивительной трудоспособности: романы, пьесы, книги для детей, репортажи, радиопередачи, редакторская работа — «тридцать семь лет самоотверженной работы на литературной ниве, которая дала прекрасный урожай. Достаточно отметить тот факт, что произведения Брошкевича переведены на двадцать пять языков».

Когда-то Брошкевич начинал как талантливый пианист, будучи студентом консерватории, выступал на публичных концертах, но война разрушила все планы. После войны он стал выступать в печати как музыкальный критик, а потом и как прозаик.

Когда в 1951 году вышла книга Ежи Брошкевича о Фредерике Шопене «Образ любви», знакомая советскому читателю, выдающийся критик Казимеж Выка написал о ней: «К этой прекрасной и мудрой книге должен обращаться каждый, кто хочет не только познать Шопена, но и понять, каким образом возникают истинные связи художника с народом и как нелегко эти связи обрести».

Последним, самым значительным произведением в творчестве Ежи Брошкевича является философский роман «Доктор Твардовский», вызвавший широкое обсуждение и вошедший в «Коллекцию современной польской литературы», включающую лучшие прозаические, поэтические и драматические произведения польских писателей.

АЛЬБОМ О ГАЛЧИНСКОМ

Варшавское издательство литературы по искусству и кино выпустило альбом, посвященный выдающемуся польскому поэту Константы Ильдефонсу Галчинскому. Книгу подготовила к печати дочь поэта Кира Галчинская.

В альбоме собраны почти все фотоснимки поэта, многие из которых ранее были неизвестны. Впервые дается репродукция рукописи Галчинского.

РУМЫНИЯ

«ИСТОРИЯ РУМЫНСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ»

Бухарестское издательство «Минерва» выпустило в свет новое издание «Истории румынской литературы от истоков до наших дней» известного писателя, ученого и литературного критика, академика Джордже Кэлинеску (1899—1965). По единодушному признанию румынской прессы, выход книги — крупнейшее событие в культурной жизни страны.

Первое издание монументального труда Кэлинеску было осуществлено в 1941 году и сразу же подверглось резким нападкам со стороны правых теоретиков искусства, идеологов фашизма. После освобождения Румынии от фашистского ига, в 1945 и 1946 годах, «История» выходила в сокращенном виде. Что же касается полного издания, то автор считал необходимым пересмотреть свой многолетний труд в свете преобразований, которые осуществлялись в социалистической Румынии. И вот в апреле 1982 года под редакцией ближайшего ученика Дж. Кэлинеску Ал. Пиру вышел обновленный вариант «Истории», вобравший все внесенные автором в 50—60-е годы дополнения и изменения.

Рецензенты журналов «Лучафэрул» М. Унгяну, П. Марча, Д. Мику и «Ромыния литерарэ» М. Йоргулеску и другие подчеркивают, что это издание значительно богаче и полнее прежнего. Именно в этом обновленном виде «История» Дж. Кэлинеску заслуживает самой высокой оценки.

В Бухаресте в Театре им. Иона Василеску поставлен спектакль «Дом женщин» по пьесе Зофьи Налковской, который вызвал большой интерес у зрителей. Режиссер спектакля — Сорана Короамэ-Станка.
На снимке: Габриела Влад и Мариета Луча в спектакле «Дом женщин».

(Журнал «Театр»)

САУДОВСКАЯ АРАВИЯ

НОВЫЕ КНИГИ МУХАММЕДА АБДО ЯМАНИ

Министр информации Саудовской Аравии доктор Мухаммед Абдо Ямани, известный своими научными и научно-популярными трудами по геологии и космонавтике, в последнее время успешно выступает как писатель.

По сообщению бейрутского журнала «Аль-Адиб», недавно в Эр-Рияде вышли две новые книги Ямани — большой сборник рассказов «Рука» и роман «Девушка из Хаиля».

США

«ОБЕД, УТОЛЯЮЩИЙ ТОСКУ ПО ДОМУ»

С выходом каждой новой книги Энн Тайлер все прочнее укрепляет свою репутацию одной из самых талантливых американских писательниц последнего двадцатилетия. Наиболее крупной творческой удачей Тайлер критики единодушно считают книгу «Блага земные» (1977, русский перевод — М., «Прогресс», 1980). Получившая широкую популярность в американской прозе прошлого десятилетия форма «семейного романа» была мастерски использована Тайлер, которая сумела дать емкую и реалистически убедительную картину духовного опустошения личности в американском обществе, неотвратимого распада человеческих связей, усиления взаимной отчужденности и враждебности.

Новая, десятая по счету, книга Тайлер «Обед, утоляющий тоску по дому» (издательство «Кнопф») во многом созвучен «Благам земным». Писательница остается верна жанру «семейной хроники»: вновь ее внимание привлекла история одной семьи, точнее, история распада одной семьи. Как пишет рецензент журнала «Тайм», книга строится в виде воспоминаний престарелой Перл Талл, которая, чувствуя приближение смерти, восстанавливает в своей памяти самые яркие и значительные эпизоды прожитой жизни. Более всего ее тревожит мысль о том, почему брак с коммивояжером Беком Таллом так и не сделал ее счастливой, почему, едва встав на ноги, их дети — Коди, Дженни и Эзра — поспешили разорвать нити, связывавшие их с отчим домом, и почему сами они утратили чувство близости, теплоты и взаимной необходимости. История детей Перл Талл чем-то напоминает старинный сказочный мотив о трех братьях: умных старшем и среднем и дурачке-простофиле младшем. Но, как и в сказке, в романе Тайлер причуды «меньшого брата» оказываются святой простотой, а за его кажущейся придурковатостью скрывается способность к доброте, подлинной неподдельной любви. Эзра Талл — мечтатель, «чудачок». Его главное «чудачество» — небольшой ресторанчик, который, как пишет рецензент «Тайм», «исцеляет Эзру от остро испытываемого им чувства одиночества и разочарования в жизни». Этот ресторанчик становится в романе как бы иллюзорным символом воссоединения семьи Таллов: несколько раз в год весь «клан» собирается здесь на семейный обед. Утолив в процессе этого невеселого ритуала ностальгию по «добрым старым временам» совместной жизни, Таллы вновь расстаются, пускаясь по дорогам Америки на поиски никак не обретаемого счастья...

Новый роман Тайлер, по мнению рецензента, продемонстрировал высокое мастерство писательницы, ее умение реалистически воссоздать наиболее характерные, типичные черты духовной жизни современной Америки.

ФРАНЦИЯ

СИГНАЛ ТРЕВОГИ

В последнее время во Франции заметно активизировались правые элементы, в том числе крайне правые экстремисты, вплоть до неофашистов, которые не останавливаются даже перед террористическими актами. Поэтому, как своеобразный сигнал об опасности, воспринимаются выходящие одно за другим, начиная с весны 1982 года, публицистические и документальные произведения, разоблачающие фашизм и его последователей.

Коммунистическое издательство «Тан актюэль» выпустило книгу Жана-Марка Теолэра «Неонацисты». Ее автор — активный антифашист, бывший узник Бухенвальда, в настоящее время президент секции журналистов, пишущих на юридические темы. Основываясь на фактах, он доказал, что нацистская идеология не исчезла после поражения третьего рейха. Уже примерно через 5—6 лет после разгрома фашизма «неонацисты» вновь заявили о себе. Автор показывает внутреннюю, идейную связь теорий так называемых «новых правых», активно выступающих сегодня в буржуазной прессе, с идеологией старого фашистского образца. Еще теснее с фашизмом связаны современные крайне правые экстремисты. Жан-Марк Теолэр приводит примеры сотен убийств, разрушений, погромов, совершаемых как во Франции, так и за ее пределами.

Журналист призывает помешать, пока не поздно, распространению неонацистской заразы, пагубной для общества. Она разъедает общественный организм, и о том, чем это может обернуться, напоминает огромная книга (600 страниц), в которой собраны воспоминания бывших заключенных лагеря Ораниенбург-Заксенхауз, или «Заксо», как называли его узники. Заксенхауз был лагерем особого типа — в нем впервые испытывались новые методы массового истребления людей — грузовики, превращенные в передвижные газовые камеры, отравленные пули и многое другое.

Сборник, выпущенный издательством «Плон» совместно с издательством «Минюи», созданным в годы Сопротивления, так и называется — «Заксо». Еженедельник французских коммунистов «Юманите диманш» считает выход этого человеческого и исторического документа «значительным событием», подчеркивая, что в нем содержится не только описание будней лагеря и страданий жертв, а показана также товарищеская спайка несломленных людей, «великое их сопротивление».

«Смерть в зените славы», так озаглавлена статья, которой газета «Юманите» отозвалась на безвременную кончину Роми Шнайдер, прошедшей путь «от статистки до трагической актрисы». Роми Шнайдер была дважды удостоена высшей кинематографической премии Сезар, второй раз за исполнение роли в фильме «Простая история», в советском прокате — «У каждого свой шанс».
На снимке: Роми Шнайдер.

(Газета «Юманите»)

«ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИТЧА» ПЬЕРА БУЛЯ

Советским читателям хорошо известно имя Пьера Буля — автора научно-фантастического романа «Планета обезьян» и многих опубликованных у нас рассказов. В издательстве «Фламмарион» вышел новый роман Буля под названием «Отблески».

Писатель рассказывает историю президента некоей республики, по приказу которого строится грандиозная установка по преобразованию солнечной энергии. Это огромное сооружение, состоящее из сорока тысяч зеркал, оказывает вредное

воздействие на людей и природу. Пьер Буль едко высмеивает тщеславие президента, впавшего в «гелиоманию» и не жалеющего средств на строительство своеобразного символа своего величия — гигантской солнечной установки.

«Чересчур активное использование ресурсов окружающей среды представляет для нас ничуть не меньшую опасность, чем все ядерные арсеналы, вместе взятые»,— так определяет основную идею этого сатирического романа-притчи рецензент журнала «Экспресс».

РИТМЫ СОВРЕМЕННОСТИ

Творчество Пабло Пикассо привлекало внимание кинематографистов еще при жизни художника. Так, процесс создания им картин нашел отражение в фильмах «Тайна Пикассо» режиссера Анри Жоржа Клузо и «Герника» Алена Рене.

Сейчас парижские экраны предлагают вниманию зрителей новую работу известного кинодокументалиста Фредерика Россифа, автора широко известного фильма «Умереть в Мадриде».

Еще в 50-е годы 20-летний Россиф предложил создать киноархивы «творческой памяти» известных поэтов, писателей, художников. В их число, наряду с Блэзом Сандраром, Жаном Кокто, Рэмоном Кено, вошел и Пабло Пикассо.

Россиф не расставался с мечтой создать фильм о художнике, которого он считает «величайшим творцом ритмов современности».

— Для меня «Герника»,— говорит Россиф, — величайшее историческое полотно. Эта картина стала символом борьбы за свободу в страдающем от угнетения мире. На мой взгляд, ритм — общая черта, объединяющая все полотна Пикассо, независимо от их тематики.

Россиф поставил перед собой задачу передать этот ритм языком кино. Другая мечта режиссера — создать фильм «об основных ритмах мира, о биении сердца вселенной, о стремлении обрести (какой бы утопией это ни казалось) большую семью людей... Опасность разрушения, угрожающая нашему миру, должна породить земную солидарность».

На снимке: глаза художника (кадр из фильма).

(Газета «Юманите»)

ЧЕХОСЛОВАКИЯ

На снимке: П. Павловски в роли Раскольникова, Я. Конечны в роли Свидригайлова.

(Журнал «Филм а дивадло»)

ИНТЕРЕСНОЕ РЕШЕНИЕ

На театральных подмостках Чехословакии уже неоднократно оживал мир Достоевского. Зрители имели возможность познакомиться с инсценировками, созданными по романам «Идиот» (Национальный театр в Праге и братиславский Словацкий национальный театр), «Братья Карамазовы» («Дивадло на провазку» в Брно и «Дивадло на забрадли» в Праге).

В пльзенском театре, носящем имя И. К. Тыла, режиссер О. Шевчик осуществил постановку «Преступления и наказания». В роли Раскольникова — П. Павловски, и, как отмечает Ян Дворжак, автор рецензии в журнале «Филм а дивадло», это одна из лучших работ актера. Герой его живет крайне напряженной внутренней жизнью, постоянно всматривается в себя, поэтому глубоко оправданным кажется внешне неяркий рисунок роли.

Особо рецензент отмечает тот факт, что буквально все актеры, занятые в спектакле, прониклись замыслом режиссера и увлеченно вводят зрителей в мир Достоевского.

Новая работа пльзенского театра — это, отмечает критик, несомненно, заметное явление в культурной жизни всей Чехословакии.

ШВЕЦИЯ

ПОСЛЕДНИЙ РОМАН ПЕТЕРА ВАЙСА

Роман «Эстетика сопротивления» стал своего рода художественным и политическим завещанием Петера Вайса, умершего в мае 1982 года. Писатель работал над ним более девяти лет. В романе около тысячи страниц. Первые две его книги вышли в 1975 и 1978 годах, последняя, третья книга — за год до смерти автора.

Действие романа охватывает несколько десятилетий от Октябрьской революции до конца второй мировой войны. Главный герой, от лица которого ведется повествование, молодой рабочий, проходит через антифашистское подполье в Берлине, гражданскую войну в Испании, парижскую эмиграцию. Во второй части романа он попадает в Швецию, где работает на заводе, налаживает связи с коммунистами, знакомится с Бертольтом Брехтом.

Многое здесь соответствует биографии самого Петера Вайса, последние десятилетия жизни которого тесно связаны со Швецией и ее рабочим движением. Как известно, в 1945 году Вайс стал шведским гражданином и оставался им до самой смерти.

Третья книга начинается прибытием в Швецию родителей рассказчика, бежавших от нацистов через Чехословакию и Польшу. В результате пережитых потрясений мать героя психически заболевает, как и его подруга, шведская писательница Карин Бойе, которая после нападения нацистов на Советский Союз в 1941 году кончает самоубийством. Трагические события закаляют рассказчика, учат его сопротивлению.

Вайс много рассказывает о деятельности шведских коммунистов и антифашистов в годы войны. Затем действие вновь переносится в Германию: роман повествует о борьбе и героической гибели антифашистской группы «Красная капелла». Заключительные главы рассказывают о последних днях войны, когда радость близкого освобождения сопровождалась предчувствием новых испытаний.

Писатель Ханьо Кестинг в журнале «Шпигель» связывает работу Петера Вайса с традицией немецкого «романа воспитания». Автор как бы отправляет своего героя в долгое, затянувшееся на многие годы путешествие, в ходе которого формируется и закаляется его характер, вырабатывается не только общественная, но и творческая позиция. В уста рассказчика Вайс вложил собственные размышления об искусстве и его роли в классовой борьбе пролетариата. Убежденность писателя в неотделимости «искусства как коллективной памяти человечества от революционного процесса» проявилась уже в самом заглавии книги: «Эстетика сопротивления». В роман включены эссе о Пергамском алтаре, храмах Ангкора, картине Жерико «Плот Медузы», «Гернике» Пикассо и другие.

Это обусловило сложную, во многом необычную струк-

туру книги, которая, по словам критика, «противоречит всем общепринятым представлениям о романе... Иногда она читается как исторический очерк, иногда — как искусствоведческое исследование, иногда — как идеологический трактат».

Петер Вайс живо воскрешает полузабытые эпизоды европейского рабочего движения и антифашистской борьбы, пишет о противоречиях, ошибках, порой трагических событиях, вызывавших раскол и разлад в левых партиях. В романе находят отражение исторические и общественные проблемы того времени со всеми их противоречиями.

«Своей «Эстетикой сопротивления»,—пишет в статье памяти Вайса орган австрийской компартии, газета «Фолькштимме», — писатель-коммунист Петер Вайс создал новое измерение романа, он развил традицию буржуазной критической литературы, обогатив ее основами марксистской эстетики... Все его творчество, вершиной которого стала «Эстетика сопротивления», имеет огромное значение для мировой литературы, для всех прогрессивных сил мира».

ЮГОСЛАВИЯ

ПРЕМИЯ ЗА ФИЛЬМ

На международном фестивале научно-фантастического фильма в Мадриде, в котором участвовало более двадцати стран, три главных приза — жюри, кинокритиков и зрителей — присуждены фильму известного югославского кинорежиссера Душана Вукотича «Гости из галактики».

Решение жюри, в состав которого входили мастера мирового киноискусства, гласит, что фильм награжден «за новый вклад в развитие научной фантастики, за оригинальность режиссерского решения и юмор».

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
Н. Т. ФЕДОРЕНКО

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

О. С. ВАСИЛЬЕВ (зам. главного редактора), **Л. А. ГВИШИАНИ, Ю. В. ДАШКЕВИЧ, Е. А. ДОЛМАТОВСКИЙ, И. Ф. ЗОРИНА, Т. П. КАРПОВА, Е. Ф. КНИПОВИЧ, А. А. КОСОРУКОВ, Т. А. КУДРЯВЦЕВА, Т. Л. МОТЫЛЕВА, П. В. ПАЛИЕВСКИЙ, А. Н. СЛОВЕСНЫЙ, Е. В. СТОЯНОВСКАЯ, М. Г. ФЕДОРОВ** (отв. секретарь), **К. А. ЧУГУНОВ** (зам. главного редактора), **М. А. ШОЛОХОВ, Л. З. ЭЙДЛИН.**

Художественный редактор **С. И. Мухин.** Технический редактор **Е. П. Поляков.**

Адрес редакции: 109017, Москва, Ж-17, Пятницкая ул., д. 41, телефон 233-51-47.

Издательство «Известия Советов народных депутатов СССР».
Москва, Пушкинская пл., 5.

Журнал выходит один раз в месяц.

Сдано в набор 05.07.82. Подписано в печать 17.08.82. А 08300 Формат 70×108$^{1}/_{16}$.
Печать высокая, 16 п. л. (22,4) усл. п. л., уч-изд. л. 29,19

Тираж 449 000 экз. (1-й завод: 1 — 400 000 экз.) Зак. 2403

Ордена Трудового Красного Знамени типография «Известий Советов народных депутатов СССР» имени И. И. Скворцова-Степанова. Москва, Пушкинская пл., 5.

Нгуен Тиен Тюнг. Поэт Нгуен Зу на рыбной ловле

Цена 1 руб. 80 коп. ИНДЕКС 70394